

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

АНТОЛОГИЯ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АМФОРА



АНТОЛОГИЯ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

АМФОРА

Антология Фантастической Литературы

Хорхе Луис Борхес, Адольфо Бьой Касарес, А. Давид-Нэль, Эдвард Дансейни, Сильвина Окампо, Герберт Аллан Джайлс, У. У. Джекобс, Джеймс Джойс, Артуро Кансела Пилар де Лусаррета, Томас Карлейль, Франц Кафка, Редьярд Киплинг, Хосе Бьянко, Жан Кокто, Хулио Кортасар, Льюис Кэрролл, И. А. Айрленд, Лецзы, Леопольдо Лугонес, Ги де Мопассан, Эдвин Морган, Э. А. Мурена, Ню Цзяо, Густав Вайль, Джон Обри, Томас Бейли Олдрич, Юджин О'Нил, Джованни Папини, Рюноскэ Акутагава, Мануэль Пейру, Карлос Перальта, Барри Пероун, Петроний, Эдгар По, Рихард Вильгельм, Франсуа Рабле, Саки, Эмануэль Сведенборг, Мэй Синклер, У. У.

Скит, Ричард Фрэнсис Бертон, Хосе Соррилья, Олаф Степлдон, У Чэнэнь, Джералд Уиллоби-Мид, Вилье де Лиль-Адан, Герберт Уэллс, Маседонио Фернандес, Джордж Лоринг Фрост, Джеймс Джордж Фрэзер, Холлоуэй Хорн, Хуан Мануэль, Макс Бирбом, Цао Сюэцинь, Гилберт Кит Честертон, Чжуанцзы, Хуан Родольфо Вилькок, Ахмед эш-Шируани, Сальвадор Элисондо, Леон Блуа, Делия Инхеньерос, Мартин Бубер, Элена Гарро, Рамон Гомес де ла Серна, Сантьяго Дабове

Аннотация
Антология Фантастической Литературы
И. А. Айрленд
  Окончание фантастического рассказа
Акутагава Рюноскэ
  Святой
Ричард Фрэнсис Бертон
  Поэт и его герои
Макс Бирбом

Энох Сомс
Леон Блуа
Кто здесь царь?
Радости этого мира
Пленники Лонжюмо
Хорхе Луис Борхес
Тлён, Укбар, Орбис Терциус
Хорхе Луис Борхес, Делия Инхеньерос
Бог Один
Мартин Бубер
Ошибка
Адольфо Бьой Касарес
Кальмар выбирает где глубже
Хосе Бьянко
Сон-костюмер
Густав Вайль
История двух сновидцев
Рихард Вильгельм
Секта Белого Лотоса
Вилье де Лиль-Адан
Пытка надеждой
Хуан Родольфо Вилькок
Кто такие донги?
Встреча. (История времен династии Тан)
Элена Гарро
Прочный очаг

Рамон Гомес де ла Серна
Страшнее ада
Кровь в саду
Сантьяго Дабове
Стать прахом
А. Давид-Нэль
Чудесное обжорство
Погоня за учителем
Эдвард Дансейни
Ночь на постоялом дворе
Герберт Аллан Джайлс
Отрицающий чудеса
У. У. Джекобс
Обезьянья лапа
Джеймс Джойс
Определение призрака
Мэй Гулдинг
Артуро Кансела Пилар де Лусаррета
Судьба-индейка
КАК ХУАН ПЕДРО РЕАРТЕ ВОШЕЛ В ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
«КУМАНЕК» И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
РЕЛИКВИИ, ОСТАВШИЕСЯ ОТ СОСЕДА ПО КОМНАТЕ

КАК ОДНА И ТА ЖЕ ПРИЧИНА СПОСОБНА ПРИВЕСТИ
К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ СЛЕДСТВИЯМ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
ХУАН ПЕДРО РЕАРТЕ СОВЕРШАЕТ ПРЫЖОК В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СУДЬБА-ИНДЕЙКА
Томас Карлейль
Настоящий дух
Франц Кафка
Певица Жозефина, или Мышиный народ
У врат закона
Редьярд Киплинг
Лучшая в мире повесть
Жан Кокто
Взгляд смерти
Хулио Кортасар
Захваченный дом
Льюис Кэрролл
Сон короля
«Лецзы»
Пропавший олень
Леопольдо Лугонес
Абдерские скакуны
Ги де Мопассан
Кто знает?

Эдвин Морган
Тень игры
Э. А. Мурена
Кот
Ню Цзяо
История о лисицах
Джон Обри
В виде корзинки
Сильвина Окампо
Искупление
Томас Бейли Олдрич
Одинокая женщина и ее душа
Юджин О’Нил
Крест на карте
Джованни Папини
Последний визит Больного Джентльмена
Мануэль Пейру
Бюст
Карлос Перальта
Рани
Барри Пероун
Провал памяти
Петроний
Волк
Эдгар По
Правда о том, что случилось с мистером Валь-

демаром
Франсуа Рабле
О том, как мы высадились на Острове железных изделий
Саки
Средни Ваштар
Эмануэль Сведенборг
Смерть богослова
Мэй Синклер
Огонь неугасимый
«Сказки тысячи и одной ночи»
История Абдуллы, нищего слепца
У. У. Скит
Самоткущийся платок
Хосе Соррилья
Дон Хуан Тенорио. (фрагмент)
Олаф Степлдон
Многие всемирные истории
У Чэнэнь
Притча
Джералд Уиллоби-Мид
Удивительные олени
Под защитой книги
Герберт Уэллс
История покойного мистера Элвешема
Маседонио Фернандес

Танталиада
Сцена первая. ЗАБОТА О ТРАВИНКЕ
Сцена вторая. ЕДИНСТВЕННЫЙ РОСТОК
Сцена третья. ИСТЯЗАТЕЛЬ КЛЕВЕРА
Сцена четвертая. ЖИЗНЬ УЛЫБАЕТСЯ СНОВА
Джордж Лоринг Фрост
Верующий
Джеймс Джордж Фрэзер
Жить вечно
Холлоуэй Хорн
Завтрашние победители
Хуан Мануэль
Отсрочка
Цао Сюэцинь
Зеркало ветра и луны
Беспробудный сон Баоюя
Гилберт Кит Честертон
Возгордившееся дерево
Вавилонская башня
Чжуанцзы
Сон мотылька
Ахмед эш-Шируани
Виновные глаза
Сальвадор Элисондо
История глазами Бао Чжэна
СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ

Аннотация

Эта книга — одна из серии антологий, составленных Хорхе Луисом Борхесом совместно со своими друзьями — писателями Адольфо Бьой Касаресом и Сильвиной Окампо. Шестьдесят пять авторов самых разных эпох и культур расскажут читателю множество удивительных историй о чудесном и необычайном.

Антология Фантастической Литературы

Составили

Хорхе Луис Борхес

Адольфо Бьой Касарес

Сильвина Окампо

И. А. Айрленд

Окончание фантастического рассказа

— Как странно! — сказала девушка, осторожно подвигаясь вперед. — Какая тяжелая дверь! — Говоря это, она притронулась к двери, и та внезапно захлопнулась.

— Боже мой! — сказал мужчина. — Мне кажется, что у нее с нашей стороны нет щеколды. Вы же заперли нас обоих!

— Обоих? Нет. Только одного, — сказала девушка.

Она прошла сквозь дверь и исчезла.

«Гости» (1919)

Акутагава Рюноскэ

Святой

В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят, просто Гонскэ.

Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонскэ обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком.

— Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать.

Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар.

— Господин чиновник! Не слышите, что ли? Я хочу стать святым и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу.

Чиновник наконец пришел в себя.

— Искренне сожалею, — промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку, — но дело в том, что нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь в святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?

Но Гонскэ, с недовольным видом выставив вперед колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать.

— Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там: «Определяем на любую службу»? А раз пишете «на любую», значит, и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать?

Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонскэ были все основания возмущаться.

— Нет, на нашей вывеске все сущая правда, — поспешил уверить его чиновник. — И если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего.

И чтобы хоть как-нибудь оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонскэ. Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонскэ, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил:

— Как же быть? Не знаете ли вы, сэнсэй, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?

Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила в разговор злая жена лекаря, по прозвищу Старая Лиса, которая слышала рассказ чиновника:

— А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за два-три года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым, — уверила она чиновника.

— Да что вы говорите? — обрадовался тот. — Как хорошо, что я зашел к вам! Премного благодарен! Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми!

И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился.

Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятиями на жену:

— Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если этот деревенщина поднимет скандал, убедившись, что, сколько бы лет он ни прожил у нас, никакого секрета бессмертия не узнает?

Однако жена и не думала оправдываться.

— Помолчал бы лучше. С таким честным дура-

ком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь, — презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа.

Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонскэ в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем было хаори с гербами, — наверное, он считал, что так и полагается быть одетым, когда приходишь в первый раз знакомиться, — и теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на Гонскэ, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонскэ, он подозрительно спросил:

— Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?

— Да никакой особой причины нет. Просто, глядя как-то на Осакский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоетоми Хидэеси, в конце концов все-таки умирают. Выходит, что человек, как бы ни велики были его дела, все равно умрет.

— Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым? — воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша.

— Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу.

— Тогда поступай ко мне на службу сроком на двадцать лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого.

— Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило! Премного вам благодарен.

— Но все двадцать лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы.

— Хорошо, хорошо, я согласен!

С той поры Гонскэ двадцать лет работал на лекаря. Воду носил. Дрова колол. Обед варил. Дом и двор подметал. И вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дому. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии.

Но вот прошло наконец двадцать лет, и Гонскэ, надев, как и в первый день своего прихода, хаори с гербами, предстал перед хозяином и хозяйкой. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие двадцать лет, и сказал:

— А теперь мне хотелось бы, чтобы вы, по нашему давнему уговору, научили меня искусству святого — быть нестареющим и бессмертным.

Просьба Гонскэ привела лекаря в замешательство: он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того как Гонскэ прослужил двадцать лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить:

— Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит.

И сказав это, лекарь отвернулся от Гонскэ.

Однако жена его и глазом не моргнула.

— Что ж, я научу тебя секретам святого, но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы трудно это ни было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще двадцать лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь.

— Слушаюсь! Я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было.

Гонскэ, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка.

— В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе, — последовал приказ лекарши. Разуме-

ется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонскэ очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить задаром еще двадцать лет. Однако едва Гонскэ услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну.

— Выше! Еще, еще выше! — командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонскэ, взбиравшегося на дерево.

И вот уже хаори Гонскэ с гербами развевается на самой верхушке высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря.

— Теперь отпусти правую руку!

Гонскэ, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку.

— Теперь отпусти левую руку!..

— Эй, подожди! — раздался голос лекаря. — Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, и ему наверняка не уцелеть.

И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом.

— Не суйся не в свое дело! Положись во всем на меня. ...Так отпускай же левую руку!

Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонскэ, собравшись с духом, отпустил и левую

руку. Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, взобравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонскэ в хаори с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонскэ вовсе не думал падать на землю — чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле «дзерури».

— Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых.

Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонскэ спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся наконец в высоких облаках...

Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще очень долго. Говорят, что сам Тацугоро Едоя велел специально пересадить это огромное, в четыре обхвата, дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом.

Ричард Фрэнсис Бертон

Поэт и его герои

Индусский поэт Тулсидас сложил поэму о боге Ханумане и его обезьяньем воинстве. Много лет спустя царь повелел заточить поэта в каменную башню. Тот в застенке собрался с мыслями и вызвал в уме Ханумана и всех его обезьян. Они захватили город, разрушили башню и спасли поэта.

Макс Бирбом

Энох Сомс

Когда мистер Холбрук опубликовал свой труд о литературе двух последних десятилетий XIX века, я с жадностью стал искать в указателе имя СОМС ЭНОХ. Я боялся, что его не найду. И действительно, не нашел. Все прочие имена там были. Многие писатели, которых я совсем забыл или помнил лишь смутно, снова ожили для меня — и они, и их произведения — на страницах книги мистера Холбрука Джексона. Написана она была столь же обстоятельно, сколь блестяще. Поэтому обнаруженный мною пробел был тем более убийственным свидетельством полного краха надежд бедняги Сомса оставить в литературе тех лет память о себе.

Подозреваю, что я был единственным человеком, заметившим этот пробел. Да, Сомс потерпел полнейший крах! Здесь не помогало даже такое соображение, что если бы он достиг хоть небольшого успеха, я все равно забыл бы его имя, как многие другие, воскресшие для меня только благодаря напоминанию историка. Разумеется, будь его таланты — каковы бы они ни были — признаны при жизни, он никогда бы не совершил той

сделки, заключенной в моем присутствии, сделки престранной, из-за последствий которой он прочно запечатлелся в моей памяти. Но именно эти последствия явили всю глубину его злополучия.

Впрочем, написать о нем побудило меня вовсе не сочувствие. Для блага этого бедняги я бы предпочел промолчать о нем. Нехорошо смеяться над мертвыми. А как я могу писать об Энохе Сомсе, не выставляя его в смешном свете? Или вернее — как я могу скрыть постыдный факт, что он и впрямь был смешон? Я на это не способен. Однако рано или поздно мне придется написать о нем. Вы сами убедитесь в должное время, что альтернативы у меня нет. Посему лучше уж я сделаю это сейчас.

Во втором семестре 1893 года на Оксфорд свалился с ясного неба метеорит. Он глубоко вонзился в почву и прочно там засел. Преподаватели и студенты, слегка побледневшие, стояли вокруг него и только о нем и толковали. Откуда он явился, этот метеорит? Из Парижа. Его имя? Уилл Ротенстайн. Его намерения? Сделать литографическим способом двадцать четыре портрета. Он затем опубликует их в лондонском издательстве «Бодли Хэд». Дело было срочное. Уже ректор А и магистр Б, а также профессор В смиренно ему

позировали. Почтенные, смущающиеся старцы, которые никогда никому не позировали, не смогли устоять перед напористым малорослым пришельцем. Он не просил — он приглашал; он не приглашал — он приказывал. Ему был двадцать один год. Очки его сверкали, как ни у кого другого. Он был остроумен. Он был переполнен идеями. Он был знаком с Уистлером. С Эдмоном де Гонкуром. Он был знаком со всеми в Париже. Близко знаком. В Оксфорде он представлял Париж. Шел слух, что, когда он управится с отбором преподавателей, он включит в свою коллекцию нескольких студентов. Для меня это был большой день — день, когда меня туда включили. Ротенстайн внушал мне восхищение и опаску, между нами возникла дружба, с каждым годом становившаяся все более прочной и все более дорогой для меня.

В конце семестра он переселился, или, вернее — как метеор перенесся в Лондон. Ему я обязан первым знакомством с неизменно очаровательным замкнутым мирком Челси и с Уолтером Сикертом и другими величавыми старцами, там обитавшими. Это он, Ротенстайн, привел меня на Кембридж-стрит посмотреть в Пимлико на молодого человека, чьи рисунки уже славились

в кругу немногих, звали его Обри Бердслей. С Ротенстайном я впервые посетил «Бодли Хэд». Он ввел меня в другой центр интеллекта и дерзаний — в зал для домино в «Cafe Royal»[1].

Там октябрьским вечером — да, именно там, в этой роскошной обстановке, среди позолоты и алого бархата, между всеми этими взаимоотражающими зеркалами и стойкими кариатидами, в клубах табачного дыма, поднимающихся к расписанному мифологическими сюжетами потолку, под гул разговоров, разумеется, циничных, то и дело прерываемых стуком костяшек домино по мраморным столикам, я с глубоким вздохом сказал себе: «Вот это настоящая жизнь!»

До обеда оставался час. Мы выпили вермута. Знавшие Ротенстайна указывали его тем, кто знал его только по имени. Через вращающиеся двери непрестанно входили все новые посетители и медленно бродили по залу в поисках свободного столика или столика, занятого друзьями. Один из этих ищущих заинтересовал меня — я был уверен, что он жаждет привлечь внимание Ротенстайна. С неуверенным видом он дважды прошел мимо нашего столика, но Ротен-

---

[1] Примечания: 1
«Королевское кафе» *(франц.).*

стайн, поглощенный чтением труда о Пюви де Шаванне, его не видел. То был сутулый, нескладный субъект, довольно высокий, очень бледный, с длинноватыми каштановыми волосами. У него была невыразительная, редкая бородка — вернее, у него был скошенный подбородок, который прикрывали прядки слегка вьющихся волос. Вид у него был странный, однако в девяностых годах люди со странной внешностью встречались, мне кажется, чаще, чем теперь. Молодые писатели тех лет, — а я был уверен, что он писатель, — добросовестно старались выделиться своим видом. Этот парень тоже старался, но безуспешно. На нем была мягкая черная шляпа, вроде пасторской, но с претензией на богему, и серый непромокаемый плащ, который, быть может, из-за своей непромокаемости имел отнюдь не романтический вид. Я решил, что для него mot juste[2] будет «тусклый». Я тогда уже пытался писать и был чрезвычайно озабочен этим mot juste, некоей чашей Святого Грааля той эпохи.

Тусклый парень опять приблизился к нашему столу, на сей раз он набрался храбрости и остановился возле нас.

---

[2] Примечания: 2
Точное слово *(франц.).*

— Вы меня не помните, — сказал он бесцветным голосом.

Ротенстайн быстро глянул на него.

— Как же, помню, — сказал он секунду спустя, скорее с гордостью, чем с радостью, — с гордостью за свою безотказную память. — Эдвин Сомс.

— Энох Сомс, — сказал Энох.

— Энох Сомс, — повторил Ротенстайн тоном, показывающим, что довольно и того, что он вспомнил фамилию. — Мы встречались в Париже два или три раза, когда вы там жили. Встречались в кафе «Грош».

— А однажды я приходил к вам.

— Сожалею, что вы меня не застали.

— Да нет же, застал. Вы мне показали несколько ваших картин. Не припоминаете? Я слышал, что теперь вы живете в Челси.

— Да.

Меня удивило, что после этого односложного ответа Сомс не ушел. Он терпеливо остался стоять, как покорная скотинка, как осел, тупо глядящий на загородку. Да, меланхолическая фигура, ничего не скажешь! Мне пришло на ум, что mot juste было бы для него «алчущий», но алчущий чего? Он скорее казался потерявшим аппетит. Мне стало его жаль, а Ротенстайн, хоть

и не пригласил его в Челси, предложил ему сесть и чего-нибудь выпить.

Усевшись, этот малый осмелел. Он откинул назад полы плаща жестом, который, — не будь они непромокаемыми, — мог сойти за вызов всему миру. И попросил полынной водки.

— Je me tiens toujours fidele, — сказал он Ротенстайну, — a la sorciere glauque[3].

— Как бы она вам не навредила. Это злой напиток, — сухо сказал Ротенстайн.

— Что значит «злой»? — сказал Сомс. — Dans ce monde il n'y a ni de bien ni de mal[4].

— Ни добра, ни зла? Что вы имеете в виду?

— Я все объяснил в предисловии к «Отрицаниям».

— Отрицаниям?

— Да. Я ведь дал вам экземпляр.

— Ах, да, конечно. Но неужели вам удалось доказать, например, что не существует разницы между хорошим и плохим синтаксисом?

— Нет, — сказал Сомс. — В искусстве Добро и Зло существуют. Но в Жизни... нет. — Он стал закуривать сигарету. Руки у него были слабые, белые,

---

[3] Примечания: 3
Я всегда остаюсь верен этой зеленой травке-колдунье *(франц.).*

[4] Примечания: 4
В этом мире нет ни добра, ни зла *(франц.).*

не очень чистые, кончики пальцев пожелтели от никотина. — В жизни у нас есть иллюзия добра и зла, но... — тут его голос перешел на шепот, где едва слышались слова «vieux jeux»[5] и «рококо»[6]. Возможно, он сознавал, что не наделен красноречием, и боялся, как бы Ротенстайн не уличил его в какой-нибудь неточности.

— Parlons d'autre chose,[7] — сказал он, кашлянув.

Вы, пожалуй, решите, что Сомс был глуп? Я так не думал. Я был молод, и мне не хватало проницательности, которой обладал Ротенстайн. Сомс был старше нас лет на пять-шесть. Кроме того, он уже издал книгу.

Издал книгу. Как это прекрасно!

Не будь там Ротенстайна, я бы выказал Сомсу свое восхищение. Но и так я был преисполнен почтения к нему. И уже готов был восхититься, когда он сказал, что вскоре опубликует еще одну. Я осведомился, какого рода будет эта книга.

— Мои стихи, — ответил Сомс.

---

[5] Примечания: 5
Старые игры *(франц.).*

[6] Примечания: 6
Рококо *(франц).*

[7] Примечания: 7
Поговорим о чем-нибудь другом *(франц.).*

Ротенстайн спросил, не название ли это.

Поэт подумал над этим вариантом, потом сказал, что решил не давать ей названия.

— Если книга хороша... — начал он, размахивая сигаретой.

Ротенстайн заметил, что отсутствие названия может повредить продаже книги.

— Вот зайду я в книжную лавку, — настаивал он, — и спрошу: Есть ли у вас...? Имеется ли у вас экземпляр...? Как они поймут, что мне нужно?

— Ну разумеется, на обложке будет стоять моя фамилия, — поспешно возразил Сомс. — И мне было бы приятно, — прибавил он, пристально глядя на Ротенстайна, — увидеть свой портрет на фронтисписе.

Ротенстайн согласился, что это блестящая идея, и упомянул о том, что собирается в деревню и пробудет там некоторое время. Затем он взглянул на часы, удивился, как уже поздно, расплатился с официантом, и мы вдвоем отправились обедать. Сомс остался за столиком, верный своей полыни.

— Почему вы так решительно не хотите его рисовать?

— Его рисовать? Его-то? Как можно рисовать человека, который не существует?

— Да, он какой-то тусклый, — согласился я. Но

мое mot juste осталось незамеченным. Ротенстайн повторил, что Сомс не существует.

Однако Сомс издал книгу. Я спросил Ротенстайна, читал ли он «Отрицания». Он сказал, что просмотрел книгу.

— Но, — с живостью прибавил он, — я ничего не смыслю в литературе.

То была типичная для той эпохи оговорка. Тогдашние художники не разрешали ни одному профану судить о живописи. Этот закон, высеченный на скрижалях, которые Уистлер привез с вершины Фудзиямы, накладывал некоторые ограничения. Если прочие искусства, кроме живописи, были не вовсе непонятны людям, стало быть, закон рушился — сия доктрина Монро имела, так сказать, изъян. Поэтому ни один живописец не высказывал свое мнение о книге, не предупредив, что его мнение никакой ценности не представляет. Я не знаю человека, более верно судящего о литературе, чем Ротенстайн, но в те дни было бы бесполезно говорить ему об этом, и я знал, что мнение об «Отрицаниях» мне придется составить самостоятельно.

Не купить книгу, с автором которой я лично познакомился, было бы для меня в те времена совершенно немыслимой жертвой. Когда я воз-

вратился в Оксфорд к началу занятий, у меня уже был экземпляр «Отрицаний». Обычно он лежал у меня в комнате на столе, как бы случайно забытый там, и когда какой-нибудь приятель брал его в руки и спрашивал, о чем эта книга, я говорил:

— О, это книга весьма примечательная. Ее автор — мой знакомый.

О чем эта книга, мне так и не удалось себе уяснить. Я ничего не мог понять в этой тонкой зеленой книжице. В предисловии я не нашел ключа к убогому лабиринту содержания, а в самом этом лабиринте ничто не помогало понять предисловие.

> *«Придвинься к жизни. Придвинься ближе, очень близко.*
>
> *Жизнь — это ткань, она не основа, не уток, но ткань.*
>
> *Потому-то я католик по вере и по мыслям, но я*
>
> *Позволяю быстрой Фантазии вплетать в эту ткань все,*
>
> *Что челноку Фантазии заблагорассудится».*

Таковы были первые фразы предисловия, что ж до следующих, их было уже не так легко понять.

Затем шел рассказ «Недвижимый» о мидинетке, которая, насколько я мог уразуметь, убила или же собиралась убить манекен. Он показался мне похож на один рассказ Катюля Мендеса, где переводчик либо пропускает, либо сокращает каждое второе предложение. Далее шел диалог между Паном и святой Урсулой, в котором, по-моему, не хватало «огонька». Далее — несколько афоризмов (озаглавленных «Афорисмата»). В книге в целом, надо признать, было большое разнообразие форм, и образец каждой формы был тщательно выписан. Но содержание от меня ускользало. Да и было ли там содержание? Только теперь мне пришло в голову — а не был ли Сомс... просто глуп! Но мгновенно возникла и противоположная догадка: может, это я глуп! Свое сомнение я был готов решить в пользу Сомса. Я читал «L'Apres-midi d'un Faune»[8], не находя там ни крохи смысла. Но Малларме — о, конечно! — был мэтр. Как мне узнать, а вдруг Сомс тоже мэтр? В его прозе была некая музыкальность, не слишком яркая, но, думал я, возможно, что она завораживает и полна столь же глубокого смысла, как у самого Малларме. С открытой душой я ждал его новых стихов.

---

[8] Примечания: 8
«Послеполуденный отдых Фавна» *(франц.).*

Я ждал их прямо-таки с нетерпением, после того, как встретился с ним во второй раз. Произошло это как-то вечером в январе. Войдя в уже описанный мною зал для домино, я прошел мимо столика, за которым сидел бледный господин с лежавшей перед ним раскрытой книгой. Он посмотрел на меня, и я, оглянувшись, посмотрел на него со смутным чувством, что я должен был его узнать. Я подошел к нему и поздоровался. Мы обменялись несколькими словами, потом я, бросив взгляд на раскрытую книгу, сказал:

— Я, кажется, вам помешал.

И хотел уже попрощаться, но Сомс своим матовым голосом возразил:

— Я рад, что мне помешали.

Повинуясь его жесту, я сел за столик и спросил, часто ли он здесь читает.

— Да, здесь я читаю вещи такого рода, — ответил он, указывая на название книги — «Стихи Шелли».

— Те, которые вы по-настоящему... — я собирался сказать «любите?» Однако из осторожности не закончил фразу и был этому рад, ибо Сомс с необычным пафосом сказал:

— Так, всякие второсортные вещи...

Шелли я читал мало, но все же пробормотал:

— Конечно, он очень неровен.

— Я бы сказал, что, напротив, он слишком ровен. Убийственно ровен. Потому-то я читаю его здесь. Шум в зале перебивает ритм стихов. Здесь они звучат сносно.

Сомс взял книгу и полистал ее. Он рассмеялся. Смех Сомса — это был короткий, однократный и невеселый гортанный звук без какого-либо движения в лице или искорки во взгляде.

— Какая эпоха! — сказал он, отложив книгу. И прибавил: — Какая страна!

Я с некоторым замешательством спросил, не думает ли он, что Китс более или менее сохранил себя, несмотря на предрассудки времени и места. Он согласился, что «у Китса есть недурные пассажи», но не уточнил какие. Из «стариков», как он их называл, ему, кажется, нравился только Мильтон.

— Мильтон, — сказал он, — не был сентиментален. — И еще: — У Мильтона была смутная интуиция. — И затем: — Мильтона я всегда могу читать в читальном зале.

— В читальном зале?

— Да, в Британском Музее. Я туда хожу каждый день.

— В самом деле? Я там был только раз. Мне по-

казалось, что там какая-то гнетущая обстановка. Она... она словно подавляет жизненные силы.

— Это верно. Потому-то я и хожу туда. Чем меньше в человеке жизненных сил, тем чувствительнее он к великому искусству. Я живу недалеко от Музея. Моя квартира на Дайотт-стрит.

— И вы ходите в читальный зал читать Мильтона?

— Да, обычно Мильтона. — Он посмотрел на меня. — Именно Мильтон, — твердо прибавил он, — обратил меня в сатанизм.

— Сатанизм? В самом деле? — сказал я с безотчетным смущением и желанием быть вежливым, которые возникают у вас, когда кто-то говорит о своей вере. — Вы... вы поклоняетесь Дьяволу?

Сомс отрицательно покачал головой.

— Собственно, это не совсем поклонение, — определил он, отхлебнув глоток абсента. — Скорее поиски надежности и поддержки.

— Ах, да... Но из предисловия к «Отрицаниям» я понял, что вы католик.

— Je I'etais a cette epoque[9]. Возможно, и сейчас им являюсь. Да, я католик-сатанист.

---

[9] Примечания: 9
В то время я им был *(франц.)*.

Это признание он сделал как бы мельком. Я заметил, что больше всего он оценил тот факт, что я читал «Отрицания». Его тусклые глаза впервые заблестели. Я почувствовал себя как экзаменующийся, которого сейчас, viva voce[10], спросят то, что он хуже всего знает. Я поспешно осведомился, скоро ли выйдут его стихи.

— На следующей неделе, — ответил он.

— И они будут опубликованы без названия?

— Нет, я наконец придумал название. Но я вам его не скажу. — Словно я был настолько нахален, чтобы спрашивать. — Я не уверен, что оно вполне меня удовлетворяет. Но это лучшее, что я мог придумать. Оно как-то намекает на характер стихов... Странная поросль, естественная и дикая, но в то же время изысканная, — прибавил он, — богатая нюансами и полная ядов.

Я спросил, какого он мнения о Бодлере. Он издал хриплый звук, изображавший у него смех, и сказал:

— Бодлер был bourgeois malgre lui[11]. — По его мнению, у Франции был только один поэт — Вийон, «и две трети Вийона — чистая журна-

---

[10] Примечания: 10
Устно *(ит.).*

[11] Примечания: 11
Буржуа помимо своей воли *(франц.).*

листика». Верлен был «epicier malgre lui»[12]. — В целом он, к моему удивлению, ставил французскую литературу ниже английской. Да, у Вилье де Лиль-Адана есть «пассажи». Однако я, — заключил он, — Франции ничем не обязан. — Он мне кивнул. — Вот увидите, — предсказал он.

Но когда книга вышла, я этого не увидел. Мне показалось, что автор «Фунгоидов»[13] — бессознательно, разумеется, — был кое-чем обязан молодым парижским декадентам, или молодым английским декадентам, которые были кое-чем обязаны французам. Я и теперь так думаю. Небольшая эта книжка — купленная в Оксфорде — лежит сейчас передо мною, когда я это пишу. Бледно-серая обложка и серебряные буквы со временем поблекли. То же можно сказать и о содержании. С меланхолическим любопытством я перечитывал стихи. Они не Бог весть чего стоят. Но когда они только вышли, у меня было смутное подозрение, что, возможно, стихи хороши. Думаю, дело не в том, что стихи бедняги Сомса стали слабее, а ослабела моя способность верить...

---

[12] Примечания: 12
Бакалейщик помимо своей воли *(франц.)*.

[13] Примечания: 13
От лат. «fungus» — «гриб».

МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ
ТЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Напевы бледные струятся,
мелодий древних эхо,
исторгнутые флейтою старинной
с бряцанием кимвалов вместе,
украшенных густою пылью,
тут же формы странные, двуполые,
лежат окровавленные в пыли,
и в них несчетные зияют раны.
И древний слышу я ответ —
Тебя и не было и нет!

Мне показалось, что между первым стихом и последним есть какое-то противоречие. Нахмурив брови, я попытался понять его. В своей неудаче я не стал винить отсутствие смысла в стихотворении. Быть может, это, напротив, свидетельство глубокого смысла? Что ж до техники, «украшенные пылью» показались мне удачной находкой, а «тут же» вместо «и» было приятной неожиданностью. Я спросил себя, кто была эта «молодая женщина» и какой смысл она-то увидела в этих стихах. Однако даже теперь, если

отказаться от попыток найти смысл в этом стихотворении и прочитать его только ради звучания, в его ритме все же есть какое-то изящество. Сомс был художником — если он, бедняга, вообще был кем-то!

Когда я в первый раз читал «Фунгоиды», мне, как ни странно, показалось, что сатанинская сторона Сомса наиболее удачна. Сатанизм словно бы оказывал веселое, даже целительное влияние на его жизнь.

НОКТЮРН

По площади безлюдной в час ночной
Мы с Чертом, об руку рука, кружили.
Ни звука вкруг, лишь стук копыт глухой,
Да хохот наш, мы весело шутили
И черное вино распили.

«Учитель, вам ведь не догнать меня!» —
Задорно крикнул я, и он ответил:
«Какая разница! Пусть и отстану я,
Чего бояться мне, мои надежны сети
При этом мутном лунном свете!»

Тогда в глаза ему я посмотрел

И рассмеялся громко: что меня морочить!

Я вижу, он от страха обомлел,

Он стар, как мир, а все резвиться хочет.

Да, стар, и очень!

В первой строфе меня подкупил какой-то порыв — нотка радостного и бесшабашного товарищеского чувства. Вторая, пожалуй, была несколько истеричной. Но третья мне определенно понравилась — она была столь дерзко кощунственна, даже по отношению к принципам особой секты, к которой причислял себя Сомс. Вот вам и «надежность и поддержка»! Сомс, с ликованием обзывающий Дьявола «старым» и «громко» хохочущий, — фигура весьма ободряющая! Так думалось мне — тогда. Теперь же, в свете всего происшедшего, ни одно из его стихотворений не действует на меня так угнетающе, как «Ноктюрн».

Я поинтересовался, что пишут столичные критики. Они как будто делились на две категории: на тех, кто мало что мог сказать, и на тех, кто ничего не говорил. Вторых было больше, а

слова первых были достаточно прохладны: «У него везде звучит нотка современности... Эти легкие ритмы». *«Престон телеграф»* — было единственной приманкой, предложенной публике издателем Сомса. Я понадеялся, что, когда в следующий раз увижу его, то смогу поздравить с успехом книги: я подозреваю, что он не был так уж уверен в своем духовном величии, как это казалось. Но при следующей нашей встрече я сумел лишь довольно неловко сказать: я, мол, надеюсь, что продажа «Фунгоидов» «идет блестяще». Он посмотрел на меня сквозь стакан с абсентом и спросил, купил ли я экземпляр. Издатель сказал ему, что всего продано три. Я рассмеялся, словно то была шутка.

— Надеюсь, вы не думаете, что меня это огорчает? — сказал он, хмыкнув. Я решительно подтвердил. Он прибавил, что он-то отнюдь не коммерсант. Я кротко заметил, что также не принадлежу к их числу, и пробормотал, что художнику, давшему миру истинно новые, великие творения, всегда приходилось долго ждать признания. Он сказал, что не дал бы за признание и одного су. Я согласился, что награда поэту сам акт творчества.

Если бы я считал себя полным ничтожеством,

его угрюмый вид, вероятно, меня бы отпугнул. Но — разве Джон Лейн и Обри Бердслей не предложили мне написать очерк для замечательного, задуманного ими журнала «Желтая книга»? И разве Генри Гарленд, издатель его, не принял мой очерк? И разве его не напечатают в первом же номере? В Оксфорде я все еще был in statu pupillari[14]. В Лондоне я чувствовал себя уже вполне солидным человеком — которого никакой Сомс не собьет с толку. Отчасти из похвальбы, отчасти из искреннего расположения я предложил Сомсу сотрудничество в «Желтой книге». Из его гортани вырвался презрительный смешок. По адресу этого журнала.

И все же день или два спустя я попробовал спросить у Гарленда, известны ли ему произведения человека по имени Энох Сомс. Гарленд, по своему обыкновению круживший по комнате, воздел руки к потолку и громко простонал: да, он часто встречал «этого нелепого типа» в Париже и как раз сегодня утром получил от него рукопись нескольких стихотворений.

— А что, у него нет таланта? — спросил я.

— У него есть рента. Он обеспечен. — Гарленд

---

[14] Примечания: 14
На положении ученика *(лат.).*

был самым веселым человеком в мире и самым великодушным критиком, и он терпеть не мог говорить о том, чем не мог восхищаться. Так что тему Сомса мне пришлось оставить. Сообщение, что у Сомса есть рента, умерило мою тревогу за него. Впоследствии я узнал, что он был сыном неудачливого и уже скончавшегося книгопродавца в Престоне, но получил в наследство ежегодную ренту в 300 фунтов от тетки, и что других родственников у него нет. Стало быть, материально он был «обеспечен». Но оставался аспект духовный, который теперь стал мне еще более очевиден, — ведь даже похвала в «Престон телеграф» могла бы, видимо, не появиться, не будь он сыном престонского жителя. У этого парня было какое-то вялое упорство, упорство, которым я не мог не восхищаться. Ни он сам, ни его творчество не встречали даже малейшего поощрения, однако он неуклонно держался как значительная личность — его маленький потрепанный флажок все время гордо реял. Где бы ни собирались jeunes feroces[15] различных искусств, то ли в недавно ими облюбованном ресторане в Сохо, то ли в каком-либо мюзик-холле, там бывал

[15] Примечания: 15
Молодые дикари *(франц.)*.

и Сомс среди них, вернее, где-то на обочине, — тусклая, но непременная фигура. Он никогда не пытался ублажить собратьев по перу, никогда не изменял своего высокого мнения о собственном творчестве и презрительной оценки их произведений. С художниками держался почтительно, даже смиренно, но что до поэтов и прозаиков «Желтой книги», а позже «Савойи», тут у него не находилось иных слов, кроме бранных. На него не обижались. Никто не обращал внимания ни на него, ни на его католический сатанизм. Когда осенью 1896 года он издал (на сей раз за свой счет) третью и последнюю свою книгу, никто не сказал ни слова в похвалу ил и в осуждение. Я собирался ее купить, но забыл. Так я ее и не видел и со стыдом признаюсь, что даже не помню ее названия. Но когда она вышла, я, помнится, сказал Ротенстайну, что, по-моему, бедняга Сомс поистине трагическая фигура, и я убежден, что он буквально умирает из-за отсутствия признания. Ротенстайн иронически усмехнулся. Он сказал, что я пытаюсь показать, будто у меня доброе сердце, чего на самом-то деле нет, и, пожалуй, он был прав. Но через несколько дней на вернисаже в «Новом английском клубе искусств» я увидел пастельный портрет с подписью «Энох

Сомс, эсквайр». Портрет был очень похож, и для Ротенстайна было очень характерно, что он его сделал. Сомс в своей мягкой шляпе и непромокаемом плаще простоял возле портрета весь день. Каждый знавший его мог сразу же узнать, чей это портрет, однако никто из тех, кто его не знал, не угадал бы по портрету, что рядом стоит оригинал. Портрет «существовал» гораздо весомей, чем Сомс, это уж безусловно. И в нем не было неопределенно счастливого выражения, которое в тот день озаряло — да, да! — лицо Сомса. Слава овеяла его своим дыханием. Еще два раза в течение месяца я заглянул в «Новый английский», и оба раза Сомс был там. Оглядываясь назад, я полагаю, что конец этой выставки был концом его карьеры. Он ощутил дыхание Славы на своей щеке — так поздно, так ненадолго, и когда оно ушло, он сник, подался, выдохся. Он, который никогда не выглядел ни крепким, ни здоровым, теперь стал и вовсе похож на привидение — тень тени того, кем был прежде. Он еще посещал зал для домино, но, утратив желание возбуждать любопытство, он там уже книг не читал.

— Вы теперь читаете только в Музее? — спросил я с деланной шутливостью.

Он сказал, что теперь туда совсем не ходит.

— Там нет абсента, — пробормотал он.

Такую фразу он в прежние времена сказал бы ради эффекта, но теперь это было сказано с убеждением. Абсент, прежде лишь черточка его «личности», которую он столь тщательно выстраивал, стал теперь утешением и необходимостью. Сомс уже не называл его sorciere glauque. Он отказался от всех своих французских фразочек. Он стал простым, без всякого лоска, уроженцем Престона.

В неудаче, если она простая, без лоска, законченная неудача, даже если она вам неприятна, бывает нечто патетическое. Я стал избегать Сомса, чувствуя себя в его присутствии несколько вульгарным. К этому времени Джон Лейн опубликовал две моих книги, и они имели не слишком широкий, но приятный успех и признание. Я был — пусть не крупной, но вполне признанной — «личностью». Фрэнк Харрис предложил мне порезвиться на страницах «Сатэрдей Ревью», Альфред Хармсуфт зазывал меня в «Дейли мейл». Я был как раз тем, чем желал быть Сомс. И при нем мой глянец как-то тускнел. Знай я наверняка, что он действительно и всерьез верит в значительность того, что он создал как художник, я, быть может, не чуждался бы его. Человека, не

вполне утратившего тщеславие, еще нельзя считать полным неудачником. Но самоуверенность Сомса была моей иллюзией. Однажды, в первую неделю июня 1897 года, эта иллюзия исчезла. Но вечером того же дня исчез также Сомс.

Почти все утро я провел вне дома и, так как возвращаться на ланч было уже поздно, я зашел в «Vingtieme»[16]. Это небольшое заведение — «Restaurant du Vingtieme Siecle»[17], как оно полностью называлось, — было в 1896 году обнаружено поэтами и прозаиками, но затем оказалось более или менее оттеснено другими, более поздними «находками». Кажется, оно так и не сумело оправдать свое название, однако в то время оно еще существовало на Грик-стрит, невдалеке от площади Сохо и почти напротив дома, где в первые годы нашего века маленькая девочка и юноша, ее товарищ, звавшийся Де Куинси, томимые темнотой и голодом, устраивали себе ночное пристанище средь пыли и крыс и старинных юридических пергаментов. «Vingtieme» представлял собою всего лишь небольшой зальчик с белеными стенами, на одном конце которого

---

[16] Примечания: 16
«Двадцатый» *(франц.).*

[17] Примечания: 17
«Ресторан двадцатого века» *(франц.).*

была дверь, выходившая на улицу, а на другом — дверь в кухню. Владелец, он же повар, был француз, мы звали его мосье Вентьем; прислуживали посетителям две его дочери, Роза и Берта, и кормили там, судя по отзывам, недурно. Столики были такими узкими и стояли так тесно, что их там размещалось двенадцать, по шесть вдоль двух стен.

Когда я вошел, заняты были всего два столика, ближайшие ко входу. За одним сидел рослый, упитанный, мефистофельского вида господин, которого я иногда встречал в зале для домино и кое-где еще. За другим сидел Сомс. В залитом солнцем зале они представляли странный контраст — изможденный Сомс в неизменных своих шляпе и плаще, которые он теперь не снимал, видимо, круглый год, и тот, другой, вызывающе жизнелюбивый человек, увидев которого, я, уже не впервые, спросил себя, кто он — торговец бриллиантами, заговорщик или владелец частного сыскного агентства. Я был уверен, что мое общество Сомсу нежеланно, однако спросил его — не сделать этого было бы невежливо, — могу ли я присоединиться к нему, и сел напротив него. Он молча курил сигарету, перед ним стояла тарелка с нетронутым рагу из какой-то дичи и полупустая

бутылка сотерна. Я сказал, что приготовления к Юбилею[18] сделали Лондон невыносимым. (На самом деле, мне это нравилось.) Я заявил, что намерен уехать сразу, как только все это закончится. Но напрасно я старался подстроиться к его унынию. Он, казалось, меня не слышит и даже не видит. Я почувствовал, что становлюсь смешон в глазах нашего соседа. Проход между двумя рядами столиков в «Vingtieme» был вряд ли шире двух футов (Роза и Берта, обслуживая клиентов, едва могли там разминуться и, сталкиваясь, всякий раз бранились шепотом), и каждый сидевший за ближайшим столиком другого ряда практически оказывался как бы за нашим столиком. Я подумал, что нашего соседа забавляют мои неудачные попытки расшевелить Сомса, и так как не мог ему объяснить, что моя настойчивость продиктована чистым милосердием, я умолк. Даже не поворачивая головы, я все время его хорошо видел. Я надеялся, что выгляжу менее вульгарно, чем он, по сравнению с Сомсом. Я был уверен, что он не англичанин, но какой же он национальности? Хотя его агатово-черные волосы были подстри-

[18] Примечания: 18

Речь идет о праздновании в 1897 г. шестидесятилетия правления королевы Виктории.

жены en brosse[19], мне показалось, что он не француз. С обслуживающей его Бертой он бегло говорил по-французски, однако с не вполне французскими оборотами и акцентом. Я решил, что он, вероятно, впервые в «Vingtieme», но Берта обходилась с ним довольно бесцеремонно — видно, он произвел на нее неважное впечатление. Глаза у него были красивые, но — подобно столикам в «Vingtieme» — слишком узкие и слишком близко поставленные. Нос крючковатый, а кончики нафабренных, загнутых кверху усов придавали особую рельефность его улыбке. Положительно, он выглядел зловеще. И мое ощущение неловкости от его присутствия еще усиливал пунцовый жилет, который туго, не по июньской погоде, обтягивал его широкую грудь. Впрочем, жилет этот был неуместен не только из-за жары. В нем самом было что-то неуместное. Он плохо бы выглядел и в рождественское утро. Он внес бы фальшивую ноту и на первом представлении «Эрнани». Я старался определить для себя, в чем его неуместность, когда Сомс прервал молчание неожиданной и странной фразой.

— Через сто лет! — произнес он как бы в тран-

---

[19] Примечания: 19
Стрижка бобриком *(франц.)*.

се.

— Нас здесь не будет! — поспешно и глупо прибавил я.

— Нас здесь не будет. Не будет, — повторил он, — зато Музей будет стоять на том же месте. И читальный зал будет на том же месте. И люди смогут приходить туда и читать.

Он порывисто вздохнул, и гримаса подлинного страдания исказила его лицо.

Я не понимал, какой ход мыслей привел Сомса к такому утверждению. Это не стало мне яснее и тогда, когда после долгой паузы он сказал:

— Вы думаете, мне было безразлично.

— Безразлично — что, Сомс?

— Пренебрежение. Неудача.

— Неудача? — сказал я сочувственно. — Неудача? — повторил я задумчиво. — Пренебрежение — да, возможно, но это совсем другое дело. Разумеется, вас не оценили. Но что из того? Всякому художнику, который — который дает... — Я хотел сказать следующее: «Всякому художнику, который дает миру истинно новые, великие произведения, всегда приходится долго ждать признания», — однако лесть не шла — перед его таким подлинным, неприкрытым страданием мои уста не могли выговорить эти слова.

И тогда — он выговорил их вместо меня. Я покраснел.

— Вы это хотели сказать, не правда ли? — произнес он.

— Откуда вы узнали?

— Это то, что вы сказали мне три года тому назад, когда были опубликованы «Фунгоиды».

Я покраснел еще сильней. И совершенно напрасно.

— Это единственные стоящие слова, которые я когда-либо слышал, — продолжал он. — И я никогда их не забывал. Это бесспорная истина. Ужасная истина. Но — помните ли вы, что я ответил? Я сказал: «Я не дал бы за признание и одного су». И вы мне поверили. Вы и потом верили, что я выше подобных вещей. Вы судите поверхностно. Что можете вы знать о чувствах человека моего сорта? Вы воображаете, что веры великого художника в себя и приговора потомства достаточно, чтобы быть счастливым... Вы не подозреваете всей горечи и одиночества, которые... — Его голос прервался, но он быстро оправился от волнения и заговорил с такой силой, какой я никогда в нем не предполагал. — Потомство! Мне-то какая польза от него? Покойник не знает, что люди приходят на его могилу — посещают место его рождения

— вешают мемориальные доски — водружают памятники. Покойник не может читать написанные о нем книги. Через сто лет! Подумайте об этом! Если бы я мог через сто лет ожить — хотя бы на несколько часов — и пойти в читальный зал и прочитать! Или — еще лучше: если бы я мог сейчас, в это мгновение, перенестись в это будущее, в этот читальный зал, хотя бы на эти послеполуденные часы! Ради этого я бы продал дьяволу и тело, и душу! Только подумайте — бесчисленные страницы в каталоге: «СОМС, ЭНОХ», бесчисленные издания, комментарии, предисловия, биографии...

Но здесь его прервал внезапный громкий скрип стула у соседнего столика. Наш сосед привстал. Как бы извиняясь за вмешательство, он наклонился в нашу сторону.

— Простите, разрешите мне, — мягко сказал он, — я не мог не слышать. Могу ли я позволить себе смелость? В этом маленьком ресторанчике sans facon[20], — он широко развел руками, — могу я, как говорится, «включиться в разговор»?

Мне ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть. В дверях кухни появилась Берта — она

---

[20] Примечания: 20
Без церемоний *(франц.)*.

думала, что посетитель хочет попросить счет. Махнув сигарой, он дал ей знак удалиться и в следующий миг сел рядом со мной, глядя в лицо Сомсу.

— Хотя я не англичанин, — объяснил он, — мой Лондон я хорошо знаю, мистер Сомс. Ваше имя и слава — а также мистера Бирбома — мне хорошо известны. Вы, конечно, спросите: кто я? — Он быстро оглянулся через плечо и, понизив голос, сказал: — Я Дьявол.

Против воли я рассмеялся. Я пытался сдержаться, я знал, что смеяться здесь не над чем, мне было стыдно своей невоспитанности, — но я смеялся все пуще и пуще. Спокойно-достойный вид Дьявола, удивление и досада в приподнятых бровях его только еще больше раззадорили меня. Я раскачивался вперед и назад, я со стоном откидывался на спинку стула. Я вел себя ужасно.

— Я джентльмен, — сказал он с подчеркнутой серьезностью, — и я полагал, что нахожусь в обществе джентльменов.

— Ох, не надо! — я даже слегка приоткрыл рот. — Ох, не надо!

— Занятно, nicht wahr?[21] — услышал я, как он

---

[21] Примечания: 21
Не правда ли? *(нем.)*

обращается к Сомсу. — Есть такой сорт людей, для кого одно лишь упоминание моего имени — ох-как-ужасно-смешно! В ваших театрах достаточно какому-то дураку актеришке сказать «Дьявол!», и мгновенно они ему отвечают «громким смехом, признаком пустой головы». Разве не так?

Тут уж я немного отдышался и принес ему свои извинения. Он принял их, хотя и холодно, и снова обратился к Сомсу.

— Я человек дела, — сказал он, — и всегда предпочитаю действовать «не мешкая», как говорят в Штатах. Вы поэт. Les affaires[22] вам ненавистны. Пусть так. Но со мною вы ведь согласны иметь дело? То, что вы только что сказали, вселяет в меня большие надежды.

Сомс не ответил, только закурил другую сигарету. Теперь он сидел, наклонясь вперед, расставив локти на столе, опираясь головой на кисти рук, и глядел на Дьявола.

— Продолжайте, — кивнул он.

Мне теперь было уже не до смеха.

— Наша небольшая сделка будет тем более забавной, — продолжал Дьявол, — что вы — я не ошибаюсь? — сатанист.

---

[22] Примечания: 22
Дела *(франц.).*

— Католик-сатанист, — сказал Сомс.

Дьявол добродушно принял поправку.

— Вы желаете, — продолжал он, — посетить сейчас — в-этот-самый-день — читальный зал Британского Музея. Так? Но через сто лет. Так? Parfaitement[23]. Время — это иллюзия. Прошлое и будущее — всегда столь же вечно-настоящие, как настоящее, только в какой-то мере, чуть-чуть, как говорится, «вот тут, за углом». Я включаю вас в любую дату. Я посылаю вас — фьюить! Вы желаете находиться в читальном зале, каким он будет после полудня третьего июня тысяча девятьсот девяносто седьмого года? Вы желаете в эту самую минуту оказаться на пороге этого зала. Так? И оставаться там до часа закрытия? Я верно говорю?

Сомс кивнул.

Дьявол посмотрел на свои часы.

— Десять минут третьего, — сказал он. — Время закрытия летом будет такое же, что и сейчас: семь часов. Я сегодня ужинаю dans le monde — dans le higlif[24]. Этим завершится мое посещение вашего великого города. Я приду сюда и заберу вас, Сомс,

---

[23] Примечания: 23

Превосходно *(франц.).*

[24] Примечания: 24

В свете — в высшем свете (смеш. и искаж. *франц,* и *англ.).*

по дороге домой.

— Домой? — повторил я.

— Да, это хотя и скромный, но мой дом, — с улыбкой сказал Дьявол.

— Согласен, — сказал Сомс.

— Сомс! — не выдержал я. Но мой друг и ухом не повел.

Дьявол сделал движение рукою, словно хотел ее протянуть через стол и коснуться кисти Сомса, однако не довершил жест.

— Через сто лет, так же, как и теперь, — улыбнулся он, — в читальном зале курить не разрешается. Поэтому вам лучше бы...

Сомс вынул изо рта сигарету и бросил ее в свой стакан с сотерном.

— Сомс! — опять воскликнул я. — Вы же не можете...

Однако Дьявол теперь все же протянул руку через стол и слегка ее опустил — на скатерть. Стул Сомса был пуст. Его намокшая сигарета плавала в стакане с вином. Это было единственное, что от него осталось.

На несколько мгновений Дьявол подержал руку на том же месте, с пошлым торжеством поглядывая на меня уголком глаз.

Меня проняла дрожь. Едва владея собою, я под-

нялся со стула.

— Очень остроумно, — сказал я с деланной снисходительностью. — «Машина времени» — восхитительная книга. Не правда ли? Такая оригинальная!

— Вам угодно шутить, — сказал Дьявол, также вставая, — но одно дело писать о невозможной машине и совсем другое — быть Сверхъестественной Силой.

Как бы там ни было, а я его уколол!

Услыхав, что мы встали из-за стола, подошла Берта. Я объяснил ей, что мистеру Сомсу пришлось уйти, но что он и я будем сегодня здесь обедать. Выйдя на улицу, я почувствовал головокружение. У меня осталось самое смутное воспоминание о том, что я потом делал, где бродил в ярком солнечном свете этого бесконечного дня. Вспоминаю стук плотницких молотков вдоль всей улицы Пикадилли и хаотический вид голых, полузавершенных трибун. Было ли это в Грин-Парке или в Кенсингтонском саду, или еще где-то, но, помнится, я сидел на скамье под деревом, пытаясь читать вечернюю газету. В передовой статье там была фраза, которая врезалась в мой измученный мозг: «Мало что может укрыться от этой августейшей Особы, полной

мудрости, накопленной за шестьдесят лет правления». Вспоминаю, что я с отчаянием сочинял письмо (чтобы его отвез в Виндзор нарочный с поручением ждать ответа):

«Мадам! Зная, что Ваше Величество полны мудрости, накопленной за шестьдесят лет правления, я решаюсь просить Вашего совета в следующем деликатном деле. Мистер Энох Сомс, чьи стихи Вам, возможно, известны или же неизвестны...»

Неужто не было никакого способа помочь ему — спасти его? Сделка есть сделка, и я ни в коем случае не стал бы помогать или подстрекать кого-либо уклониться от разумного обязательства. Я бы и пальцем не шевельнул, чтобы спасти Фауста. Но бедняга Сомс! Он обречен без всякой отсрочки уплатить вечными муками всего лишь за бесплодные поиски в каталоге и горькое разочарование...

Мне казалось диким и жутким, что он, Сомс, как он был, во плоти, в непромокаемом плаще, живет в эту минуту в последнем десятилетии следующего века, склоняется над еще не написанными книгами, видит еще не родившихся людей, и они его видят. Еще более дико и жутко, что нынче вечером и притом навек он окажется в Аду. Нет, положительно, правда бывает куда

более странной, чем вымысел.

Этот день был бесконечно долгим. Я чуть не сожалел, что не отправился вместе с Сомсом — конечно, не для того, чтобы посидеть в читальном зале, но чтобы совершить хорошую прогулку и взглянуть на новый Лондон. Я все бродил и бродил по парку. Тщетно пытался воображать себя любознательным туристом из восемнадцатого века. Мучительно тянулись бесконечно долгие, пустые минуты. Намного раньше семи часов я уже опять был в «Vingtieme».

Я сел на то же место, где сидел днем. Безмятежно поддувал мне в спину ветерок из открытой входной двери. То и дело в зале на минутку появлялись Роза или Берта. Я сказал им, что не буду заказывать обед, пока не явится мистер Сомс. На улице заиграла шарманка, заглушая шум каких-то ссорящихся французов. В паузах между пьесами я слышал, что перебранка продолжается. По дороге в ресторан я купил еще одну вечернюю газету. Я развернул ее. Но глаза мои были устремлены на часы, висевшие над дверью в кухню...

Оставалось пять минут до срока! Я вспомнил, что часы в ресторанах ставят на пять минут вперед. Я уставился в газету. Я поклялся больше не отводить от нее глаз. Я держал газету стоймя,

развернув ее на полную ширину, держал у самого лица, так что, кроме нее, ничего не видел... Страницы ее дрожали. Это только из-за сквозняка, сказал я себе.

Руки у меня одеревенели, стали побаливать, но я уже не мог их опустить. У меня появилось подозрение, нет, уверенность. Ну, и что будет дальше?.. Разве я пришел ради чего-то другого? Однако я твердо держал газету, как заслон. Только звук быстрых шагов Берты, спешившей из кухни, заставил меня опустить газету и сказать:

— Что мы будем есть, Сомс?

— Il est souffrant, ce pauvre Monsieur Soames?[25] — спросила Берта.

— Он просто — устал. — Я попросил немного вина и какую-нибудь еду, которая уже приготовлена. Сомс сидел, склонясь над столом, в точности так, как сидел раньше. Казалось, он не сдвинулся с места — он, который побывал так невообразимо далеко от этого места. Днем мне раз или два приходило в голову, что, быть может, его путешествие оказалось не бесплодным — что, быть может, мы все заблуждались в нашей оценке произведений Эноха Сомса. Но, с одного взгляда

---

[25] Примечания: 25
Он что, болен, этот бедный мосье Сомс? *(франц)*

на него, было убийственно ясно, что мы были убийственно правы.

— Не отчаивайтесь, — однако сказал я, запинаясь. — Возможно, вы просто выбрали слишком близкий срок. Возможно, через два или три века...

— Да, — послышался его голос, — я об этом думал.

— А теперь — теперь поговорим о более близком будущем! Где вам спрятаться? Что, если вам сесть на Чаринг-Кросс в парижский экспресс? Вы сэкономите почти час. В Париж не надо ехать. Остановитесь в Кале. Ему никогда не придет в голову искать вас в Кале.

— Такое уж мое счастье! — сказал он. — Последние часы на земле я должен провести с ослом! — Я, правда, не обиделся. — Да еще с коварным ослом, — прибавил он непонятную фразу, бросая мне через стол смятый клочок бумаги, который он держал в руке. Я глянул на то, что там написано, — какая-то тарабарщина! С раздражением я отложил ее.

— Послушайте, Сомс! Соберитесь с духом! Это не просто вопрос жизни или смерти. Поймите, речь идет о вечных муках! Неужели вы намерены сидеть здесь и тупо ждать, пока Дьявол не явится

за вами?

— Я ничего не могу сделать. У меня нет выбора.

— Ну же! Вот они, ваши надежда и поддержка, да еще с лихвой! Вот вам безумие сатанизма! — Я налил ему в стакан вина. — Конечно, теперь, когда вы воочию видели эту скотину...

— Не надо его оскорблять.

— Вы должны признать, Сомс, что в нем нет ничего мильтоновского.

— Я бы не сказал, что он сильно отличается от того, что я ожидал.

— Он пошляк, он самодовольный матерый разбойник, он из того сорта людей, которые рыщут по коридорам вагонов в поездах, идущих в Ривьеру, и крадут у дам шкатулки с драгоценностями. Только вообразите себе вечные муки, которыми распоряжается он!

— Надеюсь, вы не думаете, что я их жажду?

— Тогда почему бы вам тихонько не ускользнуть?

Я наливал ему стакан за стаканом, и он машинально их выпивал, однако вино не разожгло в нем ни искры предприимчивости. Он ничего не ел, я тоже едва прикоснулся к еде. По правде, я не думал, что какой-либо порыв к свободе мог бы

его спасти. Погоня будет молниеносной, поимка неизбежной. Но что угодно лучше, чем это пассивное, безвольное, жалкое ожидание. Я сказал Сомсу, что, ради чести рода человеческого, ему следовало бы выказать хотя бы подобие сопротивления. Он спросил, а что род человеческий сделал для него.

— К тому же, — сказал он, — как вы не понимаете, что я в его власти? Вы видели, как он ко мне притронулся, видели? Конец может быть только один. У меня нет воли, на мне печать.

В отчаянии я махнул рукой. Он все повторял слово «печать». Я сообразил, что вино затуманило его мозг. И неудивительно! Он отправился в будущее натощак и теперь тоже пил натощак. Я заставил его съесть хотя бы кусочек хлеба. Невыносимо было думать, что он, у которого так много есть чего сообщить, может ничего не рассказать.

— Как все это было, — спросил я, — там? Ну же, расскажите о ваших похождениях.

— Получится отличный рассказик, так ведь?

— Сомс, мне ужасно жаль вас, и я нисколько на вас не обижаюсь, но какое право вы имеете подозревать, что я о вас сочиню рассказик, как вы это назвали?

Бедняга прижал ладони ко лбу.

— Я сам не знаю, — сказал он. — Какая-то причина у меня была, это точно. Я постараюсь вспомнить.

— Вот и хорошо. Постарайтесь вспомнить все. Съешьте еще кусочек хлеба. Какой вид был у читального зала?

— Ну, обыкновенный, — пробормотал он, подумав.

— Народу много?

— Как обычно.

— Как они выглядели?

Сомс, видимо, постарался их себе представить.

— Все они, — наконец сказал он, — были очень похожи друг на друга.

Меня вдруг как бы осенило.

— Все в шерстяных костюмах?

— Да, кажется, так. Из какой-то серо-желтой ткани.

— Вроде форменной одежды? — Он кивнул. — Возможно, с номером? С номером на большой круглой бляхе, нашитой на левом рукаве? Что-нибудь вроде DKF78910?

— Да, так оно и было.

— И все они, и мужчины, и женщины, выглядели очень ухоженными? Как в Утопии? И от всех сильно пахло карболкой? И все совершенно

лысые?

Я все угадывал правильно. Сомс только не был уверен, были ли мужчины и женщины лысыми или с бритыми головами.

— У меня не было времени пристально их разглядывать, — объяснил он.

— Ну ясно. Однако...

— Могу вам сказать, что они-то смотрели на меня. Я явно привлек их внимание. — Наконец ему это удалось! — Мне даже кажется, что меня пугались. Когда я к ним приближался, они отходили в сторону. Они следовали за мной на расстоянии, куда бы я ни пошел. У служащих библиотеки за круглой стойкой в центре зала появлялось выражение чуть ли не панического ужаса, когда я подходил за справкой.

— Что вы делали, очутившись там?

Ну естественно, он сразу направился к каталогу — к томам на «S» и долго простоял перед «SN — SOP», не в силах снять этот том со стеллажа — так отчаянно колотилось сердце. Сперва, сказал Сомс, он не слишком разочаровался — он только подумал, что, возможно, у них какое-то новое расположение статей. Он подошел к стойке в центре и спросил, где стоит каталог книг двадцатого века. Ему сказали, что каталог у них один.

Он снова стал искать свое имя, смотрел том со столь знакомыми ему тремя буквами. Затем сел и просидел долго.

— И тогда, — пробормотал он, — я посмотрел «Биографический словарь» и несколько энциклопедий... И опять подошел к стойке в центре и спросил, где находятся лучшие современные труды по литературе конца девятнадцатого века. Мне отвечали, что самой лучшей считается книга мистера Т. К. Наптона. Я нашел ее в каталоге и заполнил формуляр. Мне ее принесли. В указателе моего имени не было, но... Ах, да! — сказал он внезапно изменившимся тоном. — Вот то, что я забыл! Где тот клочок бумаги? Отдайте мне его.

Я тоже забыл про эту записку с какой-то абракадаброй. Я нашел ее на полу и подал Сомсу.

Он разгладил бумажку, качая головой и недобро усмехаясь.

— И вот я стал просматривать книгу Наптона, — произнес он наконец. — Нелегкое чтение. Что-то вроде фонетической транскрипции... Так написаны все их новые книги, которые я видел.

— Тогда, Сомс, довольно! Я больше ничего не хочу слышать.

— Имена собственные вроде бы писались по-старому. Не то я мог бы не заметить своего

имени.

— Вашего имени? В самом деле? О, Сомс, я очень рад.

— И вашего.

— Не может быть!

— Я подумал, что вечером застану вас здесь. Поэтому я не поленился переписать этот абзац. Читайте.

Я выхватил у него бумажку. Почерк у Сомса был характерно тусклый, нечеткий. Из-за этого, да еще из-за гнусного фонетического письма и моего волнения мне с трудом удавалось понять, что хочет сказать Т. К. Наптон.

Документ этот лежит передо мной. Странно думать, что слова, которые я сейчас переписываю для вас, были переписаны Сомсом через семьдесят восемь лет...

> Стр. 234 «Английская литература 1890—1900 гадов» Т. К. Наптона, издана в Штатах в 1992 гаду: «К примеру писатель таво пириода па имини Макс Бирбом, каторый ищо был жиф в двадцатом веке, сачинил раскас, где он изабразил вымышленава им пирсанажа, назвав ево „Энох Сомс“, третьисортнава паэта, каторый считаит

сибя виликим гением и заключат зделку з Дьяволом, штоп узнать, што скажит а нем патомства. Эта слихка бескусная, но ни лишеная астраумия сатира паказываит, как сирйозно васпринимали сибя маладые люди паследних дисятилетий прошлава века. Типерь, кагда литературная прафесия арганизована как дипартамент апщественай слушбы, наши писатели паставлены на должный уравень и научились испалнять сваю абязанасть ни тривожась а завтрашнем дне. „Сапожник знай сваи калотки“ — и фсе тут. Слава богу, сриди нас типерь нет Энохов Сомсов!»

Я обнаружил, что, произнося слова вслух (эту методу я предлагаю и моим читателям), я постепенно начинаю их понимать. Чем яснее становится их смысл, тем сильнее овладевали мной изумление, отчаяние и ужас. Это походило на кошмарный сон. Где-то вдали огромное жутковатое будущее, уготованное нашей бедной, милой литературе; здесь, за столом, вперивший в меня взор, от которого меня бросало в жар, бедняга Сомс, которого очевидно... Но нет! Как бы

низко ни опустился я с годами, я никогда не стал бы такой скотиной, чтобы...

Я снова перечитал записку. «Вымышленый» — но ведь персонаж Сомс был не более вымышленным, увы, чем я сам. А что, черт побери, означает «бескусная»? (Я и поныне не уразумел смысл этого слова.)

— Все это весьма огорчительно, — промямлил я наконец.

Сомс ничего не сказал, безжалостно не сводя с меня глаз.

— Вы уверены, — попытался я выиграть время, — вполне уверены, что правильно переписали этот пассаж?

— Вполне.

— Ну, тогда, значит, это проклятый Наптон сделал — сделает — совершенно идиотскую ошибку... Послушайте, Сомс, вы ведь слишком хорошо меня знаете, чтобы предполагать, будто я... В конце концов, имя и фамилия «Макс Бирбом» вовсе не такая уж редкость, и Энохов Сомсов наверняка тоже есть несколько — имя, вернее, сочетание «Энох Сомс» может прийти в голову любому писателю, который пишет рассказы. Я не пишу рассказов — я эссеист, наблюдатель, нравоописатель... Признаю, что это совпадение

поразительное. Но вы должны понять...

— Я прекрасно все понимаю, — спокойно сказал Сомс. И прибавил, слегка в прежней своей манере, но с чувством собственного достоинства, какого я в нем еще не видел: — Parlons d'autre chose...[26]

Я с готовностью принял это предложение. Я сразу заговорил о ближайшем будущем. Большую часть этого долгого вечера я снова убеждал Сомса сбежать и поискать себе убежище где-нибудь подальше. Помнится, напоследок я сказал, что ежели мне и в самом деле суждено написать о нем, то этот предполагаемый «раскас» я, по крайней мере, завершу хорошим концом. Эти последние слова Сомс повторил с язвительной насмешкой.

— В Жизни и в Искусстве, — сказал он, — самое главное — неотвратимый конец.

— Однако, — попытался я изобразить уверенность, которой не чувствовал, — конец, которого можно избежать, не неотвратим.

— Вы не художник, — прохрипел он. — Настолько не художник, что, не умея придумать что-либо и представить вымысел как истину, вы даже

---

[26] Примечания: 26
Поговорим о чем-нибудь другом *(франц.)*.

истину представите так, что она покажется вымыслом. Вы жалкий ПАЧКУН. Такое уж мое счастье!

Я возразил, что жалкий ПАЧКУН это не я — то есть буду им не я, — но Т. К. Наптон, и у нас возник довольно бурный спор, в разгаре которого мне вдруг показалось, будто Сомс осознал, что он неправ: он прямо-таки физически сник. Я подумал, с чего бы это, — и тут же, вздрогнув, я понял причину: он смотрел мимо меня, на входную дверь. Ее проем заполнила фигура «неотвратимого конца». Я все же сумел повернуться на стуле и сказать с притворной беспечностью:

— А, это вы? Заходите!

Страху у меня и впрямь поубавилось при виде этого типа, так нелепо похожего на злодея в мелодраме. Блеск его надетого набекрень цилиндра и крахмальной манишки, жест, которым он то и дело подкручивал усы, но более всего высокомерная его усмешка, убеждали меня, что он здесь потерпит неудачу.

Один шаг — и он у нашего столика.

— Извините, — сказал он, ухмыляясь, — что я помешал вашей приятной беседе, но...

— Отнюдь, вас-то нам и недоставало, — заверил я его. — Мистер Сомс и я хотели бы немного пого-

ворить с вами. Не желаете ли присесть? Мистеру Сомсу его сегодняшнее путешествие не принесло никакой — ну ровным счетом никакой — пользы. Мы не хотим сказать, что вся эта затея — надувательство, обычное надувательство. Напротив, мы верим, что у вас были благие намерения. Но, конечно, ваша сделка с ее условиями расторгается.

Дьявол не сказал в ответ ни слова. Он только глянул на Сомса и указал негнущимся пальцем на дверь. Сомс неуклюже поднимался со стула, когда я, отчаянным быстрым движением, схватил два ножа, лежавших на столе, и сложил их крест-накрест. Дьявол резко попятился и, прислонясь к столику позади себя, весь дрожа, отвернулся.

— А вы не суеверны! — прошипел он.

— Ни капельки, — улыбнулся я.

— Сомс, — приказал он, будто своему подчиненному, но не поворачивая лица, — положите ножи рядом!

Сделав моему другу запрещающий жест, я с пафосом обратился к Дьяволу.

— Мистер Сомс, — сказал я, — сатанист-католик!

Но бедный мой друг исполнил приказ Дьявола, а не мой; под неотвратимым взглядом своего господина он встал и протиснулся мимо меня. Я

хотел было заговорить, но заговорил он.

— Постарайтесь, — умоляюще сказал он, обернувшись ко мне, пока Дьявол грубо выталкивал его за дверь, — постарайтесь дать им знать, что я существовал!

Еще мгновение, и я тоже был за дверью. Я стоял на улице и смотрел во все стороны — направо, налево, напротив. Светила луна, светили фонари, но ни Сомса, ни того другого — не было.

Я стоял ошеломленный. Ошеломленный, вернулся наконец в маленький зал — кажется, я расплатился с Бертой или с Розой за обед и за ланч за себя и за Сомса; надеюсь, что так, потому что в «Vingtieme» я больше никогда не заходил. С той ночи я вообще избегал Грик-стрит. И многие годы нога моя не ступала даже на площадь Сохо, ибо именно по ней я всю ту ночь бродил и кружил с чувством смутной надежды, не покидающей человека, пока он не удалился от места, где что-то потерял... «По площади безлюдной в час ночной» — эта строка вспомнилась мне во время моей одинокой прогулки, а с ней и все стихотворение; оно звучало у меня в ушах, убеждая в том, сколь трагически отличалась веселая сценка, придуманная поэтом, от его нынешней действительной встречи с тем владыкой, на которого, среди всех

владык, мы менее всего должны уповать.

Однако — странно, как ум писателя, даже столь потрясенный, не перестают осаждать мечты и грезы, — я вспоминаю, что остановился перед широким крыльцом, спрашивая себя, не те ли это ступени, на которых лежал юный больной Де Куинси, меж тем как бедняжка Энн со всех ног бежала на Оксфорд-стрит, эту «мачеху с каменным сердцем» их обоих, а потом вернулась с тем «стаканом портвейна и специями», которые — так он считал — спасли ему жизнь. Было ли это то самое крыльцо, к которому в старости Де Куинси потом не раз приходил, дабы его почтить? Я размышлял о судьбе Энн, о причине ее внезапного исчезновения, бегства от ее юного друга и винил себя за то, что это прошлое для меня заменяет настоящее. Бедный исчезнувший Сомс!

Что до меня самого, тут я тоже начал тревожиться. Что мне теперь надо предпринять? Поднимется переполох — «Таинственное исчезновение писателя» и тому подобное? В последний раз его видели, когда он завтракал и обедал вместе со мною. Не лучше ли мне прямо сейчас кликнуть кэб и направиться прямо в Скотланд Ярд? Они сочтут меня сумасшедшим. В конце концов я успокоился — Лондон такой огромный

город, и исчезновение какой-то тусклой личности вполне может остаться незамеченным — особенно теперь, в слепящем сверкании грядущего Юбилея. Лучше вовсе помалкивать, решил я.

И решил правильно. Исчезновение Сомса не вызвало никакого шума. О нем совершенно забыли, прежде чем кто-либо — насколько я могу судить — заметил, что его что-то нигде не видно. Возможно, время от времени какой-либо поэт или прозаик спрашивал: «Куда подевался этот бедняга Сомс?» Но я лично ни разу такого вопроса не слышал. Вероятно, стряпчий, через которого он получал ренту, пытался что-то узнать, но никаких сведений об этом у меня не было. Что-то жуткое чудилось мне во всеобщем равнодушии к факту существования Сомса, и я не раз ловил себя на мысли, насколько Наптон, этот еще не родившийся сопляк, будет прав, считая его плодом моего воображения.

В выписке из гнусной книги Наптона есть один пункт, который, возможно, вас озадачит. Как получилось, что автор, хотя я здесь назвал его по имени и процитировал точно слова, которые он напишет, мог не осознать тот очевидный факт, что я ничего не выдумал? Ответ возможен лишь один: Наптон не прочтет последние абзацы

этих моих воспоминаний. Подобное отсутствие добросовестности — серьезный недостаток для человека, который берется за научный труд. И я надеюсь, что эти строки попадут на глаза какому-нибудь современнику и сопернику Наптона и приведут к краху Наптона.

Мне приятно думать, что между 1992-м и 1997-м кто-нибудь прочитает это сообщение и убедит мир своими неизбежными поразительными выводами. И у меня есть основания верить, что так и будет. Вы же понимаете — читальный зал, куда Сомс был перенесен Дьяволом, был во всех отношениях точно таким же, каким он будет в этот день 3 июня 1997 года. Отсюда ясно, что в этот день, когда он наступит, там будет то же самое сборище народу, будет там точно в то же время и Сомс, и он, и все они будут делать то, что делали. Теперь вспомните рассказ Сомса о том, какую он произвел сенсацию. Вы можете сказать, что одного отличия его костюма было достаточно, чтобы поразить толпу в форменной одежде. Вы бы так не говорили, если бы хоть раз его увидели. Уверяю вас, Сомс в любую эпоху был бы бесцветным, тусклым. Тот факт, что люди будут на него глазеть и ходить за ним по пятам, и явно его пугаться, можно объяснить лишь предположением,

что они каким-то образом будут предупреждены о его призрачном появлении. С жутким любопытством они будут ждать, появится ли он на самом деле. А когда он появится, впечатление, конечно, будет жуткое.

Подлинный, гарантированный, проверенный призрак, но — только призрак. Всего лишь. При своем первом посещении Сомс был существом из плоти и крови, тогда как существа, в среду которых он был заброшен, были только призраками. Я согласен — призраками материальными, осязаемыми, говорящими, но лишенными сознания, призраками-автоматами в здании, которое само было иллюзорным. В следующий раз это здание и эти существа будут реальными. Что ж до Сомса, он там будет лишь как видение. Мне хотелось бы верить, что ему суждено вновь посетить мир реально, физически, сознательно. Мне хотелось бы, чтобы у него был хоть один этот краткий просвет, эта маленькая радость, которая его бы ободрила. Мне его уже не забыть! Он там, и он там навек. Самые строгие моралисты среди вас, возможно, скажут, что он должен винить лишь самого себя. Я, со своей стороны, считаю, что он наказан слишком жестоко. Верно, что тщеславие заслуживает кары, а тщеславие Эноха Сомса было

чрезмерным и требовало особого отношения. Но такая мстительная жестокость — это уж лишнее. Вы скажете, он обязался уплатить ту цену, которую платит, это так, но я настаиваю, что его к этому вынудили обманом. Всезнающий Дьявол должен был знать, что мой друг от своего визита в будущее ничего не выиграет. Вся эта история была весьма гнусным жульничеством. Чем больше я о ней думаю, тем ненавистней становится мне Дьявол.

Его-то я потом, после того дня в «Vingtieme», несколько раз встречал то здесь, то там. Однако лишь однажды я видел его вблизи. Было это в Париже. Как-то днем я шел по улице Антен и увидел, что он идет мне навстречу — как всегда, разодетый, помахивающий тростью черного дерева, и с таким видом, будто вся улица — это его владение. При мысли об Энохе Сомсе и о мириадах других вечных страдальцев в империи этой скотины сильнейший холодный гнев нахлынул на меня, и я выпрямился во весь рост. Но, знаете, мы так привыкли кланяться и улыбаться любому знакомому, встреченному на улице, что это движение совершается почти независимо от нашей воли: чтобы удержаться от него, нужно очень резкое усилие и большое присутствие духа.

К стыду своему, когда Дьявол прошел мимо меня, я почувствовал, что киваю ему и улыбаюсь. И стыд мой был тем более глубок и жгуч, что он — только представьте! — глянул прямо мне в глаза с величайшим высокомерием.

Стерпеть унижение, намеренное унижение — от него! Меня охватила — и сейчас охватывает — ярость из-за того, что это со мной случилось.

«Семь человек» (1919)

Леон Блуа

Кто здесь царь?

Мне вспомнилась одна моя давняя мысль. Царь является правителем и духовным отцом ста пятидесяти миллионов людей. Однако лежащая на нем безмерная ответственность мнима. В сущности, перед Богом он отвечает за весьма малое число своих ближних. Если во времена его правления бедняки в его империи были угнетены, если его правление принесло неисчислимые бедствия, кто знает, не был ли истинным и единственным их виновником слуга, чистивший его обувь? А проникни наш взгляд в сокровенные глубины, кто оказался бы там царем, кто королем, а кто кичился бы тем, что он простой слуга?

«Неблагодарный попрошайка» (1898)

Радости этого мира

Сколь ужасны мысли Жанны относительно per speculum[27]. Радости этого мира могут оказаться адскими муками, увиденными в зеркале, перевернутыми.

«Горный Старец» (1909)

[27] Примечания: 27
Как бы в зеркале *(лат.)*.

Пленники Лонжюмо

Вчера «Почтальон Лонжюмо» с прискорбием сообщил о кончине супругов Фурми. Эта уважаемая газета, снискавшая заслуженную любовь подписчиков обилием и достоверностью информации, терялась в догадках относительно причин, толкнувших на самоубийство эту пару, которая считалась счастливой.

Вступив в брак в юном возрасте, они прожили двадцать лет, как молодожены, и не покидали города *ни на один день*.

Избавленные стараниями родителей от денежных забот, способных отравить семейную жизнь, щедро наделенные, напротив того, всеми благами, украшающими подобный союз, законный, разумеется, но удивительно не вяжущийся с потребностью в новизне чувств, которая извечно будоражит непостоянное человеческое сердце, они воплощали в глазах людей чудо вечной любви.

Однажды майским вечером, на следующий день после падения Тьера, они приехали в Лонжюмо на пригородном поезде в сопровождении родителей, прибывших, чтобы помочь им устро-

иться в прелестной усадьбе, которая должна была дать приют их счастью.

Добросердечные лонжюмяне с умилением взирали па эту юную пару, которую ветеринар без колебаний уподобил Полю и Виргинии.

В тот день они, в самом деле, выглядели очаровательно и напоминали бледных детей владетельного сеньора.

Мэтр Пьекю, самый влиятельный нотариус кантона, приобрел для них у въезда в город уютное, утопающее в зелени гнездышко, которому позавидовали бы мертвецы. Ибо, надо признать, что сад наводил на мысль о заброшенном кладбище. Это сходство, видимо, их не смущало, поскольку они не предприняли ничего, чтобы его сгладить, и заброшенный сад продолжал свободно разрастаться.

По глубоко оригинальному выражению мэтра Пьекю, они жили *в облаках*, почти ни с кем не общаясь, но не по злому умыслу и не из высокомерия, а просто потому, что им это в голову не приходило.

К тому же для этого пришлось бы разомкнуть объятия на несколько часов или минут, прервать восторги любви, и, право же, учитывая быстротечность жизни, можно понять этих уди-

вительных супругов, у которых не хватало на это решимости.

Один из величайших людей средневековья, мэтр Жан Толер, рассказывает историю про отшельника, к которому пришел человек попросить некий предмет, имевшийся в его келье. Отшельник счел своим долгом отправиться в келью на поиски этого предмета. Но, войдя, он забыл, зачем пришел, поскольку образ предметов материального мира не задерживался в его сознании. Он вышел и попросил посетителя напомнить ему, чего он хочет. Тот повторил просьбу. Отшельник снова пошел в келью, но, не успев взять нужную вещь, снова забыл о ней. После нескольких неудачных попыток он вынужден был сказать назойливому просителю: «Пойдите и возьмите сами то, что вам нужно, ибо *ваш образ не удерживается в моей памяти* достаточно долго, чтобы я мог выполнить вашу просьбу».

Супруги Фурми напоминали мне этого отшельника. Они охотно отдали бы все, что у них просят, если бы могли хоть на минуту удержать это в голове.

Их рассеянность была невероятной, слух о ней дошел до Корбея. Однако, судя по всему, она их не

огорчала, и их «роковое» решение лишить себя жизни, завидной во всех отношениях, кажется необъяснимым.

* * *

Одно давнее уже письмо от несчастного Фурми, с которым я был знаком еще до его женитьбы, позволило мне восстановить методом индукции всю его печальную историю.

Вот это письмо. Быть может, прочтя его, вы поверите, что мой друг не был ни сумасшедшим, ни слабоумным.

«... Уже в десятый, а то и в двадцатый раз, дорогой мой друг, мы самым непростительным образом не сдержали данного тебе обещания. Каково бы ни было твое терпение, я уверен, что больше ты не станешь нас приглашать. Действительно, в этот раз, как и во все предыдущие, нам нет оправдания. Мы написали, что ты можешь рассчитывать на наш приезд, что мы абсолютно свободны. И тем не менее опоздали на поезд, как всегда.

Вот уже *пятнадцать лет,* как мы опаздываем на все поезда и вообще на все виды транспорта, *как бы мы ни старались успеть.* Это бесконечно глупо, чудовищно нелепо, но мне начинает

казаться, что это препятствие для нас непреодолимо. Мы жертвы какого-то странного космического рока. Мы бессильны против него. Нам случалось вставать в три часа утра или даже вовсе не ложиться спать всю ночь, чтобы не опоздать, к примеру, на восьмичасовой поезд. И что же? В последний момент вдруг вспыхивал огонь в дымоходе, у меня на полпути подворачивалась нога, платье Жюльетты, зацепившись за какой-нибудь куст, оказывалось разорванным, мы засыпали на скамье в зале ожидания, и ни прибытие поезда, ни крики дежурного по вокзалу не могли нас разбудить и т. д., и т. п. В этот раз я забыл дома бумажник.

Это длится, повторяю, уже пятнадцать лет, и я чувствую, что это в конце концов нас погубит. Из-за этого я ничего не достиг в жизни, со всеми поссорился, слыву ужасным эгоистом, и моя бедная Жюльетта тоже, естественно, подвергается всеобщему осуждению. С тех пор, как мы поселились в этом проклятом месте, я пропустил семьдесят пять похорон, двенадцать свадеб, три десятка крестин и, наверно, тысячу необходимых визитов и дел. Я оставил умирать в одиночестве тещу, так и не навестив ее ни разу, хотя она болела около года, что стоило нам трех четвертей

наследства, которых она в гневе лишила нас, изменив перед смертью завещание.

Я никогда не кончу, если стану перечислять случаи своего непозволительного поведения и все неприятности, в которых повинно то невероятное обстоятельство, что мы не можем вырваться из Лонжюмо. Одним словом, мы самые настоящие *пленники*, лишившиеся отныне последней надежды, и я предчувствую, что наступит день, когда это заточение станет для нас нестерпимым...»

Я опускаю продолжение письма, где мой друг делится со мною переживаниями слишком личными, чтобы я мог предать их гласности. Но даю честное слово, что это был человек незаурядный, достойный любви своей жены, и оба они заслуживали лучшей судьбы, нежели этот бессмысленный и неприглядный конец.

Некоторые детали, которые я, с вашего позволения, сохраню в тайне, приводят меня к мысли, что несчастные супруги были и в самом деле жертвами непостижимых козней Врага рода человеческого, который через посредство нотариуса, несомненно, посланного Адом, заманил их в этот заколдованный уголок Лонжюмо, откуда уже ничто не могло их вырвать.

Я действительно убежден, что они *не могли* ускользнуть, ибо их жилище было взято в кольцо незримым *воинством,* самым отборным, специально посланным, чтобы держать их в осаде, и которому никакая сила не могла противостоять.

* * *

Знак дьявольского вмешательства я вижу в том, что супруги Фурми были одержимы страстью к путешествиям. По натуре своей эти затворники были кочевниками.

Их всегда обуревала жажда странствий. Пока они были еще женихом и невестой, их видели в Энгиене, в Шуази-ле-Руа, в Медоне, в Кламаре, в Монтрету. Однажды их занесло даже в Сен-Жермен.

В Лонжюмо, который представлялся им островом в Океании, эта страсть к дерзким, неутомимым исследованиям мира, к приключениям на суше и на море разгорелась еще сильней.

В их доме было множество глобусов и географических карт, имелись атласы английские и атласы немецкие. У них была даже карта лунной поверхности, изданная в Готе под редакцией ученого педанта по имени Юстус Пертес.

Когда они не занимались любовью, то читали

вместе книги о знаменитых мореплавателях, заполнявшие всю их библиотеку, и не существовало такого туристического журнала или газеты — от «Кругосветного путешествия» до «Бюллетеня Географического общества», на который они не были бы подписаны. Справочники железных дорог и проспекты туристических агентств сыпались на них дождем.

Трудно поверить, но у них всегда стояли наготове упакованные чемоданы. Они постоянно собирались уехать, пуститься в нескончаемое путешествие в самые дальние, самые опасные и неизведанные края.

Я сам получил сорок телеграмм с известием об их предстоящем отъезде на Борнео, на Огненную Землю, в Новую Зеландию или Гренландию.

Несколько раз они действительно чуть не уехали. Но в итоге этого не произошло, они так и не уехали никогда, ибо не в их власти было уехать. Все атомы и молекулы согласно преграждали им путь.

И все же однажды, лет десять назад, они подумали было, что наконец вырвались. Вопреки ожиданиям, им удалось вскочить в вагон первого класса, который должен был умчать их в Версаль. Свобода! Магический круг вот-вот разомкнется!

Поезд тронулся, но они остались на месте. Они сели, разумеется, в отцепленный вагон. Все вернулось к исходной точке.

Единственный путь, который был для них открыт, это, увы, тот, в который они и пустились, и, хорошо их зная, я думаю, что они готовились к нему с трепетом и содроганием.

Хорхе Луис Борхес

Тлён, Укбар, Орбис Терциус[28]

I

Открытием Укбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии. Зеркало тревожно мерцало в глубине коридора в дачном доме на улице Гаона в Рамос-Мехиа; энциклопедия обманчиво называется The Anglo-American Cyclopaedia (Нью-Йорк, 1917) и представляет собою буквальную, но запоздалую перепечатку Encyclopaedia Britannica 1902 года. Дело было лет пять назад. В тот вечер у меня ужинал Бьой Касарес и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволили бы некоторым — очень немногим — читателям угадать жестокую или банальную подоплеку. Из дальнего конца коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили (поздней ночью подобные открытия неизбежны), что в зеркалах есть что-то жуткое. Тогда Бьой Касарес вспомнил,

---

[28] Примечания: 28
Третий мир *(лат.)*.

что один из ересиархов Укбара заявил: зеркала и совокупление отвратительны, ибо умножают количество людей. Я спросил об источнике этого достопамятного изречения, и он ответил, что оно напечатано в The Anglo-American Cyclopaedia, в статье об Укбаре. В нашем доме (который мы сняли с меблировкой) был экземпляр этого издания. На последних страницах тома XXVI мы нашли статью об Упсале; на первых страницах тома XXVII — статью об «Урало-алтайских языках», но ни единого слова об Укбаре. Бьой, слегка смущенный, взял тома указателя. Напрасно подбирал он все мыслимые транскрипции: Укбар, Угбар, Оокбар, Оукбар... Перед уходом он мне сказал, что это какая-то область в Ираке или в Малой Азии. Признаюсь, я кивнул утвердительно, с чувством некоторой неловкости. Мне подумалось, что эта нигде не значащаяся страна и этот безымянный ересиарх были импровизированной выдумкой, которою Бьой из скромности хотел оправдать свою фразу. Бесплодное разглядывание одного из атласов Юстуса Пертеса укрепило мои подозрения.

На другой день Бьой позвонил мне из Буэнос-Айреса. Он сказал, что у него перед глазами статья об Укбаре в XXVI томе энциклопедии.

Имени ересиарха там нет, но есть изложение его учения, сформулированное почти в Тех же словах, какими он его передал, хотя, возможно, с литературной точки зрения менее удачное. Он сказал: «Copulation and mirrors are abominable»[29]. Текст энциклопедии гласил: «Для одного из этих гностиков видимый мир был иллюзией или (что точнее) неким софизмом. Зеркала и деторождение ненавистны (mirrors and fatherhood are hateful), ибо умножают и распространяют существующее». Я совершенно искренне сказал, что хотел бы увидеть эту статью. Через несколько дней Бьой ее принес. Это меня удивило — ведь в подробнейших картографических указателях «Erdkunde»[30] Риттера не было и намека на название «Укбар».

Принесенный Бьоем том был действительно томом XXVI Anglo-American Cyclopaedia. На суперобложке и на корешке порядковые слова были те же (Тор — Урс), что и в нашем экземпляре, но вместо 917 страниц было 921. На этих-то дополнительных четырех страницах и находилась статья об Укбаре, не предусмотренная (как чита-

---

[29] Примечания: 29
Совокупление и зеркала — отвратительны *(англ.).*

[30] Примечания: 30
«Землеведение» *(нем.).*

тель наверняка понял) словником. Впоследствии мы установили, что никаких других различий между томами нет. Оба (как я, кажется, уже говорил) — перепечатка десятого тома Encyclopaedia Britannica. Свой экземпляр Бьой приобрел на аукционе.

Мы внимательно прочли статью. Упомянутая Бьоем фраза была, пожалуй, единственным, что там поражало. Все прочее казалось весьма достоверным, было по стилю вполне в духе этого издания и (что естественно) скучновато. Перечитывая, мы обнаружили за этой строгостью слога существенную неопределенность. Из четырнадцати упомянутых в географической части названий мы отыскали только три — Хорасан, Армения, Эрзерум, — как-то двусмысленно включенные в текст. Из имен исторических — лишь одно: обманщика и мага Смердиса, приведенное скорее в смысле метафорическом. В статье как будто указывались границы Укбара, но опорные пункты назывались какие-то неизвестные — реки, да кратеры, да горные цепи этой же области. К примеру, мы прочитали, что на южной границе расположены низменность Цаи-Хальдун и дельта реки Акса и что на островах этой дельты водятся дикие лошади. Это значилось на стра-

нице 918. Из исторического раздела (страница 920) мы узнали, что вследствие религиозных преследований в тринадцатом веке правоверные скрывались на островах, где до сих пор сохранились их обелиски и нередко попадаются их каменные зеркала. Раздел «Язык и литература» был короткий. Одно привлекало внимание: там говорилось, что литература Укбара имела фантастический характер и что тамошние эпопеи и легенды никогда не отражали действительности, но описывали воображаемые страны Млехнас и Тлён... В библиографии перечислялись четыре книги, которых мы до сих пор не отыскали, хотя третья из них — Сайлес Хейзлем, «History of the Land Called Uqbar»[31], 1874 — значится в каталогах книжной лавки Бернарда Куорича[32]. Первая в списке «Lesbare und lesenwerthe Bemerkungen uber das Land Ugbar in Klein Asien»[33] имеет дату 1641 год и написана Иоганном Валентином Андрее. Факт, не лишенный интереса: несколько

---

[31] Примечания: 31
«История страны, именуемой Укбар» *(англ.).*

[32] Примечания: 32
Хейзлем также опубликовал «A General History of Labyrinths» («Всеобщая история лабиринтов»).

[33] Примечания: 33
«Приятные и достойные прочтения сведения о стране Укбар в Малой Азии» *(нем.).*

лет спустя я неожиданно встретил это имя у Де Куинси («Writings»[34], том тринадцатый) и узнал, что оно принадлежит немецкому богослову, который в начале XVII века описал вымышленную общину розенкрейцеров — впоследствии основанную другими по образцу, созданному его воображением.

В тот же вечер мы отправились в Национальную библиотеку. Тщетно ворошили атласы, каталоги, ежегодники географических обществ, мемуары путешественников и историков — никто никогда не бывал в Укбаре. В общем указателе энциклопедии Бьоя это название также не фигурировало. На следующий день Карлос Мастронарди (которому я рассказал об этой истории) приметил в книжной лавке Корриентеса и Талькауано черные, позолоченные корешки «Anglo-American Cyclopaedia»... Он зашел в лавку и спросил том XXVI. Разумеется, там не было и намека на Укбар.

II

Какое-то слабое, все более угасающее воспоминание о Герберте Эше, инженере, служившем

---

[34] Примечания: 34
«Сочинения» *(англ.).*

на Южной железной дороге, еще сохраняется в гостинице в Адроге, среди буйной жимолости и в мнимой глубине зеркал. При жизни он, как многие англичане, вел существование почти призрачное; после смерти он уже не призрак даже, которым был раньше. А был он высок, худощав, с редкой прямоугольной, когда-то рыжей бородой и, как я понимаю, бездетный вдовец. Через каждые несколько лет ездил в Англию поглядеть там (сужу по фотографиям, которые он нам показывал) на солнечные часы и группу дубов. Мой отец с ним подружился (это, пожалуй, слишком сильно сказано), и дружба у них была вполне английская — из тех, что начинаются с отказа от доверительных признаний, а вскоре обходятся и без диалога. Они обменивались книгами и газетами, часто сражались в шахматы, но молча... Я вспоминаю его в коридоре отеля, с математической книгой в руке, глядящим на неповторимые краски неба. Как-то под вечер мы заговорили о двенадцатеричной системе счисления (в которой двенадцать обозначается через 10). Эш сказал, что он как раз работает над перерасчетом каких-то двенадцатеричных таблиц в шестидесятеричные (в которых шестьдесят обозначается через 10). Он прибавил, что работу эту ему заказал один нор-

вежец в Риу-Гранди-ду-Сул. Восемь лет были мы знакомы, и он ни разу не упомянул, что бывал в тех местах... Мы поговорили о пастушеской жизни, о «капангах»[35], о бразильской этимологии слова «гаучо», которое иные старики на востоке еще произносят «гаугчо», и — да простит меня Бог! — о двенадцатеричных функциях не было больше ни слова. В сентябре 1937 года (нас тогда в отеле не было) Герберт Эш скончался от разрыва аневризмы. За несколько дней до смерти он получил из Бразилии запечатанный и проштемпелеванный пакет. Это была книга ин-октаво. Эш оставил ее в баре, где — много месяцев спустя — я ее обнаружил. Я стал ее перелистывать и вдруг почувствовал легкое головокружение — свое изумление я не стану описывать, ибо речь идет не о моих чувствах, а об Укбаре и Тлёне и Орбис Терциус. Как учит ислам, в некую ночь, которая зовется Ночь Ночей, распахиваются настежь тайные врата небес и вода в кувшинах становится слаще; довелись мне увидеть эти распахнутые врата, я бы не почувствовал того, что почувствовал в этот вечер. Книга была на английском, 1001 страница. На желтом кожаном корешке я прочел

---

[35] Примечания: 35
Бандиты *(порт.).*

любопытную надпись, которая повторялась на суперобложке: «A First Encyclopaedia of Tlon, vol. XI. Hlaer to Jangr»[36]. Год и место издания не указаны. На первой странице и на листке папиросной бумаги, прикрывавшем одну из цветных таблиц, напечатан голубой овал со следующей надписью: «Orbis Tertius». Прошло уже два года с тех пор, как в томе некоей пиратски изданной энциклопедии я обнаружил краткое описание вымышленной страны, — ныне случай подарил мне нечто более ценное и трудоемкое. Ныне я держал в руках обширный, методически составленный раздел со всей историей целой неведомой планеты, с ее архитектурой и распрями, со страхами ее мифологии и звуками ее языков, с ее властителями и морями, с ее минералами и птицами и рыбами, с ее алгеброй и огнем, с ее богословскими и метафизическими контроверсиями. Все изложено четко, связно, без тени намерения поучать или пародийности.

В Одиннадцатом Томе, о котором я рассказываю, есть отсылка к предыдущим и последующим томам. Нестор Ибарра в статье в «N. R. F.»[37], став-

---

[36] Примечания: 36
«Первая энциклопедия Тлёна. Том XI. Хлаер-Джангр» *(англ.).*

[37] Примечания: 37
«Нувель Ревю Франсез».

шей уже классической, отрицает существование этих других томов; Эсекиель Мартинес Эстрада и Дрие ла Рошель опровергли — и, вероятно, с полным успехом — его сомнения. Однако факт, что покамест самые усердные розыски ничего не дают. Напрасно мы перевернули библиотеки обеих Америк и Европы. Альфонсо Рейес, устав от этих дополнительных трудов детективного свойства, предлагает всем нам сообща приняться за дело воссоздания многих недостающих пухлых томов: ex ungue leonem[38]. Полушутя-полусерьезно он подсчитал, что тут хватит одного поколения «тленистов». Этот смелый вывод возвращает нас к основному вопросу: кто изобретатели Тлёна? Множественное число здесь необходимо, потому что гипотеза об одном изобретателе — этаком бесконечном Лейбнице, трудившемся во мраке неизвестности и скромности, — была единодушно отвергнута. Вероятней всего, этот brave new world[39] — создание тайного общества астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, алгебраистов, моралистов, художников, геометров... руководимых неизвестным гени-

[38] Примечания: 38
По когтю воссоздать льва *(лат.)*.

[39] Примечания: 39
Прекрасный новый мир *(англ.)*.

ем. Людей, сведущих в этих различных науках, есть множество, однако мало есть способных к вымыслу и еще меньше способных подчинить вымысел строгому систематическому плану. План этот так обширен, что доля участия каждого бесконечно мала. Вначале полагали, будто Тлён — это сплошной хаос, безответственный разгул воображения; теперь известно, что это целый мир и что сформулированы, хотя бы предварительно, управляющие им внутренние законы. Кажущиеся противоречия Одиннадцатого Тома — это, могу уверить, краеугольный камень доказательства существования и других томов, такая явная, четкая упорядоченность соблюдена в его изложении. Популярные журналы, с извинительным для них увлечением, сделали общим достоянием зоологию и топографию Тлёна — думаю, что прозрачные тигры и кровавые башни, пожалуй, не заслуживают постоянного внимания всех людей. Попрошу лишь несколько минут, чтобы изложить концепцию мира в Тлёне.

Юм заметил — и это непреложно, — что аргументы Беркли не допускают и тени возражения и не внушают и тени убежденности. Это суждение целиком истинно применительно к нашей земле и целиком ложно применительно к Тлёну.

Народы той планеты от природы идеалисты. Их язык и производные от языка — религия, литература, метафизика — предполагают исходный идеализм. Мир для них — не собрание предметов в пространстве, но пестрый ряд отдельных поступков. Для него характерна временная, а не пространственная последовательность. В предполагаемом Ursprache[40] Тлёна, от которого происходят «современные» языки и диалекты, нет существительных, в нем есть безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов (или префиксов) с адвербиальным значением. Например: нет слова, соответствующего слову «луна», но есть глагол, который можно было бы перевести «лунить» или «лунарить». «Луна поднялась над рекой» звучит «хлер у фанг аксаксаксас мле» или, переводя слово за словом, «вверх над постоянным течь залунело».

Вышесказанное относится к языкам южного полушария. В языках полушария северного (о праязыке которых в Одиннадцатом Томе данных очень мало) первичной клеткой является не глагол, а односложное прилагательное. Существительное образуется путем накопле-

---

[40] Примечания: 40
Праязык *(нем.)*.

ния прилагательных. Не говорят «луна», но «воздушное-светлое на темном-круглом» или «нежном-оранжевом» вместо «неба» или берут любое другое сочетание. В избранном нами примере сочетания прилагательных соответствуют реальному объекту — но это совершенно не обязательно. В литературе данного полушария (как в реальности Мейнонга) царят предметы идеальные, возникающие и исчезающие в единый миг по требованию поэтического замысла. Иногда их определяет только одновременность. Есть предметы, состоящие из двух качеств — видимого и слышимого: цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть состоящие из многих: солнце и вода против груди пловца; смутное розовое свечение за закрытыми веками, ощущения человека, отдающегося течению реки или объятиям сна. Эти объекты второй степени могут сочетаться с другими; с помощью некоторых аббревиатур весь процесс практически может быть бесконечен. Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова. В этом слове интегрирован созданный автором «поэтический объект». Тот факт, что никто не верит в реальность существительных, парадоксальным образом приводит к тому, что их число бесконечно. В язы-

ках северного полушария Тлёна есть все имена существительные индоевропейских языков — и еще много сверх того.

Можно без преувеличения сказать, что классическая культура Тлёна состоит всего лишь из одной дисциплины — психологии. Все прочие ей подчинены. Я уже говорил, что обитатели этой планеты понимают мир как ряд ментальных процессов, развертывающихся не в пространстве, а во временной последовательности. Спиноза приписывает своему беспредельному божеству атрибуты протяженности и мышления; в Тлёне никто бы не понял противопоставления первого (характерного лишь для некоторых состояний) и второго — являющегося идеальным синонимом космоса. Иначе говоря: они не допускают, что нечто пространственное может длиться во времени. Зрительное восприятие дыма на горизонте, а затем выгоревшего поля, а затем полупогасшей сигары, причинившей ожог, рассматривается как пример ассоциации идей.

Этот тотальный монизм, или идеализм, делает всякую науку неполноценной. Чтобы объяснить (или определить) некий факт, надо связать его с другим; такая связь, по воззрениям жителей Тлёна, является последующим состоянием объ-

екта, которое не может изменить или пояснить состояние предшествующее. Всякое состояние ума ни к чему не сводимо: даже простой факт называния — id est[41] классификации — приводит к искажению. Отсюда можно было бы заключить, что в Тлёне невозможны науки и даже просто рассуждение. Парадокс заключается в том, что науки существуют, и в бесчисленном количестве. С философскими учениями происходит то же, что с существительными в северном полушарии. Тот факт, что всякая философия — это заведомо диалектическая игра, некая Philosophic des Als Ob[42], способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером. Метафизики Тлёна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию — они ищут поражающего. По их мнению, метафизика — это ветвь фантастической литературы. Они знают, что всякая система есть не что иное, как подчинение всех аспектов мироздания какому-либо одному.

Даже выражение «все аспекты» не годит-

---

[41] Примечания: 41
То есть *(лат.).*

[42] Примечания: 42
Философия Как Если Бы *(нем.).*

ся, ибо предполагает невозможное сочетание мига настоящего и мигов прошедших. Также недопустимо и множественное число — «миги прошедшие», — ибо этим как бы предполагается невозможность иного представления... Одна из философских школ Тлёна пришла к отрицанию времени: по ее рассуждению, настоящее неопределенно, будущее же реально лишь как мысль о нем в настоящем[43]. Другая школа заявляет, что уже «все время» прошло и наша жизнь — это туманное воспоминание или отражение — конечно, искаженное и изувеченное — необратимого процесса. Еще одна школа находит, что история мира — а в ней история наших жизней и мельчайших подробностей наших жизней — записывается неким второстепенным богом в сговоре с демоном. Еще одна — что мир можно сравнить с теми криптограммами, в которых не все знаки наделены значением, и истинно только то, что происходит через каждые триста ночей. Еще одна — что, пока мы спим здесь, мы бодрствуем в ином мире, и, таким образом, каждый

[43] Примечания: 43

Рассел («The Analysis of Mind» («Анализ мышления»), 1921, с. 159) предполагает, что наша планета создана всего несколько минут назад и населена жителями, которые лишь «вспоминают» иллюзорное прошлое.

человек — это два человека.

Среди учений Тлёна ни одно не вызывало такого шума, как материализм. Некоторые мыслители сформулировали и его — скорее пылко, чем ясно, — в порядке некоего парадокса. Чтобы легче было понять сие непостижимое воззрение, один ересиарх одиннадцатого века[44] придумал софизм с девятью медными монетами, скандальная слава которого в Тлёне сравнима с репутацией элеатских апорий. Есть много версий этого «блестящего рассуждения», в которых указываются различные количества монет и нахождений; привожу самую распространенную.

«Во вторник X проходит по пустынной дороге и теряет девять медных монет. В четверг Y находит на дороге четыре монеты, слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя. В пятницу Z обнаруживает на дороге три монеты. В ту же пятницу утром X находит две монеты в коридоре своего дома». Ересиарх хотел из этой истории сделать вывод о реальности — id est непрерывности бытия — девяти найденных монет. Он утверждал: «Абсурдно было бы думать, будто четыре из этих монет не существовали между вторником

[44] Примечания: 44

В двенадцатиричной системе «век» — это период в сто сорок четыре года.

и четвергом, три монеты — между вторником и вечером пятницы и две — между вторником и утром пятницы. Логично же думать, что они существовали — хотя бы каким-то потаенным образом, для человека непостижимым, — во все моменты этих трех отрезков времени».

Язык Тлёна был не пригоден для формулирования этого парадокса — большинство так и не поняло его. Защитники здравого смысла сперва ограничились тем, что отказались верить в правдоподобие анекдота. Они твердили, что это-де словесное жульничество, основанное на необычном употреблении двух неологизмов, не закрепленных обычаем и чуждых строгому логическому рассуждению, а именно глаголов «находить» и «терять», заключающих в себе предвосхищение основания, ибо они предполагают тождество первых девяти монет и последующих. Они напоминали, что всякое существительное (человек, монета, четверг, среда, дождь) имеет только метафорическое значение. Изобличалось коварное описание «слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя», где предполагается то, что надо доказать: непрерывность существования четырех монет между вторником и четвергом. Объяснялось, что одно дело

«подобие» и другое — «тождество», и было сформулировано некое reductio ad absurdum[45] или гипотетический случай, когда девять человек девять ночей подряд испытывают сильную боль. Разве не нелепо, спрашивали, предполагать, что эта боль всегда одна и та же?[46] Говорили, что у ересиарха была лишь одна побудительная причина — кощунственное намерение приписать божественную категорию «бытия» обычным монетам — и что он то отрицает множественность, то признает ее. Приводился аргумент: если подобие предполагает тождество, следовало бы также допустить, что девять монет — это одна-единственная монета.

Невероятным образом эти опровержения были еще не последними. Через сто лет после того, как проблема была сформулирована, мыслитель, не менее блестящий, чем ересиарх, но принадлежавший к ортодоксальной традиции, высказал чрезвычайно смелую гипотезу. В его удачном

---

[45] Примечания: 45

Сведение к абсурду *(лат.).*

[46] Примечания: 46

В настоящее время одна из церквей Тлена платонически утверждает, что данная боль, данный зеленоватый оттенок желтого, данная температура, данный звук суть единственная реальность. Все люди в головокружительный миг совокупления суть один человек. Все люди, повторяющие некую строку Шекспира, суть Уильям Шекспир.

предположении утверждается, что существует один-единственный субъект, что неделимый этот субъект есть каждое из существ вселенной и что все они суть органы или маски божества. X есть Y и Z. Z находит три монеты, так как вспоминает, что они потерялись у X; X обнаруживает две монеты в коридоре, так как вспоминает, что остальные уже подобраны... Из Одиннадцатого Тома явствует, что полная победа этого идеалистического пантеизма была обусловлена тремя основными факторами: первый — отвращение к солипсизму; второй — возможность сохранить психологию как основу наук; третий — возможность сохранить культ богов. Шопенгауэр (страстный и кристально ясный Шопенгауэр) формулирует весьма близкое учение в первом томе «Parerga und Paralipomena»[47].

Геометрия Тлёна состоит из двух слегка различающихся дисциплин: зрительной и осязательной. Последняя соответствует нашей геометрии и считается подчиненной по отношению к первой. Основа зрительной геометрии — не точка, а поверхность. Эта геометрия не знает параллельных линий и заявляет, что человек,

---

[47] Примечания: 47
«Афоризмы и максимы» *(греч., нем.).*

перемещаясь, изменяет окружающие его формы. Основой арифметики Тлёна является понятие бесконечных чисел. Особая важность придается понятиям большего и меньшего, которые нашими математиками обозначаются с помощью > и <. Математики Тлёна утверждают, что сам процесс счета изменяет количество и превращает его из неопределенного в определенное. Тот факт, что несколько индивидуумов, подсчитывая одно и то же количество, приходят к одинаковому результату, представляет для психологов пример ассоциации идей или хорошего упражнения памяти. Мы уже знаем, что в Тлёне объект познания единствен и вечен.

В литературных обычаях также царит идея единственного объекта. Автор редко указывается. Нет понятия «плагиат»: само собой разумеется, что все произведения суть произведения одного автора, вневременного и анонимного. Критика иногда выдумывает авторов: выбираются два различных произведения — к примеру, «Дао Дэ Цзин» и «Тысяча и одна ночь», — приписывают их одному автору, а затем добросовестно определяют психологию этого любопытного homme

de lettres...[48]

Отличаются от наших также их книги. Беллетристика разрабатывает один-единственный сюжет со всеми мыслимыми перестановками. Книги философского характера неизменно содержат тезис и антитезис, строго соблюдаемые «про» и «контра» любого учения. Книга, в которой нет ее антикниги, считается незавершенной.

Многие века идеализма не преминули повлиять на реальность. В самых древних областях Тлёна нередки случаи удвоения потерянных предметов. Два человека ищут карандаш; первый находит и ничего не говорит; второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются «хрёнир», и они хотя несколько менее изящны, зато более удобны. Еще до недавних пор «хрёниры» были случайными порождениями рассеянности и забывчивости. Трудно поверить, что методическое их создание насчитывает едва ли сто лет, но так утверждается в Одиннадцатом Томе. Первые попытки были безрезультатны. Однако modus operandi[49]

---

[48] Примечания: 48
Литератор *(франц.).*

[49] Примечания: 49
Способ действий *(лат.).*

заслуживает упоминания. Комендант одной из государственных тюрем сообщил узникам, что в старом русле реки имеются древние захоронения, и посулил свободу тем, кто найдет что-нибудь стоящее. За несколько месяцев до начала раскопок их познакомили с фотоснимками того, что они должны найти. Эта первая попытка показала, что надежда и жадность могут помешать: после недели работы лопатой и киркой не удалось откопать никакого «хрёна», кроме ржавого колеса, из эпохи более поздней, чем время эксперимента. Эксперимент держали в секрете, а затем повторили в четырех колледжах. В трех была полная неудача, в четвертом же (директор которого внезапно скончался в самом начале раскопок) ученики откопали — или создали — золотую маску, древний меч, две или три глиняные амфоры и зеленоватый, увечный торс царя с надписью на груди, которую расшифровать не удалось. Так обнаружилась непригодность свидетелей, знающих про экспериментальный характер поисков… Изыскания в массовом масштабе производят предметы с противоречивыми свойствами; предпочтение ныне отдается раскопкам индивидуальным, даже импровизированным. Методическая разработка «хрёниров» (сказано

в Одиннадцатом Томе) сослужила археологам неоценимую службу: она позволила скрашивать и даже изменять прошлое, которое теперь не менее пластично и послушно, чем будущее. Любопытный факт: в «хренирах» второй и третьей степени — то есть «хренирах», производных от другого «хрёна», и «хренирах», производных от «хрёна» «хрёна», — отмечается усиление искажений исходного «хрёна»; «хрениры» пятой степени почти подобны ему; «хрениры» девятой степени можно спутать со второй; а в «хренирах» одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс тут периодический: в «хрёне» двенадцатой степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой «хрён», иногда бывает «ур» — предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой. Великолепная золотая маска, о которой я говорил, — яркий тому пример.

Вещи в Тлёне удваиваются, но у них также есть тенденция меркнуть и утрачивать детали, когда люди про них забывают. Классический пример — порог, существовавший, пока на него ступал некий нищий, и исчезнувший из виду, когда тот умер. Случалось, какие-нибудь птицы или лощадь спасали от исчезновения развалины амфитеатра.

Сальто-Ориенталь, 1940

Постскриптум, 1947. Я привожу вышеизложенную статью в том виде, в каком она была напечатана в «Антологии фантастической литературы» в 1940 году, без сокращений, кроме нескольких метафор и своего рода шуточного заключения, которое теперь звучит легкомысленно. Столько событий произошло с того времени!.. Ограничусь кратким их перечнем.

В марте 1941-го в книге Хинтона, принадлежавшей Герберту Эшу, было обнаружено написанное от руки письмо Гуннара Эрфьорда. На конверте стоял почтовый штемпель Оуро-Прето; в письме полностью разъяснялась тайна Тлёна. Начало этой блестящей истории было положено в некий вечер первой половины XVII века — не то в Люцерне, не то в Лондоне. Было основано тайное и благорасположенное общество (среди

членов которого был Дальгарно, а затем Джордж Беркли) с целью выдумать страну. В туманной первоначальной программе фигурировали «герметические штудии», благотворительность и каббала. К этому раннему периоду относится любопытная книга Андрее. После нескольких лет совещаний и предварительных обобщений члены общества поняли, что для воспроизведения целой страны не хватит одного поколения. Они решили, что каждый из входящих в общество должен избрать себе ученика для продолжения дела. Такая «наследственная» система оказалась эффективной: после двух веков гонений братство возродилось в Америке. В 1824 году в Мемфисе (штат Теннесси) один из участников заводит разговор с миллионером-аскетом Эзрой Бакли. Тот с некоторым презрением дает ему высказаться — и высмеивает скромность их плана. Бакли говорит, что в Америке нелепо выдумывать страну, и предложил выдумать планету. К этой грандиозной идее он прибавил вторую, плод своего нигилизма[50]: обязательно хранить гигантский замысел в тайне. В то время как раз были выпущены двадцать томов Encyclopaedia

[50] Примечания: 50
Бакли был вольнодумец, фаталист и поборник рабства.

Britannica; Бакли предлагает создать методическую энциклопедию вымышленной планеты. Пусть себе описывают сколько хотят золотоносные горные хребты, судоходные реки, луга с быками и бизонами, тамошних негров, публичные дома и доллары, но с одним условием: «Это произведение не вступит в союз с обманщиком Иисусом Христом». Бакли не верил в Бога, но хотел доказать несуществующему Богу, что смертные люди способны создать целый мир. Бакли умер от яда в Батон-Руж в 1828 году; в 1914 году общество вручает своим сотрудникам — а их было триста — последний том Первой энциклопедии Тлёна. Издание это тайное: составляющие его сорок томов (самое грандиозное сочинение, когда-либо затеянное людьми) должны были послужить основой для другого, более подробного, написанного уже не на английском языке, но на одном из языков Тлёна. Этот обзор иллюзорного мира предварительно и был назван Orbis Tertius, и одним из его скромных демиургов был Герберт Эш — то ли как агент Гуннара Эрфьорда, то ли как член общества. То, что он получил экземпляр Одиннадцатого Тома, как будто подкрепляет второе предположение. Ну а другие тома? В 1942 году события разыгрались одно за другим. С особенной

четкостью вспоминается мне одно из первых, и, по-моему, я отчасти почувствовал его пророческий характер. Произошло оно в особняке на улице Лаприда напротив светлого, высокого, выходившего на запад балкона. Княгиня де Фосиньи Люсенж получила из Пуатье свою серебряную посуду. Из обширных недр ящика, испещренного иностранными печатями, появлялись изящные неподвижные вещи: серебро из Утрехта и Парижа с угловатой геральдической фауной, самовар. Среди всего этого живой, мелкой дрожью спящей птицы таинственно трепетал компас. Княгиня не признала его своим. Синяя стрелка устремлялась к магнитному полюсу, металлический корпус был выпуклый, буквы на его округлости соответствовали одному из алфавитов Тлёна. Таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный. Странно-тревожное совпадение сделало меня свидетелем и второго случая. Он произошел несколько месяцев спустя в харчевне одного бразильца в Кучилья-Негра. Аморим и я возвращались из Санта-Аны. Разлив реки Такуарембо вынудил нас испытать (и вытерпеть) тамошнее примитивное гостеприимство. Хозяин поставил для нас скрипучие кровати в большой комнате, загроможденной бочками и винными

мехами. Мы улеглись, но до самого рассвета не давал нам уснуть пьяный сосед за стенкой, который то долго и вычурно ругался, то, завывая, распевал милонги — вернее, одну милонгу. Мы, естественно, приписывали эти нестихавшие вопли действию жгучей тростниковой водки нашего хозяина... На заре соседа нашли в коридоре мертвым. Его хриплый голос ввел нас в заблуждение — то был молодой парень. Из пояса пьяницы выпало несколько монет и конус из блестящего металла диаметром в игральную кость.

Напрасно какой-то мальчуган пытался подобрать этот конус. Его с трудом поднял взрослый мужчина. Я несколько минут подержал его на ладони; вспоминаю, что тяжесть была невыносимая, и, когда конус забрали, ощущение ее еще длилось какое-то время. Вспоминаю также четко очерченный кружок — след, оставшийся на ладони. Маленький предмет такой невероятной тяжести вызывал неприятное чувство отвращения и страха. Один из местных предложил бросить его в их быструю реку. За несколько песо Аморим его приобрел. О мертвом никто ничего не знал, кроме того, что он «с границ». Эти маленькие, тяжеленные конусы (из металла, на земле неизвестного) являются символами божества в

некоторых религиях Тлёна.

Здесь я заканчиваю лично меня касающуюся часть повествования. Остальное живет в памяти (если не в надеждах или страхах) всех моих читателей. Достаточно лишь напомнить или назвать следующие факты — в самых кратких словах, которые емкая всеобщая память может дополнить и развить. В 1944 году некто, изучавший газету «The American» (Нэшвилл, штат Теннесси), обнаружил в библиотеке Мемфиса все сорок томов Первой энциклопедии Тлёна. До нынешнего дня продолжается спор, было ли то открытие случайное или же с соизволения правителей все еще туманного Orbis Tertius. Правдоподобнее второе. Некоторые невероятные утверждения Одиннадцатого Тома (например, размножение «хрёниров») в мемфисском экземпляре опущены или смягчены, можно предположить, что эти исправления внесены согласно с планом изобразить мир, который бы не был слишком уж несовместим с миром реальным. Рассеивание предметов из Тлёна по разным странам, видимо, должно было завершить этот план...[51] Факт, что мировая печать подняла невероятный шум вокруг «находки». Учебники,

[51] Примечания: 51

Естественно, остается проблема «материальности» некоторых объектов.

антологии, краткие изложения, точные переводы, авторизованные и пиратские перепечатки Величайшего Произведения Людей наводнили и продолжают наводнять земной шар. Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить. Десять лет тому назад достаточно было любого симметричного построения с видимостью порядка — диалектического материализма, антисемитизма, нацизма, — чтобы заворожить людей. Как же не поддаться обаянию Тлёна, подробной и очевидной картине упорядоченной планеты? Бесполезно возражать, что ведь реальность тоже упорядочена. Да, возможно, но упорядочена-то она согласно законам божественным — даю перевод: законам бесчеловечным, которые нам никогда не постигнуть. Тлён — даже если это лабиринт, зато лабиринт, придуманный людьми, лабиринт, созданный для того, чтобы в нем разбирались люди.

Контакты с Тлёном и привычка к нему разложили наш мир. Очарованное стройностью, человечество все больше забывает, что это стройность замысла шахматистов, а не ангелов. Уже проник в школы «первоначальный язык» (гипотетический) Тлёна, уже преподавание гармоничной (и полной волнующих эпизодов) истории Тлёна

заслонило ту историю, которая властвовала над моим детством; уже в памяти людей фиктивное прошлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем — даже того, что оно лживо. Произошли перемены в нумизматике, в фармакологии и археологии. Думаю, что и биологию, и математику также ожидают превращения... Рассеянная по земному шару династия ученых-одиночек изменила лик земли. Их дело продолжается. Если наши предсказания сбудутся, то лет через сто кто-нибудь обнаружит сто томов Второй энциклопедии Тлёна.

Тогда исчезнут с нашей планеты английский, и французский, и испанский языки. Мир станет Тлёном. Мне это все равно, в тихом убежище отеля в Адроге я занимаюсь обработкой переложения в духе Кеведо (печатать его я не собираюсь) «Погребальной урны» Брауна.

Хорхе Луис Борхес, Делия Инхеньерос

Бог Один

Рассказывают, что ко двору Олава Трюггвасона, который обратился в новую веру, однажды ночью прибыл старик, закутанный в черный плащ, и в шляпе по самые брови. Король спросил его, что тот умеет. Пришелец ответил, что умеет играть на арфе и складывать рассказы. Спел несколько старых песен, поведал о Гудрун и Гуннаре, а в конце рассказал о рождении бога Одина. Поведал, что при этом были три богини судьбы. Две предвещали новорожденному большую удачу, а третья злобно сказала: «Младенец умрет, когда догорит вот эта свеча». Тогда родители задули свечу, чтобы Один не умирал. Олав Трюггвасон не поверил рассказу. Пришелец поклялся, что это правда, достал свечу и зажег ее. Все смотрели на огонь, а старик сказал, что уже поздно и ему пора. Когда свеча догорела, за ним послали. Недалеко от королевских покоев лежал мертвый Один.

Мартин Бубер

Ошибка

Рассказывают так.

Раби Элимелекл ужинал с учениками. Служанка принесла ему миску похлебки. Раби опрокинул ее, и похлебка вылилась на стол. Молодой Мендель, ставший потом раби в Риманове, вскрикнул:

— Что вы наделали, учитель! Теперь нас всех отправят за решетку.

Остальные усмехнулись и захохотали бы во все горло, если бы не раби. Он даже не улыбнулся. Только покачал головой в знак согласия и сказал Менделю:

— Не бойся, сын мой.

Вскоре стало известно, что в тот день императору был подан на подпись указ против евреев. Раз за разом поднимал император перо, и всякий раз останавливался. В конце концов, он все-таки поставил подпись. Потянулся за песочницей, чтобы высушить чернила, но по ошибке взял чернильницу и опрокинул ее прямо на бумагу. Тогда он разорвал указ и повелел никогда больше не приносить его.

Адольфо Бьой Касарес

Кальмар выбирает где глубже

В городке нашем за последние дни событий случилось больше, чем за всю его предыдущую историю. Чтобы оценить справедливость моих слов, прошу учесть, что речь я веду об одном из тех захолустных городишек, который вправе гордиться изобилием таких значительных событий, как его основание аж в самом расцвете XIX века, спустя некоторое время — вспышка холеры, к счастью, так и не переросшая в эпидемию, — и опасность внезапного нападения индейцев, ни разу, правда, не осуществившаяся, но державшая всех в страхе на протяжении пяти лет, когда пограничные районы страдали от таких набегов сплошь и рядом. Торопясь оставить позади эту героическую эпоху, я опускаю множество визитов губернаторов, депутатов и кандидатов всех мастей, а сверх того — комедиантов и одной или двух спортивных звезд. Дабы закруглиться, завершу этот краткий перечень празднованием столетия со дня основания города — то был неподражаемый турнир юбилейных речей и славословия.

Поскольку повествую я о событии первосте-

пенного значения, спешу вручить читателю свои верительные грамоты. Мне свойственна широта и прогрессивность убеждений, и я поглощаю все книга, что вылавливаю в книжной лавке моего друга испанца Вильяроэля, начиная с доктора Юнга и кончая Гюго, Вальтером Скоттом и Гольдони, не упуская при этом и последний томик «Мадридских сцен». Мой светоч — это культура, однако я уже вплотную подступил к рубежу тех самых «проклятых тридцати» и начинаю не на шутку тревожиться, что мне так и не удастся утолить жажды новых познаний. Вот почему я стараюсь не останавливаться в своем внутреннем развитии и сеять свет среди соседей — все они прекрасные люди, просто замечательные, не скрою, правда, большие любители сиесты, которую почитают со времен Средневековья и обскурантизма. Я преподаватель — работаю учителем в школе — и журналист. Пописываю пером в скромных местных изданиях, то под рубрикой «Все и вся» в «Подсолнечнике» (неудачное название: вызывает язвительные шутки знакомых и к тому же прорву писем от читателей, которые ошибочно принимают нас за аграрное издание), то в «Новой Родине».

Сюжет этой истории связан с деталью, которую

мне не хотелось бы опустить: все это случилось не просто в нашем городке, но в том самом месте, где сосредоточена вся моя жизнь, где находится мой домашний очаг, моя школа (мой второй дом), бар в отеле, что напротив станции, куда мы — беспокойные и неугомонные представители местной молодежи — частенько захаживаем вечерами, в поздние часы. Эпицентром этого феномена, его сердцевиной, если угодно, стал склад дона Хуана Камарго, довольно большой участок земли, огороженный забором. С восточной стороны на него смотрят окна гостиницы, а с северной он граничит с ее внутренним двориком. Два обстоятельства, которые далеко не каждый наблюдатель сумел связать воедино, ознаменовали это происшествие. Я имею в виду неожиданную просьбу о книгах и исчезновение дождевальника из сада.

«Маргаритки», маленькая частная гостиница дона Хуана, настоящее шале с цветущим садом, занимает больше половины складского двора, в тылах которого подобно корабельным остовам в морских глубинах громоздятся разнообразные материалы. Что касается дождевальника, то он постоянно крутится в вышеозначенном саду, разбрызгивая воду, как нельзя лучше являя собой

воплощение одной из самых древних наших традиций и одну из наиболее интересных достопримечательностей городка.

Однажды в воскресенье, в начале месяца, дождевальник таинственным образом исчез. К концу недели его так и не вернули на место, и сад утратил свои краски и великолепие. В то время как многие не обратили на это ни малейшего внимания, нашелся некто, кого с самой первой минуты одолело любопытство, и этот некто сумел заразить им других, поэтому ночью в баре, что напротив станции, наша компания, захлебываясь от возбуждения, строила догадки и предположения. Ведомые простодушным и вполне естественным любопытством, мы в конце концов раскрыли нечто, крайне необычное и неожиданное.

Мы-то прекрасно знали: не такой дон Хуан человек, чтобы в засушливое лето выключить воду в саду просто так, по забывчивости. Ведь его в то время весь город почитал образцовым хозяином. Внешность нашего пятидесятилетнего героя довольно точно указывает на его нрав: высокий, тучный, седые послушные волосы спадают по обе стороны от пробора волнами, напоминающими арки, чьи дуги симметричны изгибам усов, и

даже кажется, что духу этой симметрии подчинены ниспадающие колечки цепочки для часов. Прочие детали туалета выказывают в доне Хуане человека благородного, приверженного старине — бриджи, кожаные краги, короткие чулки... В его жизни, подчиненной умеренности и порядку, никто, насколько я помню, не мог выискать какую-нибудь слабость, будь то пьянство, женщины или политическое интриганство. В прошлом, которое по большей части мы предпочли бы забыть, — кто из нас не причастился к бесчестию? — дон Хуан оставался незапятнан. Не зря его признали авторитетом даже инспекторы Кооператива и прочие откровенные прохиндеи и бездельники. Недаром в лихие годы этот усач твердо встал у руля, и ему послушно повиновалась вся здоровая семья нашего городка. Необходимо признать, что сей почтенный муж ратовал за идеи старой закалки, и из наших рядов, где все, само собой, идеалисты, до сих пор не вышло личности подобного масштаба. В новой стране новые идеи лишены традиций. А известно, что без традиций нет и стабильности.

Выше этой фигуры наша действующая иерар-

хия, так сказать ad usum[52] не ставит никого, за исключением, пожалуй, доньи Ремедиос, матери и единственной советчицы столь выдающегося сына. Между нами говоря, мы зовем ее «Ремедиос Сильнодействующая» — и не только потому что она manu militari, то бишь твердой рукой, улаживает любой конфликт и не важно, посвящают ее в него или нет. Прозвище нежное, хотя и звучит насмешливо.

Для полноты картины упомяну еще об одном обитателе шале. Это своего рода небольшое приложение — усыновленный хозяином дон Тадеито, ученик вечерней смены в моей школе. Поскольку донья Ремедиос и дон Хуан почти не выносят присутствия посторонних в своем доме ни в качестве помощников, ни в качестве гостей, у юноши на лбу написаны все его многочисленные обязанности: и пеона, и служащего на складе, и прислуги в «Маргаритках». Добавьте к перечисленному, что этот бедняга регулярно посещает мои уроки, и вы поймете, почему я выгоняю тех, кто из озорства, а порой и по чистой злобе обижают его насмешливыми кличками. А то, что его окончательно и бесповоротно освободили от военной службы,

---

[52] Примечания: 52
К употреблению *(лат.)*.

меня никак не трогает, я ведь не завистлив.

В то самое воскресенье, днем, между двумя и четырьмя, в мою дверь постучали — и явно не по ошибке, — стремясь, судя по ударам, ее выломать. Пошатываясь, я встал, бормоча «кого еще нелегкая несет!», и сопроводил эту фразу словами, никак не подобающими устам учителя. Затем, словно сейчас было самое время принимать визиты, я распахнул дверь, будучи уверенным, что увижу дона Тадеито. Я оказался прав. Передо мной стоял мой ученик, улыбка в той же мере не могла расширить его худющей физиономии, в какой физиономия эта не могла заслонить меня от палящего солнца, лучи которого били прямо в глаза. Из торопливого лепета мальчишки, готового в ту же секунду сорваться с места, я только и понял, что он просит дать учебники для первого, второго и третьего класса. Не без раздражения я осведомился:

— Может, объяснишь, для чего они тебе понадобились?

— Крестный просит, — ответил он.

Я отдал ему книги и тотчас забыл об этом эпизоде, словно он мне приснился.

Несколько часов спустя, когда я направился к станции и дал крюка, чтобы убить время за про-

гулкой, я заметил, что около «Маргариток» нет дождевальника. Я обсудил сей странный факт на перроне, покуда наша компания дожидалась экспресса от Пласы (он должен был прибыть в 19.30, пришел только в 20.54), и продолжил обсуждение поздно вечером в баре. О взятых у меня книгах я и не вспомнил и даже не связал один странный факт с другим, поскольку поначалу, как уже сказано, это улетучилось из моей головы.

Мне казалось, после такого волнующего дня мы теперь надолго вернемся к привычному порядку вещей. В понедельник, во время сиесты, я с удовольствием сказал себе: «Ну, уж на этот-то раз я высплюсь всласть», однако не успела бахрома пончо защекотать мой нос, как раздался оглушительный стук. Бормоча: «Сегодня-то ему что приспичило, сейчас он у меня получит как следует», — я нацепил альпаргаты[53] и поплелся в прихожую.

— Это что, у тебя привычка теперь такая — врываться к учителю в самый неподходящий час? — съязвил я, беря принесенную стопку книжек.

Однако изумлению моему не было предела, когда в ответ я услышал:

---

[53] Примечания: 53
Обувь из пеньки.

— Крестный просит учебники за третий, четвертый и пятый класс.

Я только и сумел вымолвить:

— Для чего?

— Крестный просит, — объяснил дон Тадеито.

Я отдал ему книги и снова улегся в кровать в надежде заснуть. Допускаю, что мне это даже удалось, но сон был, прошу мне поверить, какой-то странный, словно во взвешенном состоянии.

Потом, по дороге на станцию, я убедился, что дождевальника по-прежнему нет на обычном месте и зелень в саду приобрела отчетливо желтые тона. Призвав на помощь логику, я силился отыскать ключ к разгадке и, оказавшись на людном перроне, лишь машинально остановил взор на стайке ветреных сеньорит, мысли мои были заняты совсем другим.

Глядя на луну, огромную в тот вечер, один из нас, кажется Ди Пинто, вечно одержимый романтической химерой остаться навсегда селянином (разумеется, в кругу верных друзей!), заметил:

— Луна предвещает жару. Если дон Хуан и убрал дождевальную установку, то вовсе не из-за прогноза погоды. Но какие-то резоны у него должны быть!

Бадаракко, бойкий юноша с подмоченной ре-

путацией, — в иные времена помимо банковской службы он еще прирабатывал доносительством, — обратился ко мне:

— А почему бы тебе не расспросить твоего придурка?

— Кого-кого? — удивился я, соблюдая видимость приличия.

— Да твоего ученика.

Я, хотя и не подал вида, счел достойным внимания это предложение и в тот же вечер, после занятий, применил его на практике. Поначалу я потомил дона Тадеито азбучными истинами, вроде той, что дождь необходим растениям, чтобы наконец взять быка за рога. Диалог наш выглядел следующим образом:

— Дождевальник сломался?

— Нет.

— Но я его не вижу в саду.

— А как его можно увидеть?

— Что значит, как его можно увидеть?

— Да ведь он сейчас работает в хранилище.

Поясню, что хранилищем мы между собой называли последний барак склада, куда дон Хуан сваливал всякое старье и хлам, на которые вряд ли бы нашелся покупатель, — нелепые чугунные печки, мраморные бюсты и подставки, поломан-

ную сельскохозяйственную утварь.

Сгорая от нетерпения сообщить приятелям новость о дождевальнике, я поспешил спровадить своего ученика, даже не спросив его о другом деле. Но вовремя вспомнил и тут же окликнул дона Тадеито. Он смотрел на меня из прихожей с выражением покорной овечки.

— А для чего дону Хуану учебники? — прокричал я.

— А он, — гаркнул тот в ответ, — складывает их в хранилище.

Слова эти заставили меня сломя голову помчаться в бар к отелю. Как я и предвидел, сообщения мои вызвали растерянность всей нашей компании. Каждый высказывал свое мнение, в тот момент казалось зазорным промолчать, но, к счастью, никто никого не слышал. Пожалуй, прислушались лишь к хозяину, внушительному дону Помпонио с животом, раздутым водянкой, которого наша группа обычно едва отличала от колонн, столов и посуды — высокомерие интеллекта несколько ослепляет. Трубный голос Помпонио, приглушенный потоками шума, призвал к порядку. Семь наших физиономий как по команде вздернулись кверху и семь пар глаз уставились в одно, красное и лоснящееся лицо. Уста

на этом лице разомкнулись, дабы вопросить:

— А почему бы не послать делегацию к дону Хуану и лично у него не попросить объяснений?

Здесь один из присутствующих — фамилия его Альдини, он студент-заочник и всегда ходит при белом галстуке, — явно путая сарказм с развязностью, обратился ко мне, насупив брови:

— А почему бы тебе не приказать своему ученику подслушивать разговоры доньи Ремедиос с доном Хуаном? Да щелкнуть кнутом хорошенько.

— Что ты имеешь в виду?

— Разумеется, твой могучий авторитет долдона-учителя, — пояснил он злобно.

— У дона Тадеито хорошая память? — поинтересовался Бадаракко.

— Очень. Все, что ни попадется ему на глаза, тут же отпечатывается у него в голове, — объяснил я.

— А дон Хуан, — продолжал Альдини, — обо всем советуется с доньей Ремедиос.

— От своего приемного сына они ничего не скрывают, — подхватил Ди Пинто, — и разговаривают совершенно откровенно.

— Если существует тайна, она выйдет наружу, — тоном пророка изрек Толедо.

Часарета, который помогает торговцам скотом на ярмарках, буркнул:

— А что же еще-то может выйти наружу?

Так как диспут явно уклонялся в сторону, Бадаракко, известный своей рассудительностью, усмирил пыл спорщиков:

— Друзья, я вас предупреждаю, вы не в том возрасте, чтобы попусту тратить энергию.

Оставляя за собой последнее слово, Толедо повторил:

— Если существует тайна, она выйдет наружу.

Она и вышла наружу, но не раньше, чем по прошествии нескольких дней.

Во время очередной сиесты, когда я погружался в сон, раздался — давно не слыхали! — до боли знакомый стук. Похоже, мое сердце лихорадочно забилось в унисон с этими ударами в дверь. Дон Тадеито принес мои книги и попросил учебники за первый, второй и третий класс, но уже средней школы. Поскольку один из учебников куда-то запропастился, я вынужден был направиться в книжную лавку Вильяроэля и решительным ударом в дверь разбудить испанца, а затем попытаться несколько его смягчить, сообщив, что книги понадобились дону Хуану, а вовсе не мне. Как я и опасался, испанец спросил:

— Какая муха укусила этого типа? За всю свою чертову жизнь купил одну книгу, а тут на старости лет ему приспичило. И конечно же, этот выжига хочет все взять взаймы.

— Да не горячитесь вы так, испанец, — урезонил я его, похлопав по плечу. — А то, когда вы сердитесь, становитесь похожим на туземца.

Я не утаил от Вильяроэля, что сперва у меня просили учебники начальной школы, но сохранил самую строгую конфиденциальность в отношении дождевальника, об исчезновении которого Вильяроэль, как он сам мне дал понять, был отлично осведомлен. Уже с книгами под мышкой я обронил:

— Вечером мы собираемся в баре, чтобы все это обсудить. Если захотите внести свою лепту, можете нас там навестить.

Ни на пути туда, ни по дороге обратно мне не встретилось ни души, кроме разве белого в крапинку пса мясника, который, должно быть, опять обожрался до полного одурения, потому что ни одна нормальная, пусть даже самая неразумная, тварь не развалится на солнцепеке в два часа пополудни.

Я наказал своему ученику докладывать мне

verbatim[54] все разговоры дона Хуана с доньей Ремедиос. Не зря утверждают, что грех уже сам несет в себе наказание. В тот же вечер я испытал муку, невыносимости которой и не предвидел в своем безудержном любопытстве, — выслушивать все эти слово в слово воспроизводимые беседы, бесконечные и, что самое страшное, банальные. С языка у меня то и дело готово было сорваться язвительное замечание, дескать, меня нисколько не волнуют соображения доньи Ремедиос о последней порции канифольного мыла и о фланели, которая помогает дону Хуану от ревматизма, по я себя сдерживал — да и как я мог довести до сознания мальчишки, что для меня важно в этих разговорах, а что нет?

Надеюсь, мне не надо объяснять, что и на следующий день моя сиеста опять была прервана, — мне вернули книги для Вильяроэля. И вот тут-то обнаружилась первая неожиданность: по словам дона Тадеито, дон Хуан больше не нуждался в учебниках, теперь ему потребовались старые газеты, и мой ученик собирал их килограммами где только можно — в галантерее, булочной или мясной лавке. Позже я понял, что

---

[54] Примечания: 54
Дословно *(лат.).*

газеты, как и книги, прямым ходом отправились в хранилище.

А затем наступил период, когда ровным счетом ничего не происходило. Душа неподвластна правилам, теперь мне не хватало того самого стука в дверь, который прежде так некстати вырывал меня из объятий сиесты. Мне хотелось, чтобы хоть что-нибудь случилось, хорошее или плохое. Наконец, однажды вечером, мой ученик, изложив пространный перечень воздействия соли и других питательных веществ на организм доньи Ремедиос, без малейшего намека на смену интонации, что обычно предвещает переход к другой теме, затараторил:

— Крестный сказал донье Ремедиос, что у них в хранилище живет гость, и он едва не раздавил его как-то на днях, когда рассматривал старые качели из парка аттракционов, которые он еще не оприходовал в инвентарную книгу, но он не утратил присутствия духа, хотя вид этого существа внушал жалость — оно хватало ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды. Дон Хуан сказал, что он, мол, сразу догадался принести ведро воды, потому что тут и дураку было ясно, чего от него хотят, и он, конечно, не стал сидеть сложа руки и глядеть, как на твоих глазах гибнет

живое существо. Но это мало помогло, и тогда он придвинул к гостю поилку, плеснув в нее воды из ведра — и опять без толку. Тогда он вспомнил про дождевальник, и, как врач у изголовья больного, который хватается за соломинку, чтобы спасти умирающего, бросился в сад. Дождевальник помог сразу же: оказалось, этот гость должен дышать влажным воздухом. Еще крестный сказал, что провел с гостем довольно много времени, спросив, чем может помочь и не нужно ли чего, а гость очень смышленый и за четверть часа нахватался испанских слов и сказал, что хочет учиться. Тогда крестный и велел попросить у учителя учебники для начальной школы. А гость такой сообразительный, он всю программу начальной школы за два дня освоил и за один день выучил все, что нужно для получения степени бакалавра. А потом крестный сказал, гость принялся изучать газеты, чтобы понять, что творится на нашей планете.

Тут я наконец рискнул задать вопрос:

— Это он сегодня рассказывал?

— Ну да, — ответил дон Тадеито, — когда они кофе пили.

— А что-нибудь еще твой крестный рассказывал?

— Да, но я не помню, что.

— Как это «не помню»? — в ярости вскричал я.

— Но вы же меня перебили, — объяснил мой ученик.

— Ты прав. Но ты же не уйдешь, — убеждал я его, — оставив меня умирать от любопытства. Ну давай, напрягись!

— Но вы же меня перебили, — заладил он.

— Да знаю я. Я тебя перебил. Я во всем виноват.

— Во всем виноват, — вторил он эхом.

— Дон Тадеито хороший. Он не уйдет, бросив учителя, не закончив разговор и отложив его на завтра. Или вообще его никогда не закончит!

Горько вздохнув, он опять повторил:

— Вообще его никогда не закончит.

Я был так раздосадован, словно у меня из-под носа увели огромный выигрыш. Не знаю даже почему, я подумал, что наш диалог состоит из повторов, и тут меня осенило. Я повторил последнюю фразу из пересказа дона Тадеито:

— Гость принялся изучать газеты, чтобы понять, что творится на нашей планете.

Мой ученик бесстрастно продолжил:

— Гость, сказал крестный, страшно изумляется, что нашим миром правят отнюдь не лучшие из

людей, а верней, просто посредственности, если не шайка никчемных бездельников. И раз уж эта шайка имеет в своем распоряжении атомную бомбу, говорит гость, то пора бежать занимать места на балконах. Еще он говорит, что если бы атомной бомбой владели даже самые лучшие из людей, все равно рано или поздно они бы ее взорвали, потому как тот, кто ее имеет, тот ее и взрывает, а то, что она в руках этого сброда, не слишком важно. Он говорит, что на других планетах изобрели такую бомбу еще раньше, и в конце концов все эти планеты самым жутким образом разлетелись на куски. Ему-то, правда, до их проблем дела нет, потому что те планеты от них далеко, но вот наша близко, и поэтому они боятся, как бы взрывом их не задело.

Невероятное подозрение, что дон Тадеито насмехается надо мной, заставило меня строго спросить:

— Читал ли ты «Символику духа» доктора Юнга?

К счастью, он не расслышал вопроса и продолжал:

— Крестный сказал, что гость прилетел со своей планеты на специальном аппарате, который сам соорудил из подручных средств, потому что там,

у них, нет подходящего материала и этот аппарат — плод долгих лет исследований и упорного труда. Что он прибыл как друг и освободитель и просит поддержки в осуществлении своего плана по спасению нашей планеты. Крестный сказал, что беседа с гостем была у него сегодня днем, а донью Ремедиос он не стал тревожить, так как был уверен в полном их взаимопонимании.

Тут он умолк, и, поскольку наступившая пауза затягивалась, я спросил, каков же был ответ сеньоры.

— А я не знаю, — ответил он.

— То есть как это «не знаю»? — воскликнул я, снова начиная кипятиться.

— Я ушел, а они все еще говорили, мне ведь пора было на занятия. Я только подумал: если не опоздаю, учитель будет доволен.

На его гордой овечьей физиономии застыло ожидание заслуженной награды. А я вовремя сообразил, что ребята не поверят моему рассказу, если я не приведу дона Тадеито в качестве свидетеля. Я схватил его за руку и потащил в бар. Там уже собрались все мои друзья и вдобавок испанец Вильяроэль.

Пока жив буду, не забуду ту ночь.

— Сеньоры, — закричал я, подталкивая дона

Тадеито к нашему столику. — У меня есть объяснение всему, сногсшибательная новость, и вот свидетель, который не даст мне соврать. Дон Хуан все-все рассказал своей достопочтенной матушке, а мой верный ученик не упустил ни слова из их разговора. В хранилище склада, да, здесь за стенкой, поселился — угадайте кто? — посланец другого мира. Не волнуйтесь, сеньоры: по-видимому, пришелец не отличается могучим телосложением, а потому плохо переносит сухой воздух нашего города — по части жары мы еще посоперничаем с Кордовой! Чтобы он не умер, как рыба без воды, дон Хуан включил ему дождевальник, и в хранилище стало сыро. Думаю, мотивы появления здесь этого чудища не внушают опасения: он прибыл сюда, чтобы спасти нас. Пришелец убежден, что наша планета — на грани атомной катастрофы, и все это, как на духу, он изложил дону Хуану. Естественно, дон Хуан за чашкой кофе посоветовался с доньей Ремедиос. Жаль, что присутствующий здесь юноша, — я встряхнул дона Тадеито будто тряпичную куклу, — удалился в самый неподходящий момент, не дослушав слова доньи Ремедиос, так что мы не знаем, на чем же они порешили.

— Знаем, — сказал торговец книгами, вытянув

трубочкой влажные и пухлые губы.

Реплика меня раздосадовала, я-то был уверен, что тайна известна только мне и никому больше. Я холодно осведомился:

— Что знаем?

— Да вы не сердитесь, — произнес Вильяроэль, который насквозь все видит. — Если, как вы утверждаете, пришелец жить не может без дождевальника, значит, дон Хуан приговорил его к смерти. По дороге сюда я при свете луны ясно увидел дождевальник на прежнем месте, прямо напротив «Маргариток», — он поливает сад, как будто ничего не случилось.

— И я его видел, — подтвердил Часарета.

— Но вообще-то, положа руку на сердце, — пробормотал Альдини, — пришелец не врет. Рано или поздно мы на этой чертовой бомбе подорвемся. Тут просто нет другого выхода.

Как будто рассуждая про себя, Бадаракко медленно произнес:

— Уж не хотят ли они сказать, что эти старики промеж себя решили покончить с нашей последней надеждой.

— Дон Хуан не желает, чтобы кто-либо менял его привычное существование, — заметил испанец. — Он предпочтет, чтобы этот мир взорвался,

лишь бы спасение не пришло к нам с других планет. У него весьма своеобразная манера любить человечество.

— Отвращение к неведомому, — прокомментировал я. — Обскурантизм.

Считается, что страх обостряет интеллект. И действительно, той ночью в баре в воздухе буквально носился рой идей.

— Ну давайте же отважимся что-нибудь предпринять, — призывал Бадаракко. — Из любви к человечеству.

— И отчего это у вас, сеньор Бадаракко, столько любви к человечеству? — съязвил испанец.

Покраснев, Бадаракко пролепетал, запинаясь:

— Не знаю. Но все-то мы, в общем, знаем.

— Знаем что, сеньор Бадаракко? Разве когда вы думаете о людях, то находите их достойными восхищения? Я, напротив, считаю, что они невежественны, жестоки, жадны, завистливы, — отчеканил Вильяроэль.

— Всякий раз, как приходят выборы, — подхватил Часарета, — это твое прекрасное человечество само себя разоблачает. Побеждает всегда худший.

— Выходит, любовь к человечеству — всего лишь пустая фраза?

— О нет, сеньор учитель, — возразил Вильяроэль. — Мы называем любовью к человечеству сострадание к чужой боли и поклонение шедеврам наших великих гениев, «Дон Кихоту» бессмертного Сервантеса, картинам Веласкеса, Мурильо. Но ни в той, ни в иной форме это чувство не годится в качестве аргумента, который помог бы отсрочить конец света. Произведения искусства существуют для людей, и после конца света — а этот день наступит, бомба ли тому станет причиной или естественная смерть, — кому и зачем они будут нужны? Уж поверьте мне. А что до сострадания, ему самое место в преддверии близкого конца... И поскольку не избежать смерти никому и никак, пусть она приходит скорей для всех сразу, лишь бы было поменьше боли!

— Пока мы теряем время на красоты академического пустословия, здесь, прямо за стеной, умирает наша последняя надежда, — произнес я с пафосом, сам же первый его и оценив.

— Надо немедленно действовать, — заметил Бадаракко. — Потом будет поздно.

— Если мы нагрянем прямо на склад, дон Хуан, пожалуй, рассердится, — заметил Ди Пинто.

Дон Помпонио приблизился так тихо, что мы не расслышали его шагов, и сейчас, когда он заго-

ворил, едва не попадали в обморок от страха.

— А почему бы нам, — предложил он, — не послать этого юного дона Тадеито в качестве разведчика? По-моему, неплохая идея.

— А в самом деле, — одобрил Толедо. — Пусть дон Тадеито включит дождевальник в хранилище и понаблюдает, а потом расскажет нам, что там делается с пришельцем.

Гурьбой мы высыпали из бара в ночь, освещаемую бесстрастной луной. Бадаракко, чуть не плача, умолял нас:

— Проявите милосердие, братцы, неважно, что мы рискуем собственной шкурой. В наших руках судьба всех матерей мира, судьба каждого человеческого существа.

Перед складом мы беспорядочно столпились, бегая то туда, то сюда, переговариваясь, порываясь войти и вновь отступая назад. Наконец Бадаракко набрался смелости и втолкнул внутрь дона Тадеито. Спустя некоторое время, показавшееся нам бесконечностью, мой ученик вернулся с кратким сообщением:

— Рыбина подохла.

Опечаленные, мы расходились. Торговец книгами возвращался вместе со мной. Не совсем понимаю, почему, но его общество меня уте-

шало.

Перед гостиницей «Маргаритки», где дождевальник монотонно разбрызгивал воду в саду, я воскликнул:

— Я обвиняю его в нелюбознательности, — и добавил, завороженно глядя на созвездия в небе: — «Сколько же Америк и Новых Земель потеряли мы сегодня ночью!»

— Дон Хуан, — возразил Вильяроэль, — предпочитает жить по своим законам, законам обывателя. Я восхищаюсь его мужеством. Ведь мы оба даже не дерзнули войти туда.

— Поздно, — сказал я.

— Поздно, — повторил он.

«Теневая сторона» (1962)

Хосе Бьянко

Сон-костюмер

«А сон, податель пьес неутомимый в театре, возведенном в пустоте, прекрасной плотью облачает тени».
Гонгора[55]

I

— Я буду скучать без него, я ведь его любила как сына, — сказала донья Кармен.

В ответ раздалось:

— Да, конечно, вы к нему очень хорошо относились. Но так будет лучше.

В последнее время, когда я подходила к дому на улице Пасо, где мы снимали комнаты, то избегала взгляда доньи Кармен, чтобы не нарушить ту смутную сонную апатию, которая уже превратилась почти в привычку. Сегодня, как и обычно, я задержала взгляд на Рауле. Юноша сматывал в клубок моток шерстяной пряжи, натянутый на спинки двух стульев. На вид ему лет двадцать, не больше, и его отличает присущее статуям

---

[55] Примечания: 55
Перевод П. Грушко.

застывшее, как бы нездешнее выражение лица, исполненное мягкой нежности. Она перевела взгляд с Рауля на фартук женщины, на ее цепкие, слегка согнутые поверх каждого кармана пальцы, а затем посмотрела в лицо доньи Кармен. И не без удивления подумала: «Это все мои домыслы. Наверное, я никогда не питала к ней ненависти». И с грустью отметила про себя: «На улицу Пасо я больше не вернусь».

В комнате доньи Кармен было довольно много мебели, кое-что здесь принадлежало Хасинте: бюро из красного дерева, за которым ее мать раскладывала замысловатые пасьянсы или сочиняла не менее замысловатые письма друзьям своего мужа с просьбами одолжить денег; кресло с выглядывающей из него местами набивкой... С любопытством вглядывалась она в этот лик нищеты, который издалека казался черной и устойчивой каменной глыбой, но мало-помалу из тьмы начали проступать более приветливые полутени (опыта Хасинте доставало) и стали различимы очертания ниш, где можно было бы укрыться. Нищета не враждовала с минутами глубокого счастья.

Она вспомнила времена, когда ее брат отказывался от еды. Добиваясь, чтобы он съел хоть

что-нибудь, они припрятывали тарелку с мясом под гардеробом или в ящике письменного стола... По ночам Рауль вставал — и на следующий день пустая тарелка стояла на том самом месте, где они ее оставляли. Поэтому после еды, пока Рауль прогуливался по тропинкам, мать с дочерью придумывали очередной тайник. Хасинте вспомнилось одно осеннее утро. Ей послышались стоны в соседней комнате. Войдя туда, она приблизилась к сидящей в кресле матери, отвела ее руки от лица и увидела, что та захлебывается от безудержного смеха. Сеньора де Велес никак не могла вспомнить, куда вчера вечером спрятала тарелку.

Ее мать приспосабливалась к любым обстоятельствам с жизнерадостной и какой-то детской мудростью. Ничто не могло застать ее врасплох, и поэтому каждое новое несчастье падало на подготовленную почву. Невозможно даже с точностью определить, в какой именно момент оно сваливалось на голову, до такой степени оно тут же делалось привычно-родственным, близким, и то, что поначалу воспринималось как изменение к худшему, как несчастье и порок, незаметно превращалось в норму, в закон, во врожденную принадлежность самой жизни. Как выдающи-

еся политик и воин, беседующие в английском посольстве, были для Делакруа блестящими осколками зримой природы, — мужчина в синем рядом с мужчиной в красном, — так и вещи в глазах ее матери, казалось, освобождаются от тенет всяких условностей, теряют все свое злокозненное коварство и обретают в некотором роде метафизическую трансцендентность чистоты, которая их всех в итоге уравнивает.

Она вспомнила, какой таинственный и чуть смешной вид был у доньи Кармен, когда она привела ее в дом Марии Рейносо. Внутри на двери висела бронзовая табличка с надписью: «Рейносо. Посреднические услуги». Пока они шли по длинному коридору, донья Кармен бормотала, запинаясь, что не советует разговаривать с матерью о Марии Рейносо, и Хасинта, увидев искорку простодушия в столь хитрой женщине, задумалась о тяге к иллюзиям, о врожденной склонности к мелодраме, живущей в так называемых низших классах. Но на самом-то деле так ли уж много значила она для матери? Никогда она этого не узнает. Да и невозможно уже узнать.

Она начала посещать дом Марии Рейносо, и донье Кармен теперь не нужно было содержать их (уже больше года, толком непонятно почему,

она помогала семье Велес). Однако избежать встреч с домоправительницей было нелегко. Хасинта сталкивалась с ней, когда та беседовала с поставщиками в просторной передней, куда выходили все двери, а случалось, обнаруживала ее и в своей собственной комнате. И как только ее можно было оттуда выдворить? Впрочем, благодаря хозяйке пансиона изредка наводился порядок в трех комнатах, которые занимали Хасинта с матерью и братом. Донья Кармен раз в неделю обрушивала на семью Велес бурный натиск своей активности: открывала двери, драила полы, полировала мебель, и все это — с видом плохо сдерживаемой ярости. А тем временем во дворике взорам соседей представало во всем своем бесстыдстве зазывное великолепие матрасов и сомнительного постельного белья. И семейство покорялось со смешанным чувством благодарности и легкого стыда. После такого шквала беспорядок вновь начинал окутывать их своей равнодушной, но прочной паутиной.

Хасинта заставала ее за вязанием, сидящей рядышком с матерью. В первый день, когда Хасинта познакомилась с Марией Рейносо, донья Кармен попыталась обменяться с ней впечатлениями об этой женщине, но Хасинта отвечала

односложно. Одно лишь присутствие, пусть и молчаливое, хозяйки пансиона способно было перенести ее в тот, другой дом, откуда она только что ушла. И Хасинта в такие вечера, утолив пыл какого-нибудь мужчины, также жаждала успокоения и забытья. Ей необходимо было затеряться в этом бесконечном и опустошенном мире, в котором существовали ее мать и Рауль. Сеньора де Велес раскладывала очередного «Наполеона» или «Меттерниха». Она тасовала колоду карт, и постепенно на стол в строгом порядке ложились красные и черные семерки и восьмерки, дамы и короли с головами без шеи, со скипетрами, увенчанные коронами. Их меланхолическое величие раскалывалось надвое на сжатом пространстве карточного листа. Время от времени, не отрываясь от карт, она упоминала о всяких мелочах, о которых с ней никто и не думал спорить, или вспоминала о родственниках и друзьях из другой эпохи, которые не общались с ней вот уже лет двадцать и, наверное, считали, что она умерла. Иногда Рауль останавливался подле матери. Подперев щеку одной рукой, а другой поддерживая локоть, он вместе с ней следил за неторопливым карточным танцем. Сеньора де Велес, чтобы развлечь сына, вовлекала его в ласково журчащий

монолог, прерываемый паузами с придыханием, когда ее слова, казалось, повисают в воздухе и теряют всякий смысл. Она приговаривала:

— Перетасуем как следует. А вот и дама. Теперь можем вытащить валета. Валет пик, смотри, он черноволос, и в профиль на тебя похож. Юный брюнет со светлыми глазами, как сказала бы донья Кармен, которая прекрасно гадает на картах... И еще один рядок положим, но не торопясь. Теперь-то «Наполеон» обязательно получится. А он редко сходится. Не иначе, это к беде. Однажды в Экс-ле Бэн он у меня сошелся три раза подряд за вечер, и на следующий день объявили войну. Нам пришлось бежать в Геную и сесть на торговое судно «tous feux eteints»[56]. А я все продолжала раскладывать «Наполеона» — трефу к трефе, восьмерку на девятку. Ну куда же подевалась эта десятка пик? И все время этот жуткий страх подорваться на мине или столкнуться с подводной лодкой. Твой бедный отец говорил мне: «Ты ждешь, что у тебя выйдет „Наполеон“, и тогда мы пойдем ко дну. Ты веришь, но веришь в злой рок...»

Наркотик потихоньку начинал действовать,

---

[56] Примечания: 56
«С потушенными огнями» *(франц.).*

успокаивая Хасинту. Унималось возбуждение недавних впечатлений, возбуждение, бурлящее множеством суетливых частиц, боровшихся между собой и утверждавших свою собственную крошечную, но подлинную реальность. Хасинта чувствовала, как разливается по телу усталость, стирая все следы ее свидания с мужчиной, с которым она провела два часа в доме Марии Рейносо, заволакивая это едва начавшее отступать прошлое, населенное тысячами образов и жестов, запахов и слов; и она переставала различать границу между усталостью, которой предавалась чуть торжественно, и вечным покоем. Приоткрыв глаза, Хасинта следила за двумя своими любимыми призраками в этой серовато-расплывчатой дымке. Сеньора де Велес закончила раскладывать пасьянс. Лампа освещала ее руки, безжизненно упавшие на стол. Рауль по-прежнему стоял рядом, но карты, рассыпанные на золотистом сафьяне, его больше не интересовали. Вблизи от него, кажется, справа, находилась донья Кармен. Чтобы увидеть ее, Хасинте надо было повернуть голову. Была ли там действительно донья Кармен? У Хасинты возникло ощущение, что она избавилась от присутствия этой женщины, возможно, навсегда. Она словно вошла в круг, границу которого

домоправительница не смела переступить. И спокойствие на несколько мгновений становилось таким глубоким, таким пронзительным. В состоянии полного блаженства, откинув голову назад, так, что затылок касался спинки стула, с отсутствующим взглядом, с полуулыбкой на устах, Хасинта напоминала больного, сжигаемого огнем лихорадки, в тот самый миг, когда жар вдруг спадает и боль начинает отступать.

Донья Кармен продолжала вязать. Изредка равномерная работа спиц передавала по длинной тонкой нити скрытую для глаза, почти животную дрожь толстому клубку шерсти, покоившемуся у ее ног. Подобно дремоте каменных львов с шарами на лапах, что охраняют чужие порталы, в безразличии доньи Кармен было нечто обманчивое, чреватое неожиданным взрывом бурной деятельности. Хасинта чувствует, как даже воздух вокруг наполняется чем-то враждебным. Вновь ее мыслями завладевают донья Кармен и Мария Рейносо и разговоры этих женщин.

Однажды вечером, когда Хасинта выходила из дома Марии Рейносо, она застала обеих у приоткрытой двери. Они тут же замолчали, но Хасинта была уверена, что говорили о ней. Маленькие глазки доньи Кармен смотрели неподвижно, их

темная радужная оболочка сливалась со зрачком. Стоило ей посмотреть на кого-то, и человек чувствовал, что его изучают, но не мог уйти от этого пристального взгляда, а если он в свою очередь пытался глядеть в упор на донью Кармен, ее темные непрозрачные глаза пресекали какой бы то ни было безмолвный диалог, чем, в сущности, и бывает скрещение двух взглядов. Но в тот вечер глаза доньи Кармен даровали успокоение, они сияли, словно распахнутые настежь окна, и прямо к ее векам, этим снисходительно-любезным жалюзи, летели непристойные слова Марии Рейносо, приблизившей свое анемичное лицо к хозяйке пансиона и кривившей губы в жарком шепоте.

Хасинта вовсе не питала отвращения к своим свиданиям в доме Марии Рейносо. Они позволяли ей обрести независимость от доньи Кармен, содержать семью. Кроме того, для нее этих свиданий как бы не существовало вовсе: заговор молчания уничтожал их, сводил на нет. Разумом же Хасинта воспринимала себя свободной и незапятнанной в своих действиях. Но начиная с того вечера все переменилось. Она поняла, что кто-то подмечает и толкует ее поступки, отныне само молчание, казалось, сохраняет их в памяти, и мужчины, желавшие и покупавшие ее, начали

странным образом отягощать ее совесть. Донья Кармен вызвала к жизни образ Хасинты униженной, неразрывно связанной с этими мужчинами; возможно, это и был истинный ее облик, облик Хасинты, созданный другими и именно ускользавший из-под их власти, которая подминала ее под себя, вселяя в нее ту обреченность, что охватывает нас перед лицом непоправимого. Но вместо того, чтобы раз и навсегда покончить с этим образом, Хасинта всецело посвятила себя страданию, будто страдание — единственное средство, которым она располагала, чтобы освободиться, и, по мере того как она страдала, она наконец сумела осознать жестокую действительность. Она бросила все попытки изменить свою жизнь, не предпринимая к тому ни малейших усилий. Когда-то она начала переводить с английского. Это были главы научной книги, подборки которых публиковались в медицинских журналах разных стран. Раз в неделю она получала примерно тридцать страниц, напечатанных на мимеографе, а когда приносила машинописный перевод (пишущую машинку Хасинта купила на распродаже в муниципальном банке), ей давали следующую порцию. Хасинта отправилась в бюро переводов, вернула последние главы и больше

ничего не взяла.

Донью Кармен она попросила продать пишущую машинку.

Настал день, когда сеньора де Велес уснула вечным сном среди буйного благоухания жонкилей, тубероз, фрезий и гладиолусов. Врач их квартала, которого донья Кармен вытащила из кровати на рассвете, поставил диагноз: эмболия легочной артерии. Церемонию прощания с покойницей устроили в комнате, что рядом с дверью на улицу, — ее ради такого случая уступила соседка. Жильцы входили в комнату на цыпочках и, подойдя к гробу, лишь раз позволяли себе взглянуть в лицо сеньоры де Велес с тем плохо скрытым напряжением, что ощущалось в их боязливых шагах. Однако сеньору де Велес не беспокоили, казалось, ни эти взгляды, ни перешептывания соболезнующих (сидевших вокруг Хасинты и Рауля), ни мелькание туда-сюда доньи Кармен, которая разносила чашки с кофе, тщетно стараясь делать это без шума, поправляла венки из пальмовых листьев или пристраивала новые букетики в изножье гроба. Улучив момент, Хасинта покинула собравшихся, пошла в привратницкую и набрала номер телефона.

Затем очень тихо произнесла в трубку:

— Меня никто не спрашивал?

— Вчера звонил Штокер и хотел видеть вас сегодня в семь. Он еще позвонит. Я подумала, что в такой день вас не стоит беспокоить.

— Передайте ему, что я приду. Спасибо.

Наступал вечер, забыть который трудно. Вначале Хасинта долгое время провела в комнате матери, чувства ее обострились необычайно. Чуждая всему и одновременно крайне сосредоточенная, она словно парила и над собственным телом, и над окружавшими ее вещами, которые оживали в ее честь, радостно сияли, выставляя напоказ свои непреложные поверхности, свои строгие три измерения. «Они хотят быть моими друзьями — это несомненно, и вовсю стараются, чтобы я их заметила». Казалось, этот новый, неожиданный ракурс соответствует тайной сущности самих вещей и в то же время ее скрытому собственному «я». Она прошлась по комнате, все еще чувствуя на губах стойкий, обостренный агрессивностью чужого присутствия, вкус кофе. «А я ведь никогда не обращала внимания на эти вещи. Привычка отдаляла меня от них. А сегодня будто впервые вижу их по-настоящему».

И тем не менее она их узнавала. Вот оно — экстравагантное трюмо в стиле барокко, увенчанное

консолью с инкрустированным зеркалом. Вот и две колоды карт на золотистом сафьяне. Вот лекарства ее матери, пузырек с дигиталисом, стакан, кувшин с водой. А вон там, в глубине зеркала, она сама, с призрачно мерцающим лицом, черты которого поражают тонкостью и невинностью. Сама она еще молода, но ее глаза, какого-то неопределенного, мутно-серого цвета, состарились прежде времени. «У меня глаза будто у мертвой». Ей вспомнились глаза матери, прикрытые веками с венозными прожилками, и глаза Рауля. «Нет, они смотрели совсем по-другому, ничего общего со мной». В их глазах заметна была гордость тех, кто чувствует себя «господином и владыкой собственного лица», но не зря же последняя строчка предостерегала: «лилии, что увядают», — впрочем, все это бесполезная проницательность, которая может разве что польстить столь же бесплодному тщеславию. Они напоминали ей о других людях, о ком-то, о чем-то. Где она видела такой же взгляд? На секунду память ее рухнула в пустоту, но оттуда ничего не появлялось. Хотя, погодите, та картина... Пустота начала заполняться, приобретать голубые и розовые оттенки. Хасинта отвела глаза от зеркала и увидела, как перед ней открывается балкон

в ночной глубине, потом разглядела амфоры, неких исступленных псов, еще каких-то живых существ — павлина, белых и серых голубок. Это были «Две придворные дамы» Карпаччио.

Штокер уже ждал ее в квартире Марии Рейносо. У него было бесцветное, тусклое лицо и молодое, с белой кожей тело под обманчиво скромной одеждой, которая, казалось, скрывает его как защитная оболочка. Когда же он неспешно снимал ее, тщательно складывая, подбирая место для каждой вещи, то становился похож на ребенка. Он казался более обнаженным, более уязвимым, чем другие мужчины, — ребенок, почти не интересующийся Хасинтой. Он ласкал ее, нисколько не помышляя о том человеческом единении, что связывает их двоих; руки его, скользя по ее телу, будто хватали предметы какого-то неведомого культа, а после, завершив обряд и использовав предметы по назначению, вдумчиво и осторожно ставили их на место. На его лице застывала почти болезненная сосредоточенность, абсолютно несовместимая с желанием забыться, раствориться в наслаждении. Казалось, он ищет нечто — и не в женщине, а в себе самом, вопреки механическому ритму, который он уже не в силах был подчинить своей воле, ритм этот ему мешал, все

лицо его жаждало неподвижности и было словно обращено внутрь себя в ожидании той молниеносной секунды, от чьей внезапной вспышки он ожидал ответа на свой упорно формулируемый вопрос.

Он вновь обрел свой растерянно-смущенный вид. Она же с горечью подумала о неизбежном возвращении к соседям, о тяжелом аромате цветов, о гробе. Однако мужчина не проявлял никакого желания уйти, расхаживая по комнате, а потом устроился на кресле у изножья кровати. Когда же Хасинта сочла, что наступила пора закончить свидание, он снова заставил ее сесть, положив ей руки на плечи.

— Ну и что ты теперь думаешь делать? У тебя больше никого не осталось?

— У меня есть брат.

— Брат, да, верно, но он...

Слова «идиот» или «слабоумный» не были произнесены, но повисли в воздухе. И чтобы отогнать их, Хасинта повторила фразу матери:

— Он у нас простодушный, как персонаж «Арлезианки».

И расплакалась.

Хасинта сидела на краешке кровати. Сложенное

вчетверо одеяло и скомканные под ним простыни, которые минутами раньше они отбрасывали ногами в сторону, образовывали беспорядочный холм, на него и опиралась Хасинта, изгибая спину и устремив взор вниз, на серый войлок, постеленный на полу и терявшийся где-то под кроватью, в центре же комнаты этот серый цвет, омытый светом, приобретал красивый ясный оттенок. Возможно, именно эта неловкая расслабленная поза и дала волю слезам. Они катились по щекам, вынуждая ее незаметно наклониться к полу, на который они падали, становились серой водичкой на сером войлочном покрытии. Почему-то сейчас она чувствовала примерно то же самое, что и в те вечера, когда ее мать раскладывала пасьянсы и беспрестанно что-то говорила Раулю. И на затылке, и на спине она чувствовала легкую тяжесть ласкового, всепроникающего дождя. Мужчина продолжал говорить:

— Не плачьте, послушайте меня: я вам кое-что предложу, быть может, это и прозвучит неожиданностью для вас. Я живу один. Переезжайте ко мне, будем жить вместе.

И затем, словно заранее отвечая на ее возражения, добавил:

— Нам надо понять друг друга. В конце концов,

я надеюсь на это, хочу в это верить. Бывает, даже змеи, мыши и совы мирно уживаются в одной пещере. Что же помешает нашему сосуществованию?

Все более настойчиво он убеждал Хасинту:

— Ответьте же, вы переедете ко мне? Перестаньте плакать, не волнуйтесь за своего брата. Пока пусть он остается там, где жил раньше. А потом посмотрим, что можно для него сделать.

Это «потом» означало санаторий.

II

Чужая боль внушала ему слишком большое уважение, чтобы попытаться утешить ее: Бернардо Штокер не осмеливался встать рядом с жертвой и избавить ее от власти страдания. По меньшей мере, он вел себя, как индейцы некоторых американских племен: когда один из них неожиданно свалится в воду, другие будут бить несчастного веслами и отгонять лодку, не давая ему спастись. В бурном течении и рептилии признают божественный гнев — возможно ли сражаться с невидимыми силами? Их товарищ уже осужден, а помочь ему — не означает ли это безрассудно поставить себя вровень с этими силами? Так, ведомый своими сомнениями, Бернардо

Штокер научился и вообще подавлять их. «Мы сочувствуем ближнему, — размышлял он, — в той степени, в какой можем помочь ему. Его боль льстит нашему властолюбию, хотя бы на миг превращая нас в богов. Но истинная боль не приемлет утешения. И так как эта боль унижает нас, мы просто-напросто не признаем ее, не желаем замечать. И мы уже отвергаем побуждение, таящее в себе опасность; и гордость, прежде идущая от сердца, теперь заодно с разумом в стремлении отыскать доводы, с помощью которых можно было бы задушить порывы сердца. Мы замыкаемся в той единственной печали, что ранит наше самолюбие, и в конце концов она действительно повергает нас в хандру».

Безучастность Хасинты позволила Бернардо Штокеру догадаться о мере чужой скорби. На горе Хасинты он прореагировал мгновенно и непроизвольно, что было для него редкостью. Не руководило ли им искреннее желание избавить Хасинту от страданий?

Хасинта перебралась в его дом на площади Висенте Лопеса. Зима в тот год выдалась не особенно холодной, однако, просыпаясь на рассвете, Хасинта слышала ласковое журчание радиаторов, и в ее комнату проникал легкий запах топки: это

Лукас с Росой разжигали камины в библиотеке и столовой. В десять, когда Хасинта выходила из спальни, слуги уже хлопотали в противоположном крыле дома.

Эту пару темнокожих из Тукумана Бернардо Штокер унаследовал от отца, так же, как и профессию финансового агента, его коллекции старинных книг и достойную уважения эрудицию в области толкования Библии. Старший Штокер, швейцарец по происхождению, приехал сюда семьдесят лет назад: в ту пору как раз начинали развиваться скотоводство, торговля, железнодорожное строительство, Банк Провинций вот-вот должен был выйти на третье место в мире, и «Контуар д'Эсконт», «Бэринг Бразерс», «Морган & Компани» продавали на сверкающие золотые франки и фунты стерлингов правительственные купоны. Сеньор Штокер трудился не покладая рук, сделал карьеру и мог позволить себе ежедневно забывать о своих биржевых делах и многочасовых разговорах в Иностранном Клубе, углубляясь в изучение Ветхого и Нового Завета. В религии он также был сторонником свободы совести, христианской свободы, терпимости и великодушия, провозглашаемого Евангелием. Он участвовал в бурных дебатах на тему «Библия и

Вавилон», был членом Общества Немецких Монистов и отвергал всяческую власть и всяческий догматизм.

Однажды он отправился в путешествие по Европе. Бернардо (ему тогда было шестнадцать) сопровождал своего отца. В Берлинском Зоологическом саду, в большом актовом зале собирались светские профессора, раввины, дипломированные священники и официальные теологи и, перебивая друг друга, с жаром дискутировали о христианстве, эволюционизме, монизме, о Gottesbewusstsein[57], о синоптической и иоаннической традициях. Существовал или нет Иисус? Послания св. Павла — это догматические документы или записи, обусловленные конкретными обстоятельствами? По вечерам львиные рыки подстегивали возбуждение собравшихся. Президент напоминал публике, что Общество Немецких Монистов вовсе не ставит целью разжигать страсти, поэтому лучше бы воздержаться от проявления одобрения или осуждения. Тщетно: каждое выступление завершалось одновременно и громом аплодисментов, и свистом. Женщины падали в обморок. Духота стояла невыносимая.

---

[57] Примечания: 57
Божественное сознание *(нем.)*.

Выйдя оттуда, отец с сыном прошествовали мимо египетских павильонов, китайских храмов и индийских пагод. Миновали Большие Ворота Слонов. Сеньор Штокер остановился и, передав сыну трость, клетчатым носовым платком протер очки, потом отер подбородок и глаза. Было непонятно, вспотел он или плакал; стараясь сдерживать свою восторженность, он произнес жарким шепотом: «Какая ночь! И еще говорят о нынешней религиозной апатии! Изучение Библии, толкование Священного Писания и теология никогда не будут бесполезными, Бернардо. Запомни это хорошенько! Даже если нас заставят поверить, что Христос как историческая личность не существовал. Сегодня он живет в каждом из нас. С помощью его духа изменился весь мир, и с помощью этого духа мы сможем изменить мир еще больше, создать новую землю. Такие дискуссии, как сегодня, обогащают человечество».

В сопровождении духа Христа и своего сына Бернардо, на чью руку он опирался, Штокер еще долго разглагольствовал на ту же тему. Они взяли извозчика. Позади осталась пожухлая опавшая листва Зоосада, они въехали на Фридрихштрассе и прибыли в свой отель.

Прошло много лет, но Бернардо по-прежнему

вел размеренный образ жизни, следуя заветам отца и делая все то же, что делал тот. Трудился — быть может, и не так истово, но не менее усердно. Он выбрал себе этот пример для подражания, но точно так же мог бы выбрать любой другой, поскольку обстоятельства этому благоприятствовали. Говоря по правде, ему было нетрудно следовать именно этому образцу. Он очень рано женился и вскоре овдовел, так же, как и сеньор Штокер. Его жена все еще присутствовала в доме — а точнее, на письменном столе в библиотеке, в кожаной рамочке. По утрам в конторе Бернардо просматривал газеты и беседовал с клиентами, в то время как его компаньон Хулио Швейцер отправлял корреспонденцию, а служащий, восседая за перегородкой из голубого стекла, записывал в конторской книге операции за предыдущий день. Швейцеру сеньор Штокер тоже подражал. В прежние времена он вел все счета по дому, был помощником отца, теперь он стал компаньоном сына и в равной мере почитал их обоих, объединяя их в один образ. После смерти отца дон Бернардо пунктуально появлялся в конторе (на сколько лет он, сегодняшний Штокер, был моложе того, старшего, — на двадцать, на тридцать, точно и не определить), по-испански говорил

без акцента, однако тождество старшего и младшего Штокера становилось абсолютным, когда Бернардо и его нынешний компаньон — теперь настала очередь Швейцера, чтобы к нему обращались «дон Хулио», — принимались обсуждать библейские темы, беседуя по-французски или по-немецки.

В половине первого компаньоны расставались, Швейцер возвращался к себе в пансион, а Бернардо обедал в ближайшем ресторане или же в Иностранном Клубе, а во второй половине дня Бернардо, как правило, отправлялся на биржу. Вот так и проходит жизнь, как говаривал Штокер-отец. В здании, что на улице 25 Мая, мужчины перебегают от одной доски к другой, с первого взгляда вычисляя дивиденды от тех ценностей, в которые они вложили деньги, и из гулкого шума голосов безошибочно выхватывают слова, обращенные непосредственно к ним. Вокруг Бернардо все говорят и жестикулируют — работа идет полным ходом — и мечутся то туда, то сюда с большим или меньшим успехом, однако же те, кто связан с прочным благосостоянием компании «Штокер и Швейцер» (Финансовые Агенты, Акционерное Общество Банков), имеют возможность сосредоточиться совсем на ином:

позволить себе роскошь вызывать из прошлого дни, часы и пейзажи, наблюдая неуловимое чудо быстротечных облаков, ветра и дождя.

Почти каждое утро Хасинта наведывалась в дом на улице Пасо. Часто бывало, что Рауль выходил с другими ребятами из квартала, и Хасинта, готовая тут же уйти обратно, смотрела, как он от дверей направляется к ней своей неровной походкой. Он был выше других и держался от них чуть поодаль. Она вновь заходила в дом, уже вместе с Раулем, и, присев рядом с ним, осмеливалась робко коснуться его пальцами. Она опасалась, что юноша рассердится, потому что обычно чем настойчивей пытались наладить с ним контакт, тем сильней он стремился ускользнуть. Однажды, расстроенная таким безразличием, Хасинта перестала его навещать. А когда, выждав почти неделю, она появилась вновь, брат спросил ее: «Почему ты все это время не приходила?»

Похоже было, что он ей обрадовался.

Хасинта уже давно оставила желание властвовать над душой другого и испытывала в отношении Рауля, можно сказать, чисто эстетические чувства. К чему искать в нем стандартные реакции человеческих существ в их чистом виде — условность слов, чувственный блеск глаз? Ра-

уль здесь — и этого достаточно, он смотрит на нее рассеянным взглядом, вот его резко очерченное загорелое лицо, широкие ладони с отстоящими друг от друга пальцами, форма которых напоминает гипсовые слепки, что служат моделями в академиях художеств, и эта его привычка шагать из угла в угол и странным образом застывать в дверном проеме, и умение ловко сматывать клубки доньи Кармен... Мысленно все еще находясь в обществе брата, Хасинта выходила из дома и не спеша отправлялась бродить по городу.

В этот час люди собирались обедать, и улицы пустели. Хасинта двинулась в восточную часть города и очутилась в уютном тихом квартале с тенистыми дорожками. Словно подчиняясь неким темным силам инстинкта, она углублялась все дальше и дальше и скоро совсем заблудилась в этом квартале. Шла по одной улице, сворачивала на другую, читала вывески, брела вдоль покосившейся ограды богадельни, с видневшимися кое-где пожелтевшими статуями, туда, где терялся вдали мрачный парк, а затем свернула налево, не вняв зову склепов с венчающими их крестами и огромными мраморными ангелами. Вид внезапно открывшегося ее взору солидного прочного дома с просторной галереей, двумя балконами

с каждой стороны и стенами, выкрашенными масляной краской, слегка уже облупившейся, наполнил ее счастьем. Она обнаружила некое духовное сходство между этим домом и Раулем. Деревья тоже заставляли ее думать о брате, деревья на площади Висенте Лопеса. Прежде чем пересечь ее прямо по дорожке, Хасинта попыталась вобрать в себя всю эту площадь, обведя взглядом газон, детишек, скамейки, ветви деревьев и небо над головой. Черные извилистые стволы бобовых деревьев тянулись из земли к небесам с какой-то надменной силой самоутверждения. И такое было величественное равнодушие в этом порыве, дерзновенном и безразличном ко всему, что не касалось их собственного роста, порыве дотянуться до облаков, оправдав тем самым и свою высоту, и легкий трепет почти бесплотной неземной листвы. Хасинта поднялась на третий этаж, понаблюдала вблизи за переменчивым узором зеленых листьев. Потом она распахнула окна, и чистый холодный воздух ворвался в спальню.

На столике ее ждал термос с бульоном, блюда с разными сортами орехов. Обычно Хасинта оставалась здесь, но иногда, отдохнув минутку, вновь спускалась на улицу, брала такси и просила подвезти ее к ресторану, где обедал Бернардо.

Он сидел, склонившись над тарелкой, сосредоточенно что-то пережевывая. Бернардо поднимал глаза лишь тогда, когда Хасинта уже сидела за столиком. И он, стряхивая с себя задумчивость, заказывал для нее какой-нибудь роскошный салат и протягивал ей бокал с вином, но Хасинта едва касалась его губами.

Было видно, что его волнуют эти их встречи. Они всегда заставали его врасплох. Он старался поддерживать беседу, страшась момента расставания. Спрашивал ее, чем она занималась утром.

— Чем она занималась? Утром? Гуляла, рассматривала дом, выкрашенный в зеленый цвет, смотрела на деревья, заходила к Раулю. Он интересовался, что нового у Рауля. А иногда, пытаясь нарисовать себе картину прошлого Хасинты, ему удавалось вырвать у нее какие-то вещественные, осязаемые детали, которые еще больше подчеркивали огромные пустынные пространства, где эти двое чувствовали себя потерянными. Потому что у него сложилось ощущение, что Хасинта утратила или вот-вот утратит свое прошлое. Он спрашивал:

— Что за человек был ваш отец?

— Он носил бороду.

— Так же, как и мой.

— Мой отец отрастил бороду, потому что ему лень было бриться. Он был алкоголиком.

Да, эти детали не слишком-то помогали все прояснить. Отец Хасинты был лишь старым неудачником, подобно многим другим. И Бернардо продолжал расспросы, все больше и больше втягиваясь в бессмыслицу этого занятия.

— Вам нравились пасьянсы, как вашей матушке? Нет? Скажите мне, как раскладывается «Наполеон»?

— Я тебе уже объясняла.

— Да, правда. Три ряда по десять закрытых карт, три ряда открытых, тузы выкладываются отдельно... Погоди, мне сейчас кажется, для него нужны две колоды...

— Не будем говорить о пасьянсах. В них только мама находила удовольствие.

— Ну не будем, раз тебе это скучно, но как-нибудь вечером, когда у тебя будет охота, разложим вместе этот пасьянс, хорошо?

Он также не мог как следует представить себе характер сеньоры де Велес. Бернардо вовсе не отличался строгостью в вопросах морали и симпатизировал этой бедной сеньоре. Однако его предположение, что Хасинта будет более откровенна в отношении покойницы, не оправдалось,

натолкнувшись на ее явное нежелание говорить о привычках матери.

— Ну скажи, какой женщиной была твоя мать? Не могла же она не замечать, что ты где-то достаешь деньги и при этом не работаешь, а переводами больше не занимаешься...

— Не знаю.

— Это все так странно — то, что ты рассказываешь.

— Я вовсе не рассказываю, — возражала Хасинта, — я отвечаю на твои вопросы. Зачем тебе знать, какая у меня была мама? Зачем знать, как мы жили? Жили — и все. Сначала мать просила деньги в долг. А потом ей перестали давать, но всегда находился кто-нибудь — и все устраивалось. В последнее время, перед тем как я познакомилась с Марией Рейносо, это была донья Кармен.

— Донья Кармен женщина хорошая.

— Да.

— Но ты ее ненавидишь.

— Она слишком усердствовала. Я даже упрекнула ее, что она представила меня Марии Рейносо, как будто я...

Хасинта умолкла на полуслове. Бернардо, пытаясь прорвать блокаду этого молчания, лихорадочно искал другую тему. Он попробовал

оживить их жалкое общее прошлое.

— Ты помнишь, как мы впервые увиделись? Мы всегда встречались в одной и той же комнате. А последний раз, помнишь? Я тебя долго ждал — полчаса, сорок пять минут. А ты все не приходила. Но, наверное, мое желание в конце концов заставило тебя прийти. Я иногда и сейчас думаю, что только мои желания тебя возле меня удерживают. Но я боюсь, что однажды ты исчезнешь, и у меня ничего от тебя не останется, даже фотографии. Почему ты такая бесчувственная? Только однажды ты отдалась мне безраздельно. Тогда ты была беззащитна. Плакала, и тебе удалось растрогать меня. Поэтому я понял, что ты не страдаешь. Это была наша последняя встреча в доме Марии Рейносо.

Бернардо выглядел жалким, несмотря на то что Хасинта почти его не слушала, он продолжал:

— В доме Марии Рейносо ты была человечной и откровенной. Всегда мне все рассказывала. Иногда мне так хочется снова увидеть тебя там. Интересно, а какие еще были в этом доме комнаты? Ведь ты в них бывала с другими мужчинами. Кто они были? Как они себя вели?

И в ответ на молчание Хасинты торопливо говорил дальше:

— Я интересуюсь этими мужчинами, потому что они были связаны с твоей жизнью, точно так же, как я интересуюсь самим собой — своим прошлым «я». Это в некотором роде ретроспекция, волнение минувших дней. Прежде я тебе внушал какие-то чувства. Я люблю этих мужчин, как люблю твою мать, Рауля, донью Кармен... хоть ты ее и проклинаешь. Ненависть — это единственное, что в тебе еще осталось.

— Мне хотелось бы, — сказала Хасинта, — чтобы Рауль жил в санатории.

— Чтобы отдалить его от доньи Кармен?

— Вчера, — продолжала Хасинта, словно не услышав вопроса, — я заходила в санаторий Флорес, на улице Бойяка. И видела там пациентов, похожих на Рауля. Они гуляют среди деревьев, играют в шары.

— Но там, должно быть, очень холодно?

— Рауль не чувствует холода.

Бернардо взглянул на часы, уже три — пора идти на Биржу. Он попрощался, сознавая, что вел себя не лучшим образом, и что Хасинта больше не зайдет к нему после обеда. Так и случилось. Несколько недель спустя, когда она вошла в ресторан и увидела его на обычном месте, она мгновение колебалась. Затем отступила назад,

в проход между столиками и оказалась рядом с дальним выходом, отделенным от улицы стеклянными витражами, выложенными из косоугольников и украшенными английским гербом. Двое поднялись из-за столика, и Хасинта села на освободившееся место. Но никто из официантов к ней не подошел, видимо, считая, что она уже пообедала. Какое-то время Хасинта сидела, пощипывая оставшиеся кусочки хлеба, а потом встала и ушла. Никто, кажется, так ее и не заметил.

Вечером этого дня Бернардо вернулся домой в прекрасном расположении духа. Хасинта отдыхала, и Бернардо прямо с порога спальни сообщил ей:

— Я был в санатории Флорес. Можешь отвезти туда Рауля. Правда, если он сам захочет туда перебраться.

— Давай поедем к нему вместе, — откликнулась Хасинта, подчеркивая последнее слово. — Ты должен поговорить с доньей Кармен. Только ты можешь это сделать.

Бернардо вытянулся рядом с ней на постели.

— Ты права, это очень симпатичное местечко, и Раулю наверняка будет там хорошо, если, конечно, удастся его убедить туда переехать. (Все

это он говорил, касаясь губами ее шеи и почти не шевелясь, словно желая, чтобы слова его воспринимались ласками, причем ласками едва ощутимыми.) Директор — человек обходительный, показал мне главное здание и отдельные коттеджи. По парку меня провел. Там есть замечательные эвкалипты и высокие бобовые деревья, совсем без листьев. А у деревьев на нашей площади листва еще не опала. Вообще-то парк не очень ухоженный.

Затем, без всякого перехода, добавил:

— Из домика, где будет жить Рауль, вид открывается довольно мрачный. Эти пустынные черные газоны, эти нагие ветви... Не хватает только повешенного.

Он приподнялся. И одним резким движением перемахнув через лежащую рядом женщину, встал около кровати. Поправил воротничок рубашки и галстук, брызнул на себя одеколоном.

— Сегодня вечером к нам на ужин придет Швейцер. Пожалуйста, не оставляй меня с ним одного, я тебя умоляю.

— Я не выйду к столу.

— Не оставляй меня одного, — повторил он. — Я тебя умоляю.

— А зачем он придет?

— Он хочет, чтобы мы с ним вместе написали одно письмо.

— Какое письмо?

— Об Иисусе Христе.

Хасинта явно ничего не понимала.

— О, я тебе все-все объясню... Сейчас в театре дают пьесу, которая называется «Семья Иисуса». Один католик прислал в газету письмо с протестом — он утверждает, что у Христа братьев никогда не было. Швейцер хочет вступить с ним в полемику и написать, что у Иисуса Христа действительно было много братьев.

— А это верно?

— Утверждать можно все. Но почему ты удивляешься? Ты же читала Евангелия, когда готовилась к первому причастию и изучала катехизис? Хотя вам наверняка Евангелия не преподавали, все ограничивалось катехизисом. А книгу Ренана ты читала? Да что ты говоришь! Вот уж не ожидал.

Хасинта отвечала уклончиво и неопределенно. Бернардо так и не смог понять, сама ли она читала Евангелия и «Vie de Jesus»[58], или речь шла о ее матери, сеньоре де Велес.

— Хорошо, так ты спустишься к столу? Завтра

---

[58] Примечания: 58
«Жизнь Иисуса» *(франц.).*

мы вместе пойдем к донье Кармен, но сегодня вечером ты с нами поужинаешь. Я тебя очень об этом прошу. Это единственное, о чем я тебя прошу. Обещаешь?

— Да.

Швейцер ждал его в библиотеке, рассматривая цветную репродукцию в кожаной рамке «Двух придворных дам», стоявшую на письменном столе. Здороваясь с ним, Бернардо все еще размышлял о двойственности Хасинты. И внезапно ему стало обидно за себя оттого, что подобные мелочи так его огорчают, и горечь эта вылилась в острое раздражение и против Хасинты, и против сеньоры де Велес, а заодно и против Евангелий и «Жизни Иисуса». Поначалу он взялся за Ренана:

— Правильно замечено, что «Жизнь Иисуса» — это своего рода Елена Прекрасная христианства. Какая характерная для Второй Империи концепция Иисуса!

И он повторил саркастическое замечание по поводу Ренана, вычитанное им несколько дней тому назад в старых подшивках «Меркюр де Франс».

— У Ренана в жизни было две большие страсти: Библия и Поль де Кок. Привычкам священника, приобретенным им в семинарии, он обязан

пристрастием к простому стилю и мягкой иронии, sous-entendu mi-tendre, mi-polisson[59], а у Поля де Кока он научился искусству романных построений и причудливых, чтобы не сказать безумных, сюжетных ходов. Говорят даже, что до последнего его часа жене Ренана приходилось идти на всякие уловки, чтобы вырвать из рук своего знаменитого супруга «La femme aux troix culottes» или «La Pucelle de Belleville»[60]. «Эрнст, — увещевала она его, — будь любезен, сначала напиши то, о чем тебя просил господин Бюлоз, а потом я тебе верну твою игрушку».

Сеньор Швейцер сдержанно улыбнулся: непочтительные дерзости были ему не по душе. А Бернардо, обращаясь к Хасинте, пояснил:

— Поль де Кок — это непристойный писатель.

Он слышал голос Хасинты, которая рассказывала о тех романах, что она читала когда-то по-английски, но из ее слов явственно вытекало, что речь идет о романах порнографических, предназначенных для портового сброда.

— А обложки были яркие — красные, желтые, синие. Их покупали на Пасео де Хулио, и про-

---

[59] Примечания: 59

Намек полу-любовный, полу-фривольный *(франц.).*

[60] Примечания: 60

«Вот это женщина!», «Бельвильская девственница» *(франц.).*

давцы прятали их в свои переносные сундучки за рядами башмаков на деревянной подошве и контрабандных пачек сигарет.

Они перешли в столовую.

Хасинта заняла место во главе стола. Когда Лукас внес блюдо, одного прибора на столе не хватало. Бернардо, едва сдерживая нетерпение, делал ему знаки. Лукасу пришлось оставить блюдо, и минутой позже он вновь появился с подносом в руках и с наглой медлительностью поставил недостающий прибор.

Сеньор Швейцер, весьма смущенный, достал из папки газетную вырезку и листки бумаги, испещренные его витиеватым почерком.

— Я набросал ответ, вот что у меня получилось.

И он начал читать:

— Не только в главе XIII, стих 55, от Матфея, как толкует это сеньор N, речь идет именно об этом вопросе, породившем столько дискуссий. Здесь, — пояснил он, — я для пущей ясности привожу и другие отрывки, касающиеся данного предмета: из Матфея, Марка, Луки, из Послания к Коринфянам и Послания Галатам. Из чтения этих текстов следует три теории: элвидианская, к которой и апеллирует сеньор N; она гласит, что братья и

сестры Иисуса родились у Марии и Иосифа уже после его появления на свет; теория епифаническая, утверждающая, что братья Иисуса родились от первого брака Иосифа; и, наконец, иеронимианская, провозглашенная св. Иеронимом, согласно последней, братьями Всевышнего были сыновья Клеофанта и одной из сестер Святой Девы, которую тоже звали Мария. Эту доктрину поддерживает церковь, и в числе ее сторонников многие великие мыслители. — Читая этот текст, сеньор Швейцер время от времени кидал в рот то миндальный, то лесной орешек, то кусочек грецкого, беря их со стоящей слева от него тарелки. Иногда его рука словно застывала в воздухе, а пальцы все крутили и крутили орешек, пока с него не начинала сыпаться сухая рыжеватая шелуха. Под тем предлогом, что ему тоже хочется взять орех, Бернардо поставил блюдо около себя и Хасинты, подальше от гостя. Тот изумленно взирал на эти перемещения.

Бернардо спросил его:

— Почему вы не цитируете «Деяния Апостолов»?

— Да, правда; после ужина, если вы дадите мне Библию...

— Библия вам не понадобится. Записывайте: I,

14 «...Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса и с братьями Его». Ну вот, здесь окончится преамбула. А теперь, к какой же из трех присоединяетесь вы?

— Безусловно, к первой. А как бы вы начали?

Бернардо не смог устоять перед искушением покрасоваться.

— Я бы начал так, — заговорил он с ученым видом. — Истина, что в еврейском и арамейском языке существует одно только слово для обозначения понятий «брат» и «двоюродный брат», но это вовсе не достаточная причина для искажения значений текстов. Есть ведь такой язык, как греческий, с богатой лексикой, где имеются слова, выражающие понятия «брат» (adelphos), «двоюродный брат» (adelphidus) и еще одно слово, обозначающее «троюродный брат», «родственник» (anepsios). Общество Антиохии было двуязычным, и там произошел переход от арамейской к греческой форме традиции. Гогель цитирует строфу из Св. апостола Павла (Послание к Колоссеянам, IV, 10), где говорится: «...и Марк, племянник Варнавы». Если Павел в других своих сочинениях говорит о братьях Иисуса, это еще не повод смешивать один термин с другим.

Он выдержал паузу, а затем продолжил:

— Много бы еще можно было добавить... Тертулиан согласен с тем, что у Марии от Иосифа родилось много детей. Этот факт подтверждала и секта эбионитов, и христианский мученик Викторий из Патау, умерший в 303 году. Эхесипа говорит, что Иуда был Спасителю братом по плоти. Дидаскалия гласит, что Иаков, епископ Иерусалимский, был братом по плоти нашего Господа. Епифаний упрекает в слепоте Аполлония, учившего, что у Марии после Христа были еще дети.

Сеньор Швейцер что-то помечал в записной книжке. Речь Бернардо по-прежнему текла рекой. И с каждой последующей фразой улетучивалось его плохое настроение. Он снова обрел самого себя и был вполне доволен и уверенностью в себе, и своей памятью, и своей эрудицией. Как достойную награду он воспринимал почтительное молчание Швейцера. Но ему также хотелось и одобрения Хасинты.

Она же хранила отчужденность, далекая и призрачная, словно растворившаяся в сумраке столовой. Бернардо поперхнулся, отпил вина из бокала и запрокинул голову — на дне оставалась еще розовая капелька. Когда же он поднял голову,

то увидел, как пляшут отблески пламени камина на зеленых спинках пустых стульев, расставленных вдоль стены, как трепетно дрожат они, неожиданно вспыхивая багровыми огоньками на древесине резного кедра и на лице Лукаса. А хрустальные висюльки венской люстры, казалось, вытянулись и потяжелели и в любой момент грозили рухнуть прямо на скатерть. (Надо было бы упомянуть, что Лукас, приближаясь к столу, выныривал из полумрака не столько для того, чтобы убрать тарелки, сколько для того, чтобы причаститься к этому сияющему овалу человеческого тепла и уюта.) Тут Бернардо потерял нить рассуждения и, пытаясь сосредоточиться, с видимым усилием произнес:

— Есть факты, указывающие на то, что в первые века христианской эры довольно часто упоминалось о братьях Иисуса. Гигнеберт...

Но Швейцер перебил его:

— Этого более чем достаточно. Настоящий достойный ответ.

Бернардо добавил:

— Поскольку письмо написано католиком, его следовало бы завершить католической цитатой. Что-нибудь вроде: «Вспомним исключительную искренность отца Лагранжа, признававшего,

что исторически не доказано, что братья Иисуса приходились ему двоюродными братьями».

Он взял чашечку кофе и устроился с ней у камина, где весело полыхали два толстых поленца. Каких только оттенков здесь не было: алые язычки пламени, желтовато-красный, почти оранжевый цвет головешек и утонченно-голубой оттенок, незаметно вкрадываясь, нарушал мерцающую белизну кучки пепла. Хасинту зрелище огня отталкивало. А он, как бы он хотел сгореть в огне подобно этим поленьям, одним разом и дотла! Он все ближе придвигался к камину, казалось, что пламя вот-вот лизнет его ноги. «Я слишком зябкий». Он поднялся и приоткрыл окно. Сеньор Швейцер, с трудом отрываясь от кресла, начал прощаться.

— Большое спасибо за все. Завтра я отредактирую текст. Если вы заглянете в контору после биржи, то сможете его подписать.

Однако Бернардо предпочел отказаться и объяснил, почему:

— Все эти споры бессмысленны. И — кто знает? Возможно, они только закрепляют ошибку. С каждым днем человеческая природа (если желаете, «историчность») Иисуса представляется мне все более сомнительной.

С горящими глазами Бернардо расхаживал взад-вперед по комнате. Внезапно он выбежал и тотчас вернулся с книгой в дорогом и изъеденном молью переплете. Когда он ее раскрыл, корешок, отвалившийся от темных побуревших обложек, остался у него в руках. Швейцер взглянул на название:

— «Antiquities of the Jeus»[61]. А, издание Аверкампа... Вы намерены зачитать мне подходящую цитату. Не стоит труда.

Но Бернардо уже не мог остановиться. Он зачитал пресловутую цитату и развил — на этот раз крайне утомительно — тезис о том, что христианство как таковое предшествовало Христу. Он говорил об Иосифе Флавии, о Тиберии. Сеньор Швейцер флегматично внимал его страстной и бессвязной речи.

— Но это уже другой вопрос, — заметил он. — Кроме того, эти аргументы слишком затасканы и лично меня не убеждают.

— Я опираюсь не на них, — возразил Бернардо. — Мое убеждение проистекает из того рода истин, которые мы принимаем чувством, а не рассудком.

---

[61] Примечания: 61
«Еврейские древности» *(англ.).*

А затем, как будто про себя, добавил:

— Я вспоминаю ту замечательную историю про картину. Как это все там случилось?

В ответ раздался монотонный голос Хасинты:

— Ты же знаешь. Картина упала на пол, и здесь обнаружилось, что Христос вовсе и не Христос.

«Она так рассказывает, что ничего и не поймешь», — подумал Бернардо и сам начал объяснять:

— Это была старинная гравюра, collage колониальной эпохи, заделанный по краям синим бархатом, собранным в складки, и покрытый выпуклым стеклом. Когда стекло разбилось, то стало видно, что под ним — изображение Богоматери Скорбящей. Пером ей пририсовали кудри и бороду, а также терновый венец, а сам плат с ликом Богородицы был скрыт бархатом.

И добавил шепотом:

— Хасинта Велес была тогда еще маленькой девочкой и испытала ужасное разочарование. С тех пор она и утратила веру.

И снова он услышал ровный голос:

— Нет, — произнесла Хасинта, — теперь я верю.

Христос пожертвовал собой ради людей, ради тех людей, которые по мере своего развития

все меньше походят на своего Спасителя: неугомонные, хитроумные, отягощенные знанием и склонные к разрушению, неудовлетворенные, чувственные, слабые, любопытные... И где-то поодаль от этой паствы обретаются иные существа, юродивые, нищие духом, испытывающие таинственное блаженство, отрекшиеся от действительности и презираемые остальными. Но Христос любил их. Они были единственными в этом мире, кого, возможно, ждало спасение.

Бернардо попрощался с сеньором Швейцером. Хасинта же думала о Рауле. Ей не терпелось оказаться рядом с ним, в окружении деревьев, в санатории Флорес.

III

Сеньор Швейцер перечитал письмо Бернардо под оглушительный рев взятого напрокат автомобиля. Оно было написано на голубой тисненой бумаге, сверху красовалось изображение здания с шиферной крышей и множеством окон. Письмо гласило:

«Уважаемый сеньор Хулио! В последнее время мне стало трудно вести дела. Меня утомляет малейшее усилие. Я решил наконец обратиться к врачу и в настоящее время прохожу под его

наблюдением оздоровительный курс, целиком и полностью отдавшись отдыху. Этот курс, возможно, займет несколько месяцев. Поэтому я предлагаю вам на выбор два варианта: подыскать доверенного человека, который будет выполнять мои обязанности и выплачивать ему подобающее жалование, и отчислять определенный процент от дохода, который мне причитается, или же давайте вообще ликвидируем нашу компанию».

Под конец, словно опровергая строку, где намекалось на его нынешнее равнодушие к делам, Бернардо делал несколько толковых, по мнению дона Хулио, предложений относительно размещения ценных бумаг — вопроса срочного и настоятельного. В конце письма была приписка: «Не беспокойтесь обо мне и не ищите со мной встречи. Ответьте мне письмом».

Позже дон Хулио еще вспомнит эту последнюю фразу.

Он приехал в санаторий, спросил Бернардо, показав свою визитную карточку. Его попросили подождать в салоне с большими окнами, выходившими в сад и слегка приоткрытыми лишь сверху. Минут через десять появился высокий мужчина с красным лицом.

— Сеньор Швейцер? Я директор. Извините, я

только что приехал. — Он возился со шнурками своего пыльника, завязанными на запястье.

— Могу ли я видеть сеньора Штокера? — спросил Швейцер.

— Вы его компаньон, не так ли? «Штокер и Швейцер», да, я знаю эту фирму. Однажды мне представился случай лечить сеньора Штокера в марте 1926 года. Дату я помню точно. Я тогда располагал некоторой, хотя и небольшой, суммой свободных денег, и сеньор Штокер рекомендовал мне второй выпуск консолидированных ценных бумаг «Лигнито Сан Луис Компани» — никогда не забуду это название. Ценности в ваших руках распродавались прекрасно. И благодаря этому начальному капиталу я основал этот санаторий.

— Могу ли я видеть моего компаньона? — настойчиво спросил Швейцер.

— Разумеется, сеньор Швейцер. Сеньор Штокер, полагаю, как вам известно, здесь не на положении больного. В первый раз он приехал в санаторий с неким Раулем Велесом, взятым им на попечение. Но он нашел здесь покой и тишину, которые его, должно быть, и привлекли. И однажды он появился с чемоданами в руках и сказал мне: «Доктор, я решил взять отпуск и поселиться здесь. Прошу вас сохранять тайну, я не хочу, чтобы меня

беспокоили и ни с кем не желаю разговаривать, даже с врачами». Вы, наверное, единственный человек, которому он дал свой адрес.

— Он написал мне.

— Мы его поселили в последнем коттедже, том, что стоит поодаль от других. Одну комнату занимает сеньор Штокер, а другую — Рауль Велес.

После минутного колебания он продолжил:

— ... Этот юноша, знаете ли, весьма прискорбный случай. Мы, медики, — народ скрытный, сеньор Швейцер. Есть вещи, которые мы не должны, не желаем знать, однако постепенно и неизбежно нам приходится вникать в некоторые семейные обстоятельства. В конце концов, так или иначе, сеньор Штокер испытывает к этому юноше истинно отеческую привязанность. Можете ли вы мне сказать, почему он так долго медлил довериться психиатру?

— А что, разве его невозможно вылечить? — в свою очередь спросил Швейцер.

— Речь идет не о лечении, а об адаптации, приспосабливании. Адаптация — процесс очень деликатный, тонкий и включает обоюдное взаимодействие со стороны больного и окружающей его среды. Надо, конечно, приспосабливаться к больному, это верно, но в то же время и от него

требуется небольшое усилие, и на самом деле именно он должен адаптироваться к другим. Необходимо помочь ему найти контакт с себе подобными. Разумеется, достичь настоящего интеллектуального общения, как у нас, например, в данный момент, ему никогда не удастся, но общение на более простом уровне вполне возможно. Следует добиваться того, чтобы больной осознал определенные правила общежития — развитие должно идти именно в этом направлении.

— А теперь слишком поздно...

Директор взглянул на него с легким удивлением:

— Никогда не бывает слишком поздно. Рауль Велес в санатории всего две недели. На диагностическом уровне отличить раннюю шизофрению от умственной отсталости очень трудно. В обоих случаях отсутствуют внешние физические симптомы: больной выглядит вполне нормальным человеком, однако он живет отчужденно от себя самого, совершенно равнодушный ко всему и ко всем. В то же время он послушен, мягок, дружелюбен. Он нуждается в доброте, но доброте достаточно твердой, границы которой он должен чувствовать. Ну так вот, с этим юношей обращались достойным сожаления образом. Он был в

руках невежественной женщины, которая его, безусловно, любит, но любовью неразумной. Она потакала всем его капризам, и юноша этим злоупотреблял, сознательно погружаясь в безумие (у подобных больных это линия наименьшего сопротивления). Вначале эта женщина страшно негодовала и даже имела дерзость заявить, что подаст жалобу в суд, так как Штокер не имел никакого права поместить Рауля в наш санаторий.

На этот раз удивился Швейцер, однако решил уточнить:

— А это правда?

— Видите ли, официально за Штокером не признаны родительские права. Но у нее прав распоряжаться судьбой этого юноши еще меньше. Речь идет о душевнобольном, без семьи, без какого бы то ни было состояния. Кто лучше Штокера сможет о нем позаботиться? Я уже поговорил с защитником прав несовершеннолетних и добился от судьи, чтобы он назначил Штокера опекуном недееспособного Рауля Велеса. А той женщине, не желая больше слушать ее истории, я запретил здесь появляться. Сейчас, правда, мы ей разрешили посещения, но это по просьбе самого Штокера. Он весьма снисходителен, но тут я совершенно с ним не согласен. Необходимо оградить Рауля

Велеса от всякого влияния, которое может воскресить в его душе сумбур его прежней жизни.

Директор замолк.

— Впрочем, я вас задерживаю, — добавил он, — вы хотели видеть Штокера. Я сам вас к нему провожу.

Следуя за врачом, извиняющимся, что он идет впереди, Швейцер поднялся на террасу, потом сошел вниз по лесенке в форме веера, пересек сад с клумбами, окаймленными ракушками, где беспорядочно росла высокая трава; изредка на их пути попадался какой-нибудь эвкалипт с листьями, блестящими от недавнего дождя, другие же деревья, совсем нагие, тянули к небу свои искривленные ветви. Швейцер ступал осторожно, чтобы не запачкаться в грязи. Вокруг сада стояли кирпичные домики, отделенные друг от друга живым лабиринтом из самшита.

— Здесь я вас оставлю, — заявил врач. — Идите направо по этой тропинке. С правой стороны, в последнем коттедже вы найдете Штокера.

Он появился перед Швейцером внезапно, как только тот переступил порог открытой настежь двери. Бернардо Штокер, напротив, заметил приближающегося Швейцера еще издалека. Он сидел, укутавшись двумя шотландскими

пледами — один накрывал плечи, другой был наброшен на ноги.

— Дон Хулио, я даже не могу встать, чтобы вас поприветствовать. Этот плед... Вы могли бы написать мне, — в его голосе звучал упрек. Потом, глядя Швейцеру в глаза, спросил:

— Вы уже говорили с директором?

— Да.

— Сколько хлопот я ему причинил. Сожалею.

— Вам не холодно? — спросил Штокер. — Может быть, закроем дверь?

— Нет, я нахожу, что холод полезен для здоровья. Мне это нравится.

Наступило молчание. Швейцер напрочь забыл о цели своего визита или же не хотел самому себе в этом признаться. Он был смущен, лихорадочно обдумывал, что бы такое сказать, пусть любую банальность, которая прервет это затянувшееся молчание. Он вспомнил строчку из письма «Не беспокойтесь обо мне и не ищите встречи со мной. Ответьте мне письмом» и ухватился за это письмо, как за соломинку, дабы оправдать свой визит. Он ограничился тем, что повторил предложения Бернардо, словно ему, Хулио Швейцеру, они только что пришли в голову. Выглядело это несколько абсурдным. Бернардо пришел к нему

на помощь, и беседа неожиданно потекла как по маслу. Швейцер еще не успевал замолкнуть, как тут же начинал говорить Бернардо, а его собеседник поддакивал, кивая головой: «да», «конечно», «так будет лучше», «замечательно»... Из страха, что вновь повиснет молчание, они совсем не придавали значения темам их разговора. Первым умолк Бернардо. Тогда и сеньор Швейцер заметил вдали, за самшитовой изгородью, высокого плотного юношу рядом с какой-то старушкой. Внезапно юноша направился прямо к ним и, подойдя к живой изгороди, не стал ее обходить, а пошел напролом, пробираясь с поразительной ловкостью сквозь самшитовые заросли. Он шел, не отрывая взгляда от Бернардо. Тот, в свою очередь, тоже смотрел на юношу, и лицо его постепенно озарялось улыбкой.

Но тут случилось непредвиденное. Ветер подхватил газетный обрывок и бросил его под ноги юноше. Тот остановился в нескольких метрах от мужчин, поднял обрывок и посмотрел на него с выражением человека, подумавшего про себя: «это слишком серьезно, чтобы прочитать прямо сейчас», тщательно сложил бумажку, спрятал ее в карман и, повернувшись на каблуках, удалился. На этот раз, подойдя к изгороди, он не стал

продираться через самшит, а свернул на тропку и вскоре скрылся из глаз.

Бернардо так и застыл с приоткрытым ртом, сеньор Швейцер не мог сдержаться и спросил тихим, прерывистым голосом, который показался ему чужим и незнакомым:

— Это Рауль Велес?

— Да, — ответил Бернардо, — видите, он инстинктивно тянется ко мне, но всегда что-нибудь встает между нами. Сегодня вот эта проклятая газета.

А затем, в том же быстром темпе и в том же тоне, в каком они беседовали минутой раньше, проговорил:

— У меня была связь с Хасинтой Велес, сестрой этого юноши. Несколько месяцев она жила у меня. Это она попросила позаботиться о Рауле и, прежде чем уехать, сама выбрала этот санаторий.

— Прежде чем уехать... куда?

— Не знаю. Мы с ней постоянно спорили, я приставал с разными вопросами, в общем, я ее раздражал. Всегда раздражаешь тех, кого любишь. И она ушла.

— И ничего не написала?

— В доме, где они снимали комнаты до того,

как умерла ее мать, я нашел в письменном столе разные письма. Но все это были письма, написанные сеньорой де Велес, их вернула почта. Они были посланы людям, адреса которых не удалось установить. Почтовые индексы многих улиц изменились и уже не совпадают с теми, что указаны на конвертах, а какие-то дома давно снесли, а на их месте выстроены новые. Но я на этом не успокоился и повидал многих из тех, кто носит фамилию Велес. Но никто не знал эту семью. Правда, один человек, Рауль Велес Ортусар (он старше меня), сказал мне, что в их роду был некий, почти мифический, персонаж — тетя Хасинта, на нее имела обыкновение ссылаться его матушка. Поговаривали, эта Хасинта была женщиной с дурной репутацией и умерла где-то в Европе.

— Но это никак не может быть Хасинта, — мгновенно отреагировал сеньор Швейцер, в котором пробудился дух расследования.

— Да, вы правы, но ведь это могла быть сеньора де Велес, тем более, тот человек вовсе не был уверен, что она умерла.

— А вы надеетесь, что Хасинта вернется?

— Она обязательно приедет в санаторий повидать брата. Хасинта его так любит. Для нее

«аутизм» Рауля, как говорят врачи, вовсе не порок. Она вообще считает, что это признак превосходства, и даже старается походить на брата.

— Так она больна? — спросил заинтригованный Швейцер.

— Больна или здорова, она нужна мне. Как вы думаете, дон Хулио, она придет? Раньше я в это верил, но сейчас я уже во всем сомневаюсь. Вы верите в сны, дон Хулио? Я тоже не верил, но в последнее время...

— Она являлась вам во снах?

— И да, и нет. Я видел только ее ноги, как будто она стоит передо мной, а я потупился и смотрю в пол. Даже странно, до какой степени могут быть выразительны ноги человека. У меня было такое впечатление, будто я смотрю не на ноги, а в ее лицо. А потом, только я попытался перевести взгляд выше, все подернулось сероватой дымкой.

Вчера мне приснилась та же дымка, точно такого же серого цвета, но временами она становилась белой, полупрозрачной. Я находился словно в трансе и боялся проснуться. Ощутив Хасинту где-то там, рядом, я сказал ей, что она меня обманула, использовала как предлог для того, чтобы я определил Рауля в санаторий. Я умолял ее о встрече. Мы говорили об интимных вещах,

о нас двоих и еще о женщине, к которой Хасинта меня ревновала. Я дрожал от ярости, она же, вместо того чтобы сердиться, смеялась надо мной. Заметив мою дрожь, она обронила: «Зябкий, как все мужчины». И вдруг стала упрекать меня. Однажды я приписал ей якобы чувства, которые она осуждает, которым она не подвержена, а я утверждал, что видел ее плачущей. Хасинту это задело. «Мы никогда не плачем», — заявила она, имея в виду себя и Рауля. А я заметил, что слезы вовсе не показывали ее истинного душевного состояния, что затем и объяснил весьма правдоподобным образом, чем окончательно вывел ее из себя. «Ты тоже меня обманул», — сказала она по-немецки.

— Она знает немецкий?

— Ни слова, но я ясно услышал, как Хасинта произнесла «Auch du hast betrogen!» А потом в этом моем сне я увидел, будто я сижу и раскладываю пасьянс, но стоит мне раскрыть карту не по правилам, как кто-то хватает меня за руку из-за стола. И я проснулся.

Сеньор Швейцер, как мог, успокоил Бернардо. Конечно, Хасинта вернется повидать брата. Это самое логичное. И не надо так всерьез относиться к снам.

С этими словами они и распрощались.

Выйдя из домика, сеньор Швейцер рассеянно свернул не на ту тропинку и дважды оказывался во двориках других коттеджей в окружении самшитовых зарослей. Он никак не мог выбраться в сад, видневшийся прямо перед ним. Наконец он попал на нужную дорожку и зашагал среди деревьев, ориентируясь на освещенные окна главного здания. Вдруг он чуть не наткнулся на какой-то большой темный предмет неясных очертаний, незаметный в тени деревьев, и, вздрогнув, отскочил.

— Не пугайтесь, я не пациентка, — услышал он голос. — Я Кармен, хозяйка меблированных комнат. Мне нужно с вами поговорить.

Вместе они дошли до ограды. Кармен была статной старухой с седыми волосами. Сеньор Швейцер разглядывал ее в свете фонарей у входной двери, вокруг которых нимбом роились мошки, — высокая шляпа в форме цилиндра, пелеринка и меховая муфта (мордочки нутрий впивались своими острыми зубками в собственные светло-каштановые хвосты). Он отыскал глазами поджидавшее его такси. Женщина пересекла улицу, и сеньор Швейцер, забежав вперед, инстинктивно распахнул дверцу и помог ей сесть в машину.

— Я хотела попросить вас, — произнесла его спутница жалобным голосом, который никак не вязался с достоинством ее внешнего облика и потому звучал неискренне, словно она копировала голоса людей, чьи просьбы привыкла выслушивать сама. — Вы хороший человек и можете оказать влияние на Штокера. Пусть они оставят Рауля в покое и разрешат ему вернуться в мой пансион. Я люблю его как сына.

— В таком случае вам следовало бы поблагодарить сеньора Штокера за то, что он делает для Рауля. В санатории его смогут вылечить.

— Вылечить? — вскричала женщина. — Рауль вовсе не болен. Он просто другой, и все. А в санатории он страдает. В первую же ночь его заперли. Юноша тосковал без меня и хотел убежать. Его избили: на следующий день у него все тело было в синяках, а Рауль никогда не падает. А вчера...

— Что случилось вчера?

— Вчера я увидела его на полу, с пеной на губах! А санитар мне сказал: «Ничего страшного — это реакция на инсулин. Спровоцированный приступ эпилепсии». Спровоцированный — подумать только! Мерзавцы!

— Врачи понимают в этом больше, чем мы с вами, — слабо возражал сеньор Швейцер. —

Надо подождать результатов лечения. А пока довольствуйтесь тем, что можете навещать его в санатории.

— А вы знаете, что это такое — содержать в порядке пансион? — дерзко спросила женщина. — Я не в состоянии разъезжать на автомобиле. И Штокер не дает мне больше денег. Раньше он приходил по утрам, рылся в ящиках, уносил с собой книги, картины и говорил мне: «Донья Кармен, в санатории Рауль не будет ни в чем нуждаться. И вы тоже. Конечно, вы к нему очень хорошо относитесь, но так будет лучше». Как же он насмехался надо мной!

Швейцер терял терпение.

— Вы не хотите понять. Сеньор Штокер поместил Рауля Велеса в санаторий по просьбе его сестры Хасинты Велес.

— Да, он так говорил. Я знаю.

— И только она может исправить положение. К сожалению, она больше не живет вместе с сеньором Штокером. Вы же, вместо того чтоб наговаривать на него, лучше бы помогли ему найти Хасинту.

Женщина ответила, отчеканивая каждый слог:

— Хасинта покончила с собой в тот день, когда умерла ее мать. Их похоронили вместе.

И добавила:

— Знаете, меня не интересует, что Штокер там вам наговорил. С Хасинтой он познакомился благодаря мне. Ему ее представила моя подруга, Мария Рейносо. — И пояснила без тени смущения: — Мария Рейносо — сводница.

И так как ей показалось, что Швейцер, замолчав, сомневается в ее словах, она разразилась вспышкой гнева:

— Вы что, не верите мне? Мария Рейносо вам это подтвердит в любой момент, да хоть прямо сейчас, если пожелаете.

Резко подавшись вперед, она прокричала шоферу адрес; затем, устраиваясь поглубже на сиденье, слегка коснулась плечом лица Швейцера. Тот ощутил слабый запах плесени от меховой пелеринки.

— Мне не хочется плохо говорить о Хасинте, но я ее никогда не любила. Она не похожа ни на свою мать — та была сама доброта и великодушие! — ни на Рауля. Его я люблю как сына. Хасинта была гордячкой и презирала бедных. Ну да ладно, она уже на том свете — она выпила пузырек дигиталиса.

Машина остановилась. Пока Швейцер расплачивался с шофером, старушка уже шла по

длинному коридору. Швейцер ускорил шаги, догоняя ее.

Дверь им открыла женщина неопределенного возраста. Донья Кармен обратилась к ней:

— Это не то, что ты думаешь, Мария. Сеньор пришел исключительно поговорить с тобой о Штокере и Хасинте Велес. Он хочет услышать от тебя правду.

— Проходите. Хватит того, что он твой друг, я скажу ему то, что знаю.

— Боюсь, ты его разочаруешь, — произнесла донья Кармен напыщенно.

Хозяйка провела их в дом, шаркая шлепанцами. Усадила и предложила выпить.

— Вы друг Хасинты? — спросила она Швейцера. — Нет? Штокера? А, это человек серьезный, почтенный. Давно он сюда не приходил. Здесь-то он и познакомился с Хасинтой (бедняжка!), и она ему сразу же понравилась. Они встречались два-три раза в неделю целый месяц. Всегда здесь, в моем доме. Штокер звонил мне, а уж я договаривалась с Хасинтой. В тот день, когда умерла сеньора де Велес, Хасинта задержалась, мне это показалось странным, ведь она сама настояла на свидании. Штокер пришел, а Хасинты все нет. Я ему объяснила, почему она опаздывает. Мы стали ждать.

Сидим, ждем. Я начала уже волноваться, звоню по телефону и тут-то узнаю о несчастье. Штокера как громом поразило, и он меня попросил оставить его одного в той комнате. Так он там и просидел до ночи. Он ведь такой сентиментальный. Потом уже стало ясно, что он тогда надумал. Я считаю — это благородный жест.

Донья Кармен оборвала ее:

— Не суди о том, чего не знаешь!

Та улыбнулась.

— Она так злится, — сказала Мария Рейносо, глядя на Швейцера, — потому что не может жить, если не видит его весь день, с утра до вечера. Кармен, Кармен, ну на что это похоже! Серьезная женщина, в твои-то годы...

— Я люблю его как сына.

— Скажи еще как внука.

Сеньор Швейцер тут же удалился, как только диалог женщин пошел на повышенных тонах. Улицы были пустынны. Асфальт в центре мостовой блестел под электрическим светом: там мерцали огромные лужи, и ступить туда было весьма рискованно. Дальше все погружалось в темноту, и вновь — в другом квартале сверкал какой-то водоем. Не без колебания Швейцер отважился пересечь его. Так он брел довольно

долго, каждый раз сомневаясь, свернуть ли ему на следующую улицу, плотно прижимаясь к стенам домов, как мошка льнет к листику. Время от времени, проходя в узкий проем арки к освещенному подъезду, он остро чувствовал свою беззащитность. Швейцер устал, промерз, но не мог никуда зайти погреться. Остановиться он тоже не мог. Усталость гнала его все дальше и дальше. Он дошел до площади, пересек улицу. Здесь жил Штокер. Швейцер взглянул на табличку с кнопками звонков. Когда спустя четверть часа спустился Лукас в пальто, накинутом прямо на нижнее белье, Швейцер все нажимал и нажимал на кнопку третьего этажа.

— Сеньор Швейцер! — воскликнул слуга. — А хозяина нет.

— Я знаю, Лукас. У меня для вас от него поручение. Я проходил мимо и осмелился позвонить. Извините, что разбудил.

— Да ничего, сеньор Швейцер. Входите, не стойте здесь на улице. Давайте поднимемся на лифте для прислуги, от главного я ключи не захватил.

Они прошли на кухню. Лукас открыл двери, зажег свет. «Отопление мы теперь отключаем очень рано. А так как никого нет, то камины я не разжигаю». Они вошли в холл. Швейцер приду-

мывал, что бы такое передать от имени своего компаньона.

— Сеньор написал мне. Он велит все счета отправлять в контору. Сам он в любой день может вернуться.

— Он мне оставил достаточно денег.

— Я вам повторяю то, что он мне написал.

— Хозяин путешествует.

— Да, Лукас.

Слуга, казалось, не прочь был поговорить. Сквозь зубы он добавил:

— ... с сеньорой Хасинтой.

Швейцер задал ему вопрос, стараясь говорить медленно и четко:

— Скажите, Лукас, она здесь жила?

— Но вы же сами знаете...

— Вы в этом уверены? Вы хоть раз ее видели?

— Видел, не видел... Смотря что понимать под этим словом. Как-то я ее заметил у входной двери. Это было после завтрака. Она выходила из дома в тот самый момент, когда я туда заходил. Я ее сразу же узнал.

— Но вы ведь никогда раньше ее не видели!

— А это неважно.

— Как это неважно?

— У нее были серые глаза.

— Но как вы узнали, что это была именно она?

— Я догадался. Она на меня смотрела и улыбалась. Как будто хотела сказать: «Спасибо тебе за бульон и салат, которые ты мне каждый день готовишь, и за грецкие орехи, и за лесные тоже. Спасибо за твою скромность!» Она добрая очень женщина.

— Но в доме вы ее так ни разу и не видели?

— Хозяева предпринимали столько предосторожностей! До тех пор, пока они не уйдут из дома, мы не могли убрать спальню. Вечером первым всегда приходил хозяин и запирал на ключ дверь холла. А когда открывал дверь, сеньора уже была в своей комнате. Сеньор Швейцер, вы помните тот последний вечер, когда здесь ужинали? Хозяин очень нервничал, хотел, чтобы сеньора вышла к столу, и хотел познакомить ее с гостем. Когда я накрывал на стол, то услышал его голос: «Хасинта, я тебя умоляю! Поужинай с нами, не оставляй меня сегодня одного». Он ее ждал до самой последней минуты. Сеньор Швейцер, вы, наверное, помните, что хозяин велел поставить три прибора? Но сеньора Хасинта так и не появилась. Она очень осмотрительная женщина.

— Короче говоря, вы ее никогда в доме не видели.

— А зачем мне ее нужно было видеть? — воскликнул слуга. — И сейчас мне нисколько не трудно готовить ей холодный бульон — спросите у Росы, — хозяин мне приказал все готовить как обычно. Я знаю, сейчас ее здесь нет, но я точно так же знаю, что она больше трех месяцев прожила в этом доме.

Швейцер все приговаривал:

— Но вы никогда ее не видели внутри...

На что Лукас убежденно повторял свое:

— Как будто нужно было ее обязательно видеть. А запах? Послушайте, сеньор Швейцер, я вовсе не хотел бы вас обидеть, но у сеньоры Хасинты совсем нет этого неприятного запаха белых. У нее кожа пахнет по-другому. Похоже на свежий аромат папоротников, тенистых мест, где, наверное, есть немного стоячей воды, да-да, совсем немного... А, я знаю, вот какой это запах — в склепе на кладбище Дисидентес пахнет точно так же. Это запах слегка зазеленевшей воды в цветочных вазах.

Сеньор Швейцер укладывался спать. «Я сегодня и не поужинал», — подумал он, просовывая голову в ночную рубашку из фланели. Он свернулся калачиком в постели, нащупал ступнями грелку с горячей водой, закрыл глаза и высунул руку

из-под одеяла, чтобы погасить лампу. Однако, против ожидания, в комнате не стало темно. Оказывается, он забыл выключить верхнюю люстру, бронзовую, с тремя остроконечными бра, светящимися газовыми огоньками, а теперь замененными на электрические свечки. Он встал. Проходя мимо шкафа, увидел в зеркале свое отражение: ростом ниже, чем обычно (это потому что босиком), двойной подбородок... Столь мало привлекательный образ заставил его отпрянуть в сторону. Он погасил свет, в темноте на ощупь нашел свою кровать, а потом, обхватив руками плечи, попытался заснуть.

Густав Вайль

История двух сновидцев

Рассказывают люди, достойные доверия (но лишь Аллах всезнающ и всемогущ и милосерд и не знает усталости), что жил некогда в Каире человек богатый, но такой великодушный и щедрый, что вскоре потерял все богатство, кроме дома, доставшегося ему от отца, и должен был работать, чтобы добывать себе кусок хлеба. Однажды, когда он трудился в саду, сон сморил его, и он уснул под смоковницей. Во сне ему явился неизвестный и сказал:

— Тебя ждет богатство в Персии, в Исфахане, иди за ним.

Проснувшись на следующее утро, он отправился в далекое путешествие. Его подстерегали опасности среди пустыни, на быстрых реках, ему встречались язычники, хищные звери и дурные люди. В конце концов он пришел в Исфахан, но добрался до города поздним вечером и устроился на ночлег в саду постоялого двора. Рядом с постоялым двором был дом, и по велению Всемогущего Аллаха воровская шайка, орудовавшая на постоялом дворе, проникла в дом, а его обитатели проснулись и принялись звать па помощь. Тут

же подняли крик и соседи, и шум продолжался, пока не появился начальник ночного дозора со своими людьми, а воры стали убегать по плоской крыше. Начальник обыскал постоялый двор и, обнаружив там каирца, приказал препроводить его в тюрьму. Судья призвал его и спросил:

— Кто ты и из каких мест?

Тот отвечал:

— Живу я в славном городе Каире, и зовут меня Якуб из Магриба.

Судья спросил:

— Что привело тебя в Персию?

Каирец не стал скрывать и ответил:

— Во сне явился мне человек и приказал идти в Исфахан, где ждет меня богатство. И вот я в Исфахане и вижу, что вместо богатства меня ждет тюрьма.

Судья расхохотался:

— Безрассудный, — сказал он. — Мне трижды снился дом в Каире, окруженный садом, а в саду солнечные часы, а рядом с ними старая смоковница, а под смоковницей зарыт клад. Я ни на минуту не поверил лживому видению. А ты скитаешься из города в город, поверив своему сну! Не появляйся больше в Исфахане. Бери эти монеты и ступай.

Каирец взял монеты и вернулся домой. Под старой смоковницей в своем саду (том самом, который снился судье) он нашел клад. Так Аллах благословил его, и наградил, и возвысил. Аллах щедрый и ведающий сокровенное.

«История Аббасидского халифата в Египте» (1860—62)

Рихард Вильгельм

Секта Белого Лотоса

Жил на свете человек, принадлежавший к секте Белого Лотоса. Многие из тех, кто хотел овладеть тайными знаниями, приходили к нему учиться.

Однажды маг собрался уехать. Он поставил в прихожей пиалу, накрыл другой пиалой и приказал своим ученикам охранять их. Он запретил им открывать пиалу и смотреть, что там внутри.

Едва он исчез из виду, ученики подняли верхнюю пиалу и увидели, что в нижней просто чистая вода, а на воде — сделанный из соломы кораблик с мачтами и парусами. В изумлении они дотронулись до кораблика пальцем. Кораблик опрокинулся. Они быстро поправили его и снова закрыли пиалу.

В ту же минуту появился маг и сказал им:

— Как вы посмели ослушаться меня?

Ученики вскочили на ноги и принялись отрицать, что трогали пиалу. Маг объяснил:

— Мой корабль потерпел крушение в Желтом море. Зачем вы обманываете меня?

Однажды вечером он разжег в углу дворика небольшой костер и приказал ученикам беречь его от ветра. Уже вторую ночь они не спали, а маг

все не возвращался. Усталые, сонные ученики улеглись и заснули. Наутро оказалось, что огонь погас. Они разожгли костер заново.

В ту же минуту появился маг и сказал им:

— Как вы посмели ослушаться меня?

Ученики все отрицали:

— Нет, нет, мы не спали. Как мог погаснуть огонь?

Маг сказал:

— Я пятнадцать лиг блуждал в темноте по пустыням Тибета, а вы хотите обмануть меня.

Тут ученики испугались.

«Китайские народные сказки» (1924)

Вилье де Лиль-Адан

Пытка надеждой

О, голоса, только голоса, чтобы кричать...

Эдгар По. «Колодец и маятник»

Это было в давние времена. Как-то вечером под своды Сарагосского официала в сопровождении фра редемптора (заплечных дел мастера) и предшествуемый двумя сыщиками инквизиции с фонарями преподобный Педро Арбуэс де Эспила, шестой приор доминиканцев Сеговии, третий Великий инквизитор Испании, спустился к самой отдаленной камере. Заскрипела задвижка тяжелой двери: все вошли в зловонное inpace[62], где слабый свет, проникавший через окошечко под потолком, давал возможность различить между вделанными в стену железными кольцами почерневшие от крови деревянные козлы, жаровню, кружку. На подстилке из навоза в цепях и с ошейником сидел там человек уже неразличимого возраста с исступленным выражением лица и в лохмотьях. Этот узник был некто иной, как рабби Асер Абарбанель, арагонский еврей,

[62] Примечания: 62
Букв.: могила *(лат.).*

обвиненный в ростовщичестве и беспощадном пренебрежении к беднякам, которого уже больше года ежедневно подвергали пыткам. И тем не менее, поскольку «ослепление его было столь же стойким, как и его шкура», он упорно отказывался отречься от своей веры. Гордый своими древними предками и тем, что род его по прямой линии продолжается уже не одну тысячу лет, ибо все достойные своего имени евреи ревниво блюдут чистоту своей крови, он, согласно Талмуду, происходил от Отониила и Ипсибои, супруги этого последнего судьи Израиля, — это обстоятельство тоже поддерживало его мужество во время самых жестоких и длительных пыток.

И вот с глазами, полными слез, при мысли, что эта столь твердая душа отказывается от вечного спасения, преподобный Педро Арбуэс де Эспила, приблизившись к дрожащему раввину, произнес следующие слова:

— Возрадуйтесь, сын мой. Ваши испытания в сей земной юдоли кончаются. Если перед лицом такого упорства я, страдая душой, и вынужден был допускать столь суровые меры, моя миссия братского исправления тоже имеет предел. Вы — строптивая смоковница, которая упорно не приносила плодов и заслужила того, чтобы засох-

нуть... Но лишь Господу Богу дано решить участь вашей души. Может быть, беспредельная Его милость озарит ее в последний миг! Мы должны на это надеяться! Тому были примеры... Да будет же так! Отдохните сегодня вечером в мире! Завтра вы станете участником аутодафе, то есть будете выставлены у кемадеро — мощной жаровни, предвестницы вечного адского пламени. Как вы знаете, она не сжигает сразу, смерть наступает часа через два (а то и три) благодаря вымоченным в ледяной воде поленьям, которыми мы защищаем голову и сердце жертв. Вас будет всего сорок три. Учтите, что, находясь в последнем ряду, вы будете иметь достаточно времени, чтобы воззвать к Господу и с именем Его принять сие огненное крещение, которое есть крещение в духе святом. Уповайте же на свет озаряющий и засните.

Закончив эту речь, дон Педро Арбуэс сделал знак, чтобы с несчастного сняли цепи, и ласково облобызал его. Затем пришла очередь фра редемптора, шепотом попросившего у еврея прощения за все, что он перенес ради того, чтобы возродиться. Потом его облобызали и оба сыщика, молча и не снимая капюшонов. Наконец церемония эта окончилась, и недоумевающий узник остался во мраке и в одиночестве.

С пересохшим ртом, с отупелым от страданий лицом рабби Асер Абарбанель сперва без особого внимания и без определенных намерений поглядел на запертую дверь. Запертую ли?.. Слово это, непонятно для него самого, пробудило в помутненном его сознании некую мысль. Дело в том, что на какое-то мгновение он уловил в щели между дверью и стеной свет фонарей. Смутная надежда возникла в его слабеющем мозгу, потрясла все его существо. Он потащился к тому необычному, что явилось ему. И вот потихоньку, с величайшими предосторожностями он просунул в щелку один палец и потянул к себе дверь... О, диво! По странной случайности сыщик, запиравший дверь, повернул тяжелый ключ не на полный оборот. Так что заржавленный язычок не дошел до конца, и сейчас дверь откатилась в свою узкую нишу.

Раввин с опаской выглянул наружу. В белесоватом сумраке он различил сперва полукруг стены землистого цвета, словно продырявленный спиралью ступенек, и прямо против себя, над пятью-шестью такими ступеньками, — черную дыру, нечто вроде прохода в просторный коридор, но снизу можно было разглядеть только первый изгиб его свода.

И вот он вытянулся и пополз к этому порогу. Да, там был коридор, но коридор бесконечно длинный! Со сводов струился мертвенно-бледный свет, какой видишь во снах: через определенные промежутки там развешаны были слабые светильники, придававшие темному воздуху легкую голубизну, но в глубине коридора был только мрак. И на всем его протяжении не виделось ни одной боковой двери.

Лишь с левой стороны в углублении стены небольшие забранные решетками отверстия пропускали свет, видимо, вечерний, так как местами на плитках пола лежали красноватые полосы. И какая ужасающая тишина!.. Но все же там, в самой глубине этого мрака, находился, может быть, какой-нибудь выход на свободу. Еле теплившаяся надежда не покидала еврея: она ведь была последней.

Поэтому он, сам не зная куда, потащился по плитам коридора под отдушинами, стараясь никак не выделяться на темном фоне бесконечной стены. Он двигался очень медленно, прижимаясь грудью к плитам и силясь, чтобы не вскрикнуть, даже когда какая-нибудь открывшаяся рана вызывала у него острую боль.

Внезапно эхо этого каменного прохода донес-

ло до него шаркающий звук чьих-то сандалий. Он затрепетал, задыхаясь от страха, в глазах у него потемнело. Ну вот! Теперь-то уж, наверно, всему конец! Он весь сжался, сидя на корточках, в углублении стены и, полумертвый от страха, ждал. Это был торопящийся куда-то сыщик. Он быстро прошел мимо, страшный в своем капюшоне и со щипцами для вырывания мышц в руке, и исчез. Внезапный ужас, словно стиснувший все тело раввина, лишил его последних жизненных сил, и почти целый час он не в состоянии был пошевелиться. Страшась новых пыток, если его обнаружат, он подумал было, не возвратиться ли обратно в каменный мешок. Но упорная надежда в душе нашептывала ему божественное «может быть», которое укрепляет дух человека даже в самом отчаянном положении! Чудо свершилось! Не надо сомневаться! И он снова пополз к возможному освобождению. Изможденный пытками и голодом, дрожащий от страха, он все же продвигался вперед. А этот подобный склепу коридор словно удлинялся таинственным образом. И его медленному продвижению все не было конца, и он все время смотрел туда, в этот мрак, где *должен же был* находиться спасительный выход.

Ого! Вот опять зазвучали шаги, но на этот

раз они были медленнее и тяжелее. Вдалеке на темном фоне возникли черно-белые фигуры двух инквизиторов в шляпах с загнутыми полями. Они негромко разговаривали, видимо, в чем-то несогласные друг с другом по какому-то немаловажному вопросу, так как оба энергично жестикулировали.

Завидев их, рабби Асер Абарбанель закрыл глаза. Сердце его забилось так, что казалось, он вот-вот умрет, лохмотья пропитались предсмертным ледяным потом. Неподвижно вытянулся он вдоль стены под самым светильником и открытым ртом беззвучно взывал к Богу Давида.

Подойдя близко к нему, инквизиторы остановились как раз под светильником, видимо, случайно, увлеченные своим спором. Один из них, внимательно слушая собеседника, поглядел в сторону раввина. И несчастному, не сразу сообразившему, что взгляд этот — рассеянный, невидящий, почудилось, что раскаленные щипцы снова впиваются в его истерзанную плоть. Значит, ему снова предстоит стать сплошным воплем, сплошной раной!

В полуобморочном состоянии, без сил вздохнуть, он беспомощно моргал и трепетал от малейшего прикосновения рясы инквизитора.

Однако — дело хотя и странное, но в то же время вполне естественное — взгляд инквизитора свидетельствовал, что в данный миг тот глубоко озабочен тем, что ему ответить на речи, которые он слушает и которые его, по-видимому, целиком поглощают: взгляд этот устремлен был в одну точку — на еврея, но при этом, казалось, совершенно *не видел его.*

И действительно, через несколько минут оба зловещих собеседника, медленным шагом и все время тихо переговариваясь, продолжили свой путь в ту сторону, откуда полз узник. ЕГО НЕ УВИДЕЛИ! Но он был в таком ужасающем смятении чувств, что мозг его пронзила мысль: «Не умер ли я, раз меня не видят?» Из летаргии вырвало его омерзительное ощущение: со стены у самого лица и прямо против его глаз — так ему показалось — устремлены были два чьих-то свирепых глаза. Волосы у него встали дыбом; внезапным, безотчетным движением он откинулся назад. Но нет, нет! Ощупав камни, он сообразил: это *отражение* глаз инквизитора в его зрачках как бы отпечаталось на двух пятнах этой стены.

Вперед! Надо торопиться к той цели, которая представлялась его уже, наверно, больному сознанию освобождением! К этому сумраку, от

которого он был теперь в каких-нибудь тридцати шагах. И он снова продолжил, как можно было быстрее, свой мучительный путь, ползя на коленях, на руках, на животе, и вскоре попал в неосвещенную часть длинного коридора.

Внезапно несчастный ощутил на своих руках, упиравшихся в плиты пола, резкое дуновение из-под небольшой двери в самом конце коридора. О боже! Только бы эта дверь вела за пределы тюрьмы! У измученного беглеца закружилась голова от надежды. Он разглядывал дверь сверху донизу, но ему это плохо удавалось из-за сгустившегося вокруг сумрака. Он принялся нащупывать — ни щеколды, ни замка. Задвижка! Узник выпрямился, задвижка уступила его нажиму, дверь перед ним распахнулась.

— Аллилуйя! — благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.

Дверь открывалась в сады под звездами ясной ночи, открывалась весне, свободе, жизни! Там, за садами, чудились поля, а за ними — горы, чьи голубоватые очертания вырисовывались на небосклоне, — там было спасение! О, бежать! Он и бежал всю ночь под сенью лимонных рощ, вды-

хал их аромат. Углубившись в горы, он будет уже на свободе. Он дышал благодатным, священным воздухом, ветер вливал в него жизнь, легкие его оживали! А в сердце звучали слова «Veni foras», обращенные к Лазарю! И чтобы еще лучше прославить Бога, который даровал ему эту милость, он протянул руки вперед и поднял глаза к небу. Это был экстаз.

И тут ему показалось, что тень его рук словно обращается к нему, что руки обнимают его, ласково прижимая его к чьей-то груди. И действительно, чья-то высокая фигура стояла рядом с ним. Доверчиво опустил он взгляд на эту фигуру — и тут дыхание сперло у него в груди, он обезумел, глаза его потускнели, все тело била дрожь, щеки раздулись, и от ужаса изо рта потекла слюна.

Да, смертный ужас! Он был в объятиях самого Великого инквизитора, дона Педро Арбуэса де Эспилы, который глядел на него полными крупных слез глазами с видом доброго пастыря, нашедшего заблудившуюся овцу...

Мрачный священник прижимал к своей груди в порыве горячей любви несчастного еврея, которого больно колола грубая власяница доминиканца сквозь ткань его рясы. И пока рабби Асер Абар-

банель, глубоко закатив глаза, хрипло стонал от отчаяния в аскетических руках дона Педро и смутно понимал, *что все события этого рокового вечера были только еще одной предумышленной пыткой — пыткой надеждой,* Великий инквизитор с горестным взором и глубоким упреком в голосе шептал, обжигая его горячим и прерывающимся от частых постов дыханием:

— Как так, дитя мое! Накануне, быть может, вечного спасения... вы хотели нас покинуть!

«Новые жестокие рассказы» (1888)

Хуан Родольфо Вилькок

Кто такие донги?

I

Серая завеса дождя, будто штора из металлических цепочек, что отпугивает мух в молочных магазинах, но свободно пропускает воздух и покупателей, спрятала меня от горы, когда я приехал в Мендосу, однако о них говорили шумные ручьи, несомненно, стекавшие с крутых склонов.

На другой день с террасы отеля я увидел горы в разрывах туч, бредущих по небу, и удостоверился, что их вершины действительно покрыты снегом. Я, правда, не преисполнился восторгом, и повинна в том, скорее всего, цветная открытка с примелькавшимся видом Пуэнте дель Инка[63], купленная мной в каком-то газетном киоске. Открытка, разумеется, была слабым отражением реальности. Как и многим приезжим, горы напоминали мне швейцарские Альпы.

В день отъезда из Мендосы я встал засветло, и меня сразу пронизала сырость, набухшая

[63] Примечания: 63

Природный каменный мост длиной 50 метров над бывшим руслом реки Лас Куэвас (Прекордильеры, департамент Лос Эрас, провинция Мендоса) *(прим. переводчика).*

мерклым светом, какой бывает при солнечном затмении. В семь утра мы отправились в путь на машине. Мы — это я и два инженера: Бальса и Бальсочи, явно не посвященные в секреты анаграммы... Утреннее солнце уже высвечивало высокие кактусы самой разнообразной формы, которые нарушали однообразие холмов, темневших по обе стороны дороги.

Мы проскочили мост через реку Мендоса, и я даже не успел взглянуть на нее. В такое время года она привлекает грохотом воды, под синей дымкой в которую сливаются лучи летнего света, проникающие в ущелье. Вскоре мы очутились в горах.

Оба инженера разговаривали, как заведенные, и в какой-то момент Бальсочи сказал:

— Наш Барнаса ест больше, чем донги.

Бальса покосился на меня и, обсудив с приятелем еще одну порцию газетных новостей, решил прощупать, что я собой представляю.

— А вам, инженер, уже объяснили, зачем строится такой крупный отель в Пунта де Вакас?

Вообще-то я знал, но не с чужих слов, и поэтому спокойно ответил:

— Нет.

И закончил шаблонной фразой:

— Строят, видимо, в целях развития туризма.

— Н-да... для развития туризма. Какая чепуха, ха-ха! Скажите лучше что-нибудь поинтереснее...

Я не сказал «что-нибудь поинтереснее» и, прекрасно понимая его, буркнул:

— Не понимаю.

— Позже мы вас посвятим в некоторые подробности секретного свойства, связанные со строительством отеля, — сказал мне Бальса. — Вам многое станет ясно, когда вы получите всю проектную документацию и технические задания. Ну а пока придется потерпеть, уж не взыщите...

Им обоим, полагаю, никогда бы не удалось сотворить настоящую тайну. Их честность — невольная — в том и заключалась, что они всегда показывали, чем заняты их мысли в определенный момент, к примеру — вместо того, чтобы по-настоящему притвориться, изображали на лице откровенное притворство и т. п.

Я без страха вглядывался в этот неведомый мне мир. Когда машина пролетела между двумя высокими скалами-обелисками, одна — черная, другая — красноватая, я успел схватить их запоминающим взглядом и приготовился к встрече

с новым пейзажем, достойным восхищения, но грохот воды подсказал мне, что мы въезжаем в туннель, и впереди будет что-то совсем иное...

И вот уже машина, точно быстроногое насекомое, мчит по опасной горной дороге среди зеленых, желтых и фиолетовых переливов базальта и гранита.

— У вас в Буэнос-Айресе есть семья? — спросил меня Бальса.

— Нет. У меня нет семьи.

— А-а... понимаю, — ответил он раздумчиво. Оба мои спутника отличались удивительной готовностью не понимать самые простые вещи, даже, к примеру, мои слова насчет семьи.

— И вы думаете остаться у нас надолго?

— Не знаю. Ведь в контракте не указано, сколько отелей предполагается построить, значит, неизвестно, сколько времени я здесь пробуду.

— Пока на вашем здоровье не скажется высота... (Бальсочи, с тайной надеждой).

— 2240 метров... Такая высота для человека, тем более молодого, не страшна. (Бальса. С той же надеждой.)

На празднично синем небе внезапно начали клубиться мрачно багровые тучи, заволакивая вершины гор... Временами под яркой радугой се-

ял дождь. Временами дождь становился градом. Мы втроем вышли из машины, чтобы выпить горячего кофе с молоком в придорожном домике их приятеля. Это был пятидесятилетний славянин, женатый на двадцатилетней аргентинке. Он следил за рельсовыми путями на этом участке и переводил стрелки — нудная работа небогатых людей. Его невзрачная жена, похоже, тяготилась самой жизнью, но почему-то она сразу вызвала у меня сильное желание, и я поспешил выскочить за дверь, чтобы не пялиться на нее, как похотливый павиан. Мои ноги тотчас погрузились в новую для меня материю, я скатал снежный комок, лизнул его языком, потом надкусил, содрал с ветки наледь, помочился, и, поскользнувшись, упал на край замерзшего ручья.

Когда мы сели в машину, стекла ее были опушены снегом, и я вдруг почувствовал, что ноги у меня промокли...

Порой мы ехали берегом реки, порой она ускользала в глубокое ущелье.

— Тех, кто срывается вниз, вода протаскивает очень далеко, и когда их находят — они голые и лысые. (Бальса.)

— Почему? (Я.)

— Потому что вода бьет утопленников о камни.

(Бальса.)

— Здесь бешеная скорость воды — семь метров в секунду. На днях с нашего перехода упал мастер Антонио. Жена в Мендосе ждет, когда найдут его тело. Но пока ничего не обнаружили. (Бальсочи.)

— Кстати... Надо бы посматривать — вдруг увидим! (Бальса.)

В глубине долины завиднелось маленькое ничем не примечательное селение Успальята в освещенных солнцем ивах и тополях, а рядом с ним — дорога, которая уходила вверх по рыжеватому каменному горлу, прячась от одиноких рек.

Реки Кордильеры... быстрые, прозрачные, как воздух, с округлыми, всегда умытыми камнями, зелеными, фиолетовыми, желтыми, в темных прожилках, безо всякой нечисти, без сказочных нимф, зажатые меж каменных громад, которые принесла сюда какая-то сила и оставила здесь навечно. У рек Кордильеры нет истории, нет прошлого, они принадлежат настоящему времени. Иногда я слушаю их, стоя на скале под незримым небом без звезд и птиц. Слушаю шум горных потоков, не думая ни о чем.

У рек — цветные имена — Бланко, Колорадо, Негро... Одни летят вниз по прямой, другие выпрыгивают откуда-то сбоку (говорят, здесь

водятся гуанако, но пока я их не видел). Все реки спускаются в долину. Летом, разбухая, они меняют русло и цвет и приносят с собой невероятное количество глины и песка. Мы пересекли желтую, образованную наносами возвышенность под названием Парамильо де Хуан Побре — любопытное зрелище для геологов — и прибыли на место к обеденному часу. Оказалось, что это не в самом Пунта де Вакас, а в двух километрах от него. Я страшно обозлился, подумав, что зимой из-за снега останусь без женщины — уж какая-то должна мне приглянуться! — но потом успокоился, поняв, что сумею дойти до селения пешком и для меня не помеха даже эти округлые обломки скал, которые периодически скатываются с высей, перекрывая дорогу.

Под строительство выбрана площадка наподобие платформы, имеющая незначительный уклон, причем на хорошем расстоянии от возможных оползней. С одной стороны она отгорожена рекой, которая срывается вниз с семиметровой высоты мощным водопадом, а затем мирно, точно вода из-под крана, течет в долину. В этих горах нет ничего, кроме базальта, сланца, смолистой харильи и колючек. Все остальное доставляется на машинах... С другой стороны будущий

отель защищает огромная скала, похожая на красноватую пилу с острыми зубцами, или на церковную крышу, а может, на вокзал Сент-Панкрас в Лондоне. Небо здесь так сужено, что солнце заглядывает сюда лишь в половине десятого утра, а в половине пятого торопливо исчезает, будто страшась холода и ветра, которые всегда одерживают над ним верх.

Ветер! Да разве в этих горах смогут жить богатые дамы, ревниво оберегающие свои прически? Ведь здешние ветры переворачивают камень, как пушинку. Я так и слышу жалобы этих дам на головную боль от беспрестанного ветра, и мне даже хочется поскорее завершить строительство первого отеля и улучшить конструкцию окон, чтобы они плотнее закрывались. Очень скоро мы отстроим временное пристанище, если сюда не пожалует этот назойливый Энрике.

После обеда оба инженера познакомили меня с проектной документацией и повели на стройку. Оба были очень довольны, что обошлись без архитектора и заказали внутреннюю облицовку здания мастерской мраморных изделий в Мендосе. Правда, с этой мастерской вышел небольшой конфликт из-за ста двадцати восьми распятий для спален. Распятия были изготовлены из черной

гранитной крошки, но их размеры не значились ни в одном из технических заданий. Вообще-то я сам договаривался о размерах и поэтому не слушал возражений Бальсочи, который чего-то опасался. Что и говорить, я во многом перегибал палку, но бедняги-строители ходили у меня по ниточке... А развлечений — почти никаких, кроме редких писем и этого дневника. Хотя как-то раз, во время строительства секции для обслуживающего персонала, я сумел засунуть надутую камеру футбольного мяча без покрышки в одну из колонн, когда ее заполняли бетоном. А когда снимали опалубку, ахнули, увидев эту камеру. Пришлось заполнять круглую полость разведенным цементом. История быстро обросла разными слухами и послужила поводом для увольнения нескольких человек. Мяч, кстати, принадлежал Бальсочи...

Как только мы вернулись в контору, мои коллеги решили, что пора посвятить меня в тайны строительства отеля. Мне не пришлось изображать неподдельное любопытство, поскольку я очень хотел услышать все из их уст.

II

БАЛЬСОЧИ. — Вы ничего не заметили странного в Буэносе-Айресе за последнее время?

Я. — Нет, ничего.

БАЛЬСА. — Да зачем тянуть кота за хвост (точно ему и впрямь приходилось мучать котов)? Вы что-нибудь слышали о донги?

Я. — Нет. А что это?

БАЛЬСА. — Разве вы не замечали, что в метро на линии «Конституция» — «Боэдо» поезда никогда не доходят до «Боэдо», а высаживают пассажиров на временной станции с дощатой платформой. Туннель идет вглубь, но там работа остановлена и отверстие забито досками.

БАЛЬСОЧИ. — Через это отверстие и вылезли донги.

Я. — Кто это?

БАЛЬСА. — Подождите, я вам объясню...

БАЛЬСОЧИ. — Говорят, что донги займут место человека на земле.

БАЛЬСА. — Сейчас я вам объясню... Издаются специальные бюллетени для ограниченного пользования, а некоторые строго засекречены. Так вот, там в сжатой форме изложены статьи зарубежных ученых и аргентинцев. Я читаю

эти бюллетени и оттуда, к примеру, узнал, что в разные эпохи на Земле господствовали разные животные. В настоящее время господствует человек, потому что он обладает высокоразвитой нервной системой, которая позволяет ему сохранять главенство над всеми. Однако животное, которое называется «донги»...

БАЛЬСОЧИ. — Оно называется «донги», потому что французский биолог Доннеги (он пишет фамилию на бумаге и показывает мне) был первым, кто им заинтересовался и стал его изучать. В Англии это животное назвали «Доннеги Пиг», но теперь принято говорить «донги».

Я. — Это свинья?

БАЛЬСА. — Нет, но напоминает молочного полупрозрачного поросенка.

Я. — И чем примечателен этот донги?

БАЛЬСА. — У него необычайно развита пищеварительная система, и он способен переварить все — землю, железо, цемент, дерьмо, да что угодно. Это омерзительное животное ест то, что находит.

БАЛЬСОЧИ. — Они слепые, глухие и живут в темноте. На вид — какая-то помесь червяка с поросенком.

Я. — Они размножаются?

БАЛЬСА. — Почем зря! Отростками, представляете!

Я. — И завелись в туннеле «Боэдо»?

БАЛЬСОЧИ. — Да нет! Их там обнаружили, а вскоре увидели и на других линиях, особенно где туннель упирается в тупик, или где подземное депо. У станции «Конституция» этих донги — тьма-тьмущая, а в туннеле, который ведет к «Бельграно», их до черта. Эти донги развелись повсюду, прорыли, наверно, ходы во все стороны — и на «Чакариту» и к «Примера Хунта». А посмотрели бы вы, что творится на линии «Онсе»!

БАЛЬСА. — За границей не лучше! В каждой подземке их полно. В Лондоне, вот где им раздолье, там же сплошные туннели... Словом, везде, в Нью-Йорке, в Мадриде... Будто кто семена сеет повсюду.

БАЛЬСОЧИ. — Судам, прибывающим из зараженных стран, запрещено швартоваться во многих портах мира из опасения, что в трюмах есть донги. Но это не выход... Да и в некоторых портах еще почище, чем у нас.

БАЛЬСА. — В нашей стране не хотят пугать население и готовы молчать до бесконечности. В подобные тайны посвящен лишь узкий круг специалистов и кое-кто наверху.

БАЛЬСОЧИ. — Этих донги надо истребить как можно скорее. Но, спрашивается, каким образом? Отравить их невозможно. Съедят они яд или не съедят — один черт... он не окажет никакого действия. Если пустить газ, эти твари успеют закрыть туннель и уйти куда-нибудь в сторону. Они роют ходы повсюду, так что их врасплох не захватишь. Да и затопить нельзя, начнем все ломать под землей и город останется без света, без воды, без всего... А уж в подвалах и клоаках эти мерзкие донги чувствуют себя, как дома.

БАЛЬСА. — А откуда столько обвалов за последние месяцы? Взять, к примеру, склады торгового дома Ланус! Это все их работа. Да они хотят полностью подчинить себе человека!

БАЛЬСОЧИ. — Э, нет! Это им не удастся. Человек никому не уступит своей власти на Земле... Но раз они едят людей...

Я. — Едят людей?

БАЛЬСОЧИ. — Еще как! Пятеро донги съедают человека за одну минуту, целиком, с костями, обувью, зубами, даже документами не побрезгуют.

БАЛЬСА. — Человек им очень по вкусу, можно сказать, любимая еда... Вот в чем ужас!

Я. — А есть уже достоверные факты?

БАЛЬСОЧИ. — Факты? Ха-ха! В одной из уголь-

ных шахт Уэльса они за ночь съели 550 шахтеров. Завалили вход, и все дела.

БАЛЬСА. — В Буэнос-Айресе в подземке они съели бригаду из восьми рабочих, которые ремонтировали пути. Закрыли им дорогу с двух сторон, и конец...

БАЛЬСОЧИ. — По-моему, их следует заразить какой-нибудь страшной болезнью.

БАЛЬСА. — Пока такой возможности нет. Ну как, скажем, заразить болезнью нечто вроде медузы?

БАЛЬСОЧИ. — Ох эти чертовы ученые! Уж если они изобрели водородную бомбу, значит, могут изобрести и что-нибудь похлеще, чтобы уничтожить людей. Ну, к примеру, этих слепых гадов. Вон — русские, у них мозги хорошо работают.

БАЛЬСА. — Еще бы. Знаете, чем сейчас заняты русские? Они хотят вывести таких донги, которые не боятся света.

БАЛЬСОЧИ. — Чтоб их разорвало! Сами за это и поплатятся.

БАЛЬСА. — Наверняка. Но черт с ними, а вот если мы исчезнем... да нет, все это чушь, мало ли пустых слухов. Я и сам не верю тому, что сейчас наговорил.

БАЛЬСОЧИ. — Сначала мы думали строить здания на сваях и таким образом решить проблему.

Но, с одной стороны, это потребует больших затрат, а с другой — донги все равно подроют их снизу.

БАЛЬСА. — Вот почему мы строим такие крупные отели здесь, в горах. Уж Кордильеры им не по зубам. Знающие люди мечтают перебраться сюда как можно скорее. Посмотрим, сколько простоят наши отели...

БАЛЬСОЧИ. — А вдруг донги способны грызть и скалы? Но это и для них затяжное дело, а пока, надеюсь, люди что-нибудь придумают.

БАЛЬСА. — Прошу об этом никому ни слова... Значит, у вас нет семьи в Буэнос-Айресе? Мы выкопали мелкий котлован для фундамента, и по проекту у всех отелей нет первых этажей и подвальных помещений.

III

В Буэнос-Айресе воздух обладает каким-то особым коллоидальным свойством, благодаря которому любые слухи, гуляя по городу, не претерпевают никаких изменений. В других местах сама среда, видимо, переделывает их на все лады, но в нашей столице всяческие вымыслы стойко хранят первозданную «чистоту»... Каждый человек в свои экстравертные дни способен стать

автором заведомо ложных слухов, наполненных вполне конкретным содержанием. И нет нужды распространять их повсюду, они и без этого вернутся к нему через неделю в своем изначальном виде.

И вот, когда два с половиной года тому назад мне поведали о прожорливых донги, я спровадил этот слух на летающих тарелках в неизвестном направлении. Но не тут-то было! Один из моих приятелей с разносторонними интересами, который наконец упрочил свое положение в Европе, написал мне об этих тварях буквально моими словами.

Как раз в ту пору мой интерес к Виргинии, продавщице из магазина шелков, стремительно падал и в том же ритме возрастал к мулаточке по имени Колетт. Мой разрыв с Виргинией по ее тупости тянулся до неприятия долго, и свидетелем этого томительного процесса был, как правило, Парк Лесама в ночные часы. В один из поздних вечеров, когда ее страдания мучили меня более обычного, мы предавались ласкам прямо на лестнице, что ведет к прорытым в овраге сараям, где садовники хранят свои инструменты. Дверь одного из сараев была открыта, и в темном пролете я вдруг увидел восемь или девять встре-

воженных донги, которые боялись выйти наружу из-за хилого, едва ощутимого света. Это была моя первая встреча с донги. Я подвел Виргинию к сараю и показал ей эту премилую компанию. На Виргинии была широкая светлая юбка в крупных хризантемах. Мне это запомнилось, потому что она потеряла сознание от ужаса и, повиснув на моих руках, впервые перестала плакать. Вот тут я и отнес ее, бесчувственную, к открытой двери и бросил внутрь.

Рот у донги — это цилиндр, полость которого утыкана роговидными зубами, и жует он, проделывая винтообразные движения. С неожиданным для себя любопытством я следил затем, что происходило. Поначалу еще можно было различить в темноте юбку в хризантемах и судорожно жующие слюнявые рты. Я уходил оттуда не без чувства отвращения, но вполне довольный, а за воротами парка уже весело напевал.

Этот парк, почти всегда безлюдный, сырой, с разбитыми статуями и со всяческими современными пошлостями для невежд, с цветами, похожими на звезды, и единственным приличным фонтаном, словом, этот почти типичный южноамериканский парк уже сотни раз видел, как под его запыленными пальмами рушатся

любовные связи людей, которые по незнанию называют жасмином прекрасные тумбергии.

В этом парке я отделался и от Колетт, и от одной полячки, одолжившей мне деньги на мотоцикл, и от молоденькой красотки, не внушавшей мне доверия, и, наконец, от Росы. Всех подряд я усыплял особой карамелью. Но дело в том, что Роса в какой-то момент так меня распалила, что я, забыв об осторожности, дал ей номер своего телефона. Она, правда, поклялась порвать бумажку и выучить телефон на память, что, собственно, и сделала. Но ее брат увидел однажды, как она мне звонит, и запомнил номер. Словом, после ее исчезновения в мой дом заявился этот брат по имени Энрике и начал донимать меня расспросами. Вот почему я и согласился работать здесь, простившись на время с привычными развлечениями.

Словом, я дал обет воздержания, но, однако, не пропадаю со скуки. При случае разгадываю ребусы и кроссворды, ну и готовлюсь к возможному визиту докучливого Энрике. Меня, к примеру, не устраивал примитивный переход через реку с натянутым по одной стороне канатом, чтобы держаться. Такие переходы были сделаны в разных местах после обвалов и наводнений, которые участились в тридцатые годы и разрушили нема-

ло мостов. Словом, воспользовавшись тем, что с нашего перехода сосем недавно сорвался вниз тот самый Антонио, я приказал убрать канат и заменить его длинной трубой, составленной из нескольких секций, которая прицеплялась к опорам с двух концов. Теперь держаться куда удобнее, но при желании разобрать эту трубу ничего не стоит.

Можно найти и другие забавы, скажем, взять и поджечь одной спичкой да еще в холодный день кусты, которые окружают палатки рабочих. В этих кустах столько смолы, что они загораются мгновенно. Как-то раз я устроил пикник для самого себя. Отправился в горы, прихватив с собой бутерброды с ветчиной, крутым яйцом и листиками салата. Однако мне быстро надоело куда-то подниматься и подниматься, и к полдню я повернул назад. В то утро меня поразили ледники, почему-то не белые, а грязные. Там же, на порядочной высоте, среди обкатанных обломков скал я впервые в жизни увидел совершенно черные цветы. Поскольку вокруг не было никакой земли, лишь одни камни, острые, разбитые, мне захотелось понять — где же корни? Сам цветок был от силы пять сантиметров, но, отодвинув камень, я обнаружил мягкий стебель длиной в

метра два, а то и больше, который уходил куда-то вглубь, точно черная мокрая веревка. В голове мелькнула мысль, что он, быть может, тянется еще на сотню метров, и как-то стало противно.

В другой раз я увидел совершенно черное небо над искрящимся снегом, потому что он поглощал весь свет луны. Казалось, предо мной — негатив Мироздания, и об этом стоило бы рассказать особо.

Встреча
(История времен династии Тан)

Цяньнян была дочерью господина Цзян И, чиновника из Хунаня. Ван Чжу, его племянник, был юноша неглупый и красивый. Они росли вместе, и, поскольку господин Цзян И очень любил юношу, то обещал, что тот станет его зятем. Молодые люди оба слышали обещание, а так как Цяньнян была единственной в семье дочерью и они почти все время проводили вместе, чувство их крепло день ото дня. Они уже не были детьми, и вскоре их связала близость. К сожалению, единственным, кто не подозревал об этом, был отец. Однажды один молодой чиновник попросил у Цзян И руки его дочери. Отец, забыв о прежнем своем обещании, ответил согласием. Цяньнян, разрываясь между любовью и дочерней преданностью, чуть не умирала от горя, а юноша был в таком отчаянии, что решил покинуть этот край, прежде чем увидит свою невесту замужем за другим. Он выдумал какую-то причину и сказал своему дядюшке, что должен отправиться в столицу. Дядя, не сумев отговорить юношу, щедро одарил его деньгами и

подарками и устроил пышные проводы. На проводах Ван Чжу в отчаянии искал другой выход, но в конце концов убедил себя, что лучше уехать и не упорствовать в этой безнадежной любви. Ближе к вечеру Ван Чжу сел на корабль. Когда они проплыли несколько миль, сделалось темно. Он попросил рулевого на ночь пристать к берегу. Уснуть Ван Чжу никак не мог и около полуночи услышал приближающиеся шаги. Он привстал на своем ложе и спросил: «Кто это ходит здесь по ночам?» «Это я, я, Цяньнян», — послышался ответ. Изумленный и обрадованный, он помог ей подняться на корабль. Цяньнян объяснила, что, раз она собиралась стать его женой, а отец обошелся с ним несправедливо, она не могла примириться с разлукой. Кроме того, ее пугало, что Ван Чжу, оказавшись в чужих краях один, может в отчаянии лишить себя жизни. Поэтому она не побоялась людского осуждения и родительского гнева и пришла, чтобы следовать за ним, куда бы он ни направился. И они оба, обрадованные, продолжали путь в Сычуань.

Прошло пять счастливых лет, и Цяньнян родила мужу двоих сыновей. Единственное, что омрачало ее жизнь, это неотступные мысли об отце. Никаких известий о семье до нее не дохо-

дило, и она даже не знала, живы ее родители или умерли. И однажды ночью Цяньнян поведала мужу свою печаль: ведь она единственная дочь, и на ней тяжкий грех дочерней непочтительности. «Ты прекрасная любящая дочь, — ответил Ван Чжу, — а я люблю тебя. Прошло пять лет, и вряд ли родители сердятся на нас. Давай вернемся домой». Цяньнян обрадовалась, и они всем семейством стали собираться в путь.

Когда корабль прибыл в родной город, Ван Чжу сказал Цяньнян: «Я не знаю, что скажут твои родители. Давай я пойду один и все выясню». Когда вдалеке показался дом, Ван Чжу ощутил, что сердце его забилось сильнее. Увидев своего свекра, Ван Чжу встал на колени, поклонился и попросил прощения. Цзян И удивленно посмотрел на него и спросил: «О чем ты говоришь? Уже пять лет Цяньнян не приходит в себя и не встает с постели. За это время она не поднялась ни разу». «Я не обманываю вас, — настаивал Ван Чжу. — Она здорова и ждет нас на корабле».

Цзян И не знал, что и думать, и приказал двум служанкам пойти взглянуть на Цяньнян. Они увидели ее на палубе, нарядную и довольную, она просила их передать поклон родителям. Изумленные служанки вернулись и своим рассказом

только усилили смятение Цзян И. Тем временем больная услышала новость, и болезнь словно оставила ее, во взгляде ее появился разум. Она поднялась с постели и оделась перед зеркалом. Улыбаясь и не говоря ни слова, она направилась к кораблю. Та, что была на корабле, уже шла к дому, и на берегу они встретились. Они бросились друг другу в объятия, их тела слились, и осталась одна Цяньнян, молодая и прекрасная, как всегда. Радости родителей не было конца, а служанкам они приказали помалкивать, чтобы избежать пересудов. И больше сорока лет Ван Чжу и Цяньнян прожили в любви и согласии.

Элена Гарро

Прочный очаг

Клементе (60 лет)
Донья Хертрудис (40 лет)
Матушка Хесусита (80 лет)
Каталина (5 лет)
Висенте Мехия (23 года)
Муни (28 лет)
Ева, иностранка (20 лет)
Лидия (32 года)

Маленькое помещение, стены и потолок каменные. Нет ни окон, ни дверей. Слева в стене несколько каменных ниш, в одной из них лежит матушка Хесусита в ночной сорочке из кружев и кружевном чепце. Сцена погружена в полумрак.

Голос доньи Хертрудис. Клементе! Клементе! Я слышу, кто-то идет!

Голос Клементе. Вечно ты об одном и том же. И почему женщины такие нетерпеливые? Всегда тревожатся раньше времени, предрекают несчастья.

Голос доньи Хертрудис. Но я же слышу.

Голос Клементе. Да нет же, тебе, как всегда, померещилось, а все из-за твоей склонности во всем усматривать беды...

Голос доньи Хертрудис. Это верно... но на этот раз я не ошибаюсь.

Голос Каталины. Слышны шаги, Хертрудис, много шагов! *(Выбегает Катита в белом платье, какие носили в 60-е годы прошлого века, черных ботиночках и с коралловыми бусами на шее. Волосы собраны на затылке красным бантом.)* Вот здорово! Вот здорово! Тра-ляля! Тра-ля-ля! *(Катита прыгает и хлопает в ладоши.)*

Донья Хертрудис *(появляется в розовом платье по моде 30-х годов этого века).* Дети не ошибаются. Ведь правда же, тетя Каталина, кто-то идет?

Каталина. Да, я знаю это. Я это знала с того раза, когда они пришли впервые. Мне было так страшно здесь одной!

Клементе *(появляется в черном костюме, из обшлагов рукавов рук не видно).* Похоже, они правы. Хертрудис! Хертрудис! Помоги мне найти мои кисти рук. Вечно я их теряю, а как же без них здороваться.

Висенте *(появившийся в офицерском мундире времен Хуареса).* Вы много читали, дон Клементе,

отсюда и дурная привычка забывать. Поглядите на меня, все на месте, мундир в порядке, я всегда готов встретить любого, кто явится.

Матушка Хесусита *(приподнимаясь на своей лежанке так, что становится видна ее голова в ночном чепце из кружев).* Катита права. Шаги приближаются *(подставляет к уху ладонь, чтобы лучше слышать)...* вот те, кто идет впереди, приостановились... Не иначе как у Рамиресов случилось несчастье... это соседство уже и так принесло нам массу хлопот.

Каталина *(прыгая).* А ты спи, Хесусита! Ты ведь только и любишь, что спать.

Спать, спать,
поют петухи
Блаженного Августина.
А что хлеб, уже готов?

Матушка Хесусита. А что мне еще остается делать? Ведь меня положили в ночной рубашке...

Клементе. Не жалуйтесь, донья Хесус. Мы полагали, что из уважения...

Матушка Хесусита. Ах, значит, из уважения? Из уважения и сотворить такое!

Донья Хертрудис. Если бы я при этом была, мама... А что ты хочешь от девочек и Клементе.

(Наверху слышатся громкие шаги. На мгновение становится тихо. Снова доносится звук шагов.)

Матушка Хесусита. Катита, подойди и потри мне лоб, я хочу, чтобы он блестел, как яркая звезда. Сколь счастливо было то время, когда я вихрем носилась по дому, подметала, вытирала пыль, которая садилась на пианино, золотясь в лучах солнца, чтобы после того, как все было отполировано и начищено, разбить ледяную корочку в ковше, выставленном на ночную росу, и умыться водой, усыпанной зимними звездами. Ты помнишь, Хертрудис? Это и означало жить — в окружении своих детей, чистых и здоровых.

Донья Хертрудис. Да, мама. А еще я помню твою жженую пробку, чтобы подводить брови, и как ты ела лимоны, чтобы разжижать кровь, и те вечера, когда ты вместе с папой отправлялась в театр. Какая же ты была красивая с веером и серьгами в ушах!

Матушка Хесусита. Да, дочка, видишь, промелькнула жизнь как один миг. Всякий раз, когда я входила в ложу...

Клементе *(прерывая).* Умоляю, помогите, теперь я никак не могу найти свою бедренную кость.

Хесусита. Какая неучтивость! Как можно пере-

бивать даму! *(Катита тем временем помогает Хесусите поправить чепец на голове.)*

Висенте. Я видел, Катита играла с ней, будто с трубой.

Донья Хертрудис. Тетя Каталина, куда вы задевали бедренную кость Клементе?

Каталина. Хесусита! Хесусита! У меня хотят отнять мою трубу!

Матушка Хесусита. Хертрудис, оставь девочку в покое. А тебе я вот что скажу:

Не то плохо, что моя девочка заболела, как то, что ее не излечить от дурных привычек...

Донья Хертрудис. Но, мама, ты неправа, это же бедренная кость Клементе!

Каталина. Ты плохая, плохая! Я побью тебя! Никакая это не кость, это мой сахарный рожок!

Клементе *(обращается к Хертрудис).* Она случайно не съела ее? Твоя тетка просто невыносима.

Донья Хертрудис. Не знаю, Клементе. Она потеряла мою сломанную ключицу. Ей так нравились известковые наросты, оставшиеся на месте перелома. А то была моя любимая косточка. Она напоминала мне об ограде моего дома, увитой гелиотропом. Я, кажется, тебе рассказывала, как упала? Накануне мы ходили в цирк. Весь Чиуауа

собрался там, чтобы увидеть Рикардо Белла. И вот появился канатоходец, который был похож на бабочку, я этого никогда не забуду...

Сверху доносится удар, и Хертрудис умолкает.

Донья Хертрудис *(продолжая).* Утром я залезла на изгородь, я хотела танцевать, как он, ведь всю ночь мне снилось, что я была словно та бабочка...

Сверху раздается более сильный удар.

Донья Хертрудис. Конечно же, я не знала, что у меня есть кости. Ребенок ведь многого еще не знает. Вот я и сломала ключицу и всегда говорила о том, как о первом своем открытии. А потом было много других.

Удары звучат все чаще.

Висенте *(приглаживая усы).* Сомневаться не приходится. К нам гости. *(Поет):*

Когда в ночи
блестит луна
И в лагуне

поет зимородок...

Матушка Хесусита. Замолчи, Висенте! Сейчас не до песен. И что за неучтивость такая! В мое время было принято прежде чем заявиться к кому-нибудь с визитом, предварительно ставить в известность. Люди тогда были гораздо почтительней. Ну что ж, посмотрим, кого нам доставили, наверное, какого-нибудь чужака, из тех, кто женился на девочках. Порази, Господи, смиренных, как говаривал бедняга Рамон, упокой, Господи, его душу...

Висенте. Ты не меняешься к лучшему, Хесусита. Во всем-то ты находишь плохую сторону. А ведь какая веселая ты была прежде и больше всего на свете любила танцевать польку. *(Напевает «Хесусита в Чиуауа» и делает несколько танцевальных па.)* Помнишь, как мы отплясывали на том карнавале? *(Продолжает танцевать.)* Твое розовое платье кружилось, кружилось, а твоя шея была совсем близко от моих губ...

Матушка Хесусита. Ради Бога, кузен, не напоминай мне об этих глупостях!

Висенте *(смеясь).* Что бы теперь сказал Рамон? Он ведь такой ревнивец... а ты и я здесь, вместе, в то время как он гниет там далеко один...

Донья Хертрудис. Дядя Висенте! Замолчи же

наконец, мне не нравятся эти разговоры.

Клементе *(взволнованно).* Я уже объяснял, донья Хесус, в то время у нас не было денег, чтобы похоронить его здесь.

Матушка Хесусита. А что мешает девочкам перенести его сюда? Не нужно мне объяснений, вам всегда не хватало чуткости. *(Слышится еще более громкий удар.)*

Каталина. Я вижу свет! *(Проникает луч света.)* Я вижу саблю. Это архангел Михаил снова явился проведать нас! Видите его копье.

Висенте. У нас все в сборе? Тогда порядок и мы в полной готовности.

Клементе. Нет Муни и моей невестки.

Матушка Хесусита. Вы, чужаки, вечно держитесь в стороне.

Донья Хертрудис. Муни, Муни! К нам кто-то прибудет, возможно, это одна из твоих кузин. Тебя это не радует, мальчик? Вы сможете, как прежде, играть вместе и смеяться. Может, тогда твоя печаль тебя покинет.

Появляется Ева, иностранка, белокурая, высокая, печальная, очень молодая, в дорожном костюме 20-х годов этого века.

Ева. Совсем недавно Муни был здесь. Муни, сынок! Ты слышишь эти удары? Так ударяет море о скалы, на которых мой дом... Никто из вас не видел его... Он стоял на скале и был высок, как волна. Ветры бились в его стены и убаюкивали нас по ночам. Соленые вихри покрывали его окна морскими звездами. Побелка кухни золотилась от солнечных рук моего отца... Ночами таинственные существа — порождения ветра, воды, огня и соли — проникали через дымоход, съеживались в языках пламени, пели в струйках умывальников... Дзинь, дон! Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дон... И запах йода распространялся по дому, навевая сны... Резвящийся сверкающий дельфин возвещал нам наступление утра. Вот так, блеском чешуи и кораллов! *(При этих словах Ева поднимает руку и указывает на яркий поток света, врывающийся в склеп. Наверху снимают первую плиту. Помещение освещается солнцем. Нарядные одежды выглядят пыльными, а лица — бледными. Каталина прыгает от радости.)*

Каталина. Хесусита, взгляни! Кто-то идет! Кто

его, Хесусита, отправил сюда, донья Дифтерия или архангел Михаил?

Матушка Хесусита. Обожди, девочка, сейчас увидим.

Каталина. Меня сюда послала донья Дифтерия. Ты помнишь ее? У нее были ватные пальцы, и она не давала мне дышать. Ты ее испугалась, Хесусита?

Матушка Хесусита. Да, сестричка. Я помню, как тебя унесли, а двор остался усыпанным темно-лиловыми лепестками. Мама очень плакала и мы, девочки, тоже.

Каталина. Глупышка! А ты что, не знала, что будешь играть здесь со мной? В тот день архангел Михаил присел со мной рядом и начертал это своим огненным копьем на небе... Я не умела читать... однако же прочла. А хорошо было в школе сеньориты Симеон?

Матушка Хесусита. Очень хорошо, Катита. Мама отправила нас в школу с черными бантами... а ты уже не смогла быть с нами.

Каталина. И ты выучила азбуку? Мама тоже должна была послать меня в школу. Но поскольку...

Муни *(входит в пижаме, лицо у него синее, волосы белокурые).* Кто это к нам? *(Вверху в открытом*

отверстии показываются ноги женщины.)

Донья Хертрудис. Клементе, Клементе, да это же ноги Лидии! Какая радость, дочка, какая радость, что ты умерла так скоро! *(Все молчат. Лидию спускают вниз на веревках. Негнущаяся фигура в белом платье, руки скрещены на груди, пальцы сложены крестом, голова склонилась на грудь, глаза закрыты.)*

Каталина. А кто она — Лидия?

Муни. Лидия — дочка дяди Клементе и тети Хертрудис, Катита. *(Гладит девочку по голове.)*

Матушка Хесусита. Мало нас было, так бабушка народила! Здесь уже целый выводок внуков. Сколько же слизи! А что, разве печь крематория не более современный способ? Мне кажется, это гораздо гигиеничней.

Каталина. Правда, Хесусита, здесь и без Лидии тесновато?

Матушка Хесусита. Даже очень, моя девочка! Тут находится место для всех, кроме бедняги Рамона.

Ева. Как она выросла! Когда я приехала, она была такой же маленькой, как Муни. *(Лидия стоит на ногах, остальные вокруг разглядывают ее. Затем она открывает глаза.)*

Лидия. Папа! *(Обнимает его.)* Мама! Муни!

(Обнимает их.)

Донья Хертрудис. Ты неплохо выглядишь, дочка.

Лидия. А где же бабушка?

Клементе. Она не может подняться. Ты помнишь, мы допустили ошибку, похоронив ее в ночной рубашке?

Матушка Хесусита. Да, Лили, оттого мне приходится лежать per secula seculorum[64].

Донья Хертрудис. Ты же знаешь эти бабушкины штучки, Лили, вечно все не по ней... все не так.

Матушка Хесусита. А самое худшее, дочка, что я должна в таком виде предстать перед самим Господом. Представляешь, какое позорище? И почему ты не догадалась захватить мне какую-нибудь одежду? Хотя бы серое платье с тисненой отделкой и букетиком фиалок у шеи. Ты помнишь его? Я надевала его, отправляясь наносить визиты... О стариках никто никогда не вспоминает...

Каталина. Когда к нам является архангел Михаил, она прячется.

Лидия. А ты кто такая, малышка?

Каталина. Я — Катита.

---

[64] Примечания: 64
Во веки веков *(лат.)*.

Лидия. А, понятно. На пианино стоял твой портрет. Теперь он в доме Евиты. Ты на нем такая грустная, задумчивая, в белом платье. Я и забыла, что ты тоже здесь.

Висенте. А меня ты не рада видеть, племянница?

Лидия. Дядя Висенте! И твой портрет тоже висел у нас в гостиной, ты на нем в военной форме, а в красной бархатной коробочке хранилась твоя медаль.

Ева. А свою тетю Еву ты помнишь?

Лидия. Тетя Ева! Да, я смутно помню тебя, твои светлые волосы, выгоревшие на солнце... помню твой фиолетовый зонтик и твое надменное лицо в проникающих через него лучах, лицо прекрасной утопленницы... и твое пустое кресло, раскачивающееся в такт твоей песне после того, как ты уже ушла. *(Из освещенного отверстия наверху доносится голос. Звучит прощальное слово.)*

Голос выступающего. Щедрая земля нашей Мексики раскрывает свои объятия, чтобы предоставить тебе последнее пристанище. Добродетельная женщина, примернейшая мать, образцовая супруга, ты оставляешь невосполнимую пустоту...

Матушка Хесусита. Кто это говорит о тебе с такой фамильярностью?

Лидия. Это дон Грегорио де ла Уэрта-и-Рамирес Пуэнте, президент общества слепых.

Висенте. Какая глупость! И что только делают столько слепых вместе?

Матушка Хесусита. А почему он говорит о тебе на «ты»?

Донья Хертрудис. Это так принято, мама, обращаться к мертвым на «ты».

Голос выступающего. Невосполнимую утрату мы ощутим с большой печалью по прошествии времени. Нам будет не хватать твоего покоряющего сочувствия, ты оставила осиротевшим свой христианский прочный домашний очаг. Трепещут люди пред неумолимой Паркой...

Клементе. Помилуй Боже! Так он все еще жив, этот вертопрах?

Матушка Хесусита. Кто ни на что не годен, с тем ничего не делается!

Лидия. Он теперь президент банка и возглавляет дворянское общество.

Голос выступающего. Только непреклонная вера, христианское смирение и сострадание...

Каталина. Вечно дон Иларио говорит одно и то же.

Матушка Хесусита. Это не дон Иларио, Катита. Дон Иларио умер всего-навсего шестьдесят семь лет назад...

Каталина *(не слушая её).* Когда меня принесли сюда, он сказал: «Улетел ангелочек!» А это была неправда. Я находилась здесь, внизу, совсем одна, и мне было очень страшно. Ведь правда, Висенте, так оно и было?

Висенте. Ну конечно же! Только представьте, я оказываюсь тут еще оглушенный разрывами снарядов, истерзанный ранами и... кого же я вижу? Плачущую Катиту, которая твердит: хочу к маме, к маме хочу! Сколько беспокойства доставила мне эта девочка. Порой казалось уж лучше обратно к французам...

Голос выступающего. Requiescat in pace[65]! *(Начинают класть назад плиты. Сцена постепенно темнеет.)*

Каталина. И долго мы были здесь одни, помнишь, Висенте? Мы все думали тогда, что же происходит, почему никто больше не приходит сюда.

Матушка Хесусита. Я же говорила тебе, Каталина, что мы переехали в Мехико. Потом

---

[65] Примечания: 65
Пусть покоится в мире *(лат.).*

революция...

Каталина. А потом однажды здесь появилась Ева. Ты еще сказал тогда, Висенте, что она чужачка, потому что мы ее не знали.

Висенте. Обстановка была довольно напряженной, Ева с нами не разговаривала.

Ева. Я чувствовала себя неловко... а помимо того, беспрестанно думала о Муни... о моем доме... здесь была такая гнетущая тишина. *(Общее молчание. На место водрузили последнюю плиту.)*

Лидия. А что теперь мы будем делать?

Клементе. Ждать.

Лидия. Ждать чего?

Донья Хертрудис. Увидишь, девочка, увидишь.

Ева. Ты увидишь все, что захочешь, не увидишь только своего дома со столом из сосновых досок, с окнами, в которых волны и паруса кораблей...

Муни. Ты чем-то недовольна, Лили?

Лидия. Да, Муни, главным образом встречей с тобой. Когда я увидела тебя в ту ночь во дворе полицейского участка, среди запаха мочи, исходящего от выщербленных плит, тебя, лежащего на носилках у ног полицейских в измятой пижаме с посиневшим лицом, я все твердила себе: ну почему, почему?

Каталина. Ия тоже, Лили. Я тоже никогда не видела синего покойника. Хесусита мне объяснила, что у цианистого калия много кисточек, а вот краска всего одна — синяя.

Матушка Хесусита. Оставьте мальчика в покое. Синий цвет к светлым волосам очень подходит.

Муни. Ты спрашиваешь, почему, кузина Лили? А ты не встречала бродячих псов, слоняющихся по улицам, выискивающих кости на задворках кишащих мухами мясных лавок, и мясника, пальцы которого при рубке туш мокры от крови? Так вот, я не хотел больше слоняться по этим безжалостным мостовым, отыскивая в крови кость. Не желал видеть углы, за которые цепляются пьяницы и где мочатся псы. Я хотел жить в радостном городе, залитом солнечным и лунным светом. Надежном городе, где чувствуешь себя уверенно и свободно, как в доме, где прошло наше детство, где в каждой двери виднелось солнце, в каждом окне — луна, а по комнатам бродили звезды. Ты помнишь его, Лили? Все его закоулки были заполнены смехом. На его кухне сходились все дороги, а сад был местом слияния всех рек, а весь дом — колыбелью, откуда вели свое начало народы...

Лидия. Прочный очаг, Муни. Того же хотела и

я... А меня, знаешь, привели в чужой дом, где не было ничего, только много часов и немигающие глаза, которые годами глядели на меня. Я намывала этажи, чтобы не видеть тысяч мертвых слов, которые служанки выметали по утрам. Я наводила блеск на зеркала, чтобы они не вбирали в себя наши исполненные вражды взгляды. Я надеялась, что однажды на полированной поверхности появится дорогой мне образ. Я открывала книги, чтобы проложить дороги в круги ада. Я вышивала салфетки, украшая их переплетенными инициалами, чтобы отыскать волшебную нить, самую прочную, которая соединяет два имени в одно...

Муни. Я знаю это, Лили.

Лидия. Но все было напрасно. Страшный взгляд вечно преследовал меня. Если бы мне только удалось найти паука, живущего в моем доме, думала я, невидимая нить которого соединяет цветок и солнечный луч, яблоко и его аромат, женщину и мужчину, я бы зашила веки этих любимых глаз, которые неотступно глядели на меня, и в этом доме воцарилась бы гармония света. Каждый балкон стал бы родиной, отличной от других, на деревянной мебели распустились бутоны, из бокалов ударили бы струи фонтанов, простыни превратились бы в волшебные ковры,

на которых можно летать во снах, из рук моих детей выходили бы замки, знамена, сражения... но я не нашла этой нити, Муни...

Муни. Ты сказала мне это тогда в полицейском участке. В том чужом дворе, навечно заслонившем от меня другой двор, в небе которого колокол отсчитывал время, оставшееся нам для игры.

Лидия. Да, Муни, на тебе и закончился для меня тот последний день, когда мы были детьми... А потом Лидия осталась одна, сидя лицом к стене, ожидая...

Муни. Я не мог там расти, не мог жить на углах. Я хотел иметь свой дом...

Ева. И я тоже, Муни, мальчик мой, хотела иметь прочный очаг. Такой дом, чтобы море по ночам ударяло в его стены — бум! бум! а он бы смеялся, как мой отец, и смех этот был бы полон рыбы и сетей.

Клементе. Лили, ты недовольна? Ты найдешь ту нить и паука найдешь. Отныне твой дом — центр солнца, сердце всех звезд, корень всех трав, самая прочная точка любого камня.

Муни. Да, Лили, ты еще этого не знаешь, но скоро тебе не понадобится ни дом, ни река. Мы не будем плавать в ее водах, мы будем самой этой рекой.

Донья Хертрудис. Порой тебе будет очень холодно и ты станешь снегом, падающим на незнакомый город, на серые крыши и красные шапки.

Каталина. А мне больше всего нравится быть конфетой, тающей во рту у девочки, или солнечным зайчиком, заставляющим плакать тех, кто читает у окна!

Муни. Не огорчайся, когда твои глаза распадутся, ведь теперь ты будешь глазами собак, смотрящих на бессмысленно мельтешащие ноги.

Матушка Хесусита. Уж лучше это, и пусть тебе никогда не придется быть незрячими глазами слепой рыбы в самом глубоком из всех морей. Ты и представить себе не можешь, сколь ужасно это состояние: смотреть и ничего не видеть.

Каталина *(смеясь и хлопая в ладоши).* А еще ты очень испугаешься, когда станешь червяком, который будет вползать тебе в рот и выползать оттуда.

Висенте. А по мне хуже всего быть кинжалом убийцы.

Матушка Хесусита. Скоро появятся мыши. Ты только не кричи, когда сама пробежишь по своему лицу.

Клементе. Да хватит с нее уже ваших рассказов, вы ее напугаете. Это ведь так страшно — учиться быть всем на свете.

Донья Хертрудис. Особенно, если кто при жизни едва научился быть человеком.

Лидия. И я смогу быть сосной, на которой живет паук, и построить прочный дом?

Клементе. Разумеется. И сосной ты будешь, и лестницей, и огнем.

Лидия. А потом?

Матушка Хесусита. А потом нас призовет к себе Господь.

Клементе. После того, как ты научишься быть всем на свете, появится копье архангела Михаила, центр Вселенной. И в его сиянии возникнут воинства небесных ангелов, и мы войдем в царство небесное.

Муни. Я хочу быть складкой на одеянии ангела!

Матушка Хесусита. Твой цвет для этого подходит как нельзя лучше, будет красиво оттенять. А что я буду делать в своей ночной рубашке?

Каталина. Ая хочу быть указующим перстом Бога Отца!

Все *(хором).* Ах, девочка!

Ева. А я — обрызганной солью волной, превра-

щающейся в пар!

Лидия. А я — пальцами склонившейся над шитьем Святой Девы... вышивая... вышивая!..

Донья Хертрудис. А я — звуками арфы святой Сесилии.

Клементе. А я — частичкой камня святого Петра.

Каталина. А я — окном, распахнутым в мир!

Матушка Хесусита. Мира скоро не станет, Катита, потому что все это будет происходить с нами после Страшного суда.

Каталина *(плачет).* Как это не будет мира? А когда же я увижу его? Я ведь его совсем не видела. Мне даже азбуку не пришлось выучить. Я хочу, чтобы мир остался.

Висенте. Смотри на него, пока он есть, Катита. *(Вдали слышится звук трубы.)*

Матушка Хесусита. Господи Иисусе, Пресвятая Дева! Труба Страшного суда! А я в ночной рубашке! Прости, Господи, такое бесстыдство...

Лидия. Да нет же, бабушка. Это звучит военная труба. Рядом с кладбищем казарма.

Матушка Хесусита. Ах да, мне же уже это говорили, а я опять запамятовала. И кому только пришло в голову разместить казарму так близко от нас? Что за правительство! Столько беспоряд-

ка навели!

Висенте. Это сигнал к отбою! Я ухожу. Я — ветер. Ветер, открывающий все двери, которые мне не довелось открыть, ветер, взлетающий по лестницам, по которым я никогда не всходил, ветер, проносящийся по улицам, где не бывал мой офицерский мундир, и вздымающий юбки прекрасных незнакомок... Ах, какая свежесть! *(Исчезает.)*

Матушка Хесусита. Озорник!

Клементе. А я — пляшущий на реке дождь! *(Исчезает.)*

Муни. Слышите? Собака воет. Я — тоска! *(Исчезает.)*

Каталина. Я — стол, за которым обедают девять ребятишек! Я — игра! *(Исчезает.)*

Хесусита. Свежий побег салата! *(Исчезает.)*

Ева. Молния, погружающаяся в черноту моря! *(Исчезает.)*

Лидия. Прочный очаг! Это я! Надгробная плита на моей могиле! *(Исчезает.)*

Рамон Гомес де ла Серна

Страшнее ада

О, непостижимая, неимоверная мука! Господь приговорил его к тысячам и тысячам веков Чистилища. Ведь если люди, которые смягчили ему приговор, которые упасли его от смертной казни, на самом деле приговорили преступника к тому же самому, к целым тридцати годам застенка, то Господь, спасший его от преисподней, в свою очередь, приговорил к вечности за вычетом единого дня. И хотя один этот день способен перевесить вечность, какой постаревшей, какой растоптанной предстанет душа в день, когда отбудет свой срок! Какой огорошенной, точь-в-точь душа гонкуровской девки Элизы на выходе из молчаливых ворот тюрьмы.

«Сколько листков календаря, сколько понедельников и воскресений, сколько первых дней года ждать мне того новогоднего дня, от которого я отрезан столькими годами!» — думал приговоренный и, не в силах выдержать эту пытку, взмолился немилосердному Богу, чтобы Тот окончательно низвергнул его в Преисподнюю, где, по крайней мере, не надо терпеть и ждать.

«Убей во мне надежду! Убей надежду, которая не может не думать о последнем дне, об этом бесконечно далеком последнем дне!» — стенал осужденный. И в конце концов был ниспослан в ад, где нашел утешение в полной безнадежности.

«Образцы на загляденье» (1918)

Кровь в саду

Преступление могло так и остаться нераскрытым, если бы не источник в центре сада, где вода после убийства вдруг помертвела и налилась кровью.

Связь между тайным злодейством в глубине дворца и пластом багровой воды в съеденной зеленью фонтанной чаше стала ключом к разгадке.

«Мертвяки, мертвячки и прочие фантасмагории» (1933)

Сантьяго Дабове

Стать прахом

Безжалостный случай!.. В ответ на непрестанные просьбы, на отчаянные мольбы медикам пришлось прописать мне уколы морфина и других болеутоляющих средств, чтобы хоть этой перчаткой смягчить когти, которыми день и ночь раздирала меня жестокая болезнь — чудовищная невралгия тройничного нерва.

А я вливал в себя ядов не меньше, чем Митридат. Как еще приглушить разряды этой вольтовой дуги, этой наэлектризованной катушки, сводившие щеку жгучей, до кости пробирающей болью? Казалось, силы исчерпаны, пытка превзошла все. Но раз за разом накатывали новые муки, новые страдания, новые слезы. В стонах, в безутешной тоске уже не было ничего, кроме бесчисленных вариаций единственной и невыносимой мудрости: «Нет утешения сердцу человека!» И тогда я простился с врачами, захватив с собой шприц, пилюли опия и весь арсенал ежечасной фармакопеи.

Я сел на коня, чтобы одолеть привычный сорокакилометровый путь, который в последнее время не раз проделывал.

Но у самого кладбища, у заброшенных и пыльных угодий, наводящих на мысль о двойной смерти — здешних покойников и самого кладбища, которое рушилось, плита за плитой, участок за участком обращаясь в руины, — на меня обрушилось новое несчастье. У самых руин роковой случай настиг меня, как Иакова, ангел, коснувшийся его в ночи и вывихнувший праотцу бедро, не в силах одолеть. Гемиплегия — давно подстерегавший паралич — свалила меня с коня. Тот после моего падения какое-то время попасся в сторонке, а потом и вовсе пропал. Я остался один у безлюдной тропы, где, скорее всего, по многу дней никто не проходит. Я не проклинал судьбу: проклятья перегорели, потеряв смысл. В моем положении они бы звучали едва ли не благодарностью — так благодарит жизнь счастливец, которого она с неизменной щедростью балует неисчерпаемыми дарами.

Земля подо мной, в стороне от дороги, была твердая, проваляться здесь я мог достаточно долго, а сдвинуться с места не хватало сил, и потому я принялся терпеливо рыхлить почву вокруг. Все вышло куда проще, чем думалось: твердая сверху, земля оказалась податливой внутри. Понемногу я устроился в чем-то вроде канавы — на вполне

сносном ложе, худо-бедно приютившем тело в своем сыроватом тепле. Наступал вечер. Надежды и конь скрылись за горизонтом. Пала темная, непроглядная ночь. Такой я и ждал ее — жуткую, облепляющую своей чернотой, когда не различаешь уже ни земли, ни месяца, ни звезд. В эти первые ночи со мной был только ужас. Несчетные мили ужаса, отчаяния, воспоминаний! Нет, нет, все воспоминания — в прошлом! Не надо слез ни по себе, ни... Заслезилась редкая, неотвязная изморось. К утру я совсем врос в землю. С образцовым пылом и постоянством я пилюлю за пилюлей глотал опий, пока не погрузился в сон, предвестье смерти.

Странное это было состояние — полусон-полуявь, полусмерть-полужизнь. Тело то наливалось свинцом, то не чувствовалось вовсе. Жила одна голова.

Кажется, так проходили дни. Черные пилюли исчезали во рту и без глотка скатывались в горло, останавливаясь где-то внизу и обращая все в темноту и землю. Голова продолжала жить и сознавать, что она — часть этого ставшего землей тела, где обитают жуки и черви, где прокладывают свои галереи муравьи. А тело даже чувствовало какое-то тепло, какое-то удовольствие от того, что

превращается в почву, понемногу тает в ней. Да-да, даже руки, сначала сохранявшие способность двигаться, вскоре, как ни странно, сами собой легли на землю. Казалось, весь мир покинул эту голову, она одна осталась невредимой, питаясь, как растение, соками земли. Но покоя не было и ей. Приходилось зубами защищаться от хищных птиц, которые пытались выклевать глаза, рвануть мякоть лица... Судя по тому, что я чувствую внутри, где-то под сердцем обосновался муравейник. Это развлекает, но хочется уже сдвинуться с места, а как двигаться, если ты — прах? Его дело — лежать и ждать, ждать, когда наступит рассвет или закат, когда нахлынут новые впечатления.

Странно... Силы жизни разымают тело, скоро уже ни один анатом не обнаружит в этой квашне ничего, кроме почвы, прорытых галерей и кропотливого труда обустраивающихся насекомых, а сознание все еще теплится в мозгу.

Должно быть, моя голова питалась землей — напрямую, как растение. Соки струились вверх и вниз, постепенно замещая кровь, из последних сил горячившую сердце. Но что это? Все вдруг меняется. Кажется, еще секунду назад голова едва ли не радовалась, перевоплощаясь в луковицу, картофелину, клубень, а теперь ее охватывает

страх. Страх, что кто-нибудь из палеонтологов, проводящих жизнь, вынюхивая смерть, невзначай натолкнется на нее. Или пристрастные историки — еще одни работники похоронных служб, сбегающиеся на любое погребение, — ненароком увидят, как моя голова превращается в растительность! Но, по счастью, никого нет.

...Какая тоска! Стать почти землей, так и не потеряв надежду двигаться и любить...

Пытаясь пошевелиться, я чувствую, что слипся, сросся с почвой. Я покоюсь в ней, а скоро буду полным покойником. Что за странное растение теперь моя голова! Вряд ли кто-нибудь не заметит подобной диковины: затоптанную монету в два сентаво, и ту, смотришь, находят.

Я невольно наклонился к карманным часам, которые, упав, достал и положил рядом. Задняя крышка отвалилась, туда и сюда цепочкой текли муравьи. Хорошо бы почистить и во что-нибудь завернуть корпус, только где найти хоть лоскут, если все на мне уже обратилось в землю?

Но, видимо, переход еще не закончился: мучительно хотелось курить. В голову закрадывались странные мысли. Превратиться бы в табачный куст и не думать больше о сигаретах...

...Неудержимый порыв сдвинуться с места усту-

пил место желанию не шевелиться, так и жить этой щедрой, заботливой землей.

...Порой я развлекаюсь, с любопытством следя за облаками. Сколько обличий сменят эти перевоплощения тумана, прежде чем исчезнуть? Рисунок облаков тешит меня, благо, я только и могу, что смотреть в небо. Но когда они, преображаясь в животных, начинают безысходно повторяться, я дохожу до такого отчаяния, что, кажется, бровью не поведу, даже если на меня направят сошник плуга.

...Да, я превращаюсь в растительность, но не чувствую этого, как чувствовали бы всем своим неподвижным, обособленным существом сами растения. Их любовная страсть на расстоянии, по телеграфу цветочной пыльцы, вряд ли удовлетворит нас с нашей телесной, жаждущей объятий любовью. Впрочем, это вопрос опыта, через него тоже придется пройти.

...Но смириться со своей участью нелегко... Мы стираем написанное в книге судьбы, пока оно и вправду не сбудется.

...Как я ненавижу теперь пресловутое «генеалогическое древо»! Оно слишком напоминает мой несчастный удел — вернуться в мир растений. Дело не в достоинстве и не в привилегиях: рас-

тительная жизнь ничем не хуже животной — но почему бы, рассуждая логически, не представить родословную человека в виде оленьих рогов? И по внешности, и по сути оно было бы куда вернее.

В одиночестве и запустении текли дни с их тоской и скукой. Прошлое измерялось длиной бороды. Я чувствовал, как она растет, как дает себе волю ее роговая, словно у эпидермы или ногтей, природа. Утешало одно: своя выразительность есть не только у людей и зверей, но и у растений. Я вспомнил виденный однажды тополь — живую струну между землей и небом. Многолистый, стройный, с прижатыми к стволу ветвями, он был чудесен, как праздничная мачта корабля. Листва отвечала порывистой ласке ветра мгновенным переливом, вздохом, шепотом, почти пением, будто скрипичному смычку, летающему по отзывчивым струнам.

...Вдруг я расслышал приближение человека — то ли это шагал путник, то ли, одолевая долгий путь, работало что-то вроде поршня в ногах или паровой машины в груди. Он застыл на месте, словно затормозив перед моим бородатым лицом. От неожиданности прохожий перепугался и кинулся наутек, но любопытство победило, он вернулся и, вероятно, заподозрив неладное,

решил выкопать меня навахой. Я не знал, как его дозваться: легких у меня не было, и голос теперь мало чем отличался от молчания. Почти про себя я шептал: «Перестань, прекрати. Человека из-под земли ты уже не спасешь, а растение погубишь. Если ты не из полиции и просто хочешь помочь, не мешай этой жизни, в ней есть своя радость, незлобивость, свое утешение».

По своей привычке говорить на открытом воздухе в полный голос человек меня, понятно, не расслышал и продолжал копать. Тогда я плюнул ему в лицо. Он обиделся и тыльной стороной руки шлепнул меня по щеке. Судя по деревенской простоте и мгновенным реакциям, к дознанию и анализу он был мало расположен. Но мне как будто кровь бросилась в голову, глаза у меня так и засверкали от гнева, словно у записного дуэлянта, и за гробом не расстающегося с верной спутницей — безотказной шпагой.

Смятение и услужливость у него на лице убеждали, что пришелец — не из смельчаков и задир. Казалось, он только и ждет возможности убраться отсюда, не углубляясь в загадку. Что незнакомец и сделал, пока я, сворачивая шею, долгим взглядом провожал его уход... Но что-то в произошедшем — произошедшем со мной! — заставило меня

вздрогнуть.

Как всякий разозлившийся, я побагровел. Но каждый знает, что без зеркала на лице разглядишь разве что крыло носа, округлость щеки и верхнюю губу, да и то наискось, одним глазом. И вот, прикрыв теперь левый глаз, словно целящийся дуэлянт, я мог различить, как на слишком близкой и потому размытой правой щеке, которую раньше днем и ночью сводила боль, расплывается что-то красновато-зеленое... Растительный сок или человеческая кровь? Допустим, кровь. Но тогда, стало быть, в периферических клетках отсвечивает хлорофилл, иначе откуда это ощущение зеленого? Не знаю, не знаю... По-моему, во мне с каждым днем все меньше от человека.

...Мало-помалу я превращусь в одинокую опунцию у старого кладбища. Окрестные мальчишки от нечего делать будут пробовать на мне свои перочинные ножи. А я стану мясистыми, кожаными лапами пошлепывать их по вспотевшим спинам и с удовольствием вдыхать запах человека. Только вот чем вдыхать, если во мне, и день ото дня все быстрее, притупляются любые чувства?

Но как переменчивому и резкому скрипу дверных петель никогда не стать музыкой, так

моя суматошность животного, мои стоны в миг зачатия, увы, не перейдут в молчаливое и безмятежное бытие растений, в их полный достоинства покой. Единственное, что я в силах осознать и о чем сами они ведать не ведают, это их единство с миром.

Что мы можем поставить рядом с их невозмутимостью и простодушием, с их затаенным пылом? Разве что предвосхищение красоты, которое рождает в человеке зрелище этой цельности.

...Ненасытные, непостоянные, непоседливые, мы ходим, передвигаемся, мечемся, спешим, в большинстве случаев, так и не покидая своей филигранной, незримой клетки. Узник, замкнутый в четырех наизусть затверженных, на ощупь изученных стенах, при всей разнице положения не намного отличается от того, кто день за днем бредет по одним и тем же дорогам с грузом одних и тех же забот. Вся человеческая толкотня не стоит обоюдного, пусть и не скрепленного печатью, поцелуя листвы с лучом.

...Но это отговорки. С каждым часом во мне все больше умирает человек, и смерть наряжает меня в зелень шипов и покровов.

...И вот теперь поглотившая меня опунция у пыльного кладбища, у безымянных развалин,

под корень срублена топором. Прах уравнивает все! Бездушный? Как знать... Если бы желание еще раз проснулось в закваске, готовой опять смешаться с материей, с этими «моими» останками, до дна опустошенными теперь разочарованием и крахом!

А. Давид-Нэль

Чудесное обжорство

Тибетский монах встретил на берегу реки рыбака, варившего в котелке уху. Монах молча схватил котелок с кипящей похлебкой и выпил все до дна. Рыбак стал укорять монаха за обжорство.

Монах вошел в реку и помочился: из него вышли две съеденные рыбины и уплыли прочь.

«Среди мистиков и магов Тибета»
(1929)

Погоня за учителем

Некогда ученик пересек страну в поисках предназначенного ему учителя. Он знал его имя — Тилопа; знал, что должен его найти. Он гнался за ним из города в город, но всякий раз прибывал с опозданием.

Однажды ночью, голодный, он стучится в дверь дома и просит поесть. Выходит пьяный и громким голосом предлагает ему вина.

Возмущенный ученик отказывается. Дом исчезает, ученик стоит один среди поля и слышит голос пьяного: я был Тилопой.

В другой раз крестьянин просит помочь ему содрать шкуру с дохлой кобылы. Ничего не ответив, ученик с отвращением проходит мимо и слышит насмешливый голос: я был Тилопой.

В ущелье некий человек волочит за волосы женщину. Бросившись на злодея, ученик освобождает жертву. Внезапно разбойник с женщиной исчезают, и снова раздается голос: я был Тилопой.

Однажды вечером он приходит на кладбище. Видит скорчившегося у костра человека с почерневшим лицом. Он понимает, кто перед ним, падает ниц, обнимает ноги учителя и возлагает себе на голову. На этот раз Тилопа не исчезает.

«Среди мистиков и магов Тибета»
(1929)

Эдвард Дансейни

Ночь на постоялом дворе

Действующие лица

А. Э. Скотт-Фортескью (Отпрыск), опустившийся джентльмен
Уильям Джоунс (Билл), Альберт Томас, Джейкоб Смит (Весельчак) } моряки
три жреца Клеша
Клеш

Весельчак и Билл беседуют; Отпрыск читает газету; Альберт сидит поодаль.

Весельчак. Я спрашиваю, что мы теперь будем делать?

Билл. Не знаю.

Весельчак. Сколько же времени он собирается нас здесь держать?

Билл. Мы тут уже три дня.

Весельчак. И не видели ни души.

Билл. А стоять тут нам недешево обходится.

Весельчак. На какой срок мы сняли этот дом?

Билл. Разве у него что узнаешь.

Весельчак. Нечего сказать, это настоящая

дыра.

Билл. Отпрыск, на какой срок мы сняли этот дом?

Отпрыск продолжает читать в газете раздел, посвященный бегам; он не слушает, что они говорят.

Весельчак. Да еще этот Отпрыск...

Билл. Ну, он хитрец, это точно.

Весельчак. От этих хитрецов одни несчастья. Планы у них замечательные, но не срабатывают, и все выходит не лучше, чем у нас с тобой.

Билл. Эх!

Весельчак. Не нравится мне это место.

Билл. Почему?

Весельчак. Не нравится, как оно выглядит.

Билл. Он нас тут держит, чтобы эти черномазые нас не нашли. Три жреца, которые охотятся за нами. А как хочется пойти и загнать рубин.

Альберт. Все это без толку.

Билл. Почему, Альберт?

Альберт. Да ведь я удрал от них, от этой нечисти, в Гулле.

Билл. Правда?

Альберт. Ну да, их было трое, три чучела с золотыми точками на лбу. Рубин тогда, в Гулле, был у

меня, ну я и бросился бежать.

Билл. Как же это случилось, Альберт?

Альберт. Говорю тебе, рубин был у меня, они и погнались за мной.

Билл. Кто же им сказал, что рубин у тебя? Что, ты его им показывал?

Альберт. Нет, они и так знали.

Весельчак. Неужто знали?

Альберт. Они нюхом чуют, где он. Они гнались за мной, я пожаловался полицейскому, а полицейский ответил, что это всего-навсего три бедных индуса, которые не сделают мне ничего дурного. Как вспомнишь, что они учинили на Мальте с беднягой Джимом.

Билл. Ну да, а как расправились с Джорджем в Бомбее, прежде чем мы успели сесть на корабль... Что же ты не разделался с ними?

Альберт. Ты забываешь, я нес рубин.

Билл. Да, верно.

Альберт. Ну, я тоже неплохо сработал. Иду я себе по Гуллю из конца в конец. Иду не спеша. Вдруг заворачиваю за угол и бегу. Не было угла, за который я бы не свернул; хотя раза два проскочил мимо, чтобы сбить их с толку. Я мчался, как заяц, потом сел и стал ждать. Но они не появились.

Весельчак. Как же?

Альберт. Вот уж не знаю как, но никаких черномазых дьяволов с золотыми точками на лбу я больше не видел. Я от них удрал.

Билл. Это здорово, Альберт.

Весельчак *(с удовлетворением оглядев его).* Что же ты нам сразу ничего не рассказал?

Альберт. Да здесь человеку слова не дадут сказать. У него, видишь ли, свои планы, а нас он считает дураками. Как он хочет, так все и должно идти. А вот я удрал от них. Они могли меня прирезать, да только я их одурачил.

Билл. Молодчага, Альберт.

Весельчак. Ты слыхал, Отпрыск? Альберт от них удрал.

Отпрыск. Слышу.

Весельчак. И как тебе?

Отпрыск. Да, молодчина, Альберт.

Альберт. Что ты собираешься делать?

Отпрыск. Ждать.

Альберт. А чего ждать — сам не знает.

Весельчак. Жуткое тут местечко.

Альберт. До чего все осточертело, Билл. Деньги кончились, пора продавать рубин. Пошли в город.

Билл. Но он не хотел идти в город.

Альберт. Пускай остается.

Весельчак. Если мы не появимся в Гулле, все обойдется.

Альберт. Пойдем в Лондон.

Билл. Но Отпрыск должен получить свою долю.

Весельчак. Прекрасно. Но нам пора идти. *(Обращаясь к Отпрыску.)* Мы пошли. Слышишь?

Отпрыск. Вот, возьмите.

Достает из жилетного кармана и отдает им рубин размером с небольшое куриное яйцо. Продолжает читать газету.

Альберт. Пошли, Весельчак.

Альберт и Весельчак уходят.

Билл. Прощай, старина. Твоя доля тебе достанется, но нам тут делать нечего, и женщин нет, и веселья никакого, да и пора уже продать рубин.

Отпрыск. Я ведь не дурак, Билл.

Билл. Нет, ясное дело, не дурак. И ты здорово нам помог. Прощай. Давай попрощаемся.

Отпрыск. Ладно. Прощай.

Продолжает читать газету. Билл уходит. Отпрыск, не прерывая чтения, кладет на стол револьвер.

Весельчак *(выпаливает единым духом).* Мы вернулись, Отпрыск.

Отпрыск. Ну, что ж.

Альберт. Отпрыск, как же они могли сюда добраться?

Отпрыск. Пешком, я полагаю.

Альберт. Но ведь тут добрых восемьдесят миль.

Весельчак. Ты знал, что они появятся, Отпрыск?

Отпрыск. Я ждал их.

Альберт. Подумать только, восемьдесят миль!

Билл. Старина, что ж теперь делать?

Отпрыск. Спроси у Альберта.

Билл. Если они способны на такие штуки, нас никто не спасет, кроме тебя, Отпрыск. Я всегда считал тебя хитрецом. Мы не станем больше дурить. Мы будем слушаться тебя, Отпрыск.

Отпрыск. Вы парни храбрые и сильные. Мало кто способен украсть рубиновый глаз из головы идола, да еще такого жуткого идола, да еще в такую жуткую ночь. Ты храбрый парень, Билл.

Но все вы дураки. Джим и слушать меня не хотел. Где теперь Джим? А что случилось с Джорджем?

Весельчак. Ну, хватит, Отпрыск.

Отпрыск. Хорошо, значит, одной силы мало. Нужен еще ум; иначе они прикончат вас, как прикончили Джорджа и Джима.

Все. Ох!

Отпрыск. Эти черномазые жрецы станут преследовать нас по всему миру. Год за годом, пока не заполучат глаз своего идола. Если мы все умрем, они примутся преследовать наших потомков. Некоторым балбесам кажется, что можно спастись от этих людей, просто завернув раза два за угол на улицах Гулля.

Альберт. Ты ведь тоже не смог скрыться от них, раз они здесь.

Отпрыск. Этого-то я и ждал.

Альберт. Неужели ждал?

Отпрыск. Разумеется, хотя не трубил об этом всем и каждому. Для того я и поселился здесь. Места тут хватает, не такая уж это дыра; расположен дом прекрасно, а самое главное, в тихом квартале. Итак, сегодня вечером мы готовы принять их.

Билл. Ну, ты и хитрец.

Отпрыск. Помните, только благодаря моей дальновидности все вы избежали гибели; и не

вздумайте перечить планам джентльмена.

Альберт. Если ты такой джентльмен, что же ты не со своими джентльменами и не с нами?

Отпрыск. Потому что я слишком умен для них, как, впрочем, и для вас.

Альберт. Слишком умен для них?

Отпрыск. Я никому ни разу не проиграл в карты.

Билл. Он ни разу не проиграл в карты!

Отпрыск. Когда игра шла на деньги.

Билл. Да, здорово.

Отпрыск. Сыграем разок в покер?

Все. Спасибо, нет.

Отпрыск. Тогда делайте, что я прикажу.

Билл. Хорошо, Отпрыск.

Весельчак. Я как раз хотел спросить, не лучше ли задернуть шторы?

Отпрыск. Нет.

Весельчак. Ты уверен?

Отпрыск. Не задергивай шторы.

Весельчак. Ладно, хорошо.

Билл. Но, Отпрыск, они нас увидят. Ведь нельзя, чтобы враг тебя видел. Не понимаю, почему...

Отпрыск. Нет, ни в коем случае.

Билл. Ладно, Отпрыск, хорошо.

Все вытаскивают револьверы.

Отпрыск *(не убирая своего).* Прошу вас, никаких револьверов. Альберт. Почему?

Отпрыск. Не хочу шума в праздник. Могут пожаловать незваные гости. Ножи — другое дело.

Все вытаскивают ножи. Отпрыск делает им знак подождать; рубин уже снова у него.

Билл. Мне кажется, они идут, Отпрыск.

Отпрыск. Еще нет.

Альберт. А когда придут?

Отпрыск. Когда я буду готов встретить их; не раньше.

Весельчак. Хорошо бы все это кончилось разом.

Отпрыск. Ты думаешь? Ну что ж, давайте примем их сейчас. Весельчак. Прямо сейчас?

Отпрыск. Да. Теперь послушайте. Исполняйте то, что я приказываю. Сделайте вид, что вы все уходите. Я покажу, как. Рубин у меня. Когда они увидят, что я один, они придут забрать глаз своего идола.

Билл. Откуда они знают, у кого он?

Отпрыск. Совершенно не представляю, откуда,

но они это чувствуют.

Весельчак. Что ты собираешься делать, когда они придут?

Отпрыск. Ничего.

Весельчак. Как это?

Отпрыск. Они осторожно подкрадутся и внезапно кинутся на меня сзади. Тогда мои друзья Весельчак, Билл и Альберт заколют их, и дело с концом.

Билл. Прекрасно, Отпрыск, положись на нас.

Отпрыск. Если вы замешкаетесь, вас ждет захватывающая картина, они разделаются со мной не хуже, чем с Джимом.

Весельчак. Что ты, Отпрыск. Мы не подведем.

Отпрыск. Хорошо. Теперь слушайте.

Направляется к двери справа, проходя мимо окна. Открывает ее, прячась за открытой створкой, опускается на колени и закрывает дверь, чтобы казалось, что он ушел. Делает знак остальным. Они таким же образом изображают, что вошли.

Отпрыск. Теперь я усядусь спиной к двери. Выходите по одному. Прячьтесь как следует. Они не должны видеть вас в окно.

Билл изображает уход.

Отпрыск. Помните, никаких револьверов. Полиция тут же пронюхает.

Двое других следуют примеру Билла. Все трое прячутся за правой дверью. Отпрыск кладет рубин на стол и закуривает сигарету. Дверь позади него начинает тихо, незаметно открываться. Отпрыск берет газету. Индус медленно крадется, прячась за стульями. Он приближается к Отпрыску слева. Моряки находятся справа от него. Весельчак и Альберт хотят броситься вперед, но Билл жестом останавливает их. Он прыгает на жреца и закалывает его. Жрец пытается крикнуть, но Билл левой рукой зажимает ему рот. Отпрыск не прерывает чтения. Он не оборачивается.

Билл *(вполголоса).* Он пришел один, Отпрыск. Что делать теперь?

Отпрыск *(не оборачиваясь).* Один?

Билл. Да.

Отпрыск. Подожди. Дай мне подумать. *(Не отрывая взгляда от газеты.)* Ну, хорошо. Возвращайся на место, Билл. Нам придется принять еще

одного гостя. Ты готов?

Билл. Да.

Отпрыск. Слухи о моей смерти дойдут до моей йоркширской усадьбы. Им придется принимать соболезнования. *(Он прыжком оказывается у окна. Взмахивает руками и падает рядом с мертвым жрецом.)* Я готов.

Закрывает глаза. Долгая пауза. Снова очень медленно открывается дверь. В комнату проскальзывает другой жрец. У него на лбу три золотые точки. Озирается кругом и крадется к своему товарищу, переворачивает его и разгибает его сжатые пальцы. Приближается к Отпрыску. Билл валит его на пол и закалывает, зажимая ему левой рукою рот.

Билл *(вполголоса).* Пока только два, Отпрыск.

Отпрыск. Одного не хватает.

Билл. А что теперь?

Отпрыск *(садясь).* Гм!

Билл. Похоже, это неплохой метод.

Отпрыск. Ошибаешься. Дважды в одну игру не играют.

Билл. Почему, Отпрыск?

Отпрыск. Потому что хорошо не выходит.

Билл. Тогда что же?

Отпрыск. Придумал. Входи, Альберт. Сейчас я скажу тебе, что делать.

Альберт. Иду.

Отпрыск. Беги сюда и дерись с этими двумя под окном.

Альберт. Но ведь они же...

Отпрыск. Да, да, ты не ошибся, они мертвые. Но Билл и я попробуем вернуть их к жизни.

Билл поднимает одного из мертвецов.

Отпрыск. Верно, Билл. *(Делает то же.)* Весельчак, помоги нам. *(Весельчак подходит к ним.)* Пригнись, пригнись как следует. Весельчак, двигай их руками. Следи, чтобы тебя не было видно. Ну, Альберт, падай. Нашего Альберта убили. Назад, Билл. Назад, Весельчак. Альберт, лежи тихо. Не двигайся, когда он войдет. Не шевелись.

В окне появляется и остается на некоторое время чье-то лицо. Дверь открывается, и входит третий жрец, настороженно оглядываясь по сторонам. Видит тела своих товарищей, подбегает к ним. Он что-то подозревает. Подбирает один из ножей и, держа в обеих руках по ножу, прижимается спиной к стене. Смотрит направо и налево.

Отпрыск. Давай, Билл.

Последний жрец бежит к двери. Отпрыск закалывает его шпагой.

Отпрыск. Удачный выдался денек, друзья мои.

Билл. Замечательно. Ты просто гений.

Альберт. Да, гений, если они вообще бывают.

Весельчак. Больше не осталось черномазых, Билл?

Отпрыск. Во всем мире ни одного.

Билл. Все тут. В храме их было всего трое. Три жреца и мерзкий идол.

Альберт. Сколько же этот рубин стоит, Отпрыск? На тысячу фунтов стерлингов потянет?

Отпрыск. Он стоит любых денег. Столько, сколько мы запросим. А запросить за него можно,

сколько захочешь.

Альберт. Значит, мы миллионеры.

Отпрыск. Верно. А еще лучше то, что не осталось никаких наследников.

Билл. Теперь надо его продать.

Альберт. Это не так-то просто. Жалко, что камень такой огромный, и жалко, что их у нас не полдюжины. Других камней у истукана не было?

Билл. Нет. Он весь был из зеленого нефрита, а один вот этот глаз торчал посреди лба. Зрелище жуткое.

Весельчак. Нам надо благодарить Отпрыска.

Билл. Ясное дело.

Альберт. Если бы не он...

Билл. Ясное дело, если бы не он...

Весельчак. Он такой хитрец.

Отпрыск. Я обладаю даром предвидения.

Весельчак. Да уж, наверное.

Билл. Вряд ли может случиться что-то, чего бы Отпрыск не предвидел. Правда ведь, Отпрыск?

Отпрыск. Да, я тоже так полагаю.

Билл. Для Отпрыска жизнь — что партия в карты.

Отпрыск. Что ни говори, эту партию мы выиграли.

Весельчак *(глядя в окно).* Не хотелось бы, чтобы

нас кто-нибудь увидел.

Отпрыск. Не бойся. Кроме нас, тут никого в округе нет.

Билл. А этих куда мы денем?

Отпрыск. Закопайте их в подвале, хотя торопиться некуда.

Билл. А потом, Отпрыск?

Отпрыск. Потом отправимся в Лондон и доведем до безумия торговца рубинами. Это у нас должно получиться.

Билл. Первым делом надо будет закатить пир в честь Отпрыска. А этих мы закопаем ночью.

Альберт. Да, пожалуй.

Весельчак. Прекрасно.

Билл. Давайте выпьем в его честь.

Альберт. Да здравствует Отпрыск!

Весельчак. Ему бы надо было быть генералом либо премьер-министром.

Вынимают из буфета бутылки и т. п.

Отпрыск. Ну что ж, мы заслужили ужин.

Билл *(со стаканом в руке).* За здоровье Отпрыска, который все предвидел!

Альберт и Весельчак. Да здравствует Отпрыск!

Билл. Отпрыск, который спас нам жизнь и сделал нас богатыми.

Альберт и Весельчак. Браво, браво.

Отпрыск. За здоровье Билла, который дважды за этот вечер спас меня.

Билл. Я просто слушался тебя.

Весельчак. Браво, браво, браво.

Альберт. Он предвидит все.

Билл. Произнеси речь, Отпрыск. Наш генерал произнесет речь.

Все. Да, речь.

Весельчак. Скажи речь.

Отпрыск. Хорошо, только принесите мне кто-нибудь воды. Виски бросилось мне в голову, а мне надо, чтобы она была ясной, пока наши друзья еще не упокоились в подвале.

Билл. Вода. Ясное дело. Сходи-ка за водой, Весельчак.

Весельчак. У нас здесь и воды-то никакой нет. Где ж ее взять? Билл. В саду.

Весельчак уходит.

Альберт. Пью за нашу удачу.

Все пьют.

Билл. Я пью за господина Альберта Томаса.

Пьет.

Отпрыск. За господина Альберта Томаса.
Альберт. За господина Уильяма Джоунса.
Отпрыск. За господина Уильяма Джоунса.

Отпрыск и Альберт пьют. Входит испуганный Весельчак.

Отпрыск. Вот возвращается господин Джейкоб Смит, мировой судья, он же Весельчак.

Весельчак. Я тут подумал насчет доли, которая мне причитается. Мне не нужна она, не нужна.

Отпрыск. Что за вздор ты городишь, Весельчак!

Весельчак. Возьми себе, Отпрыск, возьми ее себе, только скажи, что Весельчаку не нужно никакой его доли, никакого рубина. Так и скажи, Отпрыск, прошу тебя, скажи.

Билл. Вздумал донос написать, Весельчак?

Весельчак. Нет, нет. Только мне не надо рубина, Отпрыск.

Отпрыск. Перестань нести чепуху, Весельчак. Мы все замешаны в этом деле. Если повесят одного, повесят всех. Но со мной эти шутки не пройдут. К тому же речи быть не может о виселице; у них

у всех были ножи.

Весельчак. Отпрыск, Отпрыск, я всегда хорошо относился к тебе. И всегда говорил: равных Отпрыску нет. Но разреши мне отказаться от моей доли, Отпрыск.

Отпрыск. Чего ты добиваешься? Что стряслось?

Весельчак. Ну согласись, Отпрыск.

Отпрыск. Говори, что ты задумал?

Весельчак. Я отказываюсь от своей доли.

Билл. Ты встретил полицейских?

Альберт достает нож.

Отпрыск. Нет, нет, Альберт, ножа не надо.

Альберт. А что же надо?

Отпрыск. На суде говорить чистую правду, но про рубин ни слова. Мы подверглись нападению.

Весельчак. Да не в полиции дело.

Отпрыск. А в чем же?

Билл. Говори, говори.

Весельчак. Богом клянусь...

Альберт. Ну?

Отпрыск. Не торопи его.

Весельчак. ...я видел такое, что мне сильно не понравилось.

Отпрыск. Не понравилось тебе?

Весельчак *(плача).* Отпрыск, прошу тебя! Возьми мою долю, Отпрыск! Скажи, что возьмешь!

Отпрыск. Что же ты мог там увидеть?

Тишина, прерываемая лишь рыданиями Весельчака. Слышны тяжелые шаги. Появляется ужасный идол. Он слеп. Ощупью направляется к рубину. Берет его и водружает себе на лоб. Весельчак продолжает рыдать. Остальные застывают в страхе, не в силах отвести от идола взгляда. Теперь он идет уверенно: он видит. Шаги его удаляются, затем смолкают.

Отпрыск. Боже мой.

Альберт *(по-детски жалобно).* Что это было, Отпрыск?

Билл. Это мерзкий идол заявился из Индии.

Альберт. Он ушел.

Билл. Он унес глаз.

Весельчак. Мы спасены.

Голос за сценой *(с чужестранным акцентом).* Господин Уильям Джоунс, моряк.

Отпрыск в оцепенении, в его взгляде ужас.

Билл. Альберт, что это?

Встает и выходит. Слышится вскрик. Весельчак смотрит в окно. Отходит, содрогнувшись.

Альберт *(шепотом).* Что произошло?

Весельчак. Я видел. Видел.

Возвращается к столу.

Отпрыск *(мягко касаясь руки Весельчака).* Что там случилось, Весельчак?

Весельчак. Я видел.

Альберт. Что?

Весельчак. Ах!

Голос. Господин Альберт Томас, моряк.

Альберт. Мне надо идти, Отпрыск? Мне идти, да?

Весельчак *(вцепившись в него).* Стой.

Альберт *(уходя).* Отпрыск, Отпрыск...

Выходит.

Голос. Господин Джейкоб Смит, моряк.

Весельчак. Я не пойду, Отпрыск, не пойду, не пойду.

Выходит.

Голос. Господин Арнольд Эверетт Скотт-Фортескью, моряк.

Отпрыск. А вот этого я не предвидел.

Выходит.

ЗАНАВЕС

Герберт Аллан Джайлс

Отрицающий чудеса

Чжу Фу-дзе, отрицавший чудеса, умер; всю ночь при покойном бодрствовал его зять. На рассвете гроб с телом поднялся в воздух и остался висеть в двух пядях от пола. Благочестивый зять пришел в ужас. «О почтенный свекор, — взмолился он, — не разрушай моей веры в то, что чудеса невозможны». Тогда гроб медленно опустился, и зять Чжу Фу-дзе вновь обрел веру.

«Конфуцианство и его соперники», лекция VIII (1915)

У. У. Джекобс

Обезьянья лапа

I

Вечер был холодный, сырой, но в небольшой гостиной в Лабурнумвилле ставни были закрыты и в камине ярко горел огонь. Отец и сын играли в шахматы — у отца насчет шахмат были довольно своеобразные понятия, он подвергал своего короля таким отчаянным и бессмысленным опасностям, что даже немолодая его супруга, мирно вязавшая у камина, не могла удержаться от замечаний.

— Слышите, какой ветер? — сказал мистер Уайт; он как раз совершил роковую ошибку и пытался отвлечь внимание сына.

— Слышу, — сказал сын, неумолимо подвигая ферзя. — Шах.

— Думаю, что сегодня вечером он не явится, — сказал отец, держа руку над доской.

— Мат, — ответил сын.

— Вот неудобство того, что живешь так далеко! — воскликнул мистер Уайт с неожиданной пылкостью. — Из всех предместий наше самое глухое. Не знаю, о чем люди думают. Конечно,

сданы всего два дома, и никому нет дела.

— Не огорчайся, дорогой, — мягко сказала жена. — Выиграешь в следующий раз.

Мистер Уайт, подняв глаза, перехватил заговорщицкое подмигиванье матери и сына. Слова замерли у него на устах, и он с притворной досадой махнул рукой.

— А вот и он, — сказал Герберт Уайт, услышав приближающиеся шаги и стук в дверь. Отец вскочил и с радушием кинулся открывать, слышно было, как он высказывает гостю свое сочувствие.

Потом оба вошли в гостиную. Гость был тучный мужчина с глазами навыкате и багровым цветом лица.

— Старший сержант Моррис, — представил его мистер Уайт.

Сержант поздоровался с его женой и сыном, сел на предложенный ему стул и с удовлетворением убедился, что хозяин дома несет виски и несколько стаканов и ставит на огонь небольшой медный чайник.

После третьего стакана глаза у гостя заблестели, он разговорился. Все семейство с интересом смотрело на посетителя, рассказывавшего о войнах, эпидемиях и других народах.

— Двадцать один год прошел, — сказал мистер

Уайт, улыбаясь жене и сыну. — Когда он отправился, был совсем еще мальчишкой. А теперь поглядите на него.

— Похоже, вам это пошло на пользу, — любезно сказала миссис Уайт.

— Как я хотел бы поехать в Индию! — сказал мистер Уайт. — Просто, чтоб взглянуть разок.

— Лучше оставайтесь здесь, — возразил, качая головой, сержант. Он поставил стакан и с легким вздохом снова покачал головой.

— Мне так хочется увидеть эти древние храмы, и факиров, и фокусников! — сказал мистер Уайт. — Что там было, Моррис? Помните, вы начали мне рассказывать про какую-то обезьянью лапу или что-то вроде того?

— Да ничего, — торопливо ответил бывший солдат. — Ничего интересного.

— Обезьянью лапу? — спросила миссис Уайт.

— Пожалуй, это то, что называется колдовством, — неохотно проговорил сержант.

Все с любопытством уставились на него. Гость по рассеянности поднес ко рту пустой стакан, затем поставил его на стол. Хозяин налил ему.

— С виду это просто высохшая лапка, и как будто ничего в ней нет особенного, — сказал сержант, показывая какой-то предмет, который он

вынул из кармана.

Женщина, скорчив гримасу, отшатнулась. Сын взял лапу и внимательно ее осмотрел.

— И что же в ней такого необыкновенного? — спросил мистер Уайт, забрав лапу у сына, чтобы получше ее разглядеть.

— Ее наделил волшебной силой старый факир, — сказал старший сержант. — Праведный был человек... Он хотел доказать, что жизнью людей управляет судьба и что никто не может безнаказанно противиться судьбе. И дал он лапе такое свойство: три человека могут просить ее исполнить три желания каждый.

Он говорил очень серьезно, и слушавшие его почувствовали, что смех здесь неуместен.

— Почему же вы не просите у нее исполнить три ваших желания? — спросил мистер Уайт.

Сержант снисходительно глянул на него.

— Я уже просил, — сказал он, и смуглое его лицо побледнело.

— И ваши три желания действительно исполнились? — спросила миссис Уайт.

— Да, исполнились, — сказал сержант.

— А больше никто не просил? — поинтересовалась женщина.

— Просил один человек. Не знаю, какие были

первые его две просьбы, но третьим желанием была смерть. Потому-то обезьянья лапа перешла ко мне.

Он сказал это с таким скорбным видом, что остальные надолго умолкли.

— Послушайте, Моррис, если ваши три желания уже выполнены, талисман этот вам теперь ни к чему, — сказал наконец мистер Уайт. — Зачем же вы его храните?

Сержант сокрушенно покачал головой.

— Я, знаете ли, иногда подумываю о том, чтобы его продать, но, скорее всего, я этого не сделаю. Он уже причинил столько бед. К тому же люди не хотят его покупать. Одни подозревают, что это просто сказка, другие хотят сперва испробовать его, а потом уж заплатить.

— А если бы вам можно было высказать еще три желания, — сказал мистер Уайт, — вы бы их высказали?

— Не знаю, — ответил гость. — Не знаю.

Он взял обезьянью лапку большим пальцем и указательным, помахал ею и бросил ее в огонь. Уайт ее оттуда выхватил.

— Лучше бы она сгорела! — мрачно произнес сержант.

— Если вам, Моррис, она не нужна, дайте ее

мне.

— Мне она не нужна, — решительно ответил сержант. — Я ее бросил в огонь; если вы ее берете, не вините меня за то, что с вами произойдет. Но лучше будьте благоразумны, выбросьте ее.

Мистер Уайт отрицательно покачал головой и оглядел свое приобретение.

— Как это делается? — спросил он.

— Надо взять ее в правую руку и вслух высказать желания. Но предупреждаю — последствия могут быть страшными.

— Это похоже на сказки «Тысячи и одной ночи», — сказала миссис Уайт. Она поднялась, чтобы накрыть на стол. — Не кажется ли вам, что вы бы могли попросить мне в помощь еще пару рук?

Мистер Уайт вынул талисман из кармана, и все трое рассмеялись, заметив тревогу на лице сержанта.

— Если вы решили что-то просить, — сказал он, хватая Уайта за руку, — так уж просите что-нибудь разумное.

Мистер Уайт спрятал лапу обратно в карман и пригласил Морриса к столу. За ужином о талисмане отчасти позабыли. С увлечением все трое опять слушали рассказы о жизни сержанта в Индии.

— Если в истории обезьяньей лапы столько же правды, сколько в других его историях, — сказал Герберт, когда за гостем закрылась дверь и он поспешно удалился, чтобы успеть на поезд, — нам нечего надеяться на что-то путное.

— Ты ему заплатил? — спросила миссис Уайт, пристально глядя на мужа.

— Так, мелочь, — слегка покраснев, ответил мистер Уайт. — Он и брать-то не хотел, но я его заставил. Он все настаивал, чтобы я этот талисман выбросил.

— Ну, конечно! — с деланным страхом сказал Герберт. — А то мы станем счастливыми, богатыми и знаменитыми. Для начала ты бы попросил себе империю, тогда ты не был бы под каблуком у жены.

Мистер Уайт достал талисман и смущенно стал его разглядывать.

— Ничего не приходит в голову, что бы попросить, — медленно проговорил он. — Мне кажется, у меня есть все, что я желаю.

— А если бы ты выплатил залог за дом, разве ты не был бы счастлив? — спросил Герберт, кладя руку отцу на плечо. — Достаточно будет попросить двести фунтов.

Отец улыбнулся, конфузясь собственного легко-

верия, и приподнял талисман. Герберт состроил серьезную мину, подмигнул матери и взял на пианино несколько торжественных аккордов.

— Я-хочу-двести-фунтов! — произнес мистер Уайт.

Пианино громко отозвалось на его слова. Мистер Уайт вскрикнул. Жена и сын подбежали к нему.

— Она пошевелилась, — сказал он, со страхом глядя на лапу, и уронил ее. — Она извернулась у меня в руке, как гадюка.

— Однако денег-то я не вижу, — заметил сын, поднимая талисман и кладя его на стол. — Держу пари, что никогда их не увижу.

— Наверно, тебе померещилось, дорогой, — с тревогой во взгляде сказала жена.

— Пустяки, — сказал мистер Уайт. — Не тревожься. Но я испугался.

Они сели у камина, мужчины снова закурили свои трубки. Ветер снаружи завывал с небывалой силой. Когда где-то наверху хлопнула дверь, мистер Уайт подскочил от страха. Против обыкновения, они сидели молча, в гнетущей тишине, пока не пришло время ложиться спать.

— Наверняка ты найдешь деньги в большом кошельке, который будет лежать на кровати,

— сказал отцу Герберт, пожелав родителям спокойной ночи. — А когда будешь прятать это свое незаконное приобретение, за тобой будет следить жуткий призрак, притаившийся на шкафу.

Оставшись один, мистер Уайт сел, он смотрел в темноте на огонь, и ему чудились там какие-то лица. Одним из них была такая отвратительная обезьянья рожа, что его передернуло, но потом, смутившись, он рассмеялся и потянулся к столу за стаканом воды, чтобы плеснуть в камин и погасить угли; случайно коснувшись обезьяньей лапы, он вздрогнул, обтер руку о халат и поднялся в спальню.

II

На следующее утро за завтраком, при ярком свете зимнего солнца, мистеру Уайту стали смешны его вчерашние страхи. В столовой царила здоровая будничная атмосфера, совсем не то, что накануне, и сморщенная, грязная обезьянья лапа, валявшаяся на буфете, уже не внушала тревоги.

— Все старые вояки одинаковы, — сказала миссис Уайт. — И чего ради слушали мы все эти глупости! Как можно в наше время верить в какие-то талисманы! А если бы мы и получили двести фунтов, разве они бы тебе повредили?

— Они могут упасть с потолка и зашибить голову, — сказал Герберт.

— По словам Морриса, чудеса происходят так естественно, что кажутся случайным совпадением, — сказал отец.

— Ладно уж, только бы эти деньги не достались тебе до моего возвращения, — поднимаясь из-за стола, сказал Герберт. — Не дай Бог, станешь скупердягой, и нам придется от тебя отказаться.

Мать засмеялась, проводила сына до порога и поглядела ему вслед, как он удаляется по дороге; возвратившись в столовую, она пошутила насчет легковерия мужа. Однако когда в дверь постучал почтальон, она побежала ему открыть и, увидев, что он всего лишь принес счет от портного, с некоторой досадой пробормотала что-то по поводу забулдыг военных.

— Думаю, Герберту будет над чем поиздеваться, — сказала она, садясь за стол.

— Не сомневаюсь, — сказал мистер Уайт. — Но как бы там ни было, а лапа у меня в руке пошевелилась. Могу в этом поклясться.

— Наверно, это просто твое воображение, — ласково сказала жена.

— Уверяю тебя, пошевелилась. Я вовсе не был под влиянием его рассказов. Я... Что там случи-

лось?

Жена не ответила. Она наблюдала за загадочными эволюциями какого-то господина, который кружил возле их дома, явно не решаясь войти. Она отметила, что господин этот хорошо одет и что на нем новый блестящий цилиндр, и сразу подумала о двухстах фунтах. Господин трижды останавливался у их двери, наконец он решился и постучал. Миссис Уайт торопливо скинула передник и спрятала его под подушечкой кресла.

Она отворила дверь незнакомцу. Вид у него был смущенный. Он поглядывал на нее украдкой, пока она извинялась за беспорядок в комнате и зато, что муж в халате. Затем она умолкла, вежливо ожидая, что гость сообщит причину своего появления, но он тоже молчал.

— Я пришел к вам от «Моу и Меггинс», — произнес он наконец.

— Что случилось? Что случилось? — испуганно сказала миссис Уайт. — Что-то не в порядке с Гербертом?

— Погоди, дорогая, — вмешался муж. — Не пугайся прежде времени. Надеюсь, сэр, вы пришли не с дурными новостями? — И он серьезно посмотрел на незнакомца.

— К сожалению... — начал тот.

— Он ранен? — в безумной тревоге спросила мать.

Незнакомец утвердительно кивнул.

— Тяжело ранен, — медленно произнес он. — Но он не страдает.

— Слава Богу! — сказала миссис Уайт, молитвенно сложив ладони. — Слава Богу!

Но вдруг до нее дошел зловещий смысл этой фразы, и она увидела подтверждение своих страхов в скорбной мине незнакомца. У нее перехватило дыхание, она глянула на мужа, который, видимо, еще ничего не понял, и дрожащей рукой взяла его руку. Воцарилось долгое молчание.

— Его затянуло в машину, — тихо проговорил незнакомец.

— Его затянуло в машину, — ошеломленно повторил мистер Уайт.

Он сел и, бессмысленно глядя в окно, взял руку жены и сжал ее, как в те времена, когда они были влюбленными.

— Он единственный оставался у нас, — сказал он гостю. — Это ужасно.

Гость поднялся и подошел к окну.

— Компания поручила мне выразить вам свое соболезнование по поводу столь тяжкой утраты, — сказал он, не оборачиваясь. — Прошу вас, пой-

мите, что я всего лишь служащий компании и выполняю данное мне поручение.

Ответа не было. Лицо миссис Уайт было белее полотна.

— Меня послали заявить вам, что Моу и Мегинс отрицают какую-либо свою вину в этом несчастном случае, — продолжал гость. — Но, принимая во внимание добросовестную работу вашего сына, они выделили вам некую сумму.

Мистер Уайт выпустил руку жены и, поднявшись, с ужасом посмотрел на незнакомца. Пересохшими губами он произнес одно лишь слово:

— Сколько?

— Двести фунтов, — был ответ.

Мистер Уайт не услышал вопля жены, он слегка улыбнулся, вытянул вперед руки, как слепой, и, потеряв сознание, рухнул на пол.

III

Мистер Уайт и его жена похоронили своего покойника на новом кладбище, находившемся примерно в двух милях, и, удрученные, безмолвные, возвратились домой.

Все произошло так быстро, что вначале они не вполне осознали случившееся и словно ждали,

что вот-вот произойдет что-то такое, что принесет им облегчение. Но дни шли, и ожидание сменилось покорным унынием, тем безнадежным унынием стариков, которое иногда называют апатией. Они почти не разговаривали, потому что не о чем было им говорить, дни тянулись для них бесконечно и утомительно.

Неделю спустя мистер Уайт, внезапно проснувшись ночью, протянул руку и убедился, что он лежит один. В комнате было темно, он услышал у окна сдерживаемый плач. Прислушиваясь, он приподнялся в постели.

— Иди ляг, — сказал он нежно. — Ты простудишься.

— Моему сыну еще холодней, — сказала миссис Уайт и еще пуще расплакалась.

Ее всхлипыванья слышались мистеру Уайту все глуше. Постель была теплая, глаза его слипались. Вдруг его разбудил отчаянный крик жены.

— Обезьянья лапа! — кричала она, как безумная. — Обезьянья лапа!

Мистер Уайт в тревоге сел.

— Где? Где она? Что случилось?

Жена подошла к нему.

— Дай ее мне. Ты ее не выбросил?

— Она в гостиной, на полке, — с удивлением

ответил он. — Зачем она тебе?

Смеясь и плача, жена наклонилась, чтобы его поцеловать, и с истерическими рыданьями сказала:

— Я только сейчас подумала... Почему я раньше не подумала? Почему ты не подумал?

— Подумал о чем? — спросил он.

— О двух оставшихся желаниях, — быстро проговорила она. — Мы же высказали только одно.

— Разве его недостаточно?

— Нет, недостаточно! — воскликнула она торжествующе. — Мы попросим еще. Быстрей возьми ее и попроси, чтобы наш сын ожил.

Муж, весь дрожа, сел в постели.

— Боже мой, ты с ума сошла!

— Быстрей возьми ее и попроси, — бормотала она. — Мой сын! Мой сын!

Муж зажег свечу.

— Иди ляг. Ты сама не понимаешь, что говоришь.

— Наше первое желание исполнилось. Почему бы нам не высказать второе?

— Это было случайное совпадение.

— Иди возьми ее и попроси! — страстно воскликнула женщина.

Муж обернулся и посмотрел на нее.

— Уже десять дней, как он погиб, и кроме того — достаточно тебе и этого — я опознал его только по одежде. У него уже тогда был слишком ужасный вид, тебя нельзя было к нему пустить...

— Приведи его ко мне! — выкрикнула жена, подталкивая мужа к двери. — Ты думаешь, я испугаюсь моего мальчика, которого я вырастила?

Мистер Уайт в темноте спустился вниз, вошел в гостиную и посмотрел на полку. Талисман был на месте. Мистера Уайта ужаснула мысль, что еще не высказанное желание может явить ему растерзанного на куски сына прежде, чем сам он успеет убежать из комнаты. Он утратил ориентировку, не мог найти дверь. Ощупью обойдя стол и держась поближе к стене, он вышел в прихожую, держа в руке злокозненный талисман.

Когда он поднялся в спальню, ему показалось, что лицо жены странно изменилось. Бледное, напряженное, оно дышало неистовой страстью. Мистеру Уайту стало жутко.

— Проси ее! — резко крикнула жена.

— Это дико, это грешно, — пролепетал муж.

— Проси ее! — повторила жена.

Мистер Уайт поднял руку:

— Желаю, чтобы мой сын ожил.

Талисман упал на пол. Мистер Уайт в ужасе не

сводил с него глаз. Затем, весь дрожа, сел в кресло, а жена между тем подошла к окну и подняла занавеску. Мистер Уайт сидел неподвижно, пока его не пробрал утренний холод. Время от времени он поглядывал на стоявшую у окна жену. Свеча догорала и, угасая, отбрасывала на стены и на потолок колышущиеся тени.

Испытывая огромное облегчение от того, что талисман не оправдал надежд, мистер Уайт снова улегся, через минуту жена, молча и уныло, легла рядом с ним.

Они не разговаривали, прислушиваясь к тиканью часов. Скрипнула ступенька лестницы. Темнота действовала угнетающе, мистер Уайт собрался с духом, зажег спичку и пошел вниз за другой свечой.

Когда он спустился с лестницы, спичка погасла. Мистер Уайт остановился, чтобы зажечь другую, и в этот же миг раздался легкий, едва слышный удар по входной двери.

Спички выпали из рук мистера Уайта. Затаив дыхание, он застыл на месте — удар повторился. Он поспешил наверх в спальню и захлопнул за собой дверь. Послышался третий удар по двери.

— Что это там? — крикнула жена.

— Это мышь, — сказал муж. — Мышь. Она по-

палась мне на лестнице.

Жена поднялась. Сильный удар прогремел по всему дому.

— Это Герберт! Герберт! — миссис Уайт побежала к двери, но муж догнал ее и удержал.

— Что ты хочешь делать? — сдавленным голосом спросил он.

— Это мой сын, это Герберт! — закричала женщина, стараясь вырваться из его рук. — Я совсем забыла, от кладбища до нас две мили. Пусти меня, я открою ему дверь!

— Бога ради, не впускай его, — дрожа, сказал муж.

— Ты боишься собственного сына? — закричала она. — Пусти меня! Я иду, Герберт, иду!

Раздались еще два удара. Женщина вырвалась и выбежала из спальни. Муж, окликнув ее, побежал вслед за ней по лестнице. Он услышал стук щеколды, потом задыхающийся голос жены:

— Засов! — сказала она. — Я не могу до него достать.

Но муж, упав на колени, шарил по полу, искал обезьянью лапу.

— Хоть бы найти ее прежде, чем это войдет...

Удары гремели в доме один за другим. Мистер Уайт услышал, как жена приставляет стул, как

отодвигает засов, в то же мгновение ему удалось найти обезьянью лапу, и он лихорадочно пробормотал третье, последнее желание.

Удары внезапно прекратились, хотя эхо еще прокатывалось по дому. Мистер Уайт услышал, как отодвигают стул и открывают дверь. На лестнице подул ледяной ветер, и долгий, безутешный вопль жены придал мистеру Уайту силу — он подбежал к ней и выглянул из подъезда. На дороге никого не было, вокруг царила тишина.

«Хозяйка баржи» (1902)

Джеймс Джойс

Определение призрака

Что такое призрак? — спросил Стивен. — Некто, ставший неощутимым вследствие смерти или отсутствия или смены нравов.

«Улисс», 9

Мэй Гулдинг

Мать Стивена, исхудалая, окостенелая, поднимается сквозь пол комнаты в сером одеянии прокаженных, в увядшем венке из флердоранжа и рваной фате, ее безносое изможденное лицо позеленено могильной плесенью. Скудные прямые волосы. Она устремляет на Стивена пустые глазницы в синих кругах, открывает беззубый рот, неслышно говорит что-то.

МАТЬ *(с тонкой и безумной улыбкой смерти).* Я была прежде красавицей Мэй Гулдинг. Я умерла.

«Улисс», 15

Артуро Кансела Пилар де Лусаррета

Судьба-индейка
КАК ХУАН ПЕДРО РЕАРТЕ ВОШЕЛ В ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Сомнительная народная мудрость «Бог троицу любит» никогда еще не была настолько далека от истины, как в случае с Хуаном Педро Реарте. Этот старый креол, пятнадцать лет прослуживший водителем конки в трамвайной компании Буэнос-Айреса, сломал себе ногу на исходе прошлого века. Произошедший с ним несчастный случай имел аллегорический смысл: трамвай, которым правил Реарте, сокрушил последнюю запряженную волами повозку, пересекавшую центральные улицы столицы. В газете Лайнеса «Диарио» сей прискорбный эпизод из городской жизни был окрещен последней схваткой цивилизации с варварством. Так с легкой руки анонимного репортера Реарте, по собственной нерадивости не сумевший сдержать лошадей на спуске улицы Комерсио[66], превратился в символ прогресса.

---

[66] Примечания: 66

Умберто I тогда еще триумфально шествовал по городам Италии, унаследовав от отца корону и бравые усы.

Невольного разрушителя последней повозки доставили из Тукумана в больницу для бедных, и там в одной из палат он со свойственным всем простолюдинам терпением дожидался, пока у него срастется большая берцовая кость, безжалостно сломанная при столкновении с повозкой и не менее безжалостно воссоединенная торопливым хирургом, оказавшим Реарте первую помощь. Чтобы сэкономить несколько минут, этот прилежный ученик Пировано, имевший некоторые не связанные с его профессией обязательства перед одной из участниц благотворительной лотереи, организованной дамами-попечительницами, укоротил правую ногу бедного водителя трамвая на четыре сантиметра. В своем непременном желании посетить упомянутое благотворительное собрание хирург обошелся с открытым сложным переломом так, словно тот был закрытым и простым, а коль скоро исправление врачебных ошибок не входит в число чудес, во множестве творимых Природой, Хуан Педро Реарте покинул больницу хромым и, хромая, вступил в XX век.

КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Он в него вступил в новом качестве инвалида. (Где вы видели неторопливого хромого или заику, который бы не частил? Величавая медлительность есть безошибочный знак уверенности в себе. Наши провинциалы подсознательно усвоили это правило и злоупотребляют им до такой степени, что ухитряются порой совмещать величавость с косноязычием.)

Следует отметить, что кучер Реарте поторопился войти в XX век без веских на то оснований, ибо закон о несчастных случаях на производстве стал действовать лишь шестнадцать лет спустя, и хотя наш инвалид уже его предчувствовал, провести весь оставшийся срок в больнице он не мог. Главным следствием этого закона явилось, безусловно, то, что больные стали выздоравливать значительно медленнее. Когда он еще не вошел в силу, люди, получившие травму на службе, либо быстро поправлялись, либо умирали, ведь смерть означает полное, хотя и наименее желательное для пациента, излечение от всех болезней... Ху-

ан Педро Реарте постарался как можно скорее встать на ноги, не размышляя о превратностях судьбы или об эгоизме трамвайной компании, бросившей его в беде после пятнадцати лет беспорочной службы.

Подобные рассуждения были ему совершенно чужды. Они целиком принадлежат историку, описывающему это событие, который, как и все историки, путает прошлое с настоящим, реальное с возможным, то, что «было», и то, что «должно или могло быть». В сущности, философия истории и состоит в этом постоянном анахронизме, который с помощью воображения искажает строгую непреложность фактов.

«КУМАНЕК» И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Хуан Педро Реарте не мог ни думать, ни даже смутно чувствовать ничего из изложенного в предыдущей главе, ибо он, подобно всем представителям своей профессии, был тем, кого в ту пору называли в просторечии «куманьком». Так вот, «куманек» был по своей природе консер-

ватором, как и все довольные собой люди[67], а никто так не гордился собой, как эти кучера с гвоздикой за ухом, в заломленной набок кепке, шелковом шейном платке, брюках с напуском на французский манер и коротких сапожках на высоком армейском каблуке. О довольстве своим положением безошибочно свидетельствовали замысловатые узоры, которые вычерчивал в воздухе их кнут, переливы сигнального рожка, которыми они украшали популярные отрывки из народных песен, головокружительная ловкость, с которой они поворачивали рукоятку тормоза, лукавая нежность комплиментов, отпускаемых служанкам, и презрительные насмешки в адрес соперников-возниц. Лишь спустившись с козел — передвижной трибуны, годной и для поно-

[67] Примечания: 67

Именно недовольство собой, будь то из-за низкого происхождения, физических недостатков или отсутствия блестящих способностей, толкает многих людей на революционные действия. И наоборот, в глубине всякого мятежного характера скрывается малодушие. Революционная деятельность — это яростная реакция робких людей, которые, желая набраться смелости, перестраивают общество. Их можно уподобить человеку, который поджигает чужой дом, чтобы согреться. Порой случается, что в ходе революционных действий, особенно когда они увенчиваются успехом, робкие люди теряют свою боязливость и тогда превращаются в консерваторов. В этом психологическая причина отступничества стольких вдохновенных пророков, оставивших на полпути освобождение своего народа лишь потому, что им удалось достичь собственного духовного освобождения.

Когда я преодолею литературную робость, я напишу об этом комедию,

полную тонких наблюдений (что аскетизм, к примеру, — это естественное поведение тех, кому не хватает характера), и назову ее «Уловки труса»; она наверняка не будет пользоваться большим успехом. Разве что ее поставят в Париже под названием «Le detour du timide».

шений, и для любезностей, — водитель трамвая превращался в скромного пролетария. Но это возвращение на дно было слишком коротким, чтобы пробудить мысли о тщете его гордыни. Трудясь по десять часов в день, эти люди не знали праздности, матери всех пороков, и в частности — самого страшного из всех: философского порока пессимизма и малодушия...

РЕЛИКВИИ, ОСТАВШИЕСЯ ОТ СОСЕДА ПО КОМНАТЕ

Выписавшись из больницы, Реарте, разумеется, располагал свободным временем. Как только он смог выходить из дома, он тут же отправился в контору компании и робко, словно оставил место по собственной воле, высказал желание вернуться на службу. Его попросили сделать несколько шагов, «чтобы посмотреть, что сделалось с ногой», и хотя он заметно хромал, управляющий, мистер Макнаб, распорядился, чтобы он вернулся на работу через две недели, и дал вдобавок пятьдесят песо, посоветовав убавить левый каблук на три сантиметра, чтобы частично восстановить нарушенное равновесие. Деньги Реарте потратил, но совету не последовал.

Эти две недели он почти не покидал своей опрятной холостяцкой комнаты, которую почти десять лет занимал в одном тихом доме на улице Перу. Весь досуг он посвятил уходу за двумя дюжинами канареек, которые были единственной роскошью его существования, а также предметом гордости, служа наглядным доказательством его таланта птицевода и педагога. Птицевода — потому что эта стая пернатых произошла от единственной четы канареек, которую он законно унаследовал от соседа по комнате, шесть лет назад упорхнувшего вместе со всеми его сбережениями и двумя неподражаемыми костюмами; а педагога — потому что Реарте владел редким искусством учить птенцов мелодиям, которые исполнял на сигнальном рожке.

Помимо пары канареек, которая — возможно, в качестве компенсации — оказалась столь плодовитой, Реарте достались от непутевого соседа две цветные олеографии и несколько книг. Излишне напоминать, что в отличие от птиц ни книги, ни картины не размножились. И те и другие остались ровно такими же, какими были накануне бегства вероломного друга: олеография «Митинг на обрыве», где над морем с тремя тысячами совершенно одинаковых галер, как утес, возвы-

шался силуэт выдающегося оратора; «Июльская революция», на которой воинственная обстановка Парка контрастировала с актерской позой трибуна Алема; «Гражданский союз, его происхождение и развитие. Официальная публикация» — увесистый том, в который трамвайщик так и не решился заглянуть; «Белая магия и сонник» — сочинение, которое часто просили одолжить соседи; «Наперсник влюбленных», к чьей эпистолярной помощи Реарте никогда не приходило в голову прибегнуть; и наконец, «Доходное дело Карлоса Лансы» Эдуардо Гутьерреса, книга, пробудившая у него угрюмое недоверие к банкам и обменным лавкам.

КАК ОДНА И ТА ЖЕ ПРИЧИНА СПОСОБНА ПРИВЕСТИ К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ СЛЕДСТВИЯМ

После короткого домашнего отдыха, который Реарте посвятил обучению двадцати четырех канареек первым тактам вальса «Над волнами», наш герой возвратился на сцену своего триумфа. Возвратился потерпевшим некоторый физиче-

ский ущерб, однако морально вознагражденным за славное столкновение, которое обернулось аллегорической заметкой в «Диарио».

Никому не известный водитель конки на некоторое время превратился в поборника прогресса, врага телеги, символ великих завоеваний своего века в сфере городского транспорта. Но, как говорится в «Подражании Христу», человеческая слава быстротечна. Реарте наслаждался ею всего несколько месяцев, после чего сам прогресс, поборником которого его сделали, отбросил беднягу назад. В городе появились электрические трамваи, и хотя Реарте изъявил намерение стать «вагоновожатым», хромота помешала ему осуществить желанную цель, из-за нее он не смог подавать предупредительный сигнал. Во время обучения, пытаясь нажать на кнопку каблуком, он всякий раз терял равновесие... Этот печальный факт, из-за которого бедный возница стал объектом злорадных шуток, пробудил у него горькие мысли.

— Подумать только, — рассуждал он про себя с глубокой меланхолией, — ради прогресса я стал хромым, а теперь эта самая хромота мешает мне двигаться вперед и превращает в поборника отсталости.

Так оно и было: с завершением электрификации всех линий новый управляющий мистер Брайт отправил Реарте производить сцепку вагонов на станции Каридад. Несколько раз в день Реарте, правя упряжкой все более захудалых лошадей, выводил со станции на улицу все более старые трамваи, которые теперь должны были служить скромным прицепом к моторным вагонам.

Так он в считанные минуты стал пародией на самого себя: того Реарте, завоевателя и острослова, который вычерчивал кнутом в воздухе арабески, носил гвоздику за ухом и выводил на рожке «Мне нравятся любые... любые... любые» каждый раз, когда видел негритянку.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Через пятнадцать лет после того, как Реарте не по своей воле превратился в призрак прежней уличной славы, он явился на станцию раньше обычного. Болезнь Брайта — разумеется, не того Брайта, который служит в англо-аргентинской компании, — заставляет людей подниматься чуть свет. Обхватив руками поясницу и чертыхаясь сквозь зубы, старый возница уселся на

подоконник низкого окна, за которым, словно скот у кормушки, выстроились с разумным видом трамваи. Прямо перед ним из плохо закрученного крана уныло и монотонно капала вода; с неприметным упорством влага сочилась из отверстия, оживляя своим блеском враждебную панораму огромного двора.

— Похоже, всю ночь текло, — подумал Реарте, — эти сторожа совсем разленились. Сукины дети! Я бы их живо приучил к порядку.

Он попытался починить кран, но лишь забрызгал сапоги и поранил палец, а непокорный вентиль не желал сдаваться и даже принялся сипеть, словно преподаватель в конце учебного года. Вскоре вода начала переливаться через край каменной раковины и побежала извилистым ручейком, впадавшим в прямое надежное русло трамвайных путей.

Эта слабая струйка воды воскресила в памяти Реарте прежние времена, когда нескольких капель дождя хватало, чтобы затопить нижние улицы Буэнос-Айреса. В глине у Пяти Углов можно было по уши увязнуть!.. Из этого болота невозможно было выбраться даже с пристяжными лошадьми, и приходилось пережидать ненастье, сидя вместе с пассажирами на спинках

сидений, чтобы спастись от воды, доходившей до подножки, а порой затоплявшей пол... Народ тогда был совсем другой: все знакомые, все приятели, про каждого было известно, кто он такой и что за человек, с каждым можно было потолковать по душам и выкурить «Сублиме» или «Идеал», а летом целые семьи выходили подышать перед крыльцом свежим воздухом и окликали знакомых, едущих в трамвае, чтобы передать привет семье...

Колокол, извещавший, что первому трамваю пора отправляться в рейс, заставил Реарте встать с подоконника. Погруженный в воспоминания, с улыбкой на губах он вывел и запряг взлохмаченных тощих лошаденок. С этим он никогда не мог смириться: он, настоящий креол чистых испанских кровей, знаток и ценитель лошадей, должен был ехать по лучшим улицам города на этих захудалых клячах, которых и кормят-то, как свиней, пойлом из отрубей и воды.

— Правда, — подумал он, — они и того не стоят.

Он приладил цепь, взобрался на козлы, обмотал шею шарфом, весело просвистел сигнал утренней побудки, прищелкнул языком, понукая несчастных коняг и с ироничным «Пошел, Кра-

савчик!» «Пошел, Пузан!» пустил дребезжащий стеклами и скрежещущий всеми шарнирами и сочленениями трамвай полным ходом.

На улице его должен был ждать электрический трамвай. Чудом не прозвонил колокольчик под стоптанным каблуком галисийца Педросы. Но нет, путь был открыт, и в холодном утреннем тумане размытые очертания города казались бледными и печальными, как на старых фотографиях. Свежий ветер холодил руки и виски. Неплохо было бы немного прокатиться, подумал он, но его отвлекли отчаянные знаки, которые подавала ему с улицы огромная мулатка с корзиной, накрытой белой тканью.

— Да стой же ты! — кричала она. — Ты что, парень, заснул?

Реарте резко затормозил, негритянка, дряблая плоть которой колыхалась, вскарабкалась на подножку, заскрипевшую под тяжестью ее огромной альпаргаты, и, блеснув белоснежными зубами, спросила водителя:

— Не поможете поднять корзину?

Тот любезно согласился, и пока негритянка искала в кармане, полном медяков и крошек, два песо за проезд, они обсудили погоду.

— Прохладное утро, верно?

— В такое утро хорошо искупаться.

— И подхватить простуду.

Чуть дальше, с низкого балкона толстощекая служанка махала руками, прося его остановиться, и между тем кричала кому-то в комнате:

— Транвай, хозяин, транвай подходит!

Из дверей торопливо вышел надутый господин в сюртуке и шляпе и принялся громко возмущаться:

— Что за идиотское расписание! Не успеваешь спокойно позавтракать и все равно всюду опаздываешь! Отвратительное обслуживание... беззаконие!

— Добрый день, дон Максимо, — скромно прервала его мулатка.

— Добрый день, Розарио, — и, обращаясь неизвестно к кому, произнес: — Они свежие?

— Только что со сковороды. Угощайтесь...

Напыщенный господин взял хрустящий пирожок, оставивший золотистую чешую на матовых лацканах его сюртука.

Реарте наслаждался этими голосами, тонким ароматом пирожков. Он чувствовал себя помолодевшим и невольно поднес руку к уху, чтобы проверить, на месте ли пышная гвоздика, тайно сорванная во дворе с кустика, который цвел в

большой жестянке из-под кофе. Нет, ее там не было, но, ясное дело, сейчас зима...

— А ну прочь отсюда, сорванец, прочь отсюда, не то пожалуюсь отцу! — крикнул дон Максимо парнишке, бежавшему за трамваем с явным намерением прицепиться.

— Так и до беды недалеко, — прокомментировала негритянка.

Реарте эффектно хлестнул кнутом направо и налево лошадей, от которых мальчишка увернулся, отставая, и что-то насмешливо прокричал ему вслед.

На Бальванере звонили к мессе.

Негритянка благочестиво перекрестилась, дон Максимо снял шляпу. На паперти оживленно беседовали два священника в длинных сутанах и со шляпами в руках — один пузатый и неряшливый, другой тощий и такой же неряшливый. Не дожидаясь знака, водитель остановил трамвай. Каждый день после мессы он подвозил падре Пруденсио Эльгеру. Сняв кепку, он подождал две минуты, пока падре попрощается со своим собеседником. Дон Максимо скромно кашлянул, негритянка прочистила горло, и священник торжественно уселся, взметнув складки сутаны и приветствуя пассажиров, словно давал им пол-

ное отпущение грехов.

Росарио задвинула подальше корзину, притворяясь, что смотрит в окно, и принялась теребить серебряные кольца, блестевшие на темной костистой руке.

— Поднялись с рассветом, дон Максимо?

— Что вы хотите, ваше преподобие, отец Пруденсио, с этим отвратительным обслуживанием, которое предлагает компания!..

— Утро выдалось на редкость свежее, этот целительный воздух пробуждает аппетит... а после мессы...

— Вы были вчера вечером на конференции в Колехио Насьональ, падре?

— Нет, не имел возможности, я должен был готовиться к проповеди...

— Актовый зал не смог вместить всех желающих: 840 студентов, не считая преподавателей и приглашенных...

— О чем шла речь?

— О Евангелиях...

Священник обернулся назад.

— А ты, Росарио, всегда ли ты бываешь доброй христианкой?

— Пока меня не просят разменять деньги...

— А если и просят... Сегодня твои пирожки чу-

десно пахнут...

— Угощайтесь, — предложила негритянка неестественно тонким голосом.

Дон Максимо бросил в подол негритянке несколько монет.

— Я плачу.

— Ни в коем случае, ни в коем случае, — притворно запротестовал священник и тут же перевел разговор на другую тему.

— О нашей зарплате ничего не слышно?

— К сожалению, нет...

— Нам не платили с марта...

— А нам с января...

— Зарплата учителям и духовенству должна быть священна для правительства. В наших руках настоящее и будущее страны. Я с возмущением думаю о том, что на вчерашней сессии одобрили выделение двухсот тысяч песо ассигнациями на меблировку судебного архива...

Открытая повозка с масаморрой[68] на рысях пересекла громадную лужу на углу Пьедад и Андес, забрызгав грязью водителя и пассажиров.

— Разбойник!

— Дикарь!

---

[68] Примечания: 68
Кукурузная каша.

— Успокойтесь, успокойтесь, — примиряюще вмешался священник.

Трамвай остановился, и две старушки, шедшие по улице, спросили через окно:

— Вы будете исповедовать завтра, отец Пруденсио?

Его преподобие, озабоченный честностью торговли, заставил наложить себе полную миску сваренной на молоке масаморры — той самой масаморры, которую еще помнят старики и которая исчезла после того, как город замостили булыжником.

Бледное солнце пробивалось через попону облаков, улицы постепенно стали наполняться прохожими, знакомые крики уличных торговцев смешались с сигналами трамвайного рожка; продавцы дров и газет, кондитеры, баски с глиняными горшками, висящими по бокам их мулов, торговцы парагвайскими апельсинами и бразильскими бананами громко расхваливали свой товар; их голоса слились в ужасную какофонию, под которую каждое утро просыпалось поколение 1885 года.

— Не хотите ли немного прокатиться? Я провезу вас бесплатно, — спросил Реарте смуглую толстушку, мывшую порог перед домом.

— А вы не хотите ли, чтобы вам бесплатно рожу начистили? — нахмурившись, отвечала девушка.

У Пьедад трамвай наполнился, отец Пруденсио очень почтительно уступил место нарядной даме с вуалеткой, опущенной на глаза, и четками, которые она перебирала тонкими пальцами. Та снисходительно кивнула в ответ и дружески помахала господину со светлой бородой, в которой чуть пробивалась седина.

— Так рано и одна?

— Я из церкви, ведь вам известно, что я каждый месяц обязательно хожу причащаться. А вы, куда вы направляетесь в столь ранний час и на трамвае?

— Возвращаюсь, Теодорита, возвращаюсь...

— И признаетесь в этом мне! Какой позор!

— Дело в том, что я, к сожалению, возвращаюсь из клуба, всю ночь обсуждали рекламную кампанию.

— Чтобы отклонить кандидатуру Хуареса...

— Это единственное, в чем я смею вам противоречить, Теодорита. Дон Бернардо опирается на разум.

— А Хуарес — на народ. Скажите, вы были вчера вечером в Колоне?

— Я не вездесущ. Как «Лукреция»?

— Никуда не годится. Вот если б вы видели Гильермину...

— Не будьте сплетницей. Поговорим о чем-нибудь другом.

— Боитесь? Впрочем, я только что с исповеди и обещала не осквернять свой язык...

— Так значит, Борджи Мамо не так уж хороша? — попытался отвлечь свою собеседницу господин с бородой.

— Уверяю вас, она отнюдь не блистала. Если помнишь «Лукрецию» с Теодорини! А бас? Когда он пел «Час отмщения настал», я думала, у меня барабанные перепонки лопнут!..

Читавший новости в «Насьон» господин с головой, полной перхоти, и в огромных резиновых ботах с выпирающими подагрическими шишками громко чихнул.

— Вот это было бы неплохо...

— Что? — поинтересовался юноша, который развлекался тем, что громким голосом переставлял буквы в объявлениях, украшавших салон трамвая.

— В трамваях Сан-Хосе-де-Флорес хотят положить толстые циновки, чтобы у пассажиров не мерзли ноги. Я сам от этого страдаю...

Господин с загнутыми вверх усами почтительно поздоровался с похожим на иностранца господином в светло-коричневом пиджаке.

— Поздравляю вас, друг Икаса. Ваше предложение муниципалитету, который совершенно не занимается этими вопросами, мне кажется весьма полезным...

— Это единственный способ покончить с тучами москитов и заразными болезнями...

— О чем идет речь? — спросил с другого конца трамвая доктор Велес.

— Все очень просто. Нужно перепахать десять мансан земли вокруг загонов для скота и направить туда по канавам сточные воды, которые впитаются в почву...

— Не говоря уже о том, что орошение и внесение удобрений заметно увеличит плодородие...

Трамвай загрохотал, пассажиров швырнуло друг на друга, раздались возмущенные возгласы.

— Вы не ушиблись, Теодорита?

— Господи, в жизни больше не сяду в трамвай, даже если придется вызывать экипаж к «Кабралю» в четыре утра!

— Чтобы ездить в этих вагонах, нужны стальные мускулы...

Читатель «Насьон» стал обсуждать ужасный

случай, описанный в новостях.

— Представьте себе, несчастный носильщик спокойно отдыхает на краешке тротуара на углу Кангальо и Ла-Флориды, а проезжающая мимо повозка расплющивает ему ногу...

Часы на Сан-Игнасио пробили семь. Профессор, не переставая возмущаться, попрощался со священником, а тот, прикрыв веки, стал перебирать четки. Сошли также нарядная дама и элегантный господин. Два пассажира, стоявшие в тамбуре, заняли места в салоне, предсказывая кризис английского кабинета.

— Правительство Гладстона не удержится, это неизбежно...

— А что вы думаете о деятельности доктора Пеллегрини?

— Умелый дипломат, блестящий ум, он обязательно добьется займа...

— Скажите, сеньор Поблет, — вмешался в разговор молодой человек, — верно ли, что участок Родригеса в Сан-Хуане продается?

— Что вы, друг мой! Дон Эрнесто богатеет с каждым днем! Он баловень судьбы, если таковые вообще бывают!

— Мне сообщили, что рядом с Ла-Роситой продаются триста лиг земли, и я подумал... если бы

вы могли предоставить мне точные данные... меня это заинтересовало.

— Почему же нет?! Это участок Аркадини — старая семья, разъезжает по Европе, а в это время их мошенник-управляющий обделывает здесь свои делишки... Тот, кто приобретет эту землю, станет богачом, за этой землей будущее, дружище Камбасерес...

В этот момент кто-то посмотрел на часы.

— Какой ужас! Уже двадцать минут восьмого! Как!

Прислушиваясь к разговорам, Реарте позволил слабосильным клячам плестись шагом и неожиданно обнаружил, что опаздывает... В половине восьмого он должен быть в Бахо-дель-Ретиро, чтобы прицепить свой вагон к электрическому.

Он с силой хлестнул коней, которые галопом прошли поворот в Майпу, едва не опрокинув конку, и устремились на север.

ХУАН ПЕДРО РЕАРТЕ СОВЕРШАЕТ ПРЫЖОК В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Страшный грохот колес и дребезжание стекла заглушили разговоры пассажиров. Охваченный мрачным нетерпением, Реарте отчаянно трубил

в рожок и вихрем мчался через перекрестки. Регулировщики в белых крагах и фуражках с кивером шутливо его приветствовали, а кучера с длинными усами и острой бородкой призывали его с высоких козел ехать еще быстрей. Реарте, гордый своими конями, не обращал внимания на отчаянные звонки пассажиров...

Неожиданно перед его глазами встала пелена, земля ушла из-под ног и знакомый пейзаж исчез: регулировщики в фуражках и белых крагах, бородатые извозчики, повозки с масаморрой, молочники-баски верхом на лошадях, сеньориты в мантильях и кабальеро в широкополых шляпах... Даже двойной ряд низких домов растаял на горизонте, слившись с последними метрами рельсов.

С печальной покорностью Реарте закрыл глаза, чтобы не видеть, как исчезают последние призраки его мира: плавно удаляющийся фонарщик с шестом на плече и повозка водовоза, которую с трудом тянули три маленьких мула.

Когда он вновь открыл их, то обнаружил, что лежит у чьей-то двери, в тени семиэтажного дома. Вокруг него столпились люди, через ноги которых он смог различить обломки трамвайного прицепа и трупы двух лошаденок, лежавших на мощеной дороге в луже крови.

Рядом с ним светловолосый регулировщик с блокнотом и карандашом в руках допрашивал бледного и говорливого вагоновожатого.

Реарте понял, что врезался в электрический трамвай, и по знакомым симптомам догадался, что сломал другую ногу.

Когда вместе с болью к нему вернулось сознание, он захотел узнать точную дату происшествия.

— Какое сегодня число? — с беспокойством спросил он.

— 26 июля, — ответил фельдшер, ощупывая ему лодыжку.

— Какой год? — не унимался Реарте.

— 1918, — отозвался фельдшер и как бы про себя прибавил: — Большая берцовая кость сломана в трех местах.

— Для прыжка в тридцать лет не так уж много... — философски заметил старый возница.

Ибо тридцать лет назад — 26 июля 1888 года — на том же маршруте его лошади понесли и по заверению врача он чудом не сломал себе ногу.

После этого стоического размышления Хуан Педро Реарте закрыл глаза, притворившись, что потерял сознание. Ему было стыдно, что он стал предметом всеобщего любопытства, и

не хотелось отвечать на настойчивые вопросы полицейских. Лучше бы его допрашивал один из тех регулировщиков в фуражках с кивером, которые были такими пристрастными и вместе с тем такими свойскими, регулировщиков его юности. Нынешние казались ему иностранцами, и давать им показания было для него все равно что отречься от своей национальности.

Особенно его беспокоил ошарашенный вид вагоновожатого, который то и дело повторял: «Ума не приложу, как эта колымага ухитрилась проехать весь город против движения! Нет, это невозможно!»

Реарте знал, как это стало возможным: при столкновении мечтателей с действительностью первые владеют непостижимым ключом к тайне. Но как объяснить это грубому рабу машины?

СУДЬБА-ИНДЕЙКА

В карете скорой помощи, в приливе говорливости, вызванной морфием, Реарте попытался объяснить свою тайну,

— Судьба-индейка... Она коварна и неуклюжа, как гринго...

С тех пор, как я влез на трамвай, мне Богом

было суждено сломать левую ногу. Я должен был сломать ее еще тридцать лет назад, но меня спасло чудо. В девяностом году, в первый день революции, на Лавалье и Парана три пули пробили тамбур на уровне моего колена, но даже не задели брюк. Потом, когда я столкнулся с повозкой, Судьба ошиблась, и я сломал правую ногу. И теперь, боясь, что мне удастся ее от нее уйти, Судьба расставила сети, чтобы добиться своего. Дьявол силен! Разве не так?

Томас Карлейль

Настоящий дух

Может ли быть что-нибудь более чудесное, чем действительный, настоящий дух? Англичанин Джонсон всю свою жизнь страстно желал видеть такового, но не мог, хотя и ходил под церковные своды и постукивал по гробам. Глупый Доктор! Разве он никогда не смотрел своим умственным взором так же, как телесным, вокруг себя, в это полное течение человеческой Жизни, которую так любил? Неужели он никогда не посмотрел даже хотя бы в самого Себя? Добрый Доктор был духом, столь действительным и настоящим, какого только могла пожелать его душа; и более того: миллионы Духов странствовали по улицам рядом с ним. Еще раз говорю я: сотри Иллюзию Времени, сожми шестьдесят лет в шестьдесят секунд: что такое был он, что такое мы? Разве мы не Духи, которым придана форма тела, форма Явления, и которые снова исчезают в воздух и в Невидимость?

«Сартор Резартус», глава VIII

Франц Кафка

Певица Жозефина, или Мышиный народ

Нашу певицу зовут Жозефина. Кто ее не слышал, тот не знает, как велика власть пения. Нет человека, которого ее искусство оставило бы равнодушным, и это тем более примечательно, что народ наш не любит музыки. Самая лучшая музыка для него — мир и покой; нам слишком тяжело живется, и если мы даже порой пытаемся стряхнуть с плеч повседневные заботы, то меньше всего тянет нас в такие далекие сферы, как музыка. И нельзя сказать, чтобы это нас огорчало, отнюдь нет: больше всего мы ценим у себя деловую смекалку и лукавый юмор, они, кстати, и крайне нам нужны, и пусть бы даже нас — случай маловероятный — прельщало то наслаждение, какое будто бы дает музыка, не важно, мы с улыбкой примирились бы с этим лишением, как миримся с другими. Жозефина среди нас исключение; она и любит музыку, и умеет ее исполнять: она у нас одна такая; с ее уходом музыка Бог весть как надолго исчезнет из нашей жизни.

Я не раз пытался осознать, как же это у нас получается с музыкой. Ведь мы напрочь лишены музыкального слуха: отчего же нам понятно Жозефинино пение? Или же — поскольку Жозефина это решительно отрицает — отчего мы считаем его понятным? Проще всего было бы сказать, будто ее пение так восхитительно, что увлекает и тупицу, но такой ответ не может нас удовлетворить. Будь это так, пение Жозефины производило бы на нас впечатление чего-то необычайного, словно из ее горла льются дивные, еще неслыханные звуки, словно нам трудно было бы даже их воспринять, если бы нас не сроднило с ними Жозефинино пение. В действительности ничего подобного: я и сам не испытываю такого чувства и не замечаю его у других. Напротив, в своем кругу мы скрываем друг от друга, что как пение Жозефинино пение немногого стоит.

Да и можно ли назвать его пением? Хоть мы и немузыкальны, пение, как вековая традиция, живет в народной памяти; в прошлом у нас существовало пение; об этом говорят легенды, сохранились и тексты песен, но никто, конечно, не умеет их исполнять. Итак, понятие о том, что такое пение, нам не чуждо, однако Жозефинино пение никак с ним не вяжется. Да и можно ли на-

звать его пением? Не просто ли это писк? Правда, все мы пищим, это наша природная способность, и даже не способность, а наше самовыражение. Все мы пищим, но никому и в голову не приходит выдавать это за искусство, мы пищим бездумно и безотчетно, многие даже не подозревают, что писк — наша особенность. Но если признать справедливым, что Жозефина не поет, а пищит, и, как мне кажется, не лучше, чем другие, — она даже уступает большинству в силе голоса, вспомните, как простой землекоп пищит напропалую с утра до вечера, да еще выполняя тяжелую работу, — если признать это справедливым, то от предполагаемого Жозефинина искусства ничего не останется; но тем большей загадкой явится вопрос: чем же объяснить ее необычайное воздействие на слушателей?

Дело здесь, разумеется, не только в писке. Станьте поодаль и прислушайтесь или, того лучше, попробуйте — раз уж вы за это взялись — выделить ее голос из общего гомона, и вы не услышите ничего, кроме обычного писка, Жозефинин голосок разве что слабее и жиже других. Станьте, однако, против нее, и это уже не покажется вам только писком: чтобы оценить ее искусство, мало слышать, надо и видеть. Пусть

вы услышите всего лишь обычный наш писк — необычно уже то, что кто-то, собираясь сделать нечто обычное, стал в величественную позу. Разгрызть орех не Бог весть какое искусство, и вряд ли кто отважился бы собрать народ и грызть для его развлечения орехи. Ну а вдруг он бы это сделал и даже произвел фурор, мы, верно, усмотрели бы причину его успеха в чем-то постороннем. Но вполне могло случиться, что всем понравилась бы его затея, а отсюда следует, что мы проглядели это искусство, потому что сызмала им владеем, и только наш щелкун раскрыл нам глаза на его истинную сущность. А если он к тому же посредственный щелкун и любой из нас превосходит его в этом искусстве, то это лишь говорит в пользу самого искусства.

То же самое, очевидно, и с Жозефининым пением: мы восхищаемся в нем тем, чем пренебрегаем у себя, и в этом Жозефина полностью с нами согласна. Кто-то в моем присутствии со всей возможной деликатностью и как о чем-то общеизвестном заговорил с ней про то, как популярен писк в народе. Но для Жозефины и этого достаточно. Надо было видеть, какую наша дива скорчила надменную и презрительную гримасу! С виду она воплощенная нежность, но

тут представилась мне чуть ли не вульгарной; правда, она сразу же спохватилась и постаралась с присущим ей тактом исправить свой промах. Но это лишь показывает, как далека Жозефина от мысли, что есть какая-то связь между ее пением и писком. Тех, кто держится другого мнения, она презирает и, пожалуй, ненавидит втайне. Но тут в ней говорит не обычное тщеславие — ведь и оппозиция, к которой отчасти принадлежу и я, тоже ею восхищается; но Жозефина требует, чтобы ею не просто восхищались — обычного восхищения ей мало, извольте перед ней преклоняться! И когда вы сидите в публике и смотрите на нее, вам это понятно: быть в оппозиции можно только на расстоянии от нашей дивы; сидя же в публике, вы готовы признать, что ее писк и не писк вовсе.

Но уж раз пищать нам не в новинку и мы сами не замечаем, как пищим, естественно было бы думать, что писк стоит и среди Жозефининой аудитории. Ведь ее искусство нас радует, а радуясь, мы пищим. Однако Жозефинины слушатели не пищат, они сидят затаясь, как мышка под метлой; можно подумать, что мы наконец сподобились желанного покоя и боимся спугнуть его собственным свистом. Что же нас больше привлекает на этих концертах — Жозефинино пение

или эта торжественная тишина, едва прошитая ее голоском? Как-то случилось, что глупенькая мышка, заслышав Жозефинино пение, присоединила к нему свой голосок. Это был тот же писк, каким нас услаждала Жозефина, но в том, что на сцене, несмотря на рутину, чувствовалась известная сдержанность, тогда как в публике пищали по-детски самозабвенно; в общем же никакой разницы; тем не менее мы затопали и зашикали на эту нарушительницу тишины, хоть бедняжка и без того готова была сквозь землю провалиться. Жозефина же затянула победный гимн: она в экстазе еще шире распростерла руки и еще выше запрокинула бы голову, если бы позволила ее короткая шея.

И так всегда: малейшим пустяком, каждой ничтожной случайностью, любой помехой, потрескиванием паркета, зубовным скрипом, неисправностью освещения — словом, любой заминкой Жозефина пользуется для того, чтобы повысить интерес к своему пению; ведь она считает, что ее слушают глухие; правда, по части вызовов и аплодисментов у нее нет причин жаловаться, однако настоящего понимания она якобы не находит и давно оставила надежду. Потому-то она и приветствует любую помеху; ведь все, что

во внешнем мире в разладе с ее пением и что без особой драки и даже совсем без драки, а лишь в силу простого противопоставления ей удается превозмочь, помогает расшевелить слушателей и внушает им если не настоящее понимание, то хотя бы сочувственное уважение к ее искусству. Но раз уж Жозефина всякую малость обращает себе на пользу, то что говорить о большом! Наша жизнь полна тревог, каждый день приносит свои неожиданности, страхи, надежды и разочарования, ни один из нас сам по себе не выдержал бы таких испытаний, если бы в любую минуту дня и ночи не чувствовал поддержки товарищей; но даже с этим чувством локтя нам порой приходится тяжело; бывает, что тысячи плеч изнемогают под ношей, которая, в сущности, предназначалась одному. Именно в такие минуты Жозефина считает, что время ее пришло. И вот она стоит перед вами, это хрупкое существо, и поет — грудь у нее выше живота так и ходит от натуги, кажется, что все свои силы она вкладывает в пение, все, что не участвует в пении, у нее обескровлено, вычерпано до отказа, точно она обнажена, отдана во власть стихий и под защиту добрых духов, точно в минуты, когда она поглощена пением, первое же холодное дыхание ветра может ее убить. Видя ее в

таком исступлении, мы, ее мнимые противники, говорим: «Она даже не пищит как следует: надо же так напрягаться — и не для того, чтобы петь, какое там! — а чтобы просто пищать, как пищит всякий». Таково наше первое неизбежное впечатление, но, как уже сказано, оно быстро проходит, а вскоре и нас охватывает чувство, владеющее толпой: привалившись друг к другу и согретые ее теплом, мы слушаем, затаив дыхание.

Чтобы собрать эту толпу, постоянно пребывающую в движении, шныряющую взад и вперед, влекомую какими-то неясными целями, Жозефине достаточно запрокинуть голову, приоткрыть рот и закатить глаза — словом, стать в позу, показывающую, что она приготовилась петь. Для этого годится любое место, ей даже не нужна открытая сцена, ее устраивает первый же случайно выбранный уголок. Весть о том, что Жозефина будет петь, распространяется мгновенно, и народ валом валит. Иногда, впрочем, возникают препятствия, Жозефина любит выступать в неспокойные времена, у каждого об эту пору свои нужды и заботы, каждый хлопочет по своим делам, нам трудно при всем желании собраться так скоро, как этого хотелось бы Жозефине, бывает, что она подолгу простаивает в

своей пышной позе, пока не соберется народ; она, понятно, приходит в неистовство, топает ножкой, ругается неподобающими девице словами и даже кусается. Но и такое поведение не вредит ее популярности; вместо того чтобы обуздать чрезмерные притязания певицы, публика старается их удовлетворить: во все стороны шлют гонцов (конечно, без Жозефинина ведома), чтоб они привели побольше слушателей; по всем дорогам расставляют посты — торопить опаздывающих; и все это делается до тех пор, пока не наберется достаточно народу.

Но что заставляет всех угождать Жозефине? На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос о Жозефинином пении, с которым он смыкается. Следовало бы даже его опустить, соединив со вторым, если б можно было утверждать, что народ безоговорочно предан Жозефине ради ее пения. Но об этом не может быть и речи. Наш народ, пожалуй, никому безоговорочно не предан; этот народ, который больше всего любит свою безобидную хитрость, свой детский лепет, свою невинную болтовню — лишь бы чесать языком, — этот народ не способен на безоговорочную преданность, и Жозефина это чувствует, она с этим борется, не жалея своей слабой глотки.

Разумеется, утверждение столь общее рискует завести нас чересчур далеко; народ все же предан Жозефине, хоть и не безоговорочно. Он не станет, например, смеяться над Жозефиной, а ведь кое-что в Жозефине заслуживает осмеяния, тем более что смех у нас желанный гость; невзирая на все наши напасти, мы нередко про себя посмеиваемся; но над Жозефиной мы не смеемся. Порой мне кажется, что народ воспринимает Жозефину как слабое, беспомощное и в некотором роде незаурядное существо (в его представлении незаурядную певицу), доверенное его заботе; откуда у него это представление — сказать трудно, можно только констатировать самый факт. Но над тем, что тебе доверено, не станешь смеяться; смеяться над этим значило бы попрать свой долг; самое злое, на что способны у нас самые злые, это иной раз сказать Жозефине: «Когда мы ее видим, смех у нас застревает в горле».

Народ заботится о Жозефине, как отец печется о своем ребенке; ребенок протягивает ручки, он то ли просит, то ли требует чего-то. Естественно было бы предположить, что нашему народу не по нраву такие обязанности, но он их выполняет образцово, по крайней мере в данном случае. Каждому из нас в отдельности было бы не под

силу то, что доступно народу в целом. Разумеется, и возможности здесь несоизмеримы: народу достаточно согреть питомца своим дыханием, и тот уже чувствует себя под надежной защитой. С Жозефиной лучше не говорить об этом. «Вот еще, нужна мне ваша защита!» — заявляет она. «Посмотрим, что ты запоешь без нас!» — думаем мы про себя. Впрочем, это даже не возражение, скорее детская взбалмошность и детская неблагодарность; отец подобные выходки пропускает мимо ушей.

Но тут возникает нечто, плохо вяжущееся с подобными взаимоотношениями Жозефины и народа. Жозефина, оказывается, другого мнения, она считает, что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей — вот какая ему присуща власть, а если оно и не устраняет самые трудности, то по меньшей мере дает нам силы их сносить. Жозефина, правда, этого не говорит открыто ни этими, ни другими словами — она и вообще-то мало что говорит, не в пример нашим краснобаям, но об этом вещают ее сверкающие глаза, ее крепко стиснутые зубки — у нас редко кто умеет держать язык за зубами, она же это умеет. При каждом неприятном изве-

стии, а бывает, что они сыплются на нас, как из мешка, — в том числе ложные и непроверенные — Жозефина вскакивает, хотя обычно усталость клонит ее долу, она вскакивает, вытягивает шею и, словно пастух, чующий приближение грозы, окидывает взглядом свою паству. Бывает, что своенравные, балованные дети предъявляют нелепые претензии; у Жозефины они все же как-то обоснованы. Разумеется, она не спасает нас и не придает нам силы; легче легкого выставлять себя спасителем такого народа, как наш, — многотерпеливого, беспощадного к себе, безоглядного в своих решениях, бестрепетно глядящего в глаза смерти и разве только с виду робкого в атмосфере безрассудной отваги, в коей ему приходится существовать, и притом столь же плодовитого, сколь отважного, — легче легкого, говорю я, выставлять себя задним числом спасителем такого народа, который вновь собственными силами вызволил себя из беды, пусть и ценою жертв, от которых у ученого-историка — как ни мало мы интересуемся историей — волосы становятся дыбом. И все же это верно, что в годину испытаний мы особенно стремимся на концерты Жозефины. Ввиду надвигающейся угрозы мы смиряемся, притихаем и еще послушнее, чем

обычно, сносим Жозефинины властные замашки: мы охотно собираемся и в этой дружественной тесноте отдыхаем от гнетущих нас вопросов; мы словно в последний раз перед битвой торопимся — ведь время не терпит, Жозефина об этом часто забывает, — осушить сообща кубок мира. Это не столько концерт, сколько народное собрание, причем такое собрание, на котором с трибуны не доносится ничего, кроме еле различимого писка: этот час слишком нам дорог, чтобы растратить его на пустую болтовню. Конечно, такая роль не могла бы удовлетворить Жозефину. Правда, при всей своей повышенной мнительности, вызванной ее неясным положением в обществе, Жозефина многого не замечает, ибо ослеплена самомнением, а многого не склонна замечать, тем более что в этом ее поддерживает рой льстецов, хлопочущих, таким образом, и в наших интересах; но петь между прочим, где-то на отшибе, какой-то сбоку припекой — для такой малости, хоть это и отнюдь не малость, Жозефина не стала бы швыряться своим искусством.

Но она им и не швыряется, ее искусство все же находит признание. Хоть мы в душе и заняты другим и храним молчание не только с тем, чтобы лучше слышать, — кое-кто даже уткнулся

носом в меховой воротник соседа и не поднимает глаз, так что кажется, будто Жозефина зря разливается там, наверху, — а все же ее писк в какой-то мере доходит и до нас. Этот писк, что возносится ввысь там, где все уста скованы молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому из нас в отдельности; в этот критический час Жозефинин жидкий писк напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице враждебного мира. Жозефина утверждает себя — это никакой голос, это никакое искусство утверждает себя и находит путь к нашим сердцам, и нам приятно об этом думать. Настоящего певца, певца-мастера, если бы он среди нас объявился, мы бы в такое время и слушать не стали, мы бы единодушно отвергли подобное выступление как бессмыслицу. Жозефине — Боже упаси — незачем знать, что, если мы ее слушаем, это, в сущности, говорит не в пользу ее пения. Кое о чем она, правда, догадывается, а иначе не стала бы с таким жаром уверять, будто мы ее не слушаем, что, впрочем, не мешает ей продолжать свои выступления и за писком забывать об этих догадках.

Но есть еще один довод в Жозефинину пользу: мы все же в известной мере ее слушаем и даже

так, пожалуй, как слушают настоящего певца; при этом она производит на нас впечатление, какого напрасно домогался бы более искусный певец и которое зависит именно от недостаточности ее умения и голосовых средств. Объясняется же это преимущественно нашими жизненными условиями.

Наш народ не знает юности, а разве лишь короткое детство. То и дело раздаются у нас требования дать детям волю, окружить их лаской и вниманием, признать за ними право жить без забот, смеяться, резвиться, играть, и не только признать это право, но и всячески претворять его в жизнь; такие требования часто слышишь, и вряд ли кто против них возражает, возражать против этих требований и в самом деле невозможно, но претворить их в жизнь в наших условиях тоже невозможно: мы единодушно поддерживаем их и даже что-то предпринимаем, но не успеваем оглянуться, как все опять возвращается к старому. Наши условия таковы, что едва ребенок начинает ходить и кое-как разбираться в окружающем мире, как он уже вынужден о себе заботиться наравне со взрослыми. Чтобы промыслить себе пропитание, нам приходится жить в рассеянии, на обширных территориях,

где нас окружают бесчисленные враги и подстерегают самые неожиданные опасности; мы не можем выключить наших детей из повседневной борьбы за существование, так как это навлекло бы на них гибель. Наряду со столь прискорбными причинами есть, правда, и приятная: это свойственная нашему племени плодовитость. Одно поколение у нас неудержимо теснит другое, и каждое так многочисленно, что у детей нет времени оставаться детьми. Другие народы заботливо растят свою молодую поросль, там существуют школы, откуда ежедневно изливаются потоки детей — это будущее народов, и день за днем там все те же дети, состав их подолгу не меняется. У нас же нет школ, зато из недр народа через кратчайшие промежутки времени изливаются необозримые потоки детей: поглядите, как они весело визжат и попискивают, ибо толком пищать еще не умеют; как катятся кубарем, а то и кувырком, под напором теснящих сзади, ибо ходить еще не умеют; как слепо увлекают все за собой, ибо глаза их еще не видят, — наши дети! Да не так, как в тех школах — день за днем все те же дети, — нет, все время другие, беспрерывно, бесконечно; не успел ребенок появиться, как следом уже теснятся новые детские мордашки,

неотличимые в этом множестве, в этой спешке, розовые от счастья. Сколь это ни прекрасно и как ни завидуют нам по праву другие народы, мы, разумеется, не можем дать нашим малышам настоящего детства. А это ведет к неизбежным результатам. Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы; в противовес тому лучшему, что в нас есть, — нашей надежной практической сметке, — мы иногда ведем себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети, — бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и все это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы. И если даже радость, какую это нам дает, и несравнима с полноценной детской радостью, то нечто подобное нам все же свойственно. К этим-то детским чертам в народе и взывает Жозефина.

Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием — детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости, мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизнерадостную, в общем-то, и жизнеспособную нашу натуру; возможно, отсюда и нелюбовь к музыке;

мы слишком стары для музыки, связанное с ней волнение, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся; недаром мы ограничили себя писком; немного писку от случая к случаю — вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глохнут, не успев о себе заявить.

Жозефине же мы не возбраняем петь или пищать, сколько ей вздумается, и как бы она это ни называла, — ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем; если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму; таким образом сохраняется известная музыкальная традиция, но она ни в какой мере нас не обременяет.

Но Жозефина дает и нечто большее этому своеобычному народу. На ее концертах, особенно в трудные времена, одна только зеленая молодежь еще интересуется певицей, лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точеные передние зубки, как, придя в экстаз от собственных рулад, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса

слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит; каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и вволю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет да и вплетается Жозефинин писк; пусть она это называет трелью, а мы — стрекотом, не важно, здесь он на месте, как нигде, как музыке редко выпадает счастье прийтись к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье, но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, непостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулкими, раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк — язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает, здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Не удивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают и мы стараемся их не пропускать.

Однако от этого до утверждения Жозефины,

будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях, а не о Жозефининых льстецах. «А как же! — восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. — Чем же вы объясните наплыв публики, полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаев, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры!» Последнее, к сожалению, справедливо, хоть и не служит к Жозефининой чести, особенно если принять во внимание, что, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом и немало наших платится жизнью, сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманившая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защитою своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда б она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего ни пожелай, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так,

можно было бы понять притязания Жозефины: в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, немыслимом ни для кого другого положении, несовместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит; что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком; подобно тому, как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особу ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине; быть может, кое в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно, и это верно и в отношении Жозефины.

С давних пор, чуть л и не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы: пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть! Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные — а такие и у нас бывали, — сраженные необычайностью этого требования и умонастроения,

способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, счесть его законным. Не то народ — он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефинины доводы. Так, Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу; пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого — все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет ни малейшей отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение; она как будто сдается, работает как полагается, поет как умеет, но ее хватает ненадолго — глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу, тут ее силы, видимо, неисчерпаемы.

Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы, в нашем народе о лежебоках и слыхом не слыхали; добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни, работа не

мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше; единственное, что ей нужно, это публичное, непререкаемое, непреходящее признание ее искусства, такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении; может быть, она уже и сама осознала свою ошибку; но путь назад ей закрыт, отступать поздно, это значило бы отречься от себя; поневоле приходится ей с этим пасть или победить.

Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы, и пальцем не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов, а найдись даже у кого-нибудь что ей возразить — не важно: вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную, судейскую позицию, какая ему и несвойственна и наблюдается у нас разве только очень редко. И если даже кто-нибудь в этом частном случае и одобряет позицию народа, то мысль, что это же может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь, таким образом,

идет не о существе вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем — мало сказать, отеческую — поистине самозабвенную заботу.

Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре: он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками; он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело — то есть, вконец избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дождаться и этого наипоследнего требования, а уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет: народу не нужны такие уловки, не говоря уж о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал; к тому же требование Жозефины так несуразно, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь.

Но если Жозефине и не чужды такие догадки,

борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась; и если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными, нам же представляются лишь более для нее опасными.

Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти напролом, что чувствует приближение старости, она-де теряет голос, и, следовательно, ей самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображения внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший; будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше.

Такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более что в этом мире, как она считает, с щепетильностью далеко не уйдешь. Она, быть

может, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ее таланта повторяют ее заявления, будто она чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинное наслаждение — не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее привычках унижать высокое и потакать низменному, а потому пусть уж все остается как есть. Иное дело — ее борьба за освобождение от работы; правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши.

Так, распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею ни о каких колоратурах. Ни разу в ее жизни не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не вовсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее как всегда, никто не вспоминал о колоратурах, да и отношение к Жозефининому требованию осталось прежним.

Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким — или слишком внезапным — для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумье взрослый человек не внемлет лепету ребенка: ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек.

Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе, как опираясь на своих почитателей, никто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина плоть от нашей плоти; когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину

и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, как увечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу.

Но нельзя же вечно хромать, и Жозефина придумала нечто новое: она утомлена, у нее тяжелые настроения и душевный упадок. Так, помимо концерта, нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита, ее уговаривают, заклинают петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает, она из последних сил пытается запеть — стоит поникшая, забыв даже раскинуть руки и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты, — итак, она пытается запеть, но тщетно, голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет как ни в чем не бывало, я бы даже сказал — не хуже, чем всегда; разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу

программы усталости ни следа; твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почтительно расступающуюся перед ней толпу.

Так было еще недавно; на днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в помощниках, но все напрасно — Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь, на этот раз она и в самом деле нас покинула.

Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это даже не просчет; махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной. Она сама отказывается от пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душами своих слушателей. И как только она приобрела эту власть — ведь эта душа для нее за семью печатями! — Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может

только раздавать, а не получать дары, хотя бы и от той же Жозефины, — народ продолжает идти своим путем.

Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Но разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был живее и громче, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не оттого ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что оно в этом смысле не поддавалось утрате?

Как-нибудь обойдемся мы без нашей певицы, что же до Жозефины, то, освобожденная от земных мук, кои, по ее мнению, уготованы лишь избранным, она с радостью смешается с сонмом наших героев и вскоре, поскольку история у нас не в большом почете, будет вместе со своими собратьями предана всеискупляющему забвению.

У врат закона

У врат Закона стоит привратник. И приходит к привратнику поселянин, и просит пропустить его к Закону. Но привратник говорит, что в настоящую минуту он пропустить его не может. И подумал проситель, и вновь спрашивает, может ли он войти туда впоследствии? «Возможно, — отвечает привратник, — но сейчас войти нельзя». Однако врата Закона, как всегда, открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель, наклонившись, старается заглянуть в недра Закона. Увидев это, привратник смеется и говорит: «Если тебе так не терпится — попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай: могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх». Не ожидал таких препон поселянин, ведь доступ к Закону должен быть открыт для всех в любой час, подумал он; но тут он пристальнее взглянул на привратника, на его тяжелую шубу, на острый горбатый нос, на длинную жидкую черную монгольскую бороду и решил, что лучше подождать,

пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там день за днем и год за годом. Непрестанно добивается он, чтобы его впустили, и докучает привратнику этими просьбами. Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом, и многое другое, но вопросы задает безучастно, как важный господин, и под конец непрестанно повторяет, что пропустить его он еще не может. Много добра взял с собой в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он отдает, чтобы подкупить привратника. А тот все принимает, но при этом говорит: «Беру, чтобы ты не думал, будто ты что-то упустил». Идут года, внимание просителя неотступно приковано к привратнику. Он забыл, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что только этот, первый, преграждает ему доступ к Закону. В первые годы он громко клянет эту свою неудачу, а потом приходит старость, и он только ворчит про себя. Наконец он впадает в детство, и, оттого что он столько лет изучал привратника и знает каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемнело ли все вокруг, или его обманывает

зрение. Но теперь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струится из врат Закона. И вот жизнь его подходит к концу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы, сводится в его мыслях к одному вопросу — этот вопрос он еще ни разу не задавал привратнику. Он подзывает его кивком — окоченевшее тело уже не повинуется ему, подняться он не может. И привратнику приходится низко наклониться — теперь по сравнению с ним проситель стал совсем ничтожного роста. «Что тебе еще нужно узнать? — спрашивает привратник. — Ненасытный ты человек!» — «Ведь все люди стремятся к Закону, — говорит тот, — как же случилось, что за все эти годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник, видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо всех сил, чтобы тот еще успел услыхать ответ: «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их».

Редьярд Киплинг

Лучшая в мире повесть

Доблести годы ушли, как вода, Мир не такой, как встарь, Ты был раб-христианин тогда, А я в Вавилоне — царь.

***У.-Э. Хенли*[69]**

Его звали Чарли Мирз, он был единственным сыном вдовы, жил в северной части Лондона и каждый день приезжал в Сити, где работал в банке. Чарли было двадцать лет, и его одолевали честолюбивые мечты. Я познакомился с ним в бильярдной, где маркер звал его по имени, а он маркера — Парень Не Промах. Чарли объяснил мне несколько нервозно, что забрел сюда понаблюдать за игрой, а поскольку подобная забава может дорого обойтись молодому человеку, я сказал, что лучше бы он шел домой, к матери.

Это был первый шаг к более короткому знакомству. Он стал заглядывать ко мне по вечерам, вместо того, чтобы слоняться по городу со своими приятелями-клерками, и вскоре, как водится у молодых, раскрыл мне свои честолюбивые помыслы — он мечтал о литературной славе. Желая

---

[69] Примечания: 69
Хенли Уильям Эрнест (1849—1903) — английский поэт.

обессмертить свое имя, Чарли в основном полагался на стихи, но писал и рассказы о роковой любви и посылал их в дешевые журнальчики. Я обрек себя на молчаливое выслушивание сотен и сотен поэтических строк и неудобочитаемых отрывков из пьес, которые еще, несомненно, потрясут мир. Наградой мне было его беспредельное доверие, а исповеди и печали юноши святы, почти как исповеди и печали девушки. Чарли еще ни разу не влюблялся, но мечтал влюбиться и ждал лишь случая; он верил в честь и благородство, но в то же время никогда не упускал возможности показать, что он тертый калач, как и подобает клерку, получающему двадцать пять шиллингов в неделю. Он рифмовал «кровь» и «любовь», «розы» и «морозы» и наивно полагал, что никто еще до этого не додумался. Он поспешно извинялся за длинные непонятные пропуски в своих пьесах, скороговоркой сообщал, что должно произойти, и переходил к следующей сцене, причем видел все, что собирался написать, так отчетливо и ясно, что считал дело сделанным и оборачивался ко мне, ожидая одобрения.

Подозреваю, что мать не поощряла его честолюбивые устремления, и знаю наверняка, что дома письменным столом ему служил край деревян-

ной подставки для умывальника. Это он поведал мне почти в самом начале нашего знакомства, опустошая книжные полки в моем шкафу, и вскоре уже заклинал меня сказать начистоту, есть ли у него шансы «написать, понимаете ли, нечто истинно великое». Возможно, я слишком его обнадежил, но как-то вечером он явился ко мне с горящими от возбуждения глазами и выпалил:

— Вы не возражаете, если... словом, позвольте мне побыть у вас и писать весь вечер. Я вас не отвлеку, поверьте. Мне негде писать дома, у матери.

— А в чем дело? — поинтересовался я, прекрасно зная, в чем дело.

— Мне пришла в голову идея замечательной повести, такой еще никто и никогда не писал. Позвольте мне написать ее здесь. Это такая идея!

Я не устоял против мольбы Чарли и освободил ему стол. Он, едва поблагодарив меня, с головой ушел в работу. С полчаса он без устали строчил пером. Но вот Чарли вздохнул и запустил руку в волосы. Перо скользило по бумаге все медленней, он все чаще зачеркивал написанное, а потом работа и вовсе замерла. Лучшая в мире повесть не продвигалась.

— Теперь мне кажется, что я сочинил ужасный

вздор, — мрачно произнес он, — а сначала, когда обдумывал повесть, все выглядело так здорово. Почему у меня ничего не выходит?

Мне не хотелось говорить правду и тем самым подрезать ему крылья. И я ответил:

— Может, ты сегодня просто не в настроении?

— Нет настрой был, но он пропал, когдая увидел, что получилось. Уф!

— Прочти, что ты написал, — предложил я.

Чарли прочел, это и впрямь никуда не годилось, а он делал паузы после особенно напыщенных фраз, ожидая знаков одобрения; он гордился этими фразами — я знал наперед.

— Надо бы слегка подсократить, — осторожно заметил я.

— Терпеть не могу сокращать свои вещи. Слово заменишь, и то сразу искажается смысл. А на слух все воспринимаешь лучше, чем при письме.

— Чарли, ты, как и многие другие, слишком быстро впадаешь в панику. Отложи рукопись в сторону, через неделю займешься ею снова.

— Я хочу написать повесть одним махом. Что вы о ней думаете?

— Как мне судить о наполовину написанном произведении? Изложи свой замысел.

Чарли изложил, и в его рассказе было все, чему

его неопытность так настойчиво мешала воплотиться на бумаге. Я глядел на него и удивлялся: мыслимо ли, что он не понимает самобытности, глубины идеи, пришедшей ему в голову? Это была поистине Идея среди идей. Иных авторов буквально распирало от гордости за свои идеи, несравнимые с блистательным замыслом Чарли, так и просившимся на бумагу. Но Чарли безмятежно лопотал, прерывая поток чистой фантазии чудовищными фразами, которые намеревался вставить в текст. Я терпеливо выслушал его до конца. Было бы величайшей глупостью оставить эту идею в его неопытных руках, в то время как я мог бы так много из нее выжать. Не все, разумеется, но ох как много!

— Я, пожалуй, назову повесть «История одного корабля», как вы думаете? — спросил наконец Чарли.

— Что ж, замысел хорош, но ты не сможешь разработать его как следует. А вот я бы...

— Вам он пригодится? Хотите им воспользоваться? Мне это будет очень лестно, — сразу предложил Чарли.

Немногое в этом мире доставляет человеку большую радость, чем простодушное, горячее, неумеренное восхищение юного друга. Даже

женщина в самой своей слепой беззаветной преданности не может идти в ногу со своим кумиром, сдвигать шляпку набок точно так, как носит шляпу он, уснащать речь его любимыми ругательствами. А Чарли все это делал. И все же я чувствовал потребность как-то успокоить свою совесть, прежде чем завладеть его идеей.

— Давай заключим сделку, — начал я. — Плачу пять фунтов за твой замысел.

В Чарли тут же проснулся банковский клерк.

— О нет, это невозможно. Так между приятелями не водится, сами понимаете, если мне дозволено считать вас своим приятелем, конечно, да и как порядочный человек я не могу принять этих денег. Воспользуйтесь идеей, если она вам нравится. У меня их — без счету.

Так оно и было — мне ли не знать? Но то были чужие идеи.

— Рассматривай это как сделку между порядочными людьми, — отозвался я. — За пять фунтов можно купить много поэтических сборников. Бизнес есть бизнес, и — не сомневайся — я не дал бы эту цену, если бы...

— Ну, если посмотреть на дело таким образом... — Чарли был явно взволнован мыслью о книгах.

Заключив сделку, мы договорились, что Чарли

будет время от времени являться ко мне со всеми своими замыслами, отныне ему будут предоставлены письменный стол и неотъемлемое право навязывать мне свои поэмы и отрывки из них.

— Расскажи, как тебе пришла в голову эта идея? — полюбопытствовал я.

— Сама собой. — Глаза Чарли слегка округлились.

— Да, но ты так много рассказывал мне о герое. Должно быть, вычитал это где-нибудь?

— Мне некогда читать, разве что здесь, с вашего разрешения, а по воскресеньям я катаюсь на велосипеде или уезжаю на весь день на реку. А с героем все в порядке, верно?

— Расскажи-ка еще раз, чтоб я его себе ясно представил. Вот ты говоришь, что герой стал пиратом. А как он жил?

— На нижней палубе корабля, о котором я вам рассказывал.

— А что это был за корабль?

— Гребное судно, морская вода бьет струей сквозь уключины, и люди гребут, сидя по колено в воде. Между двумя рядами гребцов — помост, а по нему прохаживается взад и вперед надсмотрщик с хлыстом и следит, чтоб гребцы работали.

— Откуда ты все это знаешь?

— Прочитал в одной книжке. Над помостом тянется веревка, она закреплена на верхней палубе, надсмотрщик держится за нее в качку. Как-то раз надсмотрщик не успел схватиться за веревку и свалился с помоста на гребцов — помните, наш герой засмеялся, и его за это высекли. Он, конечно, прикован к веслу — герой.

— Каким образом?

— На нем железный пояс, прикрепленный цепью к скамье, а кандалами на левом запястье он прикован к веслу. Сидит он на нижней палубе, куда помещают самых отпетых. Свет туда доходит только через люки верхней палубы да сквозь уключины. Представляете — лучик света едва пробивается между рукояткой весла и отверстием уключины и все время дрожит — ведь судно качает.

— Я-то представляю, но как-то не верится, что ты себе ясно это представляешь.

— А как же иначе? Так вот, слушайте. Длинными веслами на верхней палубе гребут четверо на каждой скамье, на средней — их трое на весло, а на нижней — по двое. Я уже говорил, что внизу совсем темно, и люди сходят с ума. Когда гребец с нижней палубы, прикованный к веслу, умирает, его не бросают за борт, а расчленяют, освобож-

дая от цепей, и пропихивают куски мяса через уключины.

— Почему? — Меня изумило не столько само сообщение, сколько уверенный тон Чарли.

— Так надсмотрщики избавляли себя от лишних хлопот и на других гребцов страх наводили. Ведь одному надсмотрщику не под силу вытащить покойника наверх. А оставишь нижних гребцов без пригляда, так они, конечно, и грести перестанут, и скамьи вырвут, если поднимутся все разом, в цепях.

— Да, у тебя поистине неиссякаемое воображение. А где это ты начитался про галеры и галерных рабов?

— Нигде не читал. А впрочем, не помню. Я сам люблю погрести при случае. Может, я и впрямь вычитал это где-нибудь, раз вы так считаете.

Вскоре после этого разговора Чарли ушел побродить по книжным лавкам, а я с изумлением размышлял о том, как сумел банковский клерк двадцати лет от роду поведать мне с такой расточительной подробностью, с такой абсолютной уверенностью о фантастической кровавой авантюре, мятеже, пиратстве и смерти в неведомых морях. Он провел своего героя тернистым путем через бунт на галере против надсмотрщиков к

командованию собственным судном и созданию королевства на острове, затерянном «где-то в море», и, обрадованный моими жалкими пятью фунтами, отправился покупать идеи других людей, чтобы научиться у них писать. Я утешался тем, что отныне замысел Чарли принадлежит мне по праву покупателя, и надеялся как-то его обыграть.

Когда Чарли явился ко мне в следующий раз, он был пьян — пьян в благородном смысле этого слова, опьянен творениями поэтов, которых он открыл для себя. Зрачки его были расширены, речь сбивчива, и он кутался в лоскутное одеяло цитат. Больше всего его пьянил Лонгфелло.

— О, это великолепно, это величественно! — вскричал Чарли, едва поздоровавшись. — Вы только послушайте:

> *— Видно, хочешь, — молвил кормчий,*
> *—*
> *Тайну моря разгадать?*
> *Лишь поспорившему с бурей*
> *Суждено ее узнать.*[70]

Бог ты мой!

---

[70] Примечания: 70
Г.-У. Лонгфелло, «Тайны моря».

Лишь поспорившему с бурей
Суждено ее узнать, —

произнес он раз двадцать, расхаживая взад и вперед по комнате, совершенно позабыв про меня. — Но я тоже способен это понять, — сказал он сам себе. — Не знаю, как и благодарить вас за пять фунтов. Или вот еще, послушайте:

Помню корабли, и мрачные гавани,
И своевольный бурливый прибой,
И бородатых испанцев, пришедших из плаванья,
И дивный парусник в далекой гавани,
И тайну пучины морской.[71]

Хоть я и не сражался с морем, у меня такое чувство, будто мне все про него известно.

— Да, ты, несомненно, понимаешь море. Ты его когда-нибудь видел?

— Еще ребенком я ездил однажды в Брайтон, мы жили в Ковентри, до того как переехали в Лондон. А раньше я никогда не видел моря.

Когда опускается на Атлантику
Могучий

---

[71] Примечания: 71
Г.-У. Лонгфелло, «Моя утраченная юность».

Экваториальный шторм.[72]

Чарли ухватил меня за плечо и потряс, чтобы и я ощутил страсть, потрясшую все его естество.

— Думаю, когда начинается шторм, — продолжал он, — все весла на галере, про которую я рассказывал, ломались, и их дергающиеся рукояти пробивали гребцам грудь. Кстати, пригодилась ли вам моя идея?

— Пока нет. Жду, что ты еще что-нибудь расскажешь. Объясни, ради Бога, почему ты так уверенно описываешь галеру. Ты ж ничего не знаешь о кораблях.

— Не могу объяснить. Я знаю корабли как свои пять пальцев, пока не берусь за перо. Только вчера в постели об этом размышлял — вспоминал «Остров сокровищ», который вы мне дали почитать. Я припомнил много такого, что можно ввести в повесть.

— Что именно?

— К примеру, вспомнил, что ели гребцы — гнилой инжир, черные бобы, а пили вино; мехи с вином они передавали от скамьи к скамье.

— Стало быть, твою галеру построили еще во время оно?

---

[72] Примечания: 72
Г.-У. Лонгфелло, «Водоросли».

— В какое время? Откуда мне знать, давно ее построили или нет. Ведь это выдумка, но порой мне кажется: все, что я рассказываю, и вправду взято из жизни. Я надоел вам своими рассказами про галеру?

— Ничуть. А что ты еще вспомнил?

— Да так, разные пустяки.

Чарли слегка покраснел.

— Неважно, рассказывай.

— Значит, так: история с галерой не выходила у меня из головы, ночью я поднялся и записал на листочке то, что гребец мог нацарапать на весле острым краем наручников. Мне показалось, что такая мелочь сделает повесть более правдивой. Я, верите ли, все вижу, будто наяву.

— У тебя с собой этот листок?

— Да-а, но что толку его показывать? Просто какие-то закорючки, и больше ничего. Правда, их можно поместить на заглавном листе книги.

— Такие детали я беру на себя. Покажи, что там нацарапали гребцы.

Чарли вынул из кармана листок бумаги с одной-единственной строчкой каких-то каракулей, и я тотчас припрятал его.

— Что, по-твоему, это значит по-английски?

— Ума не приложу. Может, «я до смерти устал»,

в общем, чепуха какая-нибудь, — повторил Чарли. — Но все эти гребцы на галере для меня — живые люди. Очень прошу — обыграйте поскорей мою задумку. Хочется увидеть законченную и напечатанную повесть.

— Но того, что ты мне рассказал, хватит на толстую книгу.

— Так напишите книгу. Вам осталось только сесть да написать.

— Дай время — напишу. А еще какие у тебя замыслы?

— Пока никаких. Читаю все книги, что накупил. Великолепные книги.

Когда Чарли ушел, я заглянул в его листок с надписью. Заглянул — и осторожно обхватил голову руками, желая убедиться, что она на месте и не повернулась задом наперед. Потом... но я не заметил, как вышел из дома и оказался в коридоре Британского музея перед дверью с табличкой «Служебное помещение» и вступил в пререкания с полицейским. В самой вежливой форме я просил об одном — разыскать «специалиста по Древней Греции». Полицейский ничего не знал, кроме музейных правил, и мне пришлось обежать все здания и служебные помещения на территории музея. Пожилой джентльмен, которому я не дал

толком позавтракать, положил конец моим поискам; брезгливо взяв листок двумя пальцами, он взглянул на него и презрительно фыркнул.

— Хотите знать, что это значит? Хм... Насколько я понимаю, это попытка что-то написать на чрезвычайно искаженном греческом языке, — тут он многозначительно посмотрел на меня, — предпринятая на редкость безграмотным... э... э... лицом. — Он медленно прочел: — «Поллок[73], Эркман[74], Таухниц[75], Хенникер[76]».

Четыре знакомые мне фамилии.

— Объясните, пожалуйста, что же все-таки означает эта безграмотная писулька? В чем там смысл? — поинтересовался я.

— «Меня... часто... одолевала усталость за этим делом» — вот в чем тут смысл.

Он вернул мне листок, и я умчался, не поблагодарив специалиста, ничего ему не объяснив,

---

[73] Примечания: 73

Поллок, Уолтер (1850—1926) — критик, переводчик, драматург.

[74] Примечания: 74

Эркман, Эмиль (1822—1899) — французский писатель.

[75] Примечания: 75

Таухниц, Бернард (1816—1895) — немецкий издатель, выпускавший популярную серию книг на английском языке.

[76] Примечания: 76

Хенникер (ум. в 1923 г.) — писательница, президент общества журналисток.

даже не извинившись.

Моя забывчивость была вполне простительна. Мне из всех смертных была дарована возможность написать лучшую в мире повесть — историю греческого раба на галере, записанную с его слов, — ни больше и ни меньше. Немудрено, что свои грезы Чарли называл явью. Парки, которые так тщательно закрывают дверь в конце каждой прожитой нами жизни, на сей раз проявили беспечность, и Чарли заглядывал, сам того не сознавая, туда, куда не дозволено глядеть никому из смертных в ясном уме и здравой памяти с Начала Времен. И самое главное — он не подозревал, какие познания продал мне за пять фунтов; и останется и впредь в неведении, ибо банковские клерки ничего не смыслят в метемпсихозе, а коммерческое образование не включает изучение греческого языка. Он будет поставлять мне, — тут я проделал несколько балетных па перед безмолвными египетскими богами и рассмеялся, глядя в их щербатые от времени лица, — сведения, которые придадут моей повести достоверность — такую достоверность, что мир назовет ее наглой подделкой, и лишь я, я один, буду знать, что все в этой повести правда. Я, я один, возьму в руки драгоценный камень, чтобы

гранить и полировать его. И я снова пустился в пляс среди богов, пока не заметил полицейского, направлявшегося в мою сторону.

Отныне мое дело — лишь поощрять Чарли к рассказам, а это нетрудно. Но я позабыл про эти проклятущие поэтические сборники. Чарли раз за разом являлся ко мне, бесполезный, как целиком записанный валик фонографа, — опьяненный Байроном, Шелли либо Китсом. Теперь, зная, кем был Чарли в прежних воплощениях, я безумно боялся пропустить хоть слово в его болтовне, и от него не укрылись ни моя почтительность, ни мой интерес. Он неправильно истолковал их как внимание к нынешней сути Чарльза Мирза, для которого жизнь была нова, как для Адама, и как уважительное отношение к его декламации; Чарли испытывал мое терпение, готовое лопнуть, читая мне стихи — не свои отныне, а других поэтов. Я страстно желал, чтобы стихи всех английских поэтов стерлись в памяти человечества. Я хулил самые звонкие поэтические имена, потому что они уводили в сторону от рассказов о галере и могли в дальнейшем склонить к подражательству; но я сдерживал нетерпение, уповая на то, что первый горячий энтузиазм иссякнет и парень вернется к своим

грезам наяву.

— Что толку рассказывать вам о моих замыслах, когда эти ребята сочинили такое, что впору ангелам читать, — посетовал он как-то вечером. — Почему бы и вам не написать что-нибудь в этом духе?

— Не скажу, чтоб ты был особенно учтив со мной, — заметил я, с трудом сохраняя самообладание.

— Я же отдал вам свою повесть, — буркнул Чарли, снова погружаясь в «Лару»[77].

— Мне нужны подробности.

— Все, что я придумывал об этом чертовом корабле, который вы называете галерой? Да это проще простого. Сами можете насочинять. Пустите-ка газ чуть поярче, хочется еще почитать.

Я был готов разбить рожок над головой этого редкостного глупца. Разумеется, я бы и сочинил все сам, знай я то, что, сам того не ведая, знал Чарли. Но поскольку двери моего прошлого существования были наглухо закрыты, я волей-неволей ждал, когда Чарли соблаговолит что-нибудь мне рассказать, и старался удержать его в добром расположении духа. Минутная неосторожность

---

[77] Примечания: 77
«Лара» (1814) — поэма Байрона.

могла погубить бесценное откровение; порой он откладывал книжки в сторону, — Чарли хранил их у меня, ведь мать, увидев их, возмутилась бы безрассудной тратой денег, — и погружался в свои морские видения. И снова я проклинал всех поэтов Англии. Прочитанные книги придавили, исказили, расцветили восприимчивое воображение банковского клерка, и в результате зазвучал нестройный хор чужих голосов — так невнятно слышится песня по городскому телефону в самое горячее время дня.

Чарли вел рассказ о галере — знай он, что сам на ней плавал! — и иллюстрировал его заимствованиями из «Абидосской невесты». Описывая жизнь героя, он цитировал «Корсара», вставляя в свой рассказ исполненные трагизма размышления на темы морали из «Каина» и «Манфреда»[78], уверенный, что я воспользуюсь ими. Только когда речь заходила о Лонгфелло, дисгармония встречных звуковых потоков прекращалась, и я знал, что устами Чарли глаголет истина, ибо он полагается лишь на свою память.

— Что ты думаешь об этой поэме? — начал я как-то вечером, уже зная самый лучший способ

---

[78] Примечания: 78

«Абидосская невеста» (1813), «Корсар» (1814), «Каин» (1821), «Манфред» (1817) — произведения Байрона.

настроить Чарли на нужный лад, и, не дав ему опомниться, одним духом прочел «Сагу о короле Олафе»[79].

Чарли слушал, открыв рот, раскрасневшись, постукивая пальцами по спинке дивана, на котором лежал, пока я не подошел к «Песне Эйнара Тамберсквельвера»:

Вытянув стрелу отмщенья,
Эйнар молвил: «Что ж, изволь —
Ты Норвегии крушенье
Видишь пред собой, король!»

Чарли ахнул, зачарованный.

— Это, пожалуй, посильней Байрона, — отважился заметить я.

— Сильнее? Еще бы! Это правда! Но откуда он все это знал?

Я повторил предыдущее четверостишие:

— Это что за наважденье? —
Олаф с палубы вскричал. —
Не обломки ли крушенья
Море бросило у скал?

— Откуда ему было знать, как разбивается гале-

---

[79] Примечания: 79
«Сага о короле Олафе» — поэма Г.-У. Лонгфелло.

ра, как весла вырываются из рук и всюду слышно это «з...з...ззп»? Да ведь только вчера ночью... Пожалуйста, прочтите еще раз «Шхеру криков».

— Нет, я устал. Давай поговорим. Так что же случилось прошлой ночью?

— Мне привиделся кошмарный сон о нашей галере. Снилось, будто я утонул во время боя. Дело было так: мы вошли в гавань вместе с другой галерой. Вода была совершенно неподвижная, только от наших весел она вспенивалась. Вы знаете, где я сижу на галере? — смущенно спросил Чарли: его сковывал извечный страх англичанина показаться смешным.

— Нет, ты мне об этом не рассказывал, — ответил я смиренно, и сердце мое забилось сильней.

— На верхней палубе, от носа — четвертое весло с правой стороны. Нас было четверо гребцов, прикованных к этому веслу. Помню, я глядел на воду и все пытался высвободить руки от кандалов, пока не начался бой. Потом мы подошли вплотную к другой галере, и все их стрельцы прыгнули к нам на борт; моя скамья проломилась, я лежал, распластавшись на палубе, а на мне три других парня и огромное весло, придавившее всех нас своей тяжестью.

— А дальше что было?

Глаза у Чарли горели. Он вперил взгляд в стену за моим креслом.

— Я не знаю, как шел бой. Я так и лежал на палубе, и люди топтали меня почем зря. Потом наши гребцы с левого борта, прикованные к веслам, как вы сами понимаете, заорали и принялись табанить. Я слышал, как шипела вода, галера вертелась, как майский хрущ, и, даже лежа внизу, я понял, что на нас идет другая галера — протаранить нас с левого борта. Я с трудом приподнял голову и увидел через фальшборт, как она несется прямо на нас. Мы хотели встретить ее носом к носу, но замешкались. Успели только вильнуть в сторону, потому что та галера, что была справа, притянула нас к себе крючьями и удерживала на месте. А потом — Боже милостивый, вот это был удар! Все весла по левому борту хрустнули, когда атаковавшая галера врезалась в нас носом. Весла нижнего яруса пробили рукоятками палубную обшивку, одно из них взлетело прямо в воздух и грохнулось возле моей головы.

— Как же это случилось?

— Нос атакующей галеры заталкивал короткие нижние весла обратно в уключины, и я слышал, какой переполох начался на нижних палубах. Потом она врезалась носом нам в борт почти

посередке, и мы накренились; тогда парни с правой галеры выдернули крючья, отвязали канаты и забросали нашу верхнюю палубу стрелами, кипящей смолой или еще какой-то жгучей дрянью; наш левый борт поднимался все выше и выше над водой, а правый медленно кренился, и, повернув голову, я увидел, что вода неподвижно стоит на уровне правого фальшборта, а потом она всколыхнулась и обрушилась на всех, кто лежал вповалку с правой стороны; тут меня ударило в спину, и я проснулся.

— Одну минуту, Чарли. Вот ты говоришь: вода подошла к фальшборту — как это выглядело?

Я задал свой вопрос не случайно. Мой знакомый однажды тонул в спокойном море, когда судно дало течь, и он заметил, что вода будто застыла, прежде чем хлынула на палубу.

— Полоска воды показалась мне туго натянутой струной банджо, которая находится здесь уже годы и годы, — отозвался Чарли.

Точное совпадение! Мой знакомый сказал: «Вода походила на серебряную проволоку, протянутую вдоль фальшборта; я думал, она никогда не порвется».

И чтобы познать эту мелочь, не стоящую выеденного яйца, он отдал все и едва не расстался

с жизнью, а я проделал изнурительный путь в десять тысяч миль, чтобы встретиться с ним и получить эти сведения из вторых рук. Но Чарли, банковский клерк, работающий за двадцать пять шиллингов в неделю, видящий мир лишь сквозь окно лондонского омнибуса, все это знал. Для меня было слабым утешением, что в одном из своих прежних воплощений он заплатил жизнью за эти знания. Я, вероятно, тоже умирал прежде десятки раз, но дверь в прошлое была для меня закрыта, потому что я смог бы ими воспользоваться.

— А что произошло потом? — спросил я, пытаясь побороть дьявола зависти.

— Самое забавное во всей этой кутерьме было то, что я нисколько не удивился и не испугался. Мне казалось, будто я уже побывал во многих схватках, — я так и сказал своему соседу, когда начался бой. Но этот подлец надсмотрщик на моей палубе не освободил нас от цепей, не дал нам возможности спастись. Он всегда, бывало, обещал, что после боя нас освободят, но мы так и не получили свободы, не получили. — Чарли горестно покачал головой.

— Каков негодяй!

— Да, прямо скажем, гад. Он никогда не кормил нас досыта, а порой мы, умирая от жажды, пили

морскую воду. Я до сих пор чувствую на губах ее вкус.

— А теперь расскажи что-нибудь о гавани, где шел бой.

— Гавань мне не снилась. Но я помню, что это была гавань, потому что наша галера была прикована цепью к кольцу на белой стене, а лицевая часть каменной кладки под водой была обшита деревом, чтоб наш таран не расщепился, когда галеру раскачивал прибой.

— Очень любопытно. А наш герой взял на себя командование галерой, не так ли?

— Еще бы! Стоял на носу и кричал, как заправский хозяин. Он-то и убил надсмотрщика.

— Но ведь вы все вместе утонули, Чарли?

— Вот с этим я не вполне разобрался, — сказал он несколько озадаченно. — Галера, должно быть, затонула со всеми гребцами, но все же я думаю, что герой остался жив. Возможно, он перебрался на атаковавшую нас галеру. Я, конечно, этого видеть не мог. Я погиб, как вам известно.

Чарли поежился и положил конец разговору, заявив, что больше ничего не помнит.

Я не принуждал его, но, желая удостовериться, что Чарли не догадывается о проделках собственного сознания, намеренно засадил его за

«Переселение души» Мортимера Коллинза[80] и вкратце изложил содержание книги, прежде чем он за нее взялся.

— Ну и чепуха! — заявил он откровенно примерно через час. — Не доходит до меня этот бред про Красную Планету Марс, Короля и прочее. Дайте-ка мне лучше Лонгфелло.

Я протянул ему книгу и записал по памяти его рассказ про морской бой, обращаясь к Чарли время от времени с просьбой уточнить ту или иную деталь или факт. Он отвечал, не отрывая глаз от книги, так уверенно, будто черпал все свои сведения из лежавшего перед ним текста. Я говорил с Чарли, как обычно, не повышая голоса, опасаясь прервать поток его мыслей. Я понимал, что он отвечает мне бессознательно, ибо душой он далеко в море, с Лонгфелло.

— Чарли, — снова начал я, — когда на галере начинался бунт, как гребцы убивали надсмотрщиков?

— Отрывали скамейки от настила и разбивали надсмотрщикам головы. Бунты обычно начинались в шторм. Однажды надсмотрщик с нижней палубы соскользнул с помоста и растянулся сре-

---

[80] Примечания: 80
Коллинз, Мортимер (1827—1885) — английский писатель.

ди гребцов. Они, не поднимая шума, задушили его, прижав закованными в кандалы руками к борту галеры; другой же надсмотрщик не видел в темноте, что произошло. А когда он спросил, его стащили с помоста и тоже задушили; потом гребцы с нижней палубы пробивались наверх — с палубы на палубу, громыхая обломками скамеек за спиной. Как они вопили!

— Ну, а потом?

— Не знаю. Герой скрылся — тот самый рыжеволосый, рыжебородый парень. Но это, похоже, произошло уже после того, как он захватил нашу галеру.

Звук моего голоса раздражал Чарли, и он сделал едва заметное движение левой рукой, будто досадуя, что его отрывают от чтения.

— Ты никогда раньше не говорил, что герой был рыжий и что он захватил вашу галеру, — заметил я, выдержав благоразумную паузу.

Чарли не отрывал глаз от книги.

— Он был рыжий, как лисица, — произнес он, словно размышляя вслух. — Пришел он с севера — так говорили на галере, когда он нанимал гребцов — не рабов, а свободных людей. Потом, много лет спустя, о нем дошли слухи, с другого корабля, или он сам вернулся... — Губы Чарли молча поше-

велились. Он восторженно перечитывал какое-то стихотворение из книги, лежавшей перед ним.

— Где же был герой? — Я говорил почти шепотом, чтобы мой вопрос осторожно достиг той части мозга Чарли, что работала на меня.

— На взморье, на Длинных и Прекрасных Отлогих Берегах, — последовал ответ после минутного молчания.

— На Фурдустранди? — спросил я, дрожа от волнения.

— Да, на Фурдустранди, — ответил он, выговаривая это слово несколько иначе. — И я видел также...

Чарли замолчал.

— Да ты понимаешь, что ты сказал? — вскричал я, позабыв про осторожность.

Чарли поднял на меня глаза, закипая от злости.

— Нет! — отрезал он. — Дайте человеку спокойно почитать! Вот послушайте!

Но Оттар, старый морской капитан,
Он не из робких был.
Внимавший ему король потом
Долго водил по бумаге пером
И ни слова не упустил.

И властителю саксов
Указал благородный старик
Загрубелой темной рукой
На свидетельство правды святой:
«Вот он, моржовый клык».[81]

Видит Бог, вот это были парни! Плыли куда глаза глядят и даже не задумывались, где пристанут. Ух!

— Чарли! — взмолился я. — Если б ты собрался с мыслями на одну-две минуты, герой нашей повести ни в чем не уступал бы Оттару.

— Что вы, эту поэму написал Лонгфелло. У меня пропала охота писать стихи. Теперь я бы только читал да читал.

Нужный настрой пропал, и я, злясь на свою незадачу, отступился от Чарли.

Вообразите себя у двери сокровищницы всего мира, охраняемой ребенком — пустым, взбалмошным ребенком, играющим в кости; от его доброго расположения зависит, получите вы ключ или нет, — и вы хотя бы отчасти поймете мои мучения. До этого вечера Чарли не сказал ничего, что выходило бы за пределы жизненно-

---

[81] Примечания: 81
Г.-У. Лонгфелло, «Моряк, открывший Нордкап».

го опыта греческого раба-гребца на галере. Но сегодня он поведал мне — или мне от книг нет никакого толку — о какой-то отчаянной авантюре викингов, о плавании Торфина Карлсефне[82] в Винланд, Виноградную страну, как называлась Америка в девятом-десятом веках. Чарли был свидетелем битвы в гавани и описал собственную смерть. Новое погружение в прошлое было еще необычнее. Возможно ли, что он прожил с полдюжину жизней и еще смутно помнил какой-то эпизод тысячелетней давности? Такая путаница может свести с ума, но хуже всего то, что в обычном состоянии Чарли Мирз менее всего способен в ней разобраться. Мне оставалось лишь ждать и наблюдать, но в ту ночь я отправился спать, переполненный самыми дикими фантастическими замыслами.

Отныне для меня нет ничего невозможного, если только не подведет капризная память Чарли.

Я могу заново написать «Сагу о Торфине Карлсефне» так, как ее никто еще не написал, могу рассказать об открытии Америки, и первооткрывателем буду я. Но я целиком во власти Чарли, а от него, стоит ему купить очередной

---

[82] Примечания: 82

Торфин Карлсефне — богатый исландский купец, совершивший путешествие в Америку.

трехпенсовый томик издания Бона[83], ничего не добьешься. Я не решался бранить его открыто, я едва смел подхлестывать его память, ибо устами современного юноши говорило тысячелетнее прошлое, а на современного юношу способны повлиять и тон вопроса, и даже отголосок чужого мнения, и тогда он солжет, даже если вознамерится говорить правду.

Чарли не приходил ко мне почти неделю. В следующий раз я повстречал его на Грейсчерч-стрит с чековой книжкой, висевшей на цепочке у пояса. Он шел по делам банка через Лондонский мост, и я составил ему компанию. Чарли очень кичился этой книжкой и преувеличивал важность своей миссии. Когда мы пересекали мост через Темзу, наше внимание привлек пароход, с которого сгружали плиты белого и коричневого мрамора. Под его кормой плыла баржа, и одинокая корова на ней замычала. Чарли мгновенно преобразился, на лице банковского клерка проступили незнакомые черты, — Чарли никогда бы в это не поверил, — человека куда более значительного. Он вскинул руку над перилами моста и громко рассмеялся.

---

[83] Примечания: 83
Бон, Генри Джордж (1796—1884) — английский издатель.

— Услышав, как ревут наши быки, скрелинги убежали, — сказал он.

Я помолчал с минуту, но баржа с коровой уже скрылась под носом парохода, и тогда я спросил:

— Чарли, как ты думаешь, кто они — скрелинги?

— Никогда о них не слышал. По названию — что-то вроде морских чаек. А вы мастер задавать вопросы, — ответил он. — Я должен повидать кассира из «Омнибус компани», подождите меня, пожалуйста, потом посидим где-нибудь вместе. У меня появился замысел поэмы.

— Нет, спасибо. Я ухожу. Ты уверен, что ничего не знаешь о скрелингах?

— Нет, если только они не участвовали в ливерпульских гонках по пересеченной местности. — Чарли кивнул мне и исчез в толпе.

В «Саге об Эрике Рыжем» или «Саге о Торфине Карлсефне» говорится, что девятьсот лет тому назад галеры Карлсефне подошли к торговым рядам Лейфа — он устроил ярмарку в неведомом краю, названном Маркленд, может, это был Род-Айленд, а может, и не был, — так вот скрелинги, — один бог знает, что это были за люди, — пришли торговать с викингами и убежали, устрашившись рева скота, который Торфин привез сюда на гале-

рах. Но, Боже правый, откуда это было известно греческому рабу? Я бесцельно бродил по улицам, пытаясь разгадать тайну, но чем больше я ломал над ней голову, тем мудренее она мне казалась. Я уяснил себе одно, — у меня даже дыхание на миг перехватило от этого прозрения, если мне вообще суждено полностью распутать клубок, я узнаю не о единственном воплощении души Чарли Мирза, а о доброй полдюжине — полдюжине совершенно разных судеб людей, бороздивших голубые морские воды на заре человечества.

И тут до меня дошла вся сложность ситуации.

Разумеется, обнародуй я свои сведения, я, одинокий и недосягаемый, буду возвышаться над людьми, пока они не обретут моей мудрости. Соблазн был велик, но со свойственной человеку неблагодарностью я считал величайшей несправедливостью то, что меня подводит память Чарли, когда она мне больше всего нужна. Силы небесные! — я обратил взор к нему сквозь густую пелену смога, — ведают ли Владыки Жизни и Смерти, как важно для меня написать эту повесть? Вечная слава, о которой только можно мечтать, полученная от Сущего и ни с кем не разделенная! Ни больше и ни меньше. Я бы удо-

вольствовался, памятуя о Клайве[84], я подивился собственной выдержке — лишь правом поведать миру свой рассказ, внести небольшой вклад в современную беллетристику. Если Чарли будет даровано право восстановить в памяти хотя бы на час — шестьдесят коротких минут — все свои воплощения, занявшие свыше тысячи лет, я поступлюсь всем, что мне дал бы его рассказ. Меня не коснется смятение, которое охватит некий уголок земного шара, именующий себя «миром». Я издам повесть анонимно — нет, я внушу другим людям, что они ее авторы. Они наймут толстокожих самохвалов-англичан, а те протрубят о моей повести на весь свет. Проповедники, опираясь на мое откровение, провозгласят новый моральный кодекс и будут клятвенно заверять всех, что он новый и что они освободили человечество от страха перед смертью. Востоковеды Европы снизойдут до скрупулезного сопоставления повести с текстами на пали и санскрите. Коварные женщины опошлят мужское миропонимание, чтобы расширить кругозор своих сестер. Церкви и религии схватятся из-за

[84] Примечания: 84

Клайв, Ричард (1725—1774) — британский генерал-губернатор в Индии. Обвиненный в коррупции, он заявил в парламенте: «Я удивляюсь собственной выдержке».

нее в яростных спорах. Я предвидел, что между первым и повторным, дополненным изданием полдюжины сект, придерживающихся «доктрины истинного метемпсихоза применительно к современному миру и новой эре», поведут между собой словесную войну; я представлял, как солидные английские газеты шарахнутся, как испуганные коровы, от прелестной простоты повести. Воображение заглядывало вперед — на сто, двести, тысячу лет. Я с грустью думал о том, как люди изуродуют, исказят смысл повествования, как соперничающие секты поставят его с ног на голову и как, наконец, западный мир, которому страх перед смертью ближе, чем надежда на будущую жизнь, откажется от моего откровения, сочтет его забавным суеверием и устремится в лоно иной веры, позабытой так давно и основательно, что она покажется им совершенно новой. Исходя из этого, я изменил условия сделки, которую намеревался заключить с Владыками Жизни и Смерти. Да будет мне дозволено узнать и написать повесть с полной уверенностью, что написанное мной — правда, и я сожгу рукопись, торжественно принесу ее в жертву. Через пять минут после того, как появится последняя строчка, я уничтожу всю рукопись. Но я должен писать

с абсолютной уверенностью в истинности своего произведения.

Ответа не последовало. Внимание мое привлекли яркие краски афиши «Аквариума», и я задумался, разумно ли слукавить и передать Чарли в руки профессионального гипнотизера, расскажет ли Чарли в гипнотическом состоянии о своих прошлых воплощениях. Если расскажет, и люди поверят ему... Но, может статься, Чарли в состоянии транса испугается либо зазнается от бесконечных интервью. В любом случае он солжет — из страха или тщеславия. Самое надежное — держать его в своих руках.

— Они весьма забавные дураки, эти ваши англичане, — послышалось у меня за спиной, и, обернувшись, я узнал случайного знакомого, молодого бенгальца Гириша Чандру, студента-юриста, посланного отцом в Англию приобщаться к цивилизации. Старик был туземным чиновником, ныне пенсионером, и на свои пять фунтов в месяц ухитрялся дать сыну содержание в две сотни фунтов в год, да еще обеспечить ему бесплатное питание в придачу; а сын изображал из себя младшего отпрыска королевского рода и рассказывал о жестоких индийских чиновниках, наживающихся на бедняках.

Гириш Чандра был молодой рослый полнотелый бенгалец, одетый с подчеркнутой тщательностью — сюртук, цилиндр, светлые брюки, желтовато-коричневые перчатки. Но я знавал его в те времена, когда жестокое индийское правительство оплачивало его университетское образование, а он поставлял исполненные дешевого пафоса антиправительственные статейки в «Сачи Дурпан» и заводил интрижки с женами своих товарищей по университету.

— Это очень смешно и очень глупо, — произнес он, кивнув на афишу. — Я направляюсь в клуб Нортбрук. Хотите — пойдем вместе.

Некоторое время мы шли молча.

— Вам как-то не по себе, — сказал Гириш Чандра. — Что вас тяготит? Вы все время молчите.

— Гириш Чандра, вы слишком образованный человек, чтобы верить в Бога, не так ли?

— О да — здесь. Но когда я вернусь на родину, мне придется смириться со старыми предрассудками, совершать церемонии очищения, а мои женщины будут умащать идолов.

— И развесят пучки тулси[85], и пригласят пу-

---

[85] Примечания: 85

Тулси (базилик) — растение, которое индусы считают священным.

рохита[86], и вернут вас в касту, и снова сделают доброго кхутри[87] из передового, свободомыслящего общественного деятеля. И вот вы уже поглощаете национальные блюда, и все вокруг мило вашему сердцу — от дворовых запахов до горчичного масла, коим вас умащают.

— Да, конечно, что может быть лучше, — охотно согласился Гириш Чандра, — индус всегда останется индусом. Но мне хотелось бы знать, что, по мнению англичан, ведомо им самим?

— Я расскажу вам кое-что, ведомое одному англичанину. Вы-то об этом, конечно, наслышаны.

Я начал свой рассказ по-английски, но Гириш Чандра задал вопрос на своем языке, и я, естественно, перешел на хиндустани, наиболее подходящий для этой истории язык. В конце концов, такой рассказ и не прозвучал бы по-английски. Гириш Чандра слушал меня, время от времени кивая головой, а потом мы зашли ко мне, где я и закончил свое повествование.

— Бешак, — молвил он невозмутимо. — Лекин дарваз банд хай (тут не может быть двух мнений,

---

[86] Примечания: 86

Пурохит — жрец-брахман, совершающий ритуальные обряды.

[87] Примечания: 87

Искаж. «кшатрий» — одна из высших каст (вторая после брахманов) в Индии.

но дверь закрыта). В моем народе я часто слышал воспоминания людей о прежних воплощениях. Для нас это, разумеется, привычная история, но чтобы такое открылось кормленному говядиной англичанину, малеху[88], отщепенцу, не имеющему касты! Это, ей-богу, нечто из ряда вон выходящее.

— Сами вы отщепенец, Гириш Чандра. Вы каждый день едите говядину. Давайте-ка все обдумаем хорошенько. Этот парень помнит свои прежние воплощения.

— Знает ли он об этом? — спокойно спросил Гириш Чандра, усевшись на мой стол и болтая ногами.

Он снова перешел на английский.

— Ничего он не знает. Иначе с какой стати я бы все это вам рассказывал? Продолжайте!

— Какое тут может быть продолжение? Опиши вы этот случай своим друзьям, они скажут, что вы сошли с ума, и напечатают об этом в газетах. А если, положим, вы возбудите дело о клевете...

— Это отпадает полностью. Скажите, можно ли заставить его говорить?

— Да, есть такой шанс. О да-а. Но, только он

---

[88] Примечания: 88

Искаж. «млечха» *(досл.:* варвар, иноверец) — первоначально так назывались неарийские племена, позднее — мусульмане.

заговорит, весь этот мир рухнет — instanto[89] — на вашу голову. Такое даром не проходит, сами знаете. Как я уже сказал, дверь закрыта.

— Значит, нет ни малейшей надежды на успех?

— Откуда ей взяться? Вы же христианин, а в ваших книгах сказано, что вам запрещается вкушать плоды Древа Жизни, иначе вы бы и не умирали. Разве вы боялись бы смерти, знай вы то, что знает ваш друг, хоть сам он об этом и не подозревает? Я боюсь получить пинок, но не боюсь умереть, ибо мне дано знание. Вы не боитесь пинка, но боитесь умереть. А если б не боялись — Бог ты мой! Англичане тотчас разбрелись бы по всему миру, нарушая равновесие власти, сея повсюду смуту. Ничего хорошего бы из этого не вышло. Но не отчаивайтесь: ваш англичанин будет все реже вспоминать прошлое и назовет свои воспоминания снами. Потом он и вовсе обо всем позабудет. Когда я сдавал экзамены на бакалавра искусств в Калькутте, все это было в дурацкой книжке про Уордсуорта, по которой я натаскивался к экзамену. Красота плывущих облаков, или как там это называется.

---

[89] Примечания: 89
Мгновенно *(лат.)*.

— Но рассказанный мной случай, похоже, исключение из правила.

— Не бывает исключений из правила. Иной на вид и податливей других, а узнаешь его поближе — убедишься, что все из одного теста. Если ваш друг раз-другой ляпнет что-нибудь такое и людям станет ясно, что он помнит все свои прошлые жизни или хотя бы что-то из своего прошлого рождения, он не продержится в банке и часа. Его, как у вас говорится, вышибут как сумасшедшего и поместят в приют для умалишенных. Вы это сами прекрасно понимаете, друг мой.

— Конечно, понимаю, но речь не о нем. Он не будет упомянут в повести.

— Ага, мне все ясно. Но вам не написать эту повесть. Сами в этом убедитесь.

— И все же я постараюсь это сделать.

— Ради славы и денег, конечно?

— Нет, ради самой повести. Слово чести, мне больше ничего не надо.

— Все равно у вас ничего не получится. Нельзя играть с богами. Оставьте все как есть. Как говорится, воздержитесь на дальнейшее... я хотел сказать — от дальнейших действий. И — торопитесь. Его ненадолго хватит.

— Что вы имеете в виду?

— То, что сказал. До сих пор ваш друг еще не думал о женщинах.

— Не думал? — Я вспомнил, как Чарли иногда откровенничал со мной.

— Вернее — ни одна женщина не думала о нем. А когда это случится — всему конец! Это уж я знаю. Здесь миллионы женщин. Взять горничных, к примеру.

Я содрогнулся при мысли, что мою повесть может погубить горничная. И тем не менее, это был самый вероятный исход дела.

Гириш Чандра ухмыльнулся.

— А тут еще хорошенькие девушки — кузины свои, а может, и не свои. Один ответный поцелуй — и память о нем излечит его от всей этой чепухи, или...

— Или — что? Помните, он и сам не подозревает о том, что знает.

— Помню. Так вот, если ничего особенного не произойдет, он увлечется своим делом, финансовыми спекуляциями, как и все вокруг. Так и должно быть. Вы сами понимаете, что так и должно быть. Но сначала у него появится женщина, мне так кажется.

Раздался стук в дверь, и стремительно вошел Чарли. Он закончил свои служебные дела и — я по

глазам видел — зашел ко мне для продолжительной беседы, и, скорее всего, со стихами в кармане. Стихи Чарли наводили на меня тоску, но порой они побуждали его к рассказам о галере.

Гириш Чандра пристально поглядел на него.

— Извините, — Чарли смутился, — я и не знал, что у вас гость.

— Я уже ухожу, — сказал Гириш Чандра.

Он потянул меня за собой в прихожую.

— Это тот человек, о котором вы мне говорили, — быстро произнес он. — Попомните мои слова — он никогда не расскажет все, что вам хочется. И не надейтесь. Но он хорош тем, что может заглянуть в будущее. Давайте притворимся, что это игра. — Я никогда не видел Гириша Чандру в таком возбужденном состоянии. — Нальем чернила ему в пригоршню. А? Что вы на это скажете? Уверяю вас, он способен увидеть все, что доступно человеческому глазу. Позвольте, я принесу чернила и камфару. Он — ясновидящий и расскажет нам очень многое.

— Весьма возможно, но я не намерен вверять его вашим богам и дьяволам.

— Вреда ему не будет. Когда он выйдет из транса, он почувствует неловкость и некоторую опустошенность. Вы же видели раньше юношей

в состоянии гипнотического транса?

— Вот потому-то я и не хочу глядеть на это снова. Ну а теперь — прощайте, Гириш Чандра.

Он спустился по лестнице, крикнув мне снизу, что я лишил себя единственной возможности заглянуть в будущее.

Его заявление меня ничуть не огорчило: я интересовался прошлым, и никакие юнцы, глядящие в трансе в зеркала или в налитые в пригоршню чернила, не могли мне в этом помочь. Но я с пониманием и сочувствием отнесся к мнению Гириша Чандры.

— Ну и верзила этот черномазый! — воскликнул Чарли, когда я вернулся. — А теперь послушайте: я только что написал поэму, пока все играли в домино после ленча. Можно, я ее прочту?

— Дай, я прочту сам.

— Вы не прочтете с нужным выражением. И вообще, когда вы читаете мои вещи, всегда кажется, что рифмы из рук вон плохи.

— Ну тогда читай сам. Все вы одинаковы.

Чарли продекламировал собственное сочинение, и оно было не намного хуже, чем обычно. Он зачитывался купленными книжками, но стоило мне сказать, что я предпочитаю Лонгфелло, не разбавленным Чарли, ему это не понравилось.

Потом мы принялись разбирать его поэму — строчку за строчкой, и на каждое замечание или поправку у Чарли был готов ответ:

— Да, может, так оно и лучше, но вы не понимаете, что я хочу этим сказать.

В одном, по крайней мере, Чарли был схож с некоторыми поэтами. На обратной стороне листа было что-то нацарапано карандашом.

— Что это? — спросил я.

— О, это не стихи. Так, пустячок, написал прошлой ночью перед сном, мне не хотелось морочить себе голову подбором рифм, вот я и написал белые стихи вместо рифмованных.

Привожу «белые» стихи Чарли:

Мы толкали весла, когда дул встречный ветер

И обвисали паруса.

Неужто ты не дашь нам волю?

Мы жевали хлеб и лук, когда ты брал города

Иль бегом возвращался на борт, потерпев пораженье.

Капитаны разгуливали по палубе и пели песни

В ясные дни, а мы томились внизу.

Мы теряли сознанье, подбородком уткнувшись в весло,

А ты и не видел, что мы бездельничаем: мы и в забытьи

Раскачивались взад и вперед.

Неужто ты не дашь нам волю?

Рукояти весел, покрытые солью, шершавы, как кожа акулы;

От соленой воды наши колени изрезаны трещинами до кости;

Пряди волос прилипли ко лбу, и губы растрескались до самых

Десен; а ты бил нас хлыстом, потому что мы не могли грести.

Неужто ты не дашь нам волю?

Но скоро мы сбежим через орудийные порты, как вода сбегает

По лопасти весла; и, посылая других в погоню за нами,

Ты нас не поймаешь, как не поймаешь кружево вод.

Как не привяжешь ветер к раздутому чреву паруса. Ио-го-го!

Неужто ты не дашь нам волю?

— Хм... А что такое «кружево вод», Чарли?

— Вода, взбитая нашими веслами. Такую песню, возможно, пели гребцы на нашей галере. А вы когда-нибудь закончите повесть и отдадите мне часть гонорара?

— Все зависит от тебя. Я бы уже давно закончил повесть, если бы ты с самого начала подробней рассказал о герое. Твои описания так расплывчаты, туманны.

— Я дал вам лишь общее представление о герое — как он рыскал по свету, сражался и прочее в этом роде. Неужели вы не можете присочинить остальное? Но, допустим, герой спасает девушку с пиратского корабля, женится на ней или еще как-нибудь себя проявляет.

— Ты поистине очень ценный соавтор. Но я полагаю, герой пережил не одно любовное приключение, прежде чем женился.

— Ну ладно, тогда изобразите его эдаким ловким негодяем, сущим подонком, а может, политиком-авантюристом; пусть он разъезжает по всему свету, заключает договоры, а потом нарушает их — словом, сделайте его похожим на того чернявого парня, который спрятался за мачтой, когда начался абордажный бой.

— Но ты на днях сказал, что он был рыжий.

— Не мог я такое сказать. Сделайте его чернявым. У вас нет воображения.

Сообразив, что я открыл главные принципы, по которым работает полувоспоминание, ошибочно именуемое воображением, я едва не расхохотался, но вовремя сдержал себя, памятуя о повести.

— Ты прав, *ты* — человек с воображением. Стало быть, черноволосый парень на палубном судне.

— Нет, на открытом, похожем на большую ладью.

С ума сойти!

— Ты сам рассказывал, что галера твоя была многоярусная, с закрытыми палубами, — запротестовал я.

— Нет, нет, тогда речь шла не о ней. Моя галера была открытая или с одной палубой, потому что... а впрочем вы, ей-богу, правы. Вы напомнили мне, что герой был рыжий, а раз он был рыжий, значит, и галера была открытая, как ладья с расписными парусами.

Разумеется, подумал я, теперь он вспомнит, что служил гребцом по крайней мере на двух галерах — на трехъярусной греческой триреме у чернявого «политика» и потом на «морском дьяволе» — открытой ладье викингов, ходившей

в Маркленд, капитан которой был «рыжий, как лисица». И тут черт меня дернул спросить:

— Чарли, почему это значит, что галера была открытая?

— Понятия не имею. А вы что, смеетесь надо мной?

На какое-то время нужный настрой был утрачен. Я взял записную книжку и сделал вид, что заношу туда какие-то мысли.

— Какое наслаждение работать с парнем, наделенным такой богатой фантазией, — сказал я, нарушая молчание. — Ты замечательно обрисовал характер героя.

— Вы так думаете? — Чарли зарделся от удовольствия. — Я и сам часто говорю себе, что во мне заложено куда больше, чем моя ма... чем люди полагают.

— Тебе чрезвычайно много дано от природы.

— Тогда, с вашего разрешения, я пошлю эссе «Из жизни банковских клерков» в «Мозаику» и получу премию — гинею.

— Это не совсем то, что я разумею, старина; лучше немного подождать с эссе и приналечь на повесть.

— Да ведь мне от нее — никакой выгоды. А вот «Мозаика» напечатает мою фамилию и адрес,

если я стану победителем в конкурсе. Ну что вы ухмыляетесь? Обязательно напечатают.

— Знаю. А сейчас поди прогуляйся. Мне надо проглядеть все свои записи к нашей повести.

Итак, этот юный верхогляд, который ушел от меня слегка обиженный моим тоном, насколько ему или мне известно, мог быть членом судовой команды «Арго» и уж наверняка рабом или соратником Торфина Карлсефне. Именно поэтому его так привлекала премия — гинея. Вспомнив слова Гириша Чандры, я расхохотался. Владыки Жизни и Смерти никогда не позволят Чарли Мирзу сказать всю правду о своих прошлых воплощениях, и мне придется восполнять пробелы в его повествовании собственными жалкими выдумками, пока Чарли пишет о жизни банковских клерков.

Я собрал и переписал в одну тетрадь все свои заметки — итог был неутешительный. Я прочитал их снова. В них не оказалось ничего, что невозможно было бы получить из вторых рук, почерпнуть из чужих книжек, кроме, пожалуй, описания боя в гавани. О путешествиях викингов писали и до меня, и не раз, история галерного раба-грека тоже не нова, и хоть я сам напишу и о том, и о другом, кто оспорит или подтвердит точность деталей? С таким же успехом я могу

писать о событиях, которые произойдут через две тысячи лет. Как и предрекал Гириш Чандра, Владыки Жизни и Смерти оказались коварны. Они не приоткроют завесы тайны над тем, что способно взволновать либо успокоить человеческую душу. Но и убедившись в этом, я не мог забросить рукопись. Восторженный энтузиазм сменяла апатия — не раз, а двадцать раз за последующие несколько недель. Мои настроения менялись, как погода в марте, — то солнце, то налетят облака. Ночью или ясным весенним утром во мне зарождалась уверенность, что я напишу эту повесть и она потрясет людей на всех континентах. В дождливые ветреные вечера я сознавал, что могу, разумеется, ее написать, но мое произведение окажется на поверку дешевой подделкой — «под лак», «под патину» — с Уордер-стрит[90]. Я по любому поводу поминал недобрым словом Чарли, хоть он вовсе не был виноват. Чарли, судя по всему, азартно включился в гонку за конкурсными премиями; мы виделись все реже и реже, а время шло, земля раскрывалась навстречу весне, набухали почки. Чарли утратил интерес к чтению и разговорам о прочитанном, в голосе его появилась ранее не

[90] Примечания: 90

Уордер-стрит — улица в Лондоне, ранее известная антикварными магазинами.

свойственная ему самоуверенность. У меня почти пропало желание напоминать ему при встрече о галере, он же при каждом удобном случае давал понять, что повесть должна принести деньги.

— Я полагаю, что мне причитается никак не меньше четверти дохода, верно? — спрашивал он с подкупающей откровенностью. — Ведь это я подал вам все идеи, не так ли?

Это сребролюбие было новой чертой в характере Чарли. Оно, вероятно, развилось в Сити, где он перенял и гнусавую манерную медлительность речи у дурно воспитанных клерков.

— Когда закончу повесть, тогда и поговорим. Пока у меня ничего не получается. Не знаю, с какой стороны подступиться что к рыжему, что к черноволосому.

Чарли сидел у камина, глядя на раскаленные уголья.

— Не понимаю, почему это вам так трудно дается. Для меня все ясно как день, — недоумевал он.

Газовый рожок замигал, потом снова загорелся, тихо посвистывая.

— А что, если сначала описать приключения рыжего героя, начиная с того времени, как он приехал на юг, завербовался на галеру, захватил ее и поплыл к Фурдурстранди?

На сей раз у меня хватило ума не прерывать Чарли. Как назло, перо и бумага лежали далеко, и я боялся шевельнуться, чтобы не прервать потока его мыслей. Газ в рожке пыхтел, поскуливая, а Чарли, понизив голос почти до шепота, рассказывал о плаваньи ладьи викингов к Фурдурстранди, о закатах в открытом море, которые он наблюдал — день за днем — над изгибом паруса, когда нос ладьи утыкался в самый центр солнечного диска, опускавшегося в море, ибо, как пояснил Чарли, «мы плыли по солнцу, другого путеводителя у нас не было». Он поведал мне и о том, как они высадились на каком-то острове и пошли на разведку в лес и убили трех человек, спавших под соснами. Духи убитых, по словам Чарли, преследовали судно — плыли за ним, отфыркиваясь, и тогда команда кинула жребий, и один моряк был выброшен за борт, чтоб умилостивить жертвой неведомых разгневанных богов. Потом провиант кончился, и моряки питались водорослями, ноги у них опухали от голода, и их вожак, тот самый, рыжеволосый, убил двух взбунтовавшихся гребцов; после года скитаний в лесах они поплыли на родину, и устойчивый попутный ветер так бережно нес ладью, что они спокойно спали ночами. Все это и многое другое рассказал

мне Чарли. Порой он говорил так тихо, что я не улавливал слов, хоть весь обратился в слух. О рыжеволосом вожаке он говорил, как язычник — о своем Боге; это он дарил своей милостью или бесстрастно убивал товарищей Чарли — он сам решал, что для них благо; это он вел их три дня среди плавучих льдин, на которых спасалось множество диковинных зверей, и звери эти, как сказал Чарли, «пытались плыть с нами, но мы сбрасывали их на лед рукоятками весел».

Газ потух, сгоревший уголь рассыпался и, легонько потрескивая, догорал внизу, на каминной решетке. Чарли закончил свой рассказ, и я за все время не проронил ни слова.

— Видит Бог, — произнес он наконец, помотав головой, — глядел в огонь, пока голова не закружилась. О чем я говорил?

— О галере.

— А, вспомнил. Мы сошлись на двадцати пяти процентах, так?

— Когда закончу повесть, получишь сколько пожелаешь.

— Я хотел бы, чтобы вы подтвердили наш уговор. А мне пора. У меня... У меня свидание.

И Чарли ушел.

Если б не шоры на глазах, я мог бы догадаться,

что бессвязное бормотание над огнем — лебединая песня Чарли Мирза. Но я думал, что это лишь прелюдия к полному откровению. Наконец-то, наконец-то я одурачу Владык Жизни и Смерти!

Когда Чарли зашел ко мне в следующий раз, его ждал восторженный прием. Чарли был взволнован и смущен, но глаза его светились от счастья, а на губах играла улыбка.

— Я написал поэму, — сказал он и тут же добавил: — Это лучшее из всего, что я когда-либо создал. Прочтите. — Он сунул мне в руку лист бумаги и отошел к окну.

Я застонал про себя. Добрых полчаса уйдет на критический разбор, вернее — на похвалы, которые ублаготворили бы Чарли. И у меня были основания стонать, ибо Чарли, отказавшись от своих любимых стофутовых виршей, перешел на более короткий рубленый стих, в котором ощущался определенный напор. Вот они, эти стихи:

Небо ясно, бездонно, упругий ветр
По-над холмами гудит,
Клонит деревья к земле
И поросли кланяться в пояс велит.
Буйствуй! Мятежная кровь во мне,
Созвучна стихиям, бурлит.

Она отныне моя! О Земля!

Я песню тебе принес.

О небо и море! Она — моя!

Ликуй же, старик утес!

Моя! Мать-Земля, я ее покорил,

Веселись, хоть весной отдаешься труду,

Я огромной любовью тебя одарил,

Такой не подарят все нивы в страду.

Если б пахарь счастье сродни моему ощутил,

Прокладывая первую борозду!

— Да, борозда, несомненно, первая, — сказал я с тяжелым предчувствием в сердце, а Чарли усмехнулся в ответ.

Я дочитал до конца:

Облака на закате, в чужом краю

Расскажите, что я — победитель!

Ты, о Солнце, восславь победу мою,

Для любимой я лорд, властитель!

— Ну как? — осведомился он, заглядывая мне через плечо.

Я подумал, что творение его очень далеко от совершенства, а по правде говоря, откровенно бездарно, и в тот же миг Чарли положил на листок со стихами фотографию — фотографию девушки с кудрявой головкой и глупым пухлым ртом.

— Она... она изумительна, вы не находите? — прошептал он, покраснев до котиков ушей, словно укутавшись розовой тайной первой любви. — Я не знал, я не думал — это как гром среди ясного неба.

— Да, первая любовь всегда как гром среди ясного неба. Ты очень счастлив, Чарли?

— Боже мой, она... она любит меня!

Он опустился на стул, повторяя про себя эти слова. Я смотрел на безусое мальчишечье лицо, узкие, слегка сутулые от работы за конторкой плечи и размышлял: где, когда и как приходила к нему любовь в его прошлых жизнях?

— А что скажет твоя мать? — спросил я с улыбкой.

— Мне совершенно безразлично, что она скажет.

Перечень того, что в высшей степени безразлично двадцатилетнему человеку, естественно, велик, но в него никоим образом не следует включать матерей. Я пожурил Чарли, и тогда он

описал Ее — вероятно, так описывал Адам первозданным бессловесным тварям изумительную нежную красоту Евы. В разговоре случайно выяснилось, что Она помогает продавцу в табачной лавке, неравнодушна к нарядам и уже раз пять сказала Чарли, что до него Ее не целовал ни один мужчина.

Чарли говорил и говорил, а я, отделенный от него тысячелетиями, мысленно обращался к началу начал. Теперь я уразумел, почему Владыки Жизни и Смерти так тщательно закрывают дверь за нами, смертными. Делается это для того, чтобы мы не вспоминали о своих первых возлюбленных. Если бы не эта предосторожность, мир обезлюдел бы через сотню лет.

— Ну, а теперь вернемся к повести про галеру, — предложил я нарочито беззаботным тоном, воспользовавшись паузой в его любовных излияниях.

Чарли глянул на меня так, будто я его ударил.

— Галера? Какая еще галера? Ради всего святого, бросьте ваши шутки, старина. У меня это серьезно! Вы не представляете, насколько это серьезно!

Гириш Чандра оказался прав. Чарли вкусил женскую любовь, а она убивает воспоминания, и лучшая в мире повесть никогда не будет написана.

«Выдумки без счета» (1893)

Жан Кокто

Взгляд смерти

Юный садовник персидского царя взмолился своему властелину:

— Повелитель, спаси твоего слугу! Утром я встретил Смерть. Она посмотрела на меня с угрозой. Если бы я мог дотемна чудом оказаться в Исфагане!

Великодушный владыка дал ему коней. В конце дня царь повстречался со Смертью и спросил:

— Почему ты сегодня посмотрела на моего садовника с угрозой?

— Не с угрозой, а с удивлением, — ответила та. — Утром он был в такой дали от Исфагана, а ведь вечером я буду ждать его там.

«Огромный скачок» (1923)

Хулио Кортасар

Захваченный дом

Дом был нам по душе: просторный и старый (сейчас старые дома продают как можно выгоднее, а затем они идут на слом), он хранил память о наших прадедах, о дедушке по отцовской линии, о наших родителях и нашем детстве.

Мы жили в доме только вдвоем: я и Ирена; чистое безумие, конечно, — места с лихвой хватало на восьмерых. Вставали в семь, наводили повсюду чистоту, часов в одиннадцать я отправлялся на кухню, а Ирена заканчивала уборку в комнатах. В полдень, всегда ровно в двенадцать, садились завтракать; а потом — помыл посуду, и считай, что весь день свободен. Было приятно есть и думать о нашем прохладном и тихом доме, о том, что мы содержим его в чистоте и порядке. Иной раз мы начинали верить, что это именно дом не позволил нам обзавестись семьями. Ирена — без каких-либо важных причин — отказала двум претендентам на ее руку; моя Мария Эстер умерла до того, как мы решились на телесную близость. Нам с Иреной было под сорок, и мы примирились с мыслью, хотя и не высказывали ее вслух, что наше затворничество, молчаливое

и чистое единение сестры и брата, станет — и при этом не худшим — завершением рода, с незапамятных времен жившего в этом доме. Когда мы умрем, владельцами дома станут ленивые и угрюмые кузены, они разрушат его и продадут и кирпичи, и землю; но, пожалуй, будет более справедливо, если мы сами, пока не поздно, разорим родовое гнездо.

Ирена по природе своей — тихоня: как бы не причинить кому беспокойства. После завтрака она уходила к себе в спальню и остаток дня, сидя на софе, вязала. Не могу взять в толк, зачем она столько вязала; женщины, как мне кажется, вяжут для того, чтобы под этим предлогом ничего более не делать. Но Ирена не такова; она всегда вязала только необходимое: что-либо на зиму, носки для меня, жилеты и пелеринки для себя. Случалось, если ей что-то не нравилось — она в одну минуту распускала только что связанную жилетку; забавно было наблюдать, как пушистая шерсть в корзинке пытается часами сохранить свою прежнюю форму. По субботам я отправлялся в центр купить для сестры шерсть; Ирена доверяла моему вкусу, ей нравились подобранные мною цвета, и еще ни разу мне не пришлось возвращать в магазин хоть какой-либо клубок.

Пользуясь случаем, я заходил по субботам и в книжные магазины, но всегда напрасно: новинок французской литературы не было. После тридцать девятого года ничего стоящего из книг в Аргентину не поступало.

Но я — ничем не примечательная личность, и речь не обо мне, а о доме: о доме и об Ирене. Что бы она делала, если бы не вязала? Можно постоянно перечитывать одну и ту же книгу, но если пуловер связан — второго точно такого же при всем желании не сделаешь. Однажды я выдвинул нижний ящик нашего комода из камфарного дерева и увидал: он доверху полон белыми, зелеными, сиреневыми шарфами. Пересыпанные нафталином, шарфы были сложены в стопки, словно в галантерейной лавке; я не рискнул спросить Ирену, что она собиралась с ними делать. Нужды в деньгах мы не испытывали, они приходили из поместья каждый месяц — и с каждым разом все больше. Просто-напросто Ирена любила вязать; она орудовала спицами с удивительной ловкостью, и я мог часами смотреть на ее руки, похожие на серебристых ежиков, на беспрерывно мелькающие спицы и клубки, перекатывающиеся в корзинках, стоящих на полу. Красота, да и только.

Но надо описать, какой у нас был дом. В его главной части — столовая, зала с гобеленами, библиотека и три огромные спальни; окнами они выходили на Родригес Пенья. Массивная дубовая дверь в коридоре отделяла эту часть дома от нашего флигеля, в нем — ванная, кухня, наши спальни и холл; в холл выходили двери наших с Иреной спален и коридор. Дом начинался с прихожей, а она была украшена майоликой, и дверь из нее вела в холл. То есть, войдя в дом, открываешь дверь прихожей и попадаешь в холл; слева и справа — двери наших спален, а прямо — вход в коридор; пройдя по коридору, открываешь дубовую дверь и оказываешься в главной части дома; но можно — перед самой дверью — свернуть налево, в боковой коридорчик, и тогда попадаешь на кухню и в ванную. При открытой двери было хорошо видно, сколь огромен дом, при закрытой — казалось, что очутился в современной квартире, из тех, где и не повернуться; мы с Иреной жили во флигеле и ходили в главную часть дома только наводить чистоту — немыслимо, до чего быстро пылится мебель. Буэнос-Айрес — город вроде бы чистый, но обязан он этим лишь своим жителям, и никому другому. Пыли полон сам воздух, и едва поднимется ветер, она уже повсюду: на мраморе

консолей и в узорах скатертей; смахнешь ее метелкой — она, повисев в воздухе, почти тотчас снова покрывает и мебель, и пианино.

Все произошло просто, без какой-либо театральщины — я хорошо помню тот вечер. Ирена вязала в спальне, было восемь, я захотел выпить мате. Прошел по коридору до приоткрытой дубовой двери и, повернув в коридорчик налево, услышал какой-то шум в столовой или в библиотеке. Шум был неясный, глухой, словно бы опрокинули на ковер стул или шепчутся. Тотчас, или секундой позже, я услышал: шум нарастает, приближается. Я бросился со всех ног к дубовой двери и поскорее и с силой захлопнул ее; по счастью, ключ был с моей стороны двери, кроме того, я для пущей верности задвинул засов.

Прошел на кухню, вскипятил воду для мате и, войдя с подносом к Ирене, сказал:

— Дверь в коридоре пришлось закрыть на ключ. Та часть дома захвачена.

Сестра уронила вязание и посмотрела на меня — глаза ее были серьезны и утомлены.

— Ты уверен?

Я кивнул: да.

— Ну что же, — сказала Ирена, подбирая спицы, — будем жить здесь.

Я не спеша заварил мате, сестра вновь принялась за работу, но отнюдь не сразу. Она вязала тогда серый жилет; мне он очень нравился.

Первые дни помнятся нам тягостными — в захваченной части дома осталось многое из того, что нам с Иреной было дорого. В частности, мои французские книги, все они были в библиотеке. Ирена сожалела о скатертях и теплых шлепанцах. Я печалился о можжевеловой трубке; сестра, я полагаю, не раз вспоминала про травную настойку. Часто (но это было только в первые дни) мы задвигали какой-нибудь ящик комода со вздохом:

— Не здесь.

Это мы говорили о чем-либо, что осталось в захваченной части дома.

Но кое в чем мы даже выгадали. Времени на уборку стало уходить гораздо меньше: мы вставали полдесятого, а к одиннадцати нам по дому и делать уже ничего не оставалось. Ирена приходила на кухню и помогала мне готовить завтрак. Поразмыслив, мы решили: я занимаюсь завтраком, а Ирена в это же время — ужином. Лучше не придумать: по вечерам так неохота вылезать из спален и тащиться на кухню. Теперь мы ставили поднос с холодным ужином на столик в спальне Ирены.

Сестра обрадовалась: больше времени оставалось на вязание. Но я слонялся по дому как неприкаянный — я остался без книг; чтобы не огорчать сестру и скоротать время, занялся папиной коллекцией марок. Каждый из нас развлекался как мог; почти все дни я сидел в спальне Ирены — мне там было уютно. Иногда сестра говорила:

— Посмотри, какая у меня петля получилась. Чем не трилистник?

А я подвигал кляссер к ней поближе, и она разглядывала на марках почтовые штемпели Эупана и Мальмеди[91]. Нам было хорошо, и постепенно мы разучились думать. Можно жить и бездумно.

(Иногда Ирена разговаривала во сне — и тогда я тотчас же просыпался. Я так никогда и не смог привыкнуть к ее ночному голосу, голосу механической куклы или попугая, голосу, рожденному сновидениями, а не гортанью. А Ирена говорила: я так ворочаюсь во сне, что с меня сползает одеяло. Наши спальни находились по разные стороны холла, но ночью в доме слышен был любой шорох. Лежа часто без сна, я слышал, как сестра дышит, кашляет, включает вентилятор

---

[91] Примечания: 91

Эупан, Мальмеди — города на востоке Бельгии (провинция Льеж).

— она тоже не спала.

По ночам в доме царила почти полная тишина. Днем его наполняли различные шумы, металлическое позвякивание спиц, шелест листов кляссера. Как я уже говорил, дверь в коридоре была дубовая, массивная. Кухня и ванная примыкали к захваченной части дома, и когда мы находились на кухне, то старались говорить как можно громче, а Ирена подчас напевала детские песенки. Впрочем, на кухнях обычно и так всегда шумно из-за возни с посудой. Только изредка, будучи на кухне, мы молчали; но когда мы были уже в спальнях или в холле — дом всегда заполняли тишина и полумрак, и мы даже ходить старались как можно тише, чтобы не побеспокоить друг друга. Наверное, поэтому, когда Ирена разговаривала во сне, я мгновенно и просыпался.)

Все повторялось изо дня в день почти без изменений — до самого финала. Однажды вечером, перед тем как лечь спать, я захотел пить и сказал Ирене, что схожу на кухню за водой. Еще с порога спальни (сестра вязала) я услышал шум на кухне, а может быть, и в ванной — точно определить было невозможно. Ирена увидела, что я замер на пороге, и молча подошла ко мне. Мы прислушались: вне всякого сомнения, шум доносился не

из-за двери в коридоре, а из кухни, ванной или из коридора — по эту сторону дома.

Мы даже не взглянули друг на друга. Я схватил сестру за руку и, не оборачиваясь, потащил в прихожую. Глухой шум за нашей спиной становился все громче. В прихожей я тотчас же с силой захлопнул дверь. Стало абсолютно тихо.

— Захватили и эту часть дома, — сказала Ирена. Шерстяные нити тянулись за ней по полу, исчезали за дверью прихожей. Поняв, что клубки остались по ту сторону двери, Ирена разжала руки, вязанье упало — сестра на него и посмотреть не захотела.

— Ты ничего не успела взять с собой? — зачем-то спросил я.

— Ничего.

То, в чем мы были, — это все, что у нас было. Я вспомнил, что в моей спальне, в шкафу, лежат пятнадцать тысяч песо. Но возвращаться за ними — уже поздно.

Часы на моей руке показывали одиннадцать. Я обнял Ирену за талию (кажется, сестра плакала), и мы вышли из дому. Со вздохом сожаления прощаясь с домом, я запер входную дверь и бросил ключ в канаву. Хотя вряд ли какому-нибудь воришке взбредет на ум забираться в дом — в такое

время и в уже захваченный дом.

Льюис Кэрролл

Сон короля

— Ему снится сон! — сказал Траляля. — И как по-твоему, кто ему снится?

— Не знаю, — ответила Алиса. — Этого никто сказать не может.

— Ему снишься *ты!* — закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. — Если б он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?

— Там, где я и есть, конечно, — сказала Алиса.

— А вот и ошибаешься! — возразил с презрением Траляля. — Тебя бы тогда вообще нигде не было! Ты просто снишься ему во сне.

— Если этот вот король вдруг проснется, — подтвердил Труляля, — ты сразу же — фьють! — потухнешь, как свеча!

«Алиса в Зазеркалье» (1871)

«Лецзы»

Пропавший олень

Один лесоруб из Чжэна увидел в поле отбившегося от стада оленя и убил его. Чтобы оленя не нашел кто другой, дровосек закопал его в лесу и присыпал ветками и листьями. Спустя некоторое время он забыл, где это случилось, и решил, что ему все привиделось во сне. И как сон, он рассказывал эту историю всем подряд. Один человек, услышав рассказ дровосека, принялся искать пропавшего оленя и преуспел в этом. Он отнес оленя домой и сказал жене:

— Дровосеку приснилось, что он убил оленя и позабыл, где его спрятал, а мне удалось оленя найти. Этот человек истинный сновидец.

— Тебе приснилось, что ты видел дровосека, убившего оленя? Это и вправду был дровосек? Хотя, если олень вот он, твой сон правдив, — отвечала женщина.

— Даже если считать, что я нашел оленя благодаря сновидению, — продолжал муж, — стоит ли гадать, кому из нас приснился сон?

В эту ночь дровосек вернулся домой, не переставая думать об олене, и уснул, и во сне увидел то место, где спрятал оленя, и человека, который

оленя нашел.

На рассвете дровосек отправился к его дому и там обнаружил оленя. Они принялись спорить, затем отправились к судье, чтобы тот рассудил их. Судья сказал дровосеку:

— Ты в самом деле убил оленя, но решил, что тебе это приснилось. Потом ты увидел сон и решил, что твой сон — правда. Этот человек нашел оленя и теперь спорит с тобою из-за него, а его жена думает, что он видел сон, в котором обнаружил оленя. Но раз уж олень вот здесь, перед нами, самое лучшее поделить его.

Слух об этом деле дошел до правителя Чжэна, и правитель Чжэна сказал:

— А судье не приснилось, что он делил оленя?

Леопольдо Лугонес

Абдерские скакуны

Абдера, древний фракийский город на берегу Эгейского моря, на нынешнем мысе Балустра (не путать с одноименным городом в Бетике), славилась своими конями.

Во Фракии подобная известность кое-что да значит, Абдера же затмила все другие города. Жители ее самозабвенно занимались выучкой благородных животных, и эта упорная страсть со временем явила удивительные плоды. Абдерским скакунам не стало равных, и все фракийские племена, от циконов до бизальтов, признали первенство бистонов, населявших упомянутый город.

Следует прибавить, что этим ремеслом, где удовольствие соединялось с выгодой, в Абдере занимались все, от царя до последнего горожанина.

Вот почему люди и кони сблизились там гораздо тесней, чем это принято у других народов. Дошло до того, что всякое различие между конюшней и человеческим жилищем стерлось, и вскоре лошадей допустили к семейным трапезам, тем самым перейдя границы сумасбродства,

простительного для всякой страсти.

Абдерские скакуны были и впрямь благородными животными, но как ни возьми, скотами, пусть их и облачали на ночь в виссоновые попоны и украшали их стойла нехитрыми фресками. Ибо среди ветеринаров нашлись чудаки, утверждавшие, что лошадиному племени ведомо чувство прекрасного. На кладбище для лошадей среди помпезных надгробий встречались два-три истинных произведения искусства. Красивейший в городе храм был посвящен Ариону, коню Нептуна, выведенному из недр земли ударом трезубца, и, видно, из Абдеры пошла мода украшать нос судна головой коня. Как бы то ни было, барельефы, изображавшие лошадей, являлись, несомненно, излюбленной деталью тамошней архитектуры. Сам царь души не чаял в лошадях, терпя от своих любимцев самые дикие выходки. Неудивительно, что о Шальном и Забияке ходили самые мрачные слухи — здесь следует отметить, что коням, как и людям, давались особые имена.

Животные были прекрасно вышколены, так что всякая нужда в уздечках отпала, последние сохранились лишь в качестве украшений, которыми прежде всего гордились сами кони. Привычным средством общения людей с лошадьми стало сло-

во. Заметив, что свобода способствует развитию лучших качеств, люди позволили коням вольно пастись на великолепных лугах за городом, на берегу Коссинита.

Кони без промедления являлись на зов трубы, шла ли речь о труде или раздаче корма. Их ловкость во всевозможных играх, не только в цирке, но и в гостиных, их храбрость в сражениях, их скромность на торжественных церемониях граничили с вымыслом.

Прослышав о великолепном ипподроме Абдеры, ее искусных наездниках и пышных погребальных процессиях, люди отовсюду стекались в славный город — что в равной мере было заслугой как всадников, так и коней.

Эти непрерывные занятия, неестественные условия жизни, словом, вся эта гуманизация лошадиного племени породили явление, которое бистоны восторженно сочли еще одним доказательством своего национального величия. У лошадей появились зачатки разума, что повлекло за собой некоторые странности в поведении.

Одна кобыла, сорвав зубами зеркало со стен хозяйской спальни, потребовала повесить его у себя в стойле, но, получив отказ, разбила вдребезги ударом копыта. Когда же ее прихоть была

исполнена, лошадка принялась, как заправская кокетка, вертеться перед зеркалом.

Самый красивый в Абдере конь Балиос, белоснежный, элегантный и мечтательный, участник двух военных кампаний, восторженно внимавший звукам героических гекзаметров, без памяти влюбился в жену своего хозяина — что, разумеется, не могло остаться незамеченным. Вся эта история считалась даже лестной для владельца, что, впрочем, совершенно естественно для помешанной на лошадях столицы.

Мало того, среди лошадей распространились отвратительные пороки: детоубийство, грозившее принять столь чудовищные размеры, что жеребят стали отдавать на воспитание пожилым мулицам; страсть к конопле, плантации которой подвергались разбойничьим набегам, а также наклонность к бунту, пресекавшаяся каленым железом, ибо кнут уже не оказывал былого воздействия.

Это крайнее средство приходилось применять все чаще, ибо стремление к мятежу росло, невзирая ни на что.

Однако абдериты, обожавшие своих коней, смотрели на все их выходки сквозь пальцы. Дальше — больше. Несколько жеребцов на-

пали сообща на возницу, стегавшего кнутом заупрямившуюся кобылу. Лошади все яростней сопротивлялись уздечке и седлу, так что пришлось пересаживаться на ослов. Иные кони наотрез отказывались надевать не слишком нарядную, на их взгляд, упряжь, а их владельцы малодушно уступали, объясняя своеволие простым капризом.

Однажды кони не явились на зов трубы, тогда их пригнали силой, и на какое-то время они присмирели.

Бунт разразился в тот день, когда отлив, как это порой случается, оставил на песке множество мертвой рыбы. Кони наелись ею до отвала. Видели, как они брели на луг, осоловев от непривычной пищи.

В полночь разыгралось невиданное сражение.

По улицам Абдеры прокатился глухой, немолкнувший гул: все кони разом пустились вскачь на осаду города. Но люди узнали об этом позже, а поначалу во мраке ночи, заслышав странный шум, абдериты терялись в догадках.

Пастбища находились в стенах города, а значит, путь нападавшим был открыт, и если прибавить к этому, что лошади прекрасно знали устройство людских жилищ, то катастрофа казалась неми-

нуемой.

События той страшной ночи, которые в полной мере обнаружились только при свете дня, продолжали множиться. Выбитые двери валялись на земле, и разъяренные животные валили внутрь. Пролилась кровь, множество горожан пало под копытами или от зубов коней, в рядах которых тоже имелись потери.

Город содрогался от бешеной скачки, над крышами домов повисло темное облако пыли, в воздухе смешались крики ярости и боли, ржание, напоминавшее речь, редкие скорбные вопли ослов и неумолчный стук копыт о запертые двери — вся эта какофония усиливала зримый ужас катастрофы. Время от времени мимо проносились табуны коней, метавшихся без смысла и без цели. Разграбив плантации конопли и даже винные погреба, куда первым делом устремились избалованные твари, лошади крушили все подряд. Бежать морем не было никакой возможности: кони, знакомые с назначением кораблей, перекрыли путь к гавани.

Лишь крепость сумела устоять и даже перейти к сопротивлению. В каждого приблизившегося к ее стенам копя летели дротики, а туши сраженных животных затаскивали внутрь как провиант.

Среди защитников крепости ходили самые фантастические слухи. Будто бы первые нападавшие помышляли лишь о грабеже. Они выламывали двери и врывались в дома, польстившись на роскошные ковры, драгоценности и блестящие предметы. Но, встретив сопротивление, лошади разъярились.

Рассказывали о чудовищных страстях, о женщинах, обесчещенных на собственном ложе, ссылались даже на некую благородную девицу, которая в перерыве между обмороками успела, заливаясь слезами, поведать о своем несчастье: как, пробудившись ото сна, она увидела в полумраке спальни отвратительного черного жеребца; как он дрожащими от похоти губищами, из-под которых торчали мерзкие желтые зубы, припал к ее устам; как она в ужасе забилась в объятиях исступленного зверя, глаза которого недобро сверкали; как реки крови оросили ее тело, когда подоспевший слуга пронзил насильника мечом...

Сообщали об убийствах, совершенных кобылами с истинно женской жестокостью — жертву разрывали на куски зубами. Ослов изгнали из города, а мулы примкнули к восставшим, однако по свойственной им тупости бесцельно громили

все, что попадалось на глаза, с особым ожесточением гоняясь за собаками.

От бешеной скачки разъяренных животных дрожала земля, число разрушений множилось. Чтобы спасти город от бессмысленной гибели, нужно было, несмотря на крайнюю опасность, выйти за стены крепости.

Мужчины начали вооружаться, однако после недолгой передышки кони тоже решили перейти в наступление.

Настала зловещая тишина. Со стен крепости следили, как на ипподроме не без труда собирается страшное войско. Через несколько часов, когда, казалось, все было готово к штурму, ряды неприятеля по непонятной причине расстроились, кони заметались, оглашая воздух пронзительным ржанием.

Когда мятежники пошли наконец на приступ, солнце клонилось к западу. Однако дело, если позволительно так выразиться, свелось к простому представлению, ибо нападавшие промчались мимо стен — и только. Зато защитники крепости осыпали их дождем стрел.

Собравшись на краю города, кони вновь устремились на штурм. На этот раз их натиск был страшен. На крепость обрушился шквал ударов,

сказать по правде, ее крепкие дорические стены сильно пострадали.

Волна нападавших схлынула, но тут же последовала новая атака.

Лошади и мулы гибли сотнями, но в яростном порыве вновь смыкали свои ряды — казалось, им нет конца. Некоторые из них сумели облачиться в боевые доспехи и стали неуязвимы для дротиков. Одни нацепили на себя куски ярких тканей, другие — ожерелья. И сохраняя ребячливость даже в битве, кони вдруг принимались весело скакать и резвиться.

Со стен их узнавали. Динос, Этон, Аметей, Ксантос! И те приветственно ржали, гордо выгибали хвост и тут же, дрожа от нетерпения, бросались в бой. Один из них, наверняка вожак, поднялся на дыбы, грациозно выгнул шею и, перебирая в воздухе передними ногами, стал прохаживаться взад и вперед, словно в боевом танце — пока не получил в брюхо дротик...

Удача сопутствовала нападавшим. Стены начали подаваться. Внезапно кони заволновались. Один за другим, слегка присев, они тянули шеи к тополиной роще на берегу Коссинита. Защитники крепости, устремив взгляд туда же, в ужасе застыли.

На фоне вечернего неба над черной рощей застыла гигантская голова льва. То был один из древних, почти исчезнувших зверей, что время от времени опустошали Родопы. Однако подобного чудовища еще никто не видел: его голова вздымалась над деревьями, а косматая грива путалась в позолоченных закатом листьях.

Громадные клыки влажно поблескивали, глаза щурились от яркого света. Ветер доносил его резкий звериный запах. Львиная голова, ржаво-золотая от заходящего солнца, застыла над трепещущей листвой, подобно каменным изваяниям, что в незапамятные времена воздвигло древнее, как сами горы, племя пелагров.

И вдруг он двинулся вперед, неспешно, словно волны океана. Послышался треск раздвигаемых его грудью ветвей, могучее, как порыв ветра, дыхание.

Мятежников, несмотря на их силу и численность, охватила паника. В мгновение ока кони метнулись к морскому берегу и, вздымая тучи песка и пены, помчались к Македонии — были и такие, что в поисках спасения кинулись в волны.

В крепости царило смятение. Сопротивляться не имело смысла. Какие ворота устоят против

этих клыков? Какая стена — против когтей?..

Люди уже сожалели о недавних противниках — те, как никак, были цивилизованными созданиями. Когда чудовище вышло из зарослей, никто даже не натянул тетивы.

И вдруг из его челюстей вместо звериного рева вырвался военный клич «а-ла-ле!», в ответ со стен прозвучало ликующее «хой-о-хей!» и «хой-ото-хо!».

Великое чудо!

Из-под львиной головы сиял божественный лик героя, шкура цвета меда облегала мраморные плечи, крепкие, как ветви дуба, руки, безупречные бедра.

И клич, радостный клич свободы, признания и гордости наполнил вечерний воздух:

— Геркулес! Сам Геркулес пришел к нам на помощь!

Ги де Мопассан

Кто знает?

I

Боже мой! Боже мой! Итак, я наконец запишу все, что со мной случилось! Но удастся ли мне сделать это? Решусь ли я? Это так странно, так непонятно, так безумно!

Если бы я не был уверен в том, что действительно видел все это, не был уверен, что в моих рассуждениях нет никакой путаницы, в моих восприятиях — никакой ошибки, в неумолимой последовательности моих наблюдений — никаких пробелов, то я считал бы себя просто-напросто жертвой галлюцинации, игралищем странных видений. Но в конце концов, кто знает?

Сейчас я нахожусь в лечебнице, но я пришел сюда добровольно, из осторожности, из страха. Мою историю знает только один человек на земле. Здешний врач. Я ее запишу. Сам не знаю, зачем. Затем, чтобы отделаться от нее, потому что она душит меня, как невыносимый кошмар.

Вот она.

Я всегда был человеком одиноким, мечтателем, чем-то вроде философа-отшельника; я был доб-

рожелателен, всегда довольствовался малым, не сердился на людей и не досадовал на Бога. Жил я всегда один, чувствуя в присутствии других какое-то стеснение. Чем объяснить это? Не знаю. Я не отказываюсь встречаться со знакомыми, беседовать и обедать с друзьями, но когда я ощущаю их присутствие слишком долго, то даже самые близкие из них утомляют меня, надоедают, раздражают, и я начинаю испытывать все растущее мучительное желание, чтобы они ушли или уйти самому, остаться в одиночестве.

Это желание — больше, чем потребность; это настоятельная необходимость. И если бы присутствие людей, среди которых я нахожусь, затянулось, если бы мне пришлось в течение долгого времени не то чтобы выслушивать их разговоры, но хотя бы только слышать их голос, то со мной, несомненно, случилась бы какая-нибудь беда. Какая именно? Ах, кто знает! Может быть, простой обморок? Да, возможно.

Я так люблю одиночество, что даже не переношу, чтобы другие люди спали под одной кровлей со мною; я не могу жить в Париже, для меня это беспрестанная агония. Я умираю духовно, но и мое тело, мои нервы тоже страдают от этой бесконечной толпы, которая кишит, живет вокруг

меня, даже когда спит. Ах, сон других людей для меня еще тягостнее, чем их разговоры. И я совершенно не отдыхаю, когда чувствую, когда знаю, ощущаю за стеной чужую жизнь, прерванную этим регулярным затмением сознания.

Почему я такой? Кто знает! Причина, может быть, очень проста: я слишком быстро утомляюсь от всего, что происходит вне меня. И таких людей вовсе не мало.

На земле существует две породы людей. Те, кто нуждается в других, кого другие развлекают и занимают, кому они дают отдых и кого одиночество изнуряет, истощает, опустошает, как подъем на ужасный ледник или переход через пустыню. Другие — те, кого люди, наоборот, утомляют, раздражают, стесняют, подавляют, тогда как одиночество успокаивает их и дает им отдых благодаря независимому и прихотливому полету мысли.

Словом, это обычное психическое явление. Одни наделены даром жизни внешней, другие — жизни внутренней. У меня внешнее внимание длится очень недолго и быстро исчерпывается, и как только наступает его предел, во всем моем теле и в моем сознании появляется ощущение тяжелого недомогания.

В силу этого я привязываюсь и всегда был очень привязан к вещам неодушевленным; для меня они получали значение живых существ, и дом мой превращался в мир, где я жил уединенной и деятельной жизнью среди вещей, мебели, привычных безделушек, радовавших мой взор, как дружеские лица. Я постепенно наполнял, украшал ими дом и чувствовал себя довольным, удовлетворенным, счастливым, словно в объятиях милой женщины, привычные ласки которой сделались для меня спокойной и сладостной потребностью.

Я выстроил этот дом в прекрасном саду, отделявшем его от дороги; стоял он у заставы города, и в этом городе я мог, когда захочу, найти общество, в котором иногда испытывал необходимость. Все мои слуги спали в отдельном домике, в глубине огорода, окруженного высокой стеной. В тишине моего затерянного, спрятанного жилища, утопавшего среди листвы больших деревьев, темный покров ночи был для меня так приятен, так полон покоя, что каждый вечер я часами медлил лечь в постель, чтобы подольше насладиться всем этим.

В тот день в городском театре давали *Сигурда.* Я впервые слышал эту прекрасную феерическую

музыкальную драму и получил большое удовольствие.

Домой я возвращался пешком, быстрыми шагами. В ушах еще звучала музыка, перед глазами носились прекрасные видения. Ночь стояла черная-черная, такая черная, что я еле различал большую дорогу и несколько раз чуть не свалился в канаву. От заставы до моего дома было около километра, а может быть, немного больше, минут двадцать спокойной ходьбы. Был час ночи, час или половина второго; небо постепенно светлело, и наконец появился месяц, грустный месяц последней четверти. Месяц первой четверти, тот, что встает в четыре-пять часов вечера, — веселый, светлый, серебристый, а убывающий, встающий после полуночи, — красноватый, мрачный и тревожный: настоящий месяц шабаша. Это, должно быть, знают все любители ночных прогулок. Молодой месяц, хотя бы топкий, как ниточка, отбрасывает свет слабый, но веселый, радующий сердце и рисующий на земле отчетливые тени; на ущербе же он излучает свет мертвенный, такой тусклый, что теней почти не получается.

Я завидел вдали темную массу своего сада, и, не знаю почему, мне стало как-то не по себе при мысли, что надо войти туда. Я замедлил шаг. Бы-

ло очень тепло. Большая купа деревьев казалась усыпальницей, где погребен мой дом.

Я открыл калитку и вошел в длинную аллею сикомор; она вела к подъезду, и ветви, сомкнувшись над головой, образовали как бы высокий туннель; он прорезал темные массивы зелени и огибал газоны с цветочными клумбами, которые казались в сумраке овальными пятнами неразличимых оттенков. Когда я приблизился к дому, странное смущение охватило меня. Я остановился. Ничего не было слышно. Даже ветерок не шумел в листве. «Что это со мной?» — подумал я. Целых десять лет возвращался я домой таким образом и ни разу не испытывал ни малейшего беспокойства. Я не боялся. Никогда я не боялся ночи. Вид человека, какого-нибудь вора, грабителя, сразу привел бы меня в бешенство, и я, не колеблясь, бросился бы на него. К тому же я был вооружен. Со мной был револьвер. Но я к нему не прикасался, желая побороть в себе зарождавшееся ощущение страха.

Что это было? Предчувствие? Таинственное предчувствие, овладевающее человеком, когда ему предстоит увидеть необъяснимое? Возможно. Кто знает?

По мере того как я продвигался вперед, меня

начинала охватывать дрожь, и, когда я подошел к степе, к закрытым ставням большого дома, я почувствовал, что, прежде чем открыть дверь и войти, мне придется подождать несколько минут. Тогда я сел на скамью под окнами гостиной. Я сидел, слегка вздрагивая, прислонившись головой к стене и глядя на тени деревьев. В эти первые мгновения я не заметил кругом ничего особенного. В ушах у меня стоял какой-то шум, но это со мной бывает довольно часто, иногда мне кажется, будто я слышу грохот поездов, звон колокола, топот толпы.

Но вскоре этот звук стал отчетливее, яснее, понятнее. Я ошибся. То не был обычный гул крови в жилах, от которого у меня начинался шум в ушах, это были какие-то особые, хотя смутные шорохи, несомненно, исходившие из моего дома.

Я слышал сквозь стены это непрерывное постукивание — и то был скорее шелест, чем шум, непонятное перемещение массы вещей, словно кто-то потихоньку толкал, сдвигал, переставлял, перетаскивал всю мою мебель. О, я еще довольно долго сомневался в верности своего слуха. Но, приникнув ухом к ставню, чтобы как следует вслушаться в странное движение, происходившее в доме, я уверился, убедился, что там делается

что-то особенное и непонятное. Я не боялся, но был... как бы это определить?.. был изумлен. Заряжать револьвер я не стал, догадавшись — и правильно, — что в этом нет никакой надобности. Я ждал.

Я ждал долго и не мог ни на что решиться. Ум мой был ясен, но отчаянно возбужден. Я ждал стоя и все прислушивался к нараставшему шуму; временами он доходил до какого-то яростного напряжения, так что казалось, будто слышишь рев нетерпения, гнева непонятного возмущения.

И вдруг мне стало стыдно своей трусости: я выхватил связку ключей, выбрал нужный ключ, вложил в скважину, дважды повернул его и изо всей силы толкнул дверь, так что она ударилась в стену.

Удар прогремел, как ружейный выстрел, и этому выстрелу ответил ужасающий грохот по всему дому, сверху донизу. Это было так неожиданно, так страшно, так оглушительно, что я отступил на несколько шагов и вынул из кобуры револьвер, хотя по-прежнему чувствовал всю его бесполезность.

Я подождал еще — о, очень недолго! Теперь я уже различал какой-то необычный топот по ступенькам лестницы, по паркету, по коврам, топот

не подошв, не людских башмаков, а костылей, деревянных и железных костылей: железные костыли гремели, как цимбалы. И вдруг я увидел на пороге, в дверях, кресло — мое большое кресло для чтения, вразвалку выходившее из дому. И оно проследовало по саду. За ним потянулись кресла из моей гостиной, потом, словно крокодилы, проползли на коротеньких лапках низкие канапе, потом проскакали, словно козы, все мои стулья, а за ними трусили кроликами табуретки.

О, какое волнение! Я проскользнул в гущу деревьев и присел там на корточки, не отрывая глаз от этого шествия своей мебели: ведь она уходила вся, вещь за вещью, то медленно, то быстро, смотря по росту и весу. Мой рояль, мой большой рояль, проскакал галопом, словно взбесившийся конь, и музыка гремела в его чреве; словно муравьи, спешили по песку мелкие предметы: щетки, хрусталь, бокалы — и лунные лучи блестели на них, как светляки. Ткани ползли, растекаясь лужами наподобие каракатиц. Я увидел и свой письменный стол, редкостную вещь прошлого века; в нем лежали все полученные мною письма, вся история моего сердца, старая история, так выстраданная мной! И фотографии тоже были в нем.

И вдруг я перестал бояться, я бросился и схватил его, как хватают вора, как хватают убегающую женщину; но он двигался с неумолимой силой, и, несмотря на все свои старания, несмотря на весь свой гнев, я не мог даже замедлить его ход. Отчаянно сопротивляясь этой ужасающей силе, я упал на землю. И он потащил, повлек меня по песку, и вещи, шедшие позади, уже начинали наступать на меня, ушибая, разбивая мне ноги; а когда я разжал руки, эти вещи прошли по моему телу, как кавалерийская часть проносится во время атаки по выбитому из седла солдату.

Наконец, обезумев от страха, я все-таки уполз с большой аллеи... и снова притаился под деревьями; оттуда я увидел, как уходят мельчайшие вещи, самые маленькие, самые скромные, — те, которых я почти не знал, но которые принадлежали мне.

И затем вдали, в своей квартире, отныне гулкой, как все пустые дома, я услышал страшное хлопанье дверей. Они хлопали по всему дому сверху донизу, пока наконец не закрылась последней входная — та, которую я сам, безумец, открыл для этого бегства вещей.

И тогда я тоже пустился в бегство. Я убежал в город, и только на его улицах я успокоился, встре-

чая запоздалых прохожих. Я позвонил у дверей гостиницы, где меня знали, кое-как руками почистил одежду, стряхнув с нее пыль, и рассказал, будто потерял связку ключей, в том числе и ключ от огорода, где спали в домике мои люди, — спали за стеной, охранявшей мои фрукты и овощи от ночных воров.

Я зарылся с головой в постель. Но заснуть не мог и, слушая биение своего сердца, ждал утра. Я уже распорядился, чтобы моих людей предуведомили еще до восхода солнца, и в семь утра ко мне постучался камердинер.

На нем лица не было.

— Сегодня ночью, сударь, случилось большое несчастье, — сказал он.

— Что такое?

— Украдена вся ваша обстановка, сударь. Вся, вся до последней мелочи.

Это сообщение обрадовало меня. Почему? Кто знает! Я отлично владел собою, был уверен, что скрою все, никому ничего не скажу о том, что я видел, утаю все это, похороню в своей памяти, как страшную тайну. Я ответил:

— Так это те самые воры, что украли у меня ключи. Надо немедленно сообщить в полицию. Я сейчас же встану, и мы пойдем вместе.

Следствие длилось пять месяцев. Ничего не было открыто, не нашли ни одной, самой маленькой моей безделушки, ни малейшего следа воров. Ах, черт! Если бы я сказал то, что было мне известно... если бы я это сказал... да они бы меня посадили под замок! Меня! Не воров, а того человека, который мог видеть подобное!

О, я умел молчать! Но обставлять дом заново я не стал. Совершенно лишнее. Все началось бы снова. Я не хотел возвращаться в этот дом. И не вернулся. Больше я его не видел.

Я уехал в Париж, осведомился в гостинице и посоветовался с врачами относительно состояния моих нервов; после той страшной ночи оно начало беспокоить меня.

Врачи предписали мне путешествие. Я последовал их совету.

II

Я начал с поездки в Италию. Южное солнце принесло мне пользу. На протяжении полугода я странствовал из Генуи в Венецию, из Венеции во Флоренцию, из Флоренции в Рим, из Рима в Неаполь. Потом я прокатился по Сицилии, замечательной своею природой и памятниками — реликвиями, оставшимися от греков и нор-

маннов. Я проехал по Африке, мирно пересек эту огромную желтую безжизненную пустыню, где бродят верблюды, газели и кочевники-арабы, где в легком и прозрачном воздухе ни днем, ни ночью вас не преследует никакое наваждение.

Затем я вернулся во Францию через Марсель, и, несмотря на всю провансальскую веселость, сравнительно слабая яркость неба уже опечалила меня. Вернувшись на родной материк, я испытал своеобразное ощущение, какое бывает у больного, когда он считает себя выздоровевшим и вдруг глухая боль говорит ему, что очаг недуга не уничтожен.

Я снова поехал в Париж. Через месяц мне там надоело. Была осень, и мне захотелось до наступления зимы проехаться по Нормандии, где я никогда не бывал.

Начал я, разумеется, с Руана и целую неделю, развлекаясь, восхищаясь, восторгаясь, бродил по этому изумительному музею необыкновенных памятников готики.

И вот однажды, около четырех часов дня, я забрел на какую-то невероятную улицу, где протекает черная, как чернила, река под названием О-де-Робек, заинтересовавшись причудливым и старинным обликом домов, как вдруг мое

внимание было отвлечено целым рядом лавок случайных вещей, следовавших одна за другой.

О, эти мерзкие торговцы старьем прекрасно выбрали место в этой фантастической улочке, над мрачной водой, под этими острыми черепичными и шиферными крышами, на которых еще скрипели старинные флюгера.

В глубине темных магазинов громоздились резные сундуки, руанский, неверский и мустьерский фаянс, резные и раскрашенные статуи из дуба — Иисусы, мадонны, святые; церковные украшения, нарамники, ризы, даже священные сосуды и старая позолоченная деревянная дарохранительница, которую Господь Бог уже давным-давно покинул. О, что за странные притоны были в этих высоких, этих огромных домах, набитых от погреба до чердака всевозможными вещами, жизнь которых казалась конченной, вещами, пережившими своих естественных владельцев, свой век, свои времена, свои моды, чтобы новые поколения скупали их как редкость!

В этом антикварном квартале ожила моя любовь к вещам. Я переходил из лавки в лавку, в два прыжка перебираясь по мостам в четыре гнилые доски, переброшенным над вонючим течением О-де-Робек.

Боже великий, какой ужас! Под одним из забитых вещами сводов, который показался мне входом в катакомбу, в усыпальницу старинной мебели, я увидел один из прекраснейших своих шкафов. Я подошел, весь дрожа, так дрожа, что не решился прикоснуться к нему. Я протягивал руку, колебался. Но это, несомненно, был мой шкаф стиля Людовика XIII, уникальная вещь, которой не мог не узнать тот, кто видел ее хоть раз. И вдруг, заглянув немного вперед, в еще более мрачные глубины этой галереи, я различил три своих кресла, обитых гобеленом тончайшей работы, а затем подальше — два моих стола времен Генриха II, таких редких, что люди приезжали из Парижа поглядеть на них.

Подумайте! Подумайте, каково было мое состояние!

И я пошел вперед; ноги не слушались меня, я умирал от волнения, но все шел, потому что я храбр; я шел, как рыцарь давних темных времен, проникающий в заколдованное жилище. И с каждым шагом я открывал все свои вещи: мои люстры, мои книги, мои ткани, мое оружие — все, кроме стола с письмами, — его я не видел.

Я шел, спускаясь в темные подвалы и снова поднимаясь в верхние этажи. Я был один; в этом

доме, обширном и извилистом, как лабиринт, не было никого.

Наступила ночь, и мне пришлось опуститься во мраке на один из моих стульев, потому что уходить я не желал. Время от времени я кричал:

— Эй! Эй, кто-нибудь!

Я, наверно, прождал не менее часа, пока услышал где-то шаги, легкие, медленные шаги. Я чуть не сбежал, но потом, успокоившись, позвал еще раз и увидел в соседней комнате свет.

— Кто там? — спросил голос.

Я отвечал:

— Покупатель.

Мне ответили:

— Сейчас уже поздно ходить по лавкам.

Но я сказал:

— Я жду вас больше часа.

— Можете прийти завтра.

— Завтра я уезжаю из Руана.

Я не решался приблизиться к нему, а он не подходил. Я только видел свет, озарявший гобелен, на котором два ангела летали над покрытым трупами полем сражения. Гобелен был тоже мой. Я сказал:

— Ну, что же, вы идете?

Он отвечал:

— Я жду вас.

Я встал и направился к нему.

Посреди большой комнаты стоял крохотный человечек, совсем крохотный и страшно толстый, феноменально толстый, — отвратительный феномен.

У него была реденькая неровная бороденка из скудных желтоватых волосков, и ни одного волоса на голове. Ни одного. Так как свечу он высоко поднял над собой, чтобы разглядеть меня, то череп его показался мне маленькой луною в этой огромной комнате, заставленной старинной мебелью. Лицо его было сморщенное и одутловатое, глаза — еле заметные щелки.

Я купил три своих собственных стула, тут же уплатил крупную сумму и назвал только свой номер в гостинице. Стулья надлежало доставить на следующий день к девяти часам утра.

Затем я ушел. Он очень вежливо проводил меня до дверей.

Я немедленно явился к комиссару полиции и рассказал ему о случившейся у меня краже движимости и о только что сделанном открытии.

Он тут же послал телеграфный запрос в прокуратуру, которая вела дело об этой краже, и попросил меня дождаться ответа. Через час ответ

был получен, и притом вполне для меня удовлетворительный.

— Я распоряжусь немедленно арестовать и допросить этого человека, — сказал мне комиссар. — Ведь он может почуять опасность и убрать из магазина все ваши вещи. Не угодно ли вам пока пообедать и вернуться сюда через два часа. Он будет уже здесь, и я еще раз допрошу его при вас.

— С большим удовольствием, сударь. Сердечно благодарю вас.

Я пошел обедать к себе в гостиницу и ел гораздо лучше, чем ожидал. Я все же был доволен. Он попался!

Через два часа я вернулся к полицейскому чиновнику; он ждал меня.

— Что делать, сударь! — сказал он, увидев меня. — Не нашли вашего молодца. Моим агентам не удалось застать его.

Ах! Я почувствовал, что мне дурно.

— Но... дом его вы нашли? — спросил я.

— Разумеется. Этот дом даже взят под наблюдение, пока не вернется хозяин. Но хозяин исчез.

— Исчез?

— Исчез. Обычно по вечерам он бывает у своей соседки, тоже старьевщицы, вдовы Бидуэн, довольно занятной ведьмы. Но сегодня вечером она

его не видела и ничего не может о нем сообщить. Придется подождать до завтра.

Я ушел. О, какими мрачными, пугающими, полными наваждения казались мне руанские улицы!

Спал я плохо, все время просыпался от кошмаров.

Утром, не желая показаться слишком взволнованным или торопливым, я дождался десяти часов и только тогда явился в полицию.

Торговец не возвращался. Магазин его был все еще закрыт.

Комиссар сказал мне:

— Я принял все необходимые меры. Суд в курсе дела: мы вместе пойдем в эту лавку и вскроем ее. Вы мне покажете все ваши вещи.

Мы поехали в карете. Перед лавкой стояли полицейские со слесарем. Дверь была открыта.

Войдя, я не увидел ни своего шкафа, ни своих кресел, ни столов — ничего, ничего из той мебели, которой был обставлен мой дом! Ничего! А накануне вечером я шага не мог сделать, чтобы не наткнуться на какую-нибудь свою вещь.

Комиссар удивился и сначала взглянул на меня недоверчиво.

— Боже мой, сударь, — сказал я ему, — исчезно-

вение этих вещей странным образом совпадает с исчезновением торговца.

Он улыбнулся:

— Правильно. Напрасно вы вчера купили и оплатили стулья. Этим вы его спугнули.

Я сказал:

— Непонятно мне одно — на всех местах, где стояла моя мебель, теперь стоит другая.

— О, — отвечал комиссар, — у него ведь была целая ночь, и, конечно, он не без сообщников. Дом, безусловно, соединен с соседними. Не беспокойтесь, сударь, я энергично займусь этим делом. Разбойник ускользнул от нас ненадолго; мы ведь стережем его берлогу.

. . . . . .

О, сердце, сердце мое, бедное мое сердце, как оно билось!

. . . . . .

В Руане я пробыл пятнадцать дней. Этот человек не вернулся. О, черт! О, черт возьми! Разве что-нибудь могло его смутить или застать врасплох?

И вот на шестнадцатый день утром я получил от своего садовника, сторожа моего ограбленного и опустевшего дома, следующее странное письмо:

«Сударь!

Честь имею известить вас, что нынче ночью случилось такое, что никто не понимает, и полиция не больше нашего. Вся мебель вернулась — вся без исключения, до последней мелочи. Теперь дом точь-в-точь такой же, как накануне кражи. Есть от чего голову потерять. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Дорожки в саду так изрыты, словно мебель тащили по ним от калитки до дверей. Точно так же было и в день пропажи.

Мы ждем вас, сударь. Ваш покорный слуга

Филипп Роден».

Ну, уж нет! Ну, уж нет! Ну, уж нет! Не вернусь!

Письмо я отнес руанскому комиссару.

— Возврат сделан ловко, — сказал он мне. — Запасемся терпением. На днях мы этого молодца сцапаем.

Не сцапали они его. Нет. Не сцапали, а вот я боюсь его так, словно это дикий зверь, направленный на меня.

Неуловим! Он неуловим, этот изверг с черепом, похожим на луну! Никогда его не поймают. Он

не вернется домой. Очень-то ему нужно! Встретить его не может никто, кроме меня, а я этого не хочу.

Не хочу! Не хочу! Не хочу!

А если он вернется, придет в свою лавку, то кто докажет, что моя мебель действительно была у него? Никаких улик нет, кроме моего показания, а я отлично чувствую, что оно становится подозрительным.

Ах, нет! Такое состояние было невыносимо! И я уже не мог держать в тайне все, что видел. Не мог я жить, как живут все, и вечно бояться, что снова начнется что-нибудь такое.

Я пришел к главному врачу лечебницы и открыл ему все.

Он долго расспрашивал меня, а затем сказал:

— Вы бы согласились, сударь, пожить некоторое время здесь?

— С большим удовольствием, сударь.

— Вы человек состоятельный?

— Да, сударь.

— Хотите отдельный флигель?

— Да.

— Вам угодно принимать друзей?

— Нет, нет, никого. Этот руанский человек, может быть, попытается отмстить мне, он способен

преследовать меня и здесь.

. . . . . .

И вот уже три месяца я один, один, совершенно один. Я почти спокоен. Я боюсь лишь одного... что, если антикварий сойдет с ума... Если его поместят здесь... Ведь даже тюрьма не вполне надежна.

«Бесполезная красота» (1899)

Эдвин Морган

Тень игры

В одном из сказаний, содержавшихся в книге «Мабиногион», два враждующих царя играют в шахматы, между тем как в соседней долине сражаются насмерть их войска. Время от времени являются гонцы с известиями о ходе сражения — цари словно бы слушают их и, склонясь над серебряной шахматной доской, передвигают золотые фигуры. Постепенно выясняется, что в превратностях битвы повторяются превратности игры в шахматы. К вечеру один из царей опрокидывает доску — он получил мат, и вскоре окровавленный всадник сообщает ему: «Твое войско бежит, ты лишился своего царства».

Э. А. Мурена

Кот

Как долго он просидел взаперти?

Туманное майское утро, с которого все началось, теперь казалось ему столь же призрачным, как день его рождения — событие совершенно непостижимое, несмотря на свою очевидность. Он решился на это, узнав, что другой имеет над ней тайную власть.

Себе он сказал, что поступает так, быть может, ради нее, тем самым избавляя от унизительного и бессмысленного выбора. Но в глубине души знал, что следует пути, избранному много раньше.

В то утро между ними все было кончено. Когда он вышел из чужого дома, ветер разогнал туман, и, подняв глаза в слепящую высь, он увидел черное облако, похожее на огромного паука, бегущего по снежному полю. И навсегда запомнил: с той минуты кот его соперника, чьей преданностью гордился хозяин, стал с безразличным видом следовать за ним, не отставая ни на шаг и терпеливо снося все попытки прогнать его прочь.

Он отыскал не слишком грязный и не слишком неудобный пансион — тогда еще он придавал значения подобным вещам. Кот был крупным,

мускулистым, серым с грязно-белыми пятнами. Он походил на древнее, одряхлевшее божество, у которого еще достанет сил напакостить людям. И люди не жаловали кота — покосились на него брезгливо, с опаской и вышвырнули вон с позволения невольного хозяина. На следующий день новый постоялец вновь обнаружил кота у себя в комнате. Тот возлежал на кресле. Чуть приподняв голову, кот взглянул на него и снова погрузился в сон. Его опять выкинули, но он неизвестно как пробрался в дом, в ту же комнату. Кот одержал победу, ибо с тех пор хозяйка пансиона и прислуга оставили его в покое.

Можно ли поверить в то, что коту удалось подчинить себе человека, изменить его жизнь?

Поначалу постоялец часто выходил. Он не мог подолгу находиться в убогой комнатушке с крикливыми полосатыми обоями, потертой мебелью, которая при ближайшем рассмотрении оказалась удивительно уродливой, и тусклой лампой, с грехом пополам освещавшей половину комнаты. Он уходил, бродил по улицам в надежде обрести утраченный покой и возвращался еще более подавленным. Кот не выходил никогда. Однажды вечером, когда постоялец, вернувшись с прогулки, дожидался в дверях, чтобы горничная

закончила уборку, он убедился, что кот и тогда не покидает своего убежища: по мере того, как женщина с веником и тряпкой перемещалась по комнате, кот переходил с одного места на другое, пока не устроился там, где все уже было прибрано. Иногда кот допускал просчеты, но горничная тихонько шикала на него — без злобы, просто предупреждая, — и кот отпрыгивал в сторону. Почему он отказывался выходить: из страха или инстинктивного стремления к удобству? Как бы то ни было, человек решил уподобиться коту, хотя бы для того, чтобы обрести некую мудрость в том, что у животного вызывалось страхом или ленью.

Он разработал план: сперва отказаться от утренних, а затем и от вечерних прогулок и, преодолев несколько приступов глухого отчаяния, сумел осуществить задуманное. Он читал книжонку в черном переплете, которую принес с собой в кармане, и часами бродил по комнате в ожидании ночного выхода. Кот почти не глядел в его сторону, казалось, он довольствуется тем, что ест, спит и вылизывается быстрым языком. Однажды холодным вечером человек не захотел одеваться и вообще не вышел на улицу. И мгновенно уснул. С того дня все затруднения

исчезли, словно он взобрался на вершину, с которой оставалось только спуститься вниз. Его дверь открывалась только для того, чтобы внесли еду, а рот — чтобы принимать пищу. Он оброс бородой и наконец отказался от прогулок по комнате.

Лежа по обыкновению в постели, сильно располнев, он погружался в неведомое прежде состояние полнейшего блаженства.

Взгляд его был неизменно прикован к гипсовым розеткам, украшавшим низкий потолок, но сам он их не замечал, ибо его потребность в зрелищах с избытком удовлетворялась ежедневным десятиминутным созерцанием обложки. Похоже, у него проснулись новые способности: желтоватые отблески лампы на черном глянце рождали столь причудливые тени, столь тонкие оттенки, что одного этого реального предмета хватало, чтобы, пресытясь, погрузиться в нечто вроде гипнотического сна. Обоняние также обострилось, ибо легчайшие запахи, взвиваясь и обволакивая тело, заставляли грезить о бескрайних фиолетовых лесах, о шуме морского прибоя. Его стали посещать чарующие видения: свет день и ночь горевшей лампы тускнел, и появлялись женщины в длинных покрывалах с алыми или бледно-зелеными лицами, небесно-голубые кони...

Кот между тем невозмутимо возлежал в кресле.

Однажды за дверью послышались женские голоса. Как он ни силился, слов ему не удалось разобрать, но смысл и без того был ясен. Словно ему воткнули кол в огромное дряблое брюхо.

Это ощущение, хотя и нестерпимо острое, было таким далеким, что он понял: пройдет еще много часов, прежде чем он сумеет отозваться. Ибо один из голосов принадлежал хозяйке пансиона, а другой — ей, которая наконец его нашла.

Он уселся в постели. Попытался сделать хоть что-нибудь — и не смог.

Он поглядел на кота. Тот, приподнявшись, тоже смотрел на дверь, но оставался совершенно невозмутимым. И человек еще острее ощутил свое бессилие.

Его била дрожь, а голоса за дверью все не смолкали. Вдруг он ощутил невероятное напряжение, казалось, изчезни оно, и он рассыплется на части, разлетится в прах.

Тогда он разинул рот, застыл на миг, не понимая, для чего он это сделал, и наконец из его груди вырвался кошачий вопль, пронзительный и отчаянный.

Ню Цзяо

История о лисицах

Ван увидел двух лисиц, стоявших на задних лапах, прислонясь к дереву. Одна из них держала в руках лист бумаги, и они смеялись, словно над хорошей шуткой.

Ван попробовал спугнуть лисиц, но не тут-то было; тогда он бросился на лисицу, державшую листок, подбил ей глаз и отнял бумагу. На постоялом дворе Ван рассказал о своем приключении. В это время появился господин с синяком под глазом. Он с интересом выслушал Вана и попросил показать ему бумагу. Ван уже протягивал лист, как вдруг хозяин постоялого двора заметил у новоприбывшего хвост. «Это лисица!» — закричал хозяин, и человек мгновенно обернулся лисицей и убежал.

Лисицы не однажды пытались вернуть бумагу, покрытую непонятными письменами, но безуспешно. Ван решил вернуться домой. В пути он встретил все свое семейство, направлявшееся в столицу. Родные Вана утверждали, что двинулись в путь по его просьбе, а мать показала письмо, в котором он приказывал продать все имущество и приехать к нему в столицу. Ван внимательно

посмотрел на письмо и увидел, что это чистый лист. И хотя они остались без крова, Ван решил: «Возвращаемся».

Однажды в доме объявился один из младших братьев, которого все считали умершим. Он принялся расспрашивать о злоключениях семьи, и Ван рассказал ему всю историю. «Ах, — сказал брат, услышав о столкновении Вана с лисицами, — в этом-то корень всех бед». Ван показал брату листок. Тот поспешно схватил бумагу. Заполучив желаемое, он издал какой-то возглас и, обернувшись лисицей, убежал.

Джон Обри

В виде корзинки

Томас Трэхерн[92] рассказывал, что однажды, лежа в постели, он увидел рядом с занавеской плавающую в воздухе корзинку; он, кажется, говорил, что в корзинке лежали фрукты. Это было видение.

«Miscellanea» (1696)

[92] Примечания: 92

Трэхерн Томас (ок. 1636-1674) — английский священник, барочный поэт, открытый фактически лишь в XX в. Автор религиозных поэм («Царство Христово», опубл. 1903), кн. стихов и прозы «Сотницы» (опубл. 1908).

Сильвина Окампо

Искупление

Антонио позвал нас с Руперто в дальнюю комнату и властным тоном велел садиться. Постель была убрана. Антонио вышел в патио, открыл дверцу птичьего вольера и, вернувшись, улегся на кровать.

— Сейчас я вам покажу один трюк, — сказал он.

— Ты что, решил в цирк устроиться? — спросила я.

Антонио пару раз свистнул, и в комнату впорхнули Фаворитка, Мария Каллас и рыженький Мандарин. Пристально глядя в потолок, Антонио засвистел снова, пронзительно и с переливами. Это, что ли, его трюк? И зачем он вообще позвал нас с Руперто? Почему было не подождать прихода Клеобулы? Наверно, подумала я, весь спектакль затеян с одной-единственной целью: доказать, что Руперто не слепой, а сумасшедший, ведь придя в восторг от мастерства Антонио, Руперто мог забыться и выдать себя. От мельтешения канареек меня клонило в сон. И так же неотвязно крутились в памяти воспоминания. Говорят, перед смертью человек как бы заново

проживает всю свою жизнь; в тот вечер мое прошлое тоже ожило, и мной овладело глухое отчаяние.

Я отчетливо, как на картинке, увидела свою свадьбу с Антонио в декабре, в пять часов пополудни.

Уже было жарко, и когда мы вернулись домой, то, снимая в спальне подвенечный наряд и фату, я с удивлением заметила за окном канарейку.

Сейчас-то я знаю, что это был не кто иной, как Мандарин; сидя на апельсиновом дереве в патио, он клевал единственный уцелевший на его ветвях плод.

Антонио заметил, что я загляделась на птицу, но целовать меня не перестал. А меня прямо-таки заворожило то, с каким остервенением кенарь впивался в апельсин. Я наблюдала за птицей, пока трепещущий Антонио не увлек меня на супружеское ложе, застеленное покрывалом, которое — наряду с прочими подарками — служило для моего жениха перед свадьбой залогом счастья, а мне внушало ужас. На гранатово-красном бархате был вышит дилижанс. Я закрыла глаза и почти не помню, что произошло дальше. Любовь тоже путешествие, и я много дней подряд

училась любви, не имея ни малейшего понятия о том, каким это бывает блаженством и какой мукой. Наверное, поначалу мы с Антонио любили друг друга одинаково сильно, и единственное, что нам мешало, так это моя стыдливость и его робость.

Наш маленький домик с крошечным садиком стоит у самого въезда в городишко. Воздух тут целебный, горный, прямо под боком начинаются поля, их видно из наших окон.

Мы уже приобрели радиоприемник и холодильник. На праздники и по случаю всяких семейных торжеств к нам являлась целая толпа друзей. Что еще можно было пожелать? Клеобула и Руперто — на правах друзей детства — приходили чаще других. Антонио давно был в меня влюблен, и они это знали. Он меня не добивался и даже не выбирал; правильнее будет сказать, что я его выбрала. Он мечтал лишь, чтобы жена его любила и была ему верна. Все же остальное, в том числе и деньги, его мало интересовало.

Руперто садился в уголок и с места в карьер, не успев еще настроить гитару, требовал мате или — если стояла жара — оранжада. Для меня он был одним из тех родственников или друзей,

на которых смотришь почти как на мебель и замечаешь, только когда она сломается или ее передвинут в другое, непривычное место.

«Канареечки-певуньи», — неизменно приговаривала Клеобула, но на самом деле охотно пришибла бы птиц половой щеткой, потому что терпеть их не могла. Интересно, что бы она сказала, увидев, какие смешные номера они вытворяют, причем совершенно бескорыстно, не дожидаясь, пока Антонио угостит их листиком зеленого салата или семечками?

Я машинально протягивала мате или стакан с оранжадом Руперто, сидевшему на венском стуле в тени беседки; он всегда туда забивался, как пес в свой угол. Я не воспринимала его как мужчину и вела себя без тени кокетства. Частенько я впускала его в дом, не удостаивая даже взглядом и не задумываясь о том, что волосы у меня мокрые после мытья и что в бигуди я смотрюсь настоящим страшилищем; я могла открыть ему дверь, не вынимая изо рта зубной щетки и не смыв с губ зубной пасты; а бывало, с рук у меня хлопьями падала мыльная пена, потому что я затеяла стирку, а фартук на животе топорщился, и я казалась пузатой, словно беременная. Думаю,

что не раз я, забывшись, выходила при Руперто из ванной, завернувшись в махровое полотенце и волоча ноги в шлепанцах, как старуха или распустеха какая-то.

Проказник, Базилик и Горец подлетели к посудине, в которой лежали маленькие стрелы с шипами. Подхватив их, они летели к сосуду с какой-то темной жидкостью и старательно макали в нее крошечный наконечник стрелы. Птички казались игрушечными, этакими дешевенькими подставками для стрел-зубочисток, украшениями на прабабушкиной шляпе.

Клеобула — а она, вообще-то, позлословить не любит — обратила мое внимание на то, что Руперто слишком настойчиво на меня смотрит. «Ну и глаза! — без умолку твердила она. — Ну и глаза у него!»

— Я научился спать с открытыми глазами, — пробормотал Антонио, — это одно из самых крупных достижений в моей жизни.

Я вздрогнула, услышав его слова. Так вот, значит, что он намеревался нам продемонстрировать?! Но, с другой стороны, разве это такой уж потрясающий трюк?

— Ты как Руперто, — голос мой звучал отчуж-

денно.

— Как Руперто, — повторил Антонио. — Канарейки ведут себя послушней, чем мои собственные веки.

Мы сидели втроем в потемках, будто кающиеся грешники. Но что общего между привычкой спать с открытыми глазами и дрессированными канарейками? Антонио озадачил меня, и неудивительно — он ведь так не похож на всех прочих мужчин!

Клеобула уверяла меня и в том, что, настраивая гитару, Руперто оглядывал меня с ног до головы, а однажды вечером, напившись и задремав в патио, вообще не сводил с меня глаз. В итоге я перестала вести себя естественно и, наверное, даже начала кокетничать. Мне грезилось, что Руперто смотрит на меня как бы сквозь маску, в которую вделаны его глаза, эти звериные глаза, не закрывавшиеся, даже когда Руперто спал. Он впивался в меня тем же загадочным взглядом, каким смотрел на оранжад или мате, когда хотел пить. Бог знает что было у него на уме. Других столь же пытливых глаз было не сыскать во всей провинции, да что там — на всем белом свете; остальные смотрели на мир потухшим, мертвенным взором, а глаза Руперто сияли и

казались такими бездонносиними, словно в них притаилось небо. Это был не человек, а нечто бестелесное, безгласное и безликое — одни глаза; так, по крайней мере, казалось мне, однако Антонио мыслил иначе. В копир концов то, что творилось у меня в подсознании, начало его раздражать, и он стал грубым и заставлял меня выполнять всякую неприятную работу, словно я была не женой его, а рабыней. Перемены в характере Антонио очень меня огорчали.

До чего странные существа — мужчины! Какой же все-таки трюк собирался показать нам Антонио? А ведь те его слова про цирк, наверное, не шутка...

Вскоре после свадьбы он начал частенько отлынивать от работы, ссылаясь на головные боли или на какие-то странные, неприятные ощущения в области желудка. Вероятно, все мужья одинаковы?

Огромный птичий вольер на дальней половине дома теперь стоял совершенно заброшенный, а ведь раньше Антонио прямо-таки надраивал его до блеска. По утрам, если выдавалась свободная минутка, я старалась его почистить, насыпала в белые кормушки канареечного семени, клала пару листиков зеленого салата и меняла воду, а

когда самочки откладывали яички, мастерила им гнезда. Раньше всем этим занимался Антонио, но теперь он не проявлял к уходу за птицами ни малейшего интереса; впрочем, он и от меня ничего не требовал.

Мы женаты уже два года! А ребенка все нет как нет! Зато канарейки, не в пример нам, вывели столько птенчиков!

Комнату заполнил запах мускуса и вербены. Канарейки воняли курицей, от Антонио разило табаком и потом, а Руперто в последнее время благоухал исключительно спиртным. Мне рассказывали, что он беспробудно пьет. А какая грязь была в комнате! На полу валялся корм для канареек, хлебные крошки, листья салата, окурки, пепел...

Антонио с детства все свободное время отдавал дрессировке животных; оттачивая свое мастерство — а мой муж был настоящим мастером, ничего не скажешь, — он выдрессировал сначала собаку, потом лошадь, потом скунса (прооперированного, чтобы не вонял), которого какое-то время повсюду таскал за собой; а после нашего знакомства Антонио в угоду мне решил заняться канарейками. Дабы завоевать мое

сердце, он посылал мне с канарейками любовные письма и цветы, перевязанные ленточкой. Антонио жил от меня в целых пятнадцати кварталах, но крылатые почтальоны всегда безошибочно отыскивали нужный дом. Невероятно, но факт: канарейки навострились даже втыкать цветы мне в волосы и засовывать любовные записочки в карман моей блузки.

Интересно, трюки с цветами и записочками труднее того, что канарейки выделывают сейчас с этими проклятыми стрелами?

В нашем городке Антонио завоевал всеобщий почет и уважение. «Гипнотизируй ты женщин так же, как птиц, ни одна перед тобой не устояла бы», — говорили тетки Антонио в надежде, что племянник женится на миллионерше. Однако, как я уже упоминала, Антонио был равнодушен к деньгам. Он с пятнадцати лет работал механиком и жил в полном достатке, что, естественно, предложил и мне вместе с рукой и сердцем. У нас было для счастья все. И я не могла понять, почему Антонио не попытается отдалить от себя Руперто. Мало ли какой предлог можно найти, взять хотя бы и разругаться из-за работы или политики, до потасовки или стрельбы дело

не доводить, но дружка от нашего дома отвадить. Антонио ничем не выдавал своих чувств, только характер у него испортился, и я догадывалась, по какой причине. Отбросив в сторону скромность, я вынуждена была признать, что мужчина, который всегда казался мне эталоном нормального человека, теперь просто свихнулся на почве ревности.

Антонио свистнул, снял майку. Тело его казалось отлитым из бронзы. Взглянув на него, я так и затрепетала. Помнится, перед свадьбой я увидела статую, очень похожую на Антонио, и покраснела до ушей. Но разве я никогда не видела его голым? Почему же меня это так поражало?!

С другой стороны, в чем-то характер Антонио изменился к лучшему, и это меня частично утешало: из инертного он стал крайне активным, прекратил хандрить и пребывал в явно веселом расположении духа. У него появились какие-то таинственные дела, хлопоты, а ведь это говорило о повышенном интересе к жизни. После ужина мы ни на минутку не оставались вдвоем в комнате, чтобы послушать радио, почитать газеты, поболтать о том, что приключилось за день, или просто посидеть, безо всякого дела. В выходные

и праздники мы теперь тоже не позволяли себе передохнуть: мне передалось беспокойство Антонио, и я, как его верное отражение, металась по дому, прибираясь в шкафах, в которых и так царил порядок, мыла и перемывала и без того чистые целлофановые пакеты — в общем, из кожи вон лезла, стараясь соответствовать мужу, занимавшемуся бог знает какими таинственными делами. Он же с удвоенной нежностью и заботой ухаживал за птицами, тратя на них большую часть своего свободного времени. Антонио сделал новые пристройки к вольеру, а вместо засохшего деревца, росшего посередине, посадил новое, побольше и посимпатичней, и вольер стал еще краше.

Две канарейки выронили стрелы и кинулись драться; перья полетели во все стороны, Антонио даже почернел от злости. Интересно, он мог бы их убить? Клеобула обмолвилась как-то, что Антонио жестокий. «Кажется, будто у него за поясом кинжал», — пояснила она свою мысль.

Антонио больше не позволял мне чистить вольер. В то время он уже покинул супружеское ложе и перебрался на дальнюю половину дома, в комнату, служившую нам кладовкой. Ночи на-

пролет Антонио лежал на тахте — той самой, на которой любил в часы сьесты прилечь мой брат, когда приходил к нам в гости, — и, видимо, не мог сомкнуть глаз; я так думаю, потому что порой до рассвета слышно было, как он ходит взад и вперед по каменным плитам пола. Иногда он часами просиживал взаперти в этой проклятой комнате.

Канарейки одна за другой выронили из клювиков крошечные стрелы, уселись на спинку стула и нежно защебетали. Антонио встал и, глядя на Марию Каллас, которую всегда называл «Королевой бунтарей», произнес какое-то слово, на мой взгляд лишенное всякого смысла. Канарейки снова вспорхнули в воздух.

Я пыталась подглядеть через разноцветные витражи в окне, чем же он там занимается. Я даже нарочно поранила руку ножом, чтобы под этим предлогом к нему постучаться. Когда он открыл дверь, стайка канареек вылетела из комнаты и направилась к вольеру. Антонио обработал мою рану, однако держался сухо и недоверчиво, словно догадываясь, что я специально все подстроила, пытаясь привлечь его внимание. Примерно в это же время он на две

недели отлучался из дому, уехал на грузовике неизвестно куда и привез целую сумку разных трав.

Я взглянула украдкой на заляпанную юбку. Какие все-таки грязнули эти крохотные птахи! И когда только они умудрились меня перепачкать? Я посмотрела на них с ненавистью: даже в потемках мне не хочется выглядеть замарашкой.

Руперто, не подозревая о том, какое дурное впечатление производят его визиты, приходил к нам все так же часто и вел себя по-прежнему. Избегая его взоров, я подчас уходила из патио, но муж под любым предлогом заставлял меня вернуться. По-моему, он даже находил какое-то удовольствие в этой неприятной ситуации. Взгляды Руперто казались мне уже непристойными: они раздевали меня в тени беседки и склоняли к позору на закате дня, когда свежий ветерок нежно поглаживал мои щеки. Антонио же, наоборот, никогда не смотрел в мою сторону или делал вид, что не смотрит, — так по крайней мере уверяла Клеобула. Ах, если бы мы не были знакомы, женаты, если бы я еще не знала его ласк и могла бы снова повстречаться с ним впервые, заново открыть для себя этого человека и от-

даться ему!.. На какое-то время это стало самой страстной моей мечтой. Но разве возможно вернуть утраченное?

Я поднялась с кровати, ноги у меня болели. Терпеть не могу подолгу находиться без движения. До чего же я завидую летящим птицам! Впрочем, канареек мне жалко. По-моему, они страдают, подчиняясь Антонио.

Антонио не только не избегал общения с Руперто, но даже, наоборот, поощрял его визиты. Дошло до того, что во время карнавала, когда Руперто засиделся у нас допоздна, Антонио предложил ему остаться переночевать. Пришлось поместить его в комнату, которую временно занимал Антонио. В ту ночь мой муж как ни в чем не бывало вернулся на супружеское ложе и мы опять спали вместе. С тех пор моя жизнь снова вошла в нормальную колею; так, по крайней мере, мне казалось.

В углу, под тумбочкой, я заметила злополучную куклу. Надо бы ее поднять, подумалось мне. Словно угадав мои мысли, Антонио приказал: «Не двигайся».

Я вспомнила, как тогда, в карнавальную неделю,

прибираясь в доме, я обнаружила завалявшуюся в шкафу у Антонио куклу, сделанную из какого-то мягкого материала: то ли из пакли, то ли из тряпок; у куклы были большие голубые глаза, а черные кружочки посередине обозначали зрачки. Одета она была в костюм гаучо и вполне могла бы служить украшением нашей спальни. Я, смеясь, показала ее Антонио, а он вдруг вспылил и вырвал у меня куклу.

— Я храню ее в память о детстве, — сказал он. — Мне не нравится, когда ты трогаешь мои вещи.

— Но что такого, почему нельзя трогать твои детские игрушки? Мало ли мальчиков, которые играют в куклы?! Тебе что, стыдно? Разве ты не стал давным-давно взрослым мужчиной? — возразила я.

— Я не обязан давать тебе объяснения. Попридержи язык, вот и все.

Разозленный Антонио положил куклу обратно на шкаф и не разговаривал со мной несколько дней. Но потом мы вновь обнялись, как в старые добрые времена.

Я провела рукой по влажному лбу. Неужели локоны распрямились? К счастью, в комнате не было зеркала, иначе я бы не выдержала и пялилась

бы в него, а на канареек, которые казались мне абсолютно безмозглыми, не смотрела бы.

Антонио часто запирался в дальней комнате, причем, как я заметила, оставлял открытой дверцу вольера, чтобы птицы могли залететь к нему в окошко. Сгорая от любопытства, я решила подглядеть за ним и залезла на стул: дело в том, что окно довольно высоко (и поэтому со двора, естественно, ничего не было видно).

Я смотрела на обнаженный торс Антонио. Это мой муж или статуя? Он называет Руперто сумасшедшим, но сам, быть может, еще больший безумец. Сколько денег он просадил на своих канареек, а мне стиральную машину так и не купил!

И вот однажды мне удалось разглядеть лежавшую на кровати куклу. Вокруг нее вилась стайка птиц. Комната превратилась в своего рода лабораторию. В одном глиняном сосуде лежала куча листьев, стеблей, темной древесной коры, в другом — маленькие стрелы с шипами, а в третьем блестела какая-то коричневая жидкость. Мне показалось, что я уже сидела это когда-то во сне, и я поделилась своим недоумением с Клеобулой, а она ответила: «Стрелы с кураре вполне в духе

индейцев».

Я не спросила, что такое кураре. Я даже не поняла, каким тоном она произнесла эти слова: презрительным или восхищенным.

— Они занимаются колдовством. Твой муж ведь индеец, — добавила Клеобула и, заметив мое удивление, спросила: — А ты разве не знала?

Я досадливо помотала головой. Мой муж — это мой муж. Мне никогда и в голову не приходило, что он может быть человеком другой расы или выходцем из другой культурной среды.

— С чего ты взяла? — допытывалась я.

— Но неужели ты не замечала, какие у него глаза, какое скуластое лицо? А какой он хитрый?! Ни Мандарин, ни даже Мария Каллас ему в подметки не годятся. Да взять хотя бы его скрытный нрав, привычку не отвечать на вопросы, его обхождение с женщинами... Неужели ты по-прежнему не веришь, что он индеец? Он же до пяти лет жил среди них. И, наверно, поэтому так тебе и понравился: есть в нем что-то загадочное, что-то, чего нет в других мужчинах.

Антонио вспотел, влажное тело его блестело. Надо же — молодец хоть куда, а жизнь свою тратит на всякие глупости! Выйди я замуж за адвоката Хуана Лестона или за бухгалтера Роберто

Куэнтаса, мне не пришлось бы так мучиться, это точно. Но какая романтическая девушка выйдет замуж по расчету? Говорят, некоторые люди дрессируют блох. Зачем?

Я перестала доверять Клеобуле. Говоря, что мой муж — индеец, она, наверное, просто стремилась испортить мне настроение или посеять между нами недоверие; однако потом, просматривая книгу по истории, где на картинках были изображены индейские поселения и сами краснокожие верхом на лошадях с лассо в руках, я вдруг обнаружила некоторое сходство между Антонио и полунагими мужчинами в перьях. И тут же поняла, что, вероятно, именно этим он и привлек меня: непохожестью на моих братьев и их друзей, бронзовым оттенком кожи, раскосыми глазами и хитростью, той самой хитростью, о которой с таким гадким упоением говорила Клеобула.

— Так когда ты покажешь свой трюк? — поинтересовалась я.

Антонио не ответил. Он, не отрываясь, глядел на канареек, которые опять порхали взад и вперед по комнате. Мандарин отделился от приятелей и, забившись в темный уголок, затянул песню, похожую на песнь горного жаворонка.

А мое одиночество росло. Своих тревог я не поверяла никому.

На Страстной неделе Антонио еще раз оставил Руперто ночевать. Шел дождь, как это обычно бывает на Страстной неделе. Мы отправились с Клеобулой в церковь, собираясь принять участие в процессии.

— Ну, как твой индеец? — нахально спросила Клеобула.

— Кто-кто?

— Индеец, твой муженек, — ответила она. — В городке его все так зовут.

— Я всегда любила и буду любить индейцев, хотя мой муж тут ни при чем, — ответила я, пытаясь сосредоточиться на молитве.

Антонио сидел прямо-таки в молитвенной позе. Интересно, он хоть когда-нибудь молился? Моя мать попросила его причаститься перед свадьбой, но он не соизволил.

Тем временем дружба Антонио с Руперто становилась все закадычней. Мне казалось, их связывали узы искреннего товарищества, а для меня в этом мужском братстве места не нашлось. В те дни Антонио публично демонстрировал свое могущество. Он развлекался тем, что посылал к

Руперто канареек с записками. Поскольку кто-то видел, как они однажды обменялись испанскими игральными картами, то поговаривали, будто друзья таким оригинальным образом играют в труко. Они что, издевались надо мной? Эти забавы великовозрастных детин бесили меня, и я решила по возможности не принимать их всерьез. Или мне следовало признать, что дружба важнее любви? Антонио с Руперто ничто не могло разъединить, а вот от меня, хотя это было, в общем-то, несправедливо, Антонио отдалился. Моя женская гордость страдала. Руперто по-прежнему глазел на меня. Неужели вся эта драма обернулась фарсом? Может, я просто тосковала по семейным сценам, может, во мне говорила ностальгия по тем временам, когда обезумевший от ревности муж изводил меня?

Но несмотря ни на что, мы друг друга любили.

Антонио мог бы зарабатывать деньги, показывая свои трюки в цирке. Почему бы и нет? Мария Каллас склонила головку сначала вправо, потом влево и уселась на спинку стула.

Однажды утром Антонио ворвался ко мне в комнату и с таким видом, как кричат: «Караул! Горим!», выпалил: «Руперто умирает. Он послал

за мной. Так что я пошел».

Я прождала Антонио до полудня, занимаясь домашними делами. Он вернулся, когда я мыла голову.

— Пойдем, — велел Антонио. — Руперто у нас в патио. Я его спас.

— Как спас? Это что, была шутка?

— Вовсе нет. Я сделал ему искусственное дыхание.

Ничего не понимая, я поспешно заколола волосы, оделась и выскочила в патио. Руперто неподвижно стоял у дверей, уставившись невидящим взором в каменные шиты, выстилающие двор. Антонио пододвинул ему стул и предложил сесть.

На меня Антонио не глядел, он смотрел в потолок и, казалось, даже дыхание затаил. Внезапно к нему подлетел Мандарин и воткнул стрелку ему в руку. Я зааплодировала, решив, что Антонио, наверное, будет приятно. Но вообще-то все это полнейшая глупость! Лучше бы Антонио не растрачивал попусту свой талант, а попытался вылечить Руперто!

В тот роковой день Руперто, садясь на стул, закрыл лицо руками.

Как он изменился! Я посмотрела на его безжизненное, холодное лицо, на темные руки.

И когда только они оставят меня в покое! Ведь пока волосы не высохли, мне нужно накрутить их на бигуди. Скрывая свое раздражение, я агросила Руперто: «Что стряслось?»

В ответ последовало долгое молчание, натянутое, как тетива лука; на его фоне особенно четко выделялось пение птиц. Наконец Руперто сказал: «Мне приснилось, что канарейки клюют мои руки, шею, грудь, я хотел было защитить глаза, но не мог сомкнуть веки. Руки и ноги мои отяжелели, словно к ним были привязаны мешки с песком. Я был не в силах отогнать чудовищные клювы, выклевывающие мои зрачки. Я как бы грезил наяву, одурманив себя наркотиками. Очнувшись от этого странного сна-яви, я оказался в темноте; однако с улицы доносилось пение птиц и прочие звуки, говорившие о том, что день в полном разгаре. Мне стоило неимоверного труда позвать сестру, которая прибежала со всех ног. Не узнавая собственного голоса, я сказал: „Ты должна послать за Антонио, чтобы он пришел и спас меня“. — „От чего?“ — спросила сестра. Но я не смог больше вымолвить ни слова. Сестра кинулась к вам и через полчаса вернулась

вместе с Антонио. Эти полчаса показались мне вечностью! Антонио делал мне искусственное дыхание, и постепенно силы возвращались ко мне, а вот зрение — нет».

— Я сделаю вам одно признание, — пробормотал Антонио и с расстановкой добавил: — Только без слов.

Фаворитка последовала примеру Мандарина и воткнула стрелу Антонио в шею; Мария Каллас зависла на мгновение над его грудью, а потом вонзила и в нее маленькую стрелку. Пристально глядевшие в потолок глаза моего мужа внезапно изменили цвет. Неужели Антонио — индеец? Но разве у индейцев бывают голубые глаза? Почему-то сейчас его глаза были похожи на глаза Руперто.

— Что все это значит? — пролепетала я.

— Чем он там занимается? — спросил ничего не понимавший Руперто.

Антонио не ответил. Застыв, будто статуя, он терпеливо сносил уколы внешне безобидных стрел, которые втыкали в него канарейки. Я подскочила к кровати и принялась тормошить его.

— Ответь мне! — просила я. — Да ответь же! Что все это значит?

Но он не отвечал. Я обняла его и, разрыдавшись,

припала к его груди; позабыв про стыд, я целовала его губы, словно какая-то кинозвезда. Над головой у мена порхала стайка канареек.

В то утро Антонио глядел на Руперто с ужасом. Теперь-то я понимаю, что Антонио виноват вдвойне; стремясь замести следы своего преступления, он заявил — сначала мне, а потом и во всеуслышание: «Руперто сошел с ума. Он думает, что ослеп, но на самом деле видит не хуже нас с вами».

Подобно тому, как в очах Руперто померк свет, в нашем доме померкла любовь. Видимо, без его взглядов она существовать не могла. Наши посиделки в патио утратили свою прелесть. Антонио ходил мрачнее тучи.

— Безумие друга ужаснее, чем его смерть, — приговаривал он. — Руперто прекрасно все видит, но считает себя слепым.

А я, задыхаясь от гнева и, наверно, от ревности, думала, что дружба для мужчины гораздо важнее любви.

Оторвавшись от губ Антонио, я вдруг заметила, что канарейки вот-вот вопьются ему в глаза. Тогда я заслонила его собой, своими волосами: они у меня густые и накрыли его лицо, будто одеялом.

Я велела Руперто закрыть дверь и окна, чтобы в комнате стало совсем темно и канарейки уснули. Ноги у меня болели. Сколько времени я так просидела? Бог весть. Постепенно до меня доходил смысл страшного признания. А когда дошел, я в исступлении, в горестном исступлении припала к мужу. Ведь я поняла, как ему было больно, когда он замышлял и приводил в исполнение свой хитроумный план, решив с помощью яда кураре и стайки маленьких пернатых чудовищ, которые, как преданные няньки, выполняли любую прихоть Антонио, принести в жертву любви и ревности глаза Руперто и свои собственные, чтобы им, бедняжкам, впредь было неповадно смотреть на меня.

Томас Бейли Олдрич

Одинокая женщина и ее душа

Женщина сидит в доме одна. Она знает, что в мире никого больше не осталось — все люди, кроме нее, умерли. Вдруг раздается стук в дверь.

«Сочинения», т. 9, с. 341 (1912)

Юджин О’Нил

Крест на карте

Действующие лица

Капитан Исайя Бартлет
Нэт Бартлет, его сын
Сью Бартлет, его дочь
Доктор Хиггинс
Силас Хорн, старпом, Кейтс, боцман, Джимми-Гаваец, гарпунщик } со шхуны «Мэри Эллен»

Сцена. «Каюта» капитана Бартлета — комната в самой верхней, напоминающей маяк, части дома, расположившегося на высокой точке калифорнийского побережья. Внутри помещение обставлено как каюта капитана дальнего плавания. На переднем плане слева — иллюминатор. Чуть дальше — ступени трапа. Еще дальше — два других иллюминатора. На заднем плане слева — комод с мраморной столешницей. На нем — корабельный фонарь. В глубине сцены в центре — приоткрытая дверь, ведущая к лестнице вниз, в основную часть дома. Справа — двери, у стены — койка с наброшенным одеялом. На правой стене — пять иллюминаторов. Прямо под ними — деревянная скамья. У скамьи — длинный стол и два стула с прямыми спинками; один стоит перед столом, другой — левее. На полу — дешевый темный половик. В потолке — окно, занимающее пространство от двери до противоположной стены. В правом углу окна корабельный компас. От нактоуза[93] сверху падает свет и, проникая в комнату,

---

[93] Примечания: 93

Нактоуз — деревянный шкафчик цилиндрической или призматической формы, на верхнем основании которого устанавливается судовой компас *(прим. пер.)*.

отбрасывает на пол округлую колеблющуюся тень.

События относятся к осени 1900 года. Ясная ветреная ночь, самое ее начало. Лунный свет, рассеянный ветром, завывающим в скрипучих уголках старого дома, не спеша вползает в иллюминаторы и, как осевшая пыль, круглыми нашлепками покоится на полу и на столе. Навязчивый однообразный рокот прибоя, слегка приглушенный, доносится с пляжа внизу.

Занавес подымается. Дверь в глубине сцены медленно открывается, и в дверном проеме возникают голова и плечи Нэта Бартлета. Он торопливо оглядывает комнату и, убедившись, что она пуста, подымается и входит. Он делает знак кому-то внизу, невидимому в темноте: «Порядок, доктор». Доктор Хиггинс входит вслед за ним и, притворив за собой дверь, останавливается, с любопытством осматриваясь. Это худощавый, невысокий мужчина лет тридцати пяти, что-то неуловимо выдает в нем врача. Нэт Бартлет — высоченный, костлявый детина весьма неясного телосложения. Его правая рука ампутирована по самое плечо, поэтому правый рукав плотного

бурого пиджака болтается и хлопает его по бокам при движении. Он выглядит гораздо старше своих тридцати. Его сутулые плечи словно придавлены непосильной ношей в виде непропорционально большой головы с тяжелой копной спутанных черных волос. У него длинное, худощавое, печальное лицо с глубоко посаженными черными глазами, крупный орлиный нос, длинный рот с тонкими губами, скрытый щеточкой неухоженных усов. Он говорит низким, глубоким голосом, с загробными, металлическими интонациями. Кроме бурого пиджака, на нем вельветовые брюки, заправленные в высокие ботинки на шнуровке.

Нэт. Вам хорошо видно, доктор?

Хиггинс *(преувеличенно непринужденно, выдавая тем самым некоторую скованность).* Да... отлично видно... не стоит беспокоиться. Сегодня такая яркая луна...

Нэт. Повезло нам. *(Не спеша идет к столу.)* **Он** вообще против любого освещения... Последнее время... ему хватает и отражения от нактоуза.

Хиггинс. Он? Ах да, вы имеете в виду — ваш отец?

Нэт *(грубовато).* А кто же еще?

Хиггинс (с *ноткой удивления — оглядывая комнату в замешательстве).* Правильно ли я понимаю, что это как бы каюта?

Нэт. Да... Я же предупреждал вас.

Хиггинс *(удивленно).* Предупреждал? Что значит «предупреждал»? По-моему, это нормально и даже интересно, этакая причуда.

Нэт *(многозначительно).* Да уж, пожалуй, куда как интересно.

Хиггинс. Так вы говорите, он все время проводит наверху? И не спускается?

Нэт. Ни разу за последние три года. Еду приносит моя сестра. *(Садится на стул слева от стола.)* Там, на комоде, — фонарь. Принесите-ка его сюда и присаживайтесь, доктор. Зажжем свет. Прошу прощения, что привел вас сюда, в этот скворешник... но... здесь нас никому не подслушать. А увидев, какую безумную жизнь он ведет... Поймите, я хочу, чтобы вы знали факты — только факты! — и поэтому нам необходим свет. В противном случае, здесь все покажется просто сновидениями, сбывшимися снами, доктор.

Хиггинс (с *улыбкой облегчения тащит фонарь).* Света от него немного.

Нэт *(словно не обращая внимания на этот*

комментарий). Этого света ему не заметить. Его глаза заняты другим — там, снаружи. *(Делает рукой широкий жест в сторону моря.)* Ну, а уж коли заметит — пускай спускается. Вам все равно не миновать с ним свидеться — рано или поздно. *(Чиркает спичкой и зажигает фонарь.)*

Хиггинс. А он... где?

Нэт *(тыча пальцем вверх).* Прямо над нами, на палубе. Да сядьте же! Он не придет — по крайней мере **сейчас** не придет.

Хиггинс *(осторожно садится на стул у стола).* Так у него там, на крыше, тоже... как бы палуба корабля?

Нэт. Я же вам говорил — да, палуба. Штурвал, компас, нактоуз, а вот этот трап *(показывает)* — это связующее звено между верхом и низом... позволяющее **быть всегда начеку.** Если б ветер так не завывал, вы бы услышали, как он там бродит... Туда-сюда, всю ночь. *(Неожиданно охрипшим голосом.)* Разве я не сказал вам, что он повредился в уме?

Хиггинс *(напуская на себя вид профессионала).* Это не новость. Об этом поговаривали все кому не лень, еще когда я только начал работать в доме умалишенных. Так вы говорите, он выходит только по ночам — туда, наверх?

Нэт. Только по ночам. *(Мрачно.)* То, что он жаждет увидеть, не рассмотреть при свете дня... сны и прочее.

Хиггинс. Что же он там высматривает? Кто-нибудь знает? Вам он не говорил?

Нэт *(нетерпеливо).* Что тут говорить, когда и так ни для кого не секрет, что ищет отец! Шхуну, ясное дело.

Хиггинс. Какую шхуну?

Нэт. Свою шхуну — «Мэри Эллен», названную в честь моей покойной матери.

Хиггинс. Позвольте... что-то я не возьму в толк... Но ведь этой шхуне давно каюк пришел, или я ошибаюсь?

Нэт. Три года назад она исчезла во время урагана неподалеку от Сулавеси. Со всей командой на борту.

Хиггинс *(заинтересованно).* Ах вот как. *(Помолчав.)* Но ваш отец по-прежнему упорно цепляется за надежду...

Нэт. Да тут не за что цепляться! Шхуну видел вверх дном, совершенно развалившейся, китобой **Джон Слокум.** Спустя две недели после начала шторма. Туда специально посылали лодку, чтобы рассмотреть название судна.

Хиггинс. Что ж, ваш отец не знал...

Нэт. Само собой, он был первым, кому об этом сообщили. Он-то как раз все **знает,** если вы к этому клоните. *(Наклоняется к доктору, внимательно вглядываясь в его лицо.)* **Знает-то он знает** — да не хочет **верить. Он** попросту не в состоянии этого сделать — так **и** живет.

Хиггинс *(нетерпеливо).* Ну ладно, мистер Бартлет, давайте перейдем к сути дела. Вы ведь не притащили меня сюда, чтобы заморочить мне голову. Давайте вплотную займемся фактами. Мне нужно знать подробности, чтобы назначить ему правильное лечение, когда мы поместим его в приют.

Нэт *(взволнованно, понизив голос).* А вы наверняка придете забрать его сегодня?

Хиггинс. Я вернусь на машине через двадцать минут. Это однозначно.

Нэт. А вы не заблудитесь в доме?

Хиггинс. Ну что вы, я помню... но что-то я не вижу...

Нэт. Входную дверь мы оставим незапертой. Сразу подымайтесь наверх. Мы с сестрой побудем при нем. Наверняка найдутся такие, кто будет жаловаться властям, не мы, конечно, но кто-нибудь обязательно найдется. Он ни в коем случае не должен знать...

Хиггинс. Да, да... но все же... Он способен оказать сопротивление?

Нэт. Нет... нет. Он обычно тихий... даже слишком, но он может что-нибудь выкинуть... что угодно... если он узнает...

Хиггинс. Положитесь на меня, он ни о чем не узнает. Пожалуй, я возьму с собой двух санитаров... *(Умолкает и продолжает как ни в чем не бывало.)* А теперь вернемся к фактам, если вы не возражаете, мистер Бартлет.

Нэт *(задумчиво качая головой).* Бывают случаи, когда факты... В общем, вот вам суть дела. Мой отец был капитаном китобойного судна, как и мой дед. Последнее его плавание состоялось семь лет назад. Предполагалось, что оно продлится два года. Прошло добрых четыре, прежде чем мы увиделись. Его шхуна потерпела крушение в Индийском океане. Ему и еще шестерым удалось добраться до небольшого островка на границе архипелага — Богом проклятого, необитаемого и пустынного... и это после того, как их семь дней носило по морю. Остальных китобоев никто и никогда больше не видел — сгинули в пучине. Из шестерых добравшихся до суши выжили лишь четверо, и их подобрали малайские каноэ. Они совершенно ополоумели от голода и жажды, эти

четверо. В конце концов им удалось добраться до Фриско. *(Отчетливо выговаривает каждое слово.)* Это были мой отец, старпом Силас Хорн, боцман Кейтс и Джимми-Гаваец, гарпунщик. Видели бы вы их! *(Усмехаясь через силу.)* Вот вам и все факты. В свое время об этом писали газеты. Такова история моего отца.

Хиггинс. А что произошло с остальными тремя с острова?

Нэт *(хрипло).* Может, умерли от истощения. А может, сошли с ума и попрыгали в море. Это — то, о чем все говорили. А по слухам их, скорее всего, убили и съели! Одно несомненно — их нет, исчезли они. Вот так-то. Да в конце концов — кто знает наверняка? И какой в этом толк?

Хиггинс *(поежившись).* Думаю, все ж таки толк в этом имеется, и немалый.

Нэт *(резко).* Мы должны брать в расчет только факты, доктор! *(Со смешком.)* А вот вам еще факты. Отец привел этих троих в дом — Хорна, Кейтса и Джимми-Гавайца. Мы едва признали отца тогда. Он прошел через ад, и на нем лица не было. Весь поседел. Ну, вы скоро сами убедитесь. А остальные — они тоже были немного не в себе, если хотите, помешанные. *(Смеется.)* Для фактов это уже слишком, доктор. Фактов больше нет,

остались одни кошмары.

Хиггинс (с *сомнением).* Мне кажется, фактов предостаточно.

Нэт. Погодите. *(Настойчиво продолжает.)* Однажды отец послал за мной и в присутствии свидетелей поведал мне о своей мечте. Я должен был унаследовать тайну. На второй день пребывания на острове, сказал он, в одной из скалистых бухт острова они обнаружили полуразрушенный остов затонувшей малайской **прау**[94] — настоящей военной прау, какие были у пиратов. Бог знает, сколько она там пролежала. Ее команда исчезла — одному дьяволу известно, где и как, поскольку на острове не было и следов пребывания человека. Братья-гавайцы принялись нырять — знаете, они чертовски долго могут не дышать под водой, — и обнаружили там, в двух сундуках... *(Он откидывается на спинку стула и кривит губы в иронической усмешке.)* Отгадайте, что, доктор.

Хиггинс *(заговорщицки улыбаясь в ответ).* Сокровища, конечно.

Нэт *(снова наклоняясь вперед и тыча пальцем в доктора, как бы обвиняя его в чем-то).* Вот именно! И в вас живет эта вера! *(Снова облокачивается*

---

[94] Примечания: 94

Прау — малайская боевая лодка *(прим. пер.).*

на спинку стула, с приглушенным смешком.) Да, а почему бы нет? Конечно, сокровище. А что же еще? Они подняли сундуки со дна и... Об остальном нетрудно догадаться — нашли там бриллианты, изумруды, золотые украшения... разумеется, в несметном количестве. А к чему наступать на горло собственной мечте?! Ха-ха! *(Издевательски хохочет, будто бы потешаясь над самим собой.)*

Хиггинс *(с выражением крайней заинтересованности).* Ну-ну, и что же дальше?

Нэт. Они начали понемногу терять рассудок — от голода, жажды и всего прочего, — а вслед за этим **забывать.** О, они о многом позабыли, к счастью для себя, наверное. Но отец, осознав, как он сказал мне, что с ними творится, настоял, чтобы, пока они еще понимают, что творят, они... Ну угадайте-ка еще разок, доктор! Ха-ха!

Хиггинс. Зарыли сокровище?

Нэт *(иронически).* В точку! Проще пареной репы, да? Ха-ха! И тогда они нарисовали карту — как видите, все здесь, как во сне, — при помощи головешки и отдали ее отцу на хранение. Вскоре после этого их подобрали, совершенно обезумевших, как я уже говорил, какие-то малайцы. *(Неожиданно оставляет свой иронический тон*

и вновь начинает говорить тихо и вкрадчиво.) Однако эта карта, доктор, существует не только во сне. Вернемся к фактам. *(Запускает руку в карман и вытаскивает смятый клочок бумаги.)* Вот. *(Разглаживает бумагу на столе.)*

Хиггинс *(вытягивая шею).* Черт подери! Это любопытно. По-моему, сокровище спрятано...

Нэт. Там, где крест на карте.

Хиггинс. Ага, вот тут и подписано. А это что за закорючка?

Нэт. Это Джимми-Гавайца. Он писать не умеет.

Хиггинс. А здесь, внизу? Это ведь ваша подпись?

Нэт. Да, я же посвящен в эту тайну. Мы все поставили свои подписи в то утро, когда «Мэри Эллен», та самая шхуна, под которую мой отец заложил дом, была снаряжена за сокровищем. Ха-ха!

Хиггинс. Это та самая посудина, которую разыскивает ваш отец? Та, что сгинула года три назад?

Нэт. Да, «Мэри Эллен». Остальные трое отплыли на ней. Только отцу и старпому было известно приблизительное местонахождение острова — и мне, как наследнику. Это... *(Замялся, нахмурившись.)* А, не имеет значения. Уж не стану я выдавать этой безумной тайны. Отец намере-

вался отправиться с ними, но тогда помирала матушка. Я тоже не посмел покинуть ее.

Хиггинс. Так вы собирались плыть? Значит, вы верили в существование этих сокровищ?

Нэт. Разумеется. Ха-ха! Могли я не поверить? Я верил до того самого дня, когда умерла мать. А потом он совершенно потерял рассудок. Он выстроил эту каюту... чтобы ждать здесь. Он предвидел, что со временем мои сомнения будут расти. Наконец, чтобы окончательно убедить меня, он дал мне одну вещицу, которую ото всех прятал, — образчик богатейшего из сокровищ. Ха-ха! Держите.

Вытаскивает из кармана массивный браслет, густо инкрустированный камнями, и швыряет его на стол рядом с фонарем.

Хиггинс *(берет браслет с любопытством, как будто бы вопреки своей воле).* Настоящие камни?

Нэт. Ха-ха! И вы попались на эту удочку. Нет... стекляшки. Малайское украшение.

Хиггинс. Вы хорошенько его осмотрели?

Нэт. Да, как последний болван. *(Кладет браслет обратно в карман и качает головой, будто пытаясь стряхнуть наваждение.)* Ну вот, теперь вы знаете причину его помешательства... как

он ждал эту шхуну... и почему в результате нам пришлось попросить вас забрать его туда, где он будет в безопасности. А закладная на дом в качестве уплаты за шхуну должна быть ликвидирована. И нам с сестрой придется уехать. Мы не сможем забрать его с собой. Она скоро выходит замуж. Возможно, вдали от моря он...

Хигинс *(поспешно).* Будем надеяться на лучшее. И я глубоко ценю вашу позицию. *(Встает, улыбаясь.)* Благодарю вас за интересный рассказ. Теперь-то я знаю, как его ободрить, если он снова примется бредить о сокровищах.

Нэт *(печально).* Он всегда очень тихий... даже чересчур. Только бродит туда-сюда, высматривает...

Хигинс. Что ж, я, пожалуй, пойду. Так вы думаете, лучше забрать его прямо сегодня вечером?

Нэт *(настойчиво).* Да, доктор. Соседи, конечно, — черт с ними, но ради моей сестры... Понимаете?

Хигинс. Ясно. Должно быть, ей тяжело — такие вещи. Что ж... *(Идет к двери, которую Нэт открывает для него.)* Я скоро вернусь. *(Спускается.)*

Нэт *(настойчиво).* Не подведите, доктор. И как явитесь — прямиком наверх. Он будет здесь.

Закрывает дверь и осторожно крадется к трапу. Подымается на несколько ступенек и на мгновение замирает, вслушиваясь в некий звук, доносящийся сверху. Затем подходит к столу, подкручивает фитиль фонаря так, что тот едва мерцает, и садится, подперев подбородок рукой, уныло глядя перед собой. Дверь в глубине сцены медленно открывается. Услышав скрип двери, Нэт вскакивает со стула. Голосом, осипшим от ужаса. ***Кто там?*** **(Дверь распахивается, и на пороге возникает Сью Бартлет. Она подымается в комнату и захлопывает за собой дверь. Это рослая, стройная женщина лет двадцати пята, с бледным, печальным личиком, обрамленным копной каштановых волос. Эта волосы — единственное, что оживляет ее бесцветное лицо. Ее полные губы бледны. Голубизна ее больших задумчивых глаз померкла, и они стали серыми. Она говорит низким и печальным голосом. На ней — темный капот и домашние туфли.**

Сью *(останавливается и бросает укоризненный взгляд на брата).* Это всего лишь я. А что тебя так напугало?

Нэт *(отводит глаза и тяжело падает на стул).*

Ничего. Я не знал... Я думал, ты у себя.

Сью *(подходит к столу).* Я читала. Потом услышала, как кто-то спустился и вышел. Кто это был? *(С внезапным ужасом.)*

Нэт. Один человек. Я его знаю.

Сью. Что за человек? Кто он такой? Ты что-то не договариваешь. Скажи мне.

Нэт *(вызывающе глядя на нее).* Один врач.

Сью *(настороженно).* О! *(Внезапно осененная.)* Ты привел его сюда втайне от меня?

Нэт *(угрюмо).* Нет. Я привел его сюда, чтобы разузнать у него, что же происходит с отцом.

Сью *(словно напуганная предстоящим ответом).* Он что, один из этих, из дома умалишенных? О Нэт, ты ведь не...

Нэт *(перебивая ее, хрипло).* Нет, нет! Успокойся.

Сью. Это было бы ужасно.

Нэт *(мрачно).* Почему же? Ты всегда так говоришь. А что может быть ужаснее нынешнего положения вещей? Я уверен, было бы лучше для него, если бы он побыл где-нибудь в отдалении от моря. Он там забудет это безумное ожидание погибшей шхуны и сокровища, которого у него никогда не было. *(Словно пытаясь убедить самого себя — яростно.)* Я просто уверен!

Сью *(укоряюще).* Нет, Нэт, ты сам в это не ве-

ришь. Ты прекрасно знаешь, что вдали от моря он умрет.

Нэт *(с горечью).* А известно ли тебе, что старик Смит больше не желает откладывать уплату за дом? Это разве пустяк? Мы не в состоянии оплатить закладную. Вчера он приходил поговорить со мной. Он прекрасно знает, что мы у него в руках. Он говорил со мной так, будто мы — его жильцы, будь он проклят! И побожился, что немедленно сократит срок уплаты, если только мы не...

Сью *(нетерпеливо).* Что?

Нэт *(тупо).* Если мы не... отдадим отца в приют.

Сью *(со стоном).* Как? Но почему, почему? На что ему сдался отец?

Нэт. Все дело в нашем доме — он принадлежит Смиту. Соседи нас боятся. С наступлением темноты, возвращаясь домой с ферм, они обходят наш дом стороной. Они видят, как он бродит, туда-сюда там, **наверху,** воздев руки к небу. Они боятся. Написали жалобу. Говорят, что ради его же собственного блага нужно забрать его отсюда. Поговаривают даже, что наш дом кишит призраками. Старик Смит опасается за свое имущество. Он думает, что он может в один прекрасный день

поджечь дом и вообще сделать все, что угодно...

Сью *(в отчаянии).* Но ведь ты сказал ему, что все это вздор, правда? Что отец мухи не обидит, да?

Нэт. Да что толку в пустой болтовне, когда все уверены в обратном, когда все нас боятся? *(Сью закрывает лицо руками. Пауза. Нэт — хриплым шепотом.)* Временами я и сам боюсь.

Сью. Чего, Нэт, чего?

Нэт *(яростно).* **Его** и этого моря, которое он призывает на свою голову! Этого чертова моря, которое он навязал мне, когда я был еще совсем мальчишкой, этого моря, отобравшего у меня руку и сделавшего меня калекой!

Сью *(умоляюще).* Ты не должен обвинять отца в своих несчастьях.

Нэт. Ведь это он забрал меня из школы и заставил пойти на шхуну. Кем бы я был сейчас, если бы все не случилось так, как случилось? Никому не нужным моряком? Нет. И это то море, которое, как ты говоришь, ни в чем не виновато — море, которое переплюнуло даже его, отобрав у меня руку и вышвырнув на берег, как очередную жертву кораблекрушения?!

Сью *(всхлипывая).* Ты слишком суров, Нэт. Это было так давно. Почему бы не забыть об этом?

Нэт *(с горечью).* Забыть? Как ты можешь! Вот

вернется из плаванья Том, и вы поженитесь, и тогда ты узнаешь, что это за тяжкий крест — быть женой капитана дальнего плавания, как твоя мать. Удачи тебе.

Сью *(умоляюще).* Я заберу к себе и тебя, Нэт, и отца, и тогда...

Нэт. И что, ты посадишь на шею своему молодому супругу умалишенного и калеку? *(Разъяряясь.)* Нет уж, уволь. Только не меня! *(Мстительно.)* И не его! *(С неожиданной многозначительностью, выговаривая каждое слово.)* Я останусь здесь. Моя книга на три четверти уже написана, моя книга, которая сделает меня свободным человеком. А я знаю наверняка, я просто всеми потрохами чувствую, что я должен закончить ее здесь. Я не смог бы сделать этого, будучи вдали от дома, где я родился. *(Пристально уставившись на нее.)* Так что я останусь, провались оно все пропадом! *(Сью отчаянно всхлипывает. Помолчав, он продолжает.)* Старик Смит сказал мне, что я смогу остаться здесь сколько захочу, бесплатно... как сторож... если...

Сью *(испуганно, словно эхо).* Если?

Нэт *(не сводя с нее глаз, твердо).* Если я отправлю его... туда, где он больше не причинит вреда... ни себе, ни другим.

Сью *(в ужасе).* Нэт, не делай этого! Ради покойной матушки!

Нэт *(сопротивляясь).* Разве я сказал, что уже сделал это? Что ты смотришь на меня так?

Сью. Нэт, Нэт! Ради нашей матушки!

Нэт *(с исказившимся лицом).* Перестань! Перестань! Она умерла... и покоится с миром. Ты что, хочешь снова потревожить ее успокоившуюся душу, вернуть ее к побоям и увечьям?

Сью. Нэт!

Нэт *(с клокотанием в горле, будто бы пытаясь сдержать что-то внутри себя, хрипло).* Сью! Будь милосердной! *(Сестра смотрит на него застывшим от ужаса взглядом. Нэт с усилием сдерживается и упрямо продолжает.)* Смит сказал, что он даст нам две тысячи наличными, если я продам ему этот дом... и разрешит мне остаться, бесплатно, присматривать за домом.

Сью *(с презрением).* Две тысячи! Ведь пожизненное владение домом стоит гораздо дороже...

Нэт. Да не в этом дело — дороже, дешевле. Сколько мы можем получить... наличными... Этого как раз мне хватит закончить книгу... и получить свободу!

Сью. Так вот почему он хочет упрятать отца, негодяй! Значит, ему известно все о завещании...

Нэт. Что я унаследую дом. Да, он знает. Я ему сказал.

Сью *(тускло).* Как подлы люди!

Нэт *(настойчиво).* Если бы так все и вышло... как я сказал, половина досталась бы тебе в приданое. Честное слово!

Сью *(в ужасе).* Проклятые деньги! Неужели ты думаешь, я прикоснусь к ним?!

Нэт *(убеждая ее).* Тогда все вышло бы по-честному. Я тебе бы их отдал.

Сью. Господи, Нэт, ты что, пытаешься подкупить меня?!

Нэт. Да нет. Это и в самом деле твоя доля. *(Криво усмехается.)* Ты забываешь, что я к тому же наследник сокровища и могу позволить себе быть щедрым. Ха-ха!

Сью *(встревоженно).* Нэт! Ты так странно себя ведешь! Ты не в себе, Нэт. Будь ты самим собой, ты не говорил бы так. О Господи, мы должны покинуть этот дом — и ты, и отец, и я! Пусть Смит уничтожает закладную. Уж что-нибудь да и останется от продажи дома. И мы сможем, дай-то бог, переехать в какой-нибудь маленький домик... у моря, чтобы отец...

Нэт *(в ярости).* Смог продолжать это безумное издевательство надо мной... нашептывать свои

полоумные сны мне на ухо... тыкать пальцем в море... потешаться надо мной, что он и делает сейчас! *(Вытаскивает из кармана браслет. Это зрелище еще более разъяряет его, и он швыряет вещицу в угол, выкрикивая ужасным голосом.)* Нет! Ни за что! Уже слишком поздно для снов. Слишком поздно! Нынче вечером я с этим покончу навсегда!

Сью *(смотрит на него и внезапно понимает, что сбылось то, чего она опасалась. С протяжным стоном роняет голову на распростертые руки).* Так все уже решено! Ты продал отца! О Нэт, будь ты проклят!

Нэт *(в ужасе смотрит наверх).* Ш-шш! Что ты говоришь? Вдали от моря ему будет лучше.

Сью *(тускло).* Ты продал его.

Нэт *(неистово).* Нет, нет! *(Достает из кармана карту.)* Послушай, Сью! Ради всего святого, послушай меня! Гляди, это карта того острова. *(Расправляет карту на столе.)* А вот здесь — сокровище, там, где крест. *(Сглатывает и как бы выдавливает из себя.)* Долгие годы я таскаю это с собой. И это, по-твоему, чушь? Тебе не понять, что это для меня значит. **Это** встало между мною и моей книгой. **Это** стояло между мною и всей моей жизнью, и **это** сводит меня с ума! **Он** учил меня

ждать и надеяться, день за днем. Он заронил во мне сомнения и заставил поверить в невозможное... когда надежда уже умерла... когда я знал, что все это — лишь сон... Но я не мог избавиться от этого наваждения! *(Глаза его вылезают из орбит.)* Я все еще верю, что Бог мне простит! А это все — чистое безумие, безумие, смешанное...

Сью *(глядя на него в ужасе).* И поэтому ты... ненавидишь его?

Нэт. Нет, я не... *(С внезапным бешенством.)* Да! Да, я ненавижу его! Он похитил мой разум! Я должен освободиться, неужели ты этого не понимаешь — освободиться от него и его безумия!

Сью *(испуганно, умоляюще).* Нэт! Не надо! Ты говоришь, как будто...

Нэт *(с безумным смехом).* Как будто я сошел с ума? Ты права. Но я больше не позволю себе быть безумным! Смотри! *(Открывает заслонку фонаря и подносит карту к горящему фитилю. Когда он захлопывает заслонку, фонарь гаснет. Сью зачарованно смотрит, как пламя пожирает карту, а Нэт тем временем говорит.)* Смотри же, это я даю себе свободу и снова обретаю здравый ум. А теперь снова вернемся к фактам. Я тебе солгал. Тот человек — врач в доме умалишенных. Смотри, как горит! Все это нужно уничтожить

— весь этот яд безумия. Да, я солгал тебе... Глядика, совсем сгорело... дотла... А оставшаяся другая копия пошла на дно вместе с Силасом Хорном. *(Роняет сгоревший лист на пол и давит каблуком.)* С этим покончено! Наконец-то я свободен от этого! *(Он очень бледен, но говорит тихо, словно успокоившись.)* Да, я продал его, если тебе угодно... чтобы спасти свою душу. Скоро за ним придут из приюта, чтобы забрать... *(Тишину неожиданно нарушает громкий рев, доносящийся сверху, напоминающий что-то вроде «Вижу судно!», а затем он обрывается. В комнату врывается порыв ветра. Нэт и Сью вскакивают и застывают на месте, словно парализованные. По трапу спускается капитан Бартлет.)*

Нэт *(содрогаясь).* Боже! Неужели он слышал? Сью. Тише!

Капитан Бартлет входит в комнату. Он поразительно похож на своего сына, но черты его лица еще более суровы и поразительны, а тело — еще более иссушенное, прямое и мускулистое. Его голова увенчана совершенно седой шевелюрой, такая же белая щеточка усов контрастирует с обветренным, цвета дубленой кожи, изборожденным морщинами лицом. Седые кустистые брови почти скрывают устремленные в одну точку пронзительные темные глаза. На нем плотный двубортный синий китель, брюки из такого же материала и резиновые боты, завернутые от колена наружу.

Бартлет (в *состоянии безумного возбуждения приближается к сыну и обвиняюще указывает на него пальцем. Нэт отступает на шаг).* Так ты считаешь, я ополоумел? Три года, значит, уверен в этом, с тех пор, как подонок Слокум запустил эту чертову байку о том, что «Мэри Эллен» затонула?

Нэт *(нервно сглатывая).* Нет... Отец... я...

Бартлет. Не лги мне, щенок! Я сделал тебя своим наследником, а ты хочешь убрать меня с дороги! Хочешь упрятать меня за решетку, к безумцам!

Сью. Отец! Нет!

Бартлет *(делая ей знак рукой, чтобы она замолчала).* Нет, не ты, девочка, не ты! Ты — как твоя мать.

Нэт *(очень бледный).* Отец... Ты думаешь, я...

Бартлет *(резко).* Твои глаза лгут! Я все вижу! Будь ты проклят! Сью. Отец! Не надо!

Бартлет. Не мешай мне, девочка! Он ведь собирался? Он ведь предал меня... насмехался надо мной, говорил, что все это ложь... Он и над собой насмехался, за то, что имел глупость поверить в бредни, как он их называет.

Нэт *(примирительно).* Ты ошибаешься, отец. Я верю в это.

Бартлет *(торжествующе).* Ишь ты, веришь?! А кто ж не поверит собственным глазам?!

Нэт *(завороженно).* Глазам?

Бартлет. Так ты не видел ее? Ты не слышал, как я переговаривался с ними, на шхуне?

Нэт *(сбитый с толку).* Переговаривался? Я слышал крик... Но... С кем ты переговаривался? Что ты видел?

Бартлет *(угрюмо).* Вот тебе наказание по заслугам, Иуда. *(Внезапно, как взорвавшись.)* «Мэри Эллен» вернулась, как я и говорил!

Сью *(пытаясь его успокоить).* Отец! Успокойся.

Все обойдется. Бартлет *(словно не замечая ее, не сводя глаз с сына).* Ставлю пинту пива, что через полчаса они будут здесь. Что «Мэри Эллен» с трюмами, груженными золотом, со всеми шлюпками на борту, без единой пробоины, вошла в порт, парень, как я и говорил... Но для тебя, парень, уже слишком поздно, для предателей слишком поздно! Когда я окликал шхуну, они как раз бросали якорь.

Нэт *(с остановившимся взглядом, не сводя глаз с отца).* «Мэри Эллен»! Но откуда ты знаешь?

Бартлет. Чтоб я да не узнал собственного судна?! Да ты с ума сошел!

Нэт. Но ведь ночь... Ты мог обознаться...

Бартлет. Не мог, я сказал! Это была «Мэри Эллен», светила яркая луна. Ты помнишь, какой сигнал должен был подать Силас Хорн, если ночью будет причаливать?

Нэт *(медленно).* Красный, потом зеленый сигнал на грот-мачте.

Бартлет *(торжествующе).* Ну тогда выгляни, если посмеешь! *(Подходит к переднему иллюминатору.)* Отсюда прекрасно видно. *(Повелительно.)* Веришь ли ты своим глазам? Смотри — и можешь называть меня безумцем сколько угодно. *(Нэт припадает к иллюминатору, потом*

отходит и оборачивается. На его лице застыло выражение остолбенения.)

Нэт *(медленно).* Красный и зеленый на гротмачте. Да, ясно, как божий день.

Сью *(обеспокоенно глядя на него).* Дай я посмотрю. *(Подходит к иллюминатору.)*

Бартлет *(обращаясь к сыну с выражением яростного удовлетворения).* Ну что, видал? Ясно, как день, ты опоздал. *(Нэт уставился на него, словно пораженный внезапной немотой.)* Оттуда, сверху, при лунном свете я отчетливо рассмотрел Хорна, Кейтса и Джимми-Гавайца. Они стояли на палубе и смотрели на меня. Пойдем!

Идет к трапу. Нэт неотступно следует за ним. Оба подымаются. Сью отходит от иллюминатора, на ее лице — выражение горестного недоумения. Она сокрушенно качает головой. Громкий возглас Бартлета «Эй, там, на „Мэри Эллен“! доносится сверху. То же самое эхом повторяет Нэт. Сью закрывает лицо руками, вздрагивает. Сверху спускается Нэт, в его взгляде — торжество.

Сью *(потерянно).* Он очень плох нынче, Нэт. Хорошо, что ты попытался его подбодрить. Это — самое удачное, что ты мог сделать.

Нэт *(свирепо).* Подбодрить? Черт возьми, что ты имеешь в виду?

Сью *(указывая на иллюминатор).* Но ведь там ничего не видно, Нэт. Гавань пуста — ни одного судна.

Нэт. Либо ты дура, либо ослепла! Там «Мэри Эллен». Ясно, как божий день. И сигнальные огни — красный и зеленый. А эти идиоты врали, что она затонула. И сам я свалял дурака.

Сью. Нэт, но ведь там ничего нет! *(Вновь подходит к иллюминатору.)* Никакой шхуны. Взгляни.

Нэт. Я видел, говорю же тебе! Сверху отлично видно.

Отворачивается и возвращается на свое место за столом. Она следует за ним, испуганно увещевая его.

Сью. Нэт! Ты не должен оставить все это так... Ты взволнован и весь дрожишь, Нэт. *(Пытается успокоить его, положив руку ему на лоб.)*

Нэт *(грубо отталкивая ее руку).* Ты ослепла, дура!

По трапу спускается Бартлет. Его лицо преобразилось. Он похож на мечтателя, чьи мечты сбылись.

Бартлет. Они спустили шлюпку... эти трое... Хорн, Кейтс и Джимми-Гаваец. Они гребут к берегу. Я слышу скрип уключин. Слушай! *(Пауза.)*

Нэт *(взволнованно).* Слышу!

Сью *(присев на стул неподалеку от Нэта, предостерегающим шепотом).* Ты слышишь ветер и шум моря, Нэт! Пожалуйста!

Бартлет *(неожиданно).* Ага! Они причалили! Они снова на суше, как я и говорил. А теперь они подымаются по лестнице.

Он замирает, внимательно прислушиваясь. Нэт подается вперед, не сходя со стула. Завывание ветра и шум моря внезапно стихают, и наступает гнетущая тишина. Комнату постепенно, толчками, наполняют волны зеленоватого света, как будто бы сквозь морскую пучину пробивается слабый луч.

Нэт *(хватая сестру заруку, с трудом произносит).* Ты только погляди, как меняется освещение. Зелень с золотом! *(Вздрагивает.)* Как в морской

пучине. Я знаю: много лет подряд ныряльщиком... *(Истерически.)* Спаси меня! Спаси меня!

Сью *(успокаивающе поглаживает его поруке).* Нэт, это всего лишь лунный свет. Ничего не изменилось. Успокойся, родной, все хорошо. *(Зеленый свет сгущается все сильнее и сильнее.)*

Бартлет *(проникновенно, монотонно).* Они двигаются очень медленно. Эти сундуки — уж я-то знаю — неподъемные. Ага! Вот они уже здесь, внизу, у двери. Слышишь?

Нэт *(вскакивая со стула).* Слышу! Я оставил дверь незапертой.

Бартлет. Для них?

Нэт. Для них.

Сью *(вздрагивая).* Тише! *(Снизу слышится, как сильно хлопает дверь.)* Нэт *(обращаясь к сестре, взволнованно).* Ты слышишь? Там, внизу? Сью. Ставни хлопают от ветра.

Нэт. Но ведь ветра-то нет.

Бартлет. Они подымаются наверх! Наверх, молодцы мои! Они из плоти и крови, настоящие! *(С нижнего этажа доносится шлепанье босых ног, громче и громче, словно кто-то подымается по лестнице.)*

Нэт. Теперь слышишь? Это они.

Сью. Это крысы шныряют по дому. Тебе послы-

шалось, Нэт.

Бартлет *(бросается к двери и рывком ее распахивает).* Входите, ребята, входите, будьте как дома!

По трапу в комнату вплывают силуэты Силаса Хорна, Кейтса и Джимми-Гавайца. Двое последних тащат тяжелые узорчатые сундуки. Хорн — угловатый старик с крючковатым носом, облаченный в серые холщовые штаны и тельняшку, разодранную и обнажающую волосатую грудь. Джимми-Гаваец — молодой, высокий, жилистый, смуглый. Всю его одежду составляет набедренная повязка. Кейтс — приземистый и стройный, на нем штаны из дангари[95] и потрепанный белый матросский свитер, изъеденный ржавчиной. Все они босые. С их истлевшей промокшей одежды стекает вода. Их волосы взлохмачены, в них запутались тонкие темные нити водорослей. Когда они обводят взглядом комнату, видно, что их глаза расширены от ужаса и как будто бы ничего не видят. Зеленоватый отблеск ложится на их разложившуюся плоть. Их тела покачиваются — плавно, бесстрастно, ритмично, как будто качаются на волнах распухшие тела утопленников.

Нэт *(делам шаг навстречу).* Гляди-ка! *(Привет-*

---

[95] Примечания: 95
Дангари — хлопчатобумажная ткань.

ливо.) С возвращением, ребята!

Сью *(хватая его за руку).* Сядь, Нэт. Тебе почудилось. Здесь никого нет. И ты, отец, сядь, прошу тебя.

Бартлет *(ухмыляясь и глядя на вошедших, приложив палец к губам).* Не здесь, ребята, только не здесь, не при нем. *(Указывает на сына.)* Он уже не имеет никакого на это права. Пойдемте. Сокровища принадлежат только нам. Мы заберем сундуки и уйдем. Пойдемте. *(Идет к трапу. Все трое следуют за ним. Подойдя к трапу, Хорн кладет пульсирующую руку на плечо Бартлета, а другой рукой протягивает ему клочок бумаги. Бартлет берет бумагу, язвительно хихикая.)* Это справедливо, это по-честному! *(Подымается наверх. Силуэты, покачиваясь, следуют за ним.)*

Нэт *(неистово).* Погодите! *(Бросается к трапу.)*

Сью *(пытаясь задержать его).* Нэт, не надо! Отец, вернись!

Нэт. Отец!

Отталкивает ее и бросается к трапу. Но натыкается на дверь, которая, вероятно, заперта снаружи.

Сью *(бежит к двери в глубине сцены, истерически).* На помощь! На помощь!

В тот момент, когда она подбегает к двери, появляется доктор Хиггинс, который только что взбежал по лестнице.

Хиггинс *(взволнованно).* Минуточку, мисс. Что происходит?

Сью *(ахнув).* Там... наверху — отец.

Хиггинс. Ничего не видать. Куда запропастилось мое огниво? Нашел.

Он освещает ее застывшее от ужаса лицо, а затем — остальную комнату. Зеленое мерцание исчезло. Снова слышатся завывание ветра и шум прибоя. Из иллюминатора струится белый лунный свет. Хиггинс идет к трапу. Нэт все еще стучится в запертую дверь.

Эй, Бартлет. Давайте-ка я попробую.

Нэт *(спускается, тупо глядя на доктора).* Они там заперлись. Я не могу попасть наверх.

Хиггинс *(глядя наверх, ошеломленно).* Да вы что, Бартлет? Все распахнуто настежь. *(Поднимается.)*

Нэт *(предостерегающе).* Смотрите в оба! Будьте с ними начеку!

Хиггинс *(сверху). С* кем «с ними»? Здесь никого

нет. *(Внезапно кричит, словно чем-то сильно напуган.)* Подымайтесь сюда! Подсобите. Он потерял сознание.

Нэт медленно подымается. Сью зажигает лампы и бежит с ними к подножию трапа. Сверху слышится какая-то возня. Появляются Нэт с Хиггинсом. Они тащат тело капитана Бартлета.

Хиггинс. Ну вот, здесь уже полегче. *(Опускают тело на койку, что в глубине сцены. Сью ставит фонарь в изголовье. Хиггинс наклоняется над Бартлетом и слушает сердце. Выпрямляется, качая головой.)* Мне очень жаль...

Сью *(тупо).* Мертв?

Хиггинс *(кивая).* Насколько я могу судить, не выдержало сердце. *(Пытается изобразить сочувствие.)* Наверное, ему так будет лучше, а то...

Нэт *(словно во сне).* Хорн что-то отдал ему. Вы видели?

Сью *(заламывая руки).* Нэт, прошу тебя, замолчи! Ведь он умер. *(Обращаясь к Хиггинсу, с мольбой.)* Пожалуйста, уходите... Уходите.

Хиггинс. Я могу вам чем-нибудь помочь?

Сью. Уходите... Прошу вас... *(Хиггинс тихонько кланяется и выходит. Нэт медленно идет к телу*

отца, как зачарованный.)

Нэт. Ты видела? Хорн что-то ему отдал.

Сью *(всхлипывая).* Нэт! Нэт! Отойди! Не трогай его! Отойди.

Но брат будто бы и не слышит ее. Его взгляд прикован к правой руке отца, свисающей с койки. Он хватает покойника за руку и с трудом разжимает застывшие и сцепленные пальцы, высвобождая смятую бумажку.

Нэт *(торжествующе размахивая обрывком бумажки над головой, с победным криком).* Карта острова! Смотри! В конце концов для меня ничего не потеряно! У меня есть шанс — **мой** шанс! *(С безумной, торжественной решимостью.)* Когда дом будет продан, я отправлюсь туда, и найду это золото! Гляди! Здесь написано: «Сокровище зарыто там, где крест на карте».

Сью *(закрыв лицо руками, сломленно).* О Господи! Помоги мне! Уйди, Нэт, уйди!

ЗАНАВЕС ПАДАЕТ

«Луна над Карибами» (1923)

Джованни Папини

Последний визит Больного Джентльмена

Никто не знал настоящего имени того, кого все звали Больным Джентльменом. После его внезапного исчезновения осталось только воспоминание о его незабвенной улыбке и портрет Себастьяно Дель-Пиомбо, на котором он изображен закутанным в мягкую шубу, со свешивающейся, как у спящего, вялой рукой в перчатке. Те, кто очень любил его — а я был в числе этих немногих, — помнят также его странную желтовато-прозрачную кожу, почти женскую легкость его шагов и постоянно блуждающий взгляд: он любил говорить, но никто не понимал его, а некоторые не хотели понимать его — так страшно было то, что он говорил.

Он был поистине «сеятель ужаса». Его присутствие придавало фантастический вид самым простым вещам; когда рука его дотрагивалась до какого-нибудь предмета, казалось, что этот предмет становится частью сказочного мира. В глазах его отражалось не то, что было вокруг него, а что-то далекое и неизвестное, невидимое

никому из присутствующих. Никто никогда не спрашивал его ни о его недуге, ни о том, почему он не обращает на него внимания. Он всегда бродил, не останавливаясь, ни днем, ни ночью. Никто не знал, где его дом; никто не слыхал об его отце и братьях. Однажды он появился в городе и через несколько лет так же внезапно исчез.

Накануне того дня, в который он исчез, рано утром, когда небо только начало светлеть, он появился у меня в комнате и разбудил меня. Я почувствовал на лбу мягкое прикосновение его перчатки и увидел его перед собой, завернутым в шубу, с легкой тенью вечной улыбки на губах и с еще более, чем обыкновенно, блуждающим взглядом. По его красным векам я понял, что он бодрствовал всю ночь; руки его дрожали, и все тело лихорадочно вздрагивало. Видно было, что он ждал наступления рассвета с тоской и тревогой.

«Что с вами? — спросил я его. — Ваш недуг дает себя чувствовать сильнее обыкновенного?»

«Мой недуг? — переспросил он, — какой недуг? Неужели вы, как и все, думаете, что я болен? Что существует мой недуг? На свете нет ничего моего. Понимаете? Ничего такого, что бы принадлежало мне. Зато я принадлежу кому-то».

Я привык к его странным речам и потому ни-

чего не ответил ему. Но я продолжал смотреть на него, и взгляд мой, должно быть, был очень кроток; он снова приблизился к моей постели и дотронулся рукой в перчатке до моего лба.

«У вас нет никаких признаков лихорадки, — произнес он, — вы совершенно здоровы и спокойны. Кровь ваша спокойно течет в жилах. Поэтому вам можно сказать вещь, которая вас испугает; иначе говоря, я могу вам сказать, кто я. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно, потому что вряд ли я смогу два раза повторить одно и то же; а я должен вам рассказать это».

С этими словами он бросился в фиолетовое кресло у моей постели, затем продолжал более громким голосом.

«Я — не реальный человек. Я не такой человек, как другие, не человек из плоти и крови, я не рожден женщиной. Мое рождение не похоже на рождение ваших собратьев; никто не укачивал меня, не следил за тем, как я рос; я не знал ни мятежной юности, ни сладости кровных уз. Я — я говорю вам это, хотя и не знаю, поверите ли вы мне, — я не что иное, как образ, созданный во сне. Я трагическое воплощение одного из образов, созданных фантазией Шекспира: я сделан из того же, из чего сотканы ваши сны. Я суще-

ствую потому, что кто-то видит меня во сне, что кто-то спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую и в настоящий момент говорю все это. С того момента, как этот кто-то увидел меня во сне, я начал существовать; в тот момент, когда он проснется, мое бытие прекратится. Я — плод его воображения, его творчества, создание его ночных фантазий. Сон этого кого-то так продолжителен и глубок, что я сделался видимым и людям бодрствующим. Но мир бодрствования, мир реальной действительности не для меня. Я чувствую себя так не по себе в грубой обстановке вашего существования. Моя настоящая жизнь течет медленно в душе моего спящего творца...

Не думайте, что я говорю загадками и намеками. То, что я говорю вам, правда, истинная, ужасная правда. Не расширяйте же так удивленно своих зрачков. Перестаньте глядеть на меня с выражением ужаса и сострадания.

Но не то меня мучает, что я лицо, действующее во сне. Некоторые поэты утверждают, что жизнь человеческая есть только сон, а некоторые философы учат, что действительность есть не что иное, как галлюцинация. Меня же преследует другая мысль: кто тот, кто видит меня во сне? Кто он, это неведомое мне создание, которому я

принадлежу, чей усталый мозг дал мне жизнь, и кто, проснувшись, погасит мое существование, как ветер гасит огонь. Уж сколько дней я думаю об этом моем спящем властелине, о моем создателе, давшем мне мое эфемерное существование. Он, должно быть, велик и могуществен; для него наши годы — минуты, вся жизнь человека — несколько его часов, вся история человечества — одна его ночь. Сны его такие живые и сильные, что они отбрасывают отражения во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир есть только вечно изменяющийся продукт перекрещивающихся снов созданий, подобных ему. Но я не стану делать обобщений. Предоставим метафизику быть неосторожным. Для меня достаточно ужасной уверенности в том, что я — плод воображения великого мечтателя.

Кто же он? Вот давно волнующий меня вопрос. Вы прекрасно понимаете, как важно для меня знать это. Вся моя судьба зависит от того, каков будет ответ на этот вопрос. Действующие лица снов пользуются сравнительно большой свободой, и жизнь моя не всегда определяется моим происхождением; она во многом зависит и от меня. Но для того чтобы избрать стиль жизни, я должен был знать, кто тот, кто видит меня во сне.

Первое время меня пугала мысль, что малейшая причина может разбудить его и, следовательно, уничтожить меня. Какой-нибудь крик, шум, дуновение ветра могут внезапно превратить меня в ничто. Жизнь мне нравилась тогда, и я мучительно старался угадать привычки и страсти моего неведомого обладателя, чтобы придать своей жизни формы, отвечающие его вкусу. Я дрожал при мысли о том, что могу совершить какой-нибудь поступок, который испугает и разбудит его. Одно время я представлял его себе чем-то вроде мистического евангелического божества и старался вести самую добродетельную жизнь в мире. Иногда же мне казалось, что он языческий герой; и тогда я надевал венок из широких виноградных листьев, пел вакхические гимны и плясал с холодными нимфами на лесных лужайках. Однажды я даже подумал, что я сон какого-нибудь великого, вечного мудреца, живущего в высшем духовном мире, и я стал проводить долгие ночи над изучением бесчисленных звезд, измерений мира и состава органических веществ.

Но наконец мне надоело служить зрелищем для этого неизвестного и неуловимого существа; я понял, что такая притворная жизнь не стоит всей этой лести, всего подличанья. Тогда я стал

страстно желать того, что раньше так пугало меня, — его пробуждения. Я старался наполнить свою жизнь такими ужасами, что он должен был бы в страхе проснуться и вскочить. Я все делал, чтобы добиться покоя небытия; все, чтобы прервать грустную комедию своей внешней жизни, чтобы уничтожить смешной призрак жизни, делающий меня подобным человеку.

Никакое преступление не было мне чуждо; я не отступал ни пред какой гнусностью, ни пред каким ужасом. Я с утонченным зверством убивал невинных людей; я отравил воду целого города; поджег в одно и то же мгновенье волосы целой толпы молодых женщин; своими зубами, которым желание самоуничтожения придавало силу, я разрывал детей, попадавшихся мне на пути. По ночам я искал общества гигантских, черных, шипящих чудовищ, людям неведомых; я принимал участие в невероятных проделках гномов и кобольдов; я бросился с вершины высокой горы в голую, дикую долину, окруженную пещерами, полными белых костей; я научился от колдуний кричать, как кричат отчаявшиеся звери, и самые смелые люди вздрагивали при этих звуках. Но, очевидно, тот, кто меня видит во сне, не боится того, что заставляет дрожать вас, людей. Он или

наслаждается при виде всех этих ужасов или же не замечает их и не боится. Так до сих пор мне не удалось разбудить его, и мне приходится продолжать влачить жалкое, рабское, нереальное существование.

Кто ж освободит меня? Когда взойдет заря моего освобождения? Когда пробьет колокол, когда запоет петух, когда раздастся голос, который разбудит его? Я так давно жду освобождения! Так нетерпеливо жду конца этого глупого сна, в котором я играю такую нелепую, однообразную роль...

В настоящую минуту я делаю последнюю попытку. Я говорю своему властелину, что я — сон; пусть ему снится, что он видит сон. Ведь это бывает с людьми, не правда ли? И когда они замечают, что видят сон, то просыпаются ведь? Потому-то я и пришел к вам и рассказываю вам все это, что хочу, чтобы тот, кто меня создал, понял, что я не реальное существо, и прекратил мое призрачное существование. Как вы думаете, удастся мне это? Удастся ли мне разбудить своего невидимого господина, если я буду кричать, повторять это?»

Произнося эти слова, он извивался в кресле, то снимая, то надевая перчатку, и смотрел на меня все более блуждающим взором. Казалось,

он ждет, что вот-вот произойдет что-нибудь страшное, необыкновенное. Лицо его было, как у умирающего. От времени до времени он пристально смотрел на свое тело, как бы ждал, что оно развалится, и нервно поглаживал лоб.

«Вы верите всему этому, — произнес он, — вы чувствуете, что я не лгу? Но почему я не могу исчезнуть, почему не могу покончить с собой? Неужели сон, в котором я принимаю участие, никогда не кончится? Неужели это сон вечного мечтателя? Отгоните от меня эту ужасную мысль. Утешьте меня: подскажите мне какой-нибудь план, интригу, обман, который убьет меня. Я прошу вас об этом всей душой. Неужели вам не жаль этого усталого, соскучившегося призрака?»

И так как я продолжал молчать, он еще раз взглянул на меня и встал. Он показался мне гораздо выше, чем раньше, и я еще раз обратил внимание на его прозрачную кожу. Видно было, что он очень страдает. Тело его извивалось: он напоминал зверя, желающего выбраться из опутавшей его сети. Нежная рука в перчатке сжала мою — в последний раз. Пробормотав что-то тихим голосом, он вышел из комнаты. С этого момента он стал видим только для одного.

«Трагическая повседневность» (1906)

Мануэль Пейру

Бюст

Он завязал галстук и, потянув конец вниз, чтобы закрепить узел, придержал его при этом двумя пальцами, с тем, чтобы распрямить ткань и не допустить появления малейших складочек. Он надел синий пиджак и проверил, как смотрится в нем. Быть безупречно одетым означало для него чувствовать себя комфортно. Довольный — и имея к тому все основания — он вышел из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Он не смог присутствовать в церкви, но рассчитывал до десяти добраться до дома своей сестры. Это был день бракосочетания его старшего племянника, с которым его связывали не столько родственные, сколько дружеские отношения. Он прошествовал мимо привратников соседних домов, сдержанно поздоровавшись с ними; выглядел он элегантно, несмотря на свой возраст — высокий, смуглый, с чуть тронутыми серебром черными волосами.

В витрине магазина подарков были выставлены дорогие ювелирные изделия. Колье, в котором сочетались разные драгоценные камни, отбрасывало радужные блики на красную подкладку своего футляра; кольцо с топазом, пара бриллиан-

товых серег и некоторые другие вещицы, подобно маленьким искусственным звездочкам, сияли под светом ламп. Он проследил, чтобы брошь, выбранная им для своей новой родственницы, и бриллиантовые запонки для жениха были хорошо упакованы. Удовлетворенный, он отправился на встречу с новобрачными.

— Не станешь же ты меня уверять, что в нем нет ничего необычного, — раздался вдруг голос племянника, заставший его врасплох. Оба они находились в одной комнате, но он его не заметил.

— Я не знаю, о чем ты, — сказал он, останавливаясь.

— О бюсте... или как его там...

Он взглянул туда, куда смотрел юноша, затем с озадаченным видом подошел ближе. Его внутреннее чутье научило его пренебрегать обыкновением столичных жителей подвергать высмеиванию то, что непонятно.

— Да, странная вещь... но, на мой взгляд, недурна. Чем-то напоминает манеру Блюмпеля...

Племянник не ответил. Он подошел ближе, обошел пьедестал, на котором размещался бюст, и сказал:

— Мне кажется, спереди он выглядит ужаснее всего...

— Спереди? А где здесь перед? — он остановился в задумчивости. — По-моему, у него нет переда. Во всяком случае, мне кажется неправильным, что ты приписываешь его создателю намерение, которое, возможно, не имело ничего общего с его замыслом.

— Не знаю, дядя, но я воспринимаю его как некое вторжение, присутствие темной силы в привычном кругу вещей...

— Фантазии, мой мальчик, фантазии. Ты всегда был большим выдумщиком. И всегда забывал о самом главном. Например, кто тебе его подарил?

— Здесь есть визитная карточка. Я никогда не слышал этого имени.

Дядя взял карточку и принялся внимательно ее рассматривать со всех сторон с таким видом, словно он мог тут же различить на ней отпечатки пальцев или какие-нибудь другие признаки.

— Может, это твой школьный приятель, о котором ты забыл? — спросил он, возвращая маленький прямоугольник картона.

— Нет, я сверился со списком, который составил для рассылки приглашений. Там его нет.

Дядя подошел к бюсту и рассмотрел его с близкого расстояния.

— Ты видел эту бронзовую пластинку? —

спросил он. — Возможно, она не привлекала внимания, поскольку слегка запачкана землей. Смотри-ка, здесь написано: «Человек этого века».

— И правда, — отозвался юноша, — я ее не заметил. Но о каком веке идет речь? Впрочем, к какому бы он ни относился, он мне не нравится. Я не могу это тебе объяснить, просто не нравится. Мне хочется его выбросить.

Лицо Эдуардо Адемара выражало спокойствие. Он ощущал, как душу его заполняло привычное теплое чувство: ему всегда нравилось давать советы своим близким.

— Мне кажется, так не следует поступать, — сказал он. — Во всяком случае, — добавил он, загораясь внезапно нахлынувшим вдохновением, — ты мог бы воспользоваться возможностью и сделать что-нибудь оригинальное. А заодно найти применение подарку...

Его оживление передалось племяннику.

— Разумеется, но я не знаю, как... Это ведь абсолютно бесполезная вещь...

— Именно поэтому, — продолжил Эдуардо Адемар, — он и подходит для подарка.

У племянника бюст вызывал тревожное беспокойство. Он не считал его подходящим подарком кому бы то ни было.

— Это может быть воспринято как вызов, — заметил он. — К тому же многие уже видели его здесь...

Адемар был приятным и довольно сведущим дилетантом, он любил порассуждать о самых разных вещах и находил в этом удовольствие. Он взглянул на племянника с ироничной усмешкой.

— А почему ты стремишься оценивать этот бюст с эстетической точки зрения? — спросил он. — Я рекомендую тебе рассматривать его как некую странную таинственную вещь. — Племянник озадаченно смотрел на него. — Например, вообрази себе существо, которому не представилась возможность реализоваться. Предположим, у Природы были в проекте пять вариантов лошади и она выбрала тот, который известен нам. Другие же четыре остались неведомыми, но от этого не утратили интерес. Один вариант, возможно, предполагал очень длинные ноги, похожие на ходули, а другой — длинную, как у овцы, шерсть, а третий — цепкий хвост, очень удобный в сельве. Быть может, и это вариант человека, который мог бы существовать. Я вовсе не утверждаю, что так оно и есть. Мне просто нравится это как теория. Я могу представить его

на темной улице, выходящим из ворот, существо, непостижимое для нашего теперешнего понимания, с двумя парами рук и носом сбоку, и как оно говорит отрывисто, словно лает: «Прошу прощения, но я — отвергнутый вариант человека».

— А ты ему в ответ: «В клубе я каждый вечер встречаю вам подобных».

— Не говори глупостей, — оборвал его Адемар, становящийся очень рассудительным, когда другие принимались предаваться фантазиям.

— Идея подарка мне нравится, — сказал племянник. — Но кому его подарить? Почти все мои друзья тут, и если кто еще не видел бюст, обязательно его увидит...

Эдуардо Адемар воскликнул:

— Знаю, кому! Ты подаришь его Олегарио! Его здесь нет. Вчера он отбыл в имение, а через две недели у него свадьба.

Когда спустя две недели Эдуардо Адемар явился в дом Олегарио М. Банфиельда, он уже забыл о произошедшем. Возможно, именно поэтому, а не по какой-либо другой причине он вздрогнул, натолкнувшись на бюст, в то время как проходил по комнатам, с удовлетворением убедившись, что подарки, полученные новобрачными, были не столь богатыми, как те, которые получил его

племянник. Бюст стоял в самом углу, однако казалось, что в убранстве комнаты он занимает главенствующее положение. Адемар обменялся приветствиями с несколькими знакомыми и ушел.

Месяц спустя, уже в разгар лета, он был приглашен в другой дом: женился сын президента компании. Адемар плохо разбирался в биржевых и банковских делах. Он знал, что президент — человек достойный, работящий, но неродовитый — хвастается дружбой с ним, и что хозяйка дома станет восторженно представлять его женам богатых буржуа. Но соображения личной выгоды не позволили ему уклониться от визита. Итак, он прибыл туда, как всегда, элегантно одетым, с тем изыском, который делал его моложе своих лет — цветок в петлице, модный галстук, — и с несомненным благородством всей своей внешности. Он поздоровался с хозяевами дома и новобрачными, а затем, даже не дав возможности сгорающей от нетерпения супруге президента представить его гостям, с почти детской непосредственностью выразил желание прежде посмотреть подарки. По лестнице, уставленной корзинами цветов, они поднялись на второй этаж Бюст стоял посередине просторного салона под сверкающей

хрустальными подвесками люстрой.

В течение лета, а затем осени Эдуардо Адемар побывал еще на нескольких свадьбах. И везде он обнаруживал бюст. Потом в его светской жизни наступило некоторое затишье, лишь среди дня и иногда вечерами он наведывался в клуб.

Однажды ненастным зимним вечером он удобно расположился там, потягивая виски и просматривая газету, когда разговор, происходивший у него за спиной, привлек его внимание и заставил прислушаться. Два господина оживленно беседовали. По доносящимся до него отрывочным фразам он смог понять, что говорили о бюсте. «К счастью, у них было время...» Он недослышал сказанного, потому что мимо с шумом прошел официант, неся уставленный бокалами поднос. Что же им нужно было сделать вовремя? — раздумывал Адемар. Его шутливое предложение, неожиданно пришедшая в голову забавная мысль в день свадьбы племянника, похоже, имело непредвиденные последствия. Он запустил в ход некую силу, породил своего рода обычай, моду. Не понимая, что же произошло, он задался намерением все выяснить. К сожалению, ему не удалось поговорить с теми двумя господами. Прояснение загадки отодвинулось

на неопределенное время. Но впредь он решил быть более внимательным и не упускать новых упоминаний о бюсте. Однажды он вошел в гостиную, когда разговор среди многочисленных собравшихся друзей уже подходил к концу. Ему даже показалось, что речь шла о множестве таких бюстов. Но это мнение было уверенно опровергнуто Педрито Дефферрари Маренко, молодым адвокатом и политиком, которого считали будущей надеждой традиционалистской партии. Говорили об одном-единственном бюсте, от которого все стремились поспешно избавиться, как только его получали. Потрясенный Адемар хранил молчание.

С того момента он стал испытывать серьезную озабоченность. Повод для беспокойства не имел ничего общего с эгоистическим чувством; сидя в кресле на своем обычном месте в клубе, он тщательно проанализировал свои ощущения и понял, что исподволь им овладевал пока еще смутный, но все более его поглощающий благородный порыв. Он стал постоянно думать о племяннике, его счастье, его профессии, его супружеской жизни. Молодые еще продолжали свое длительное путешествие по Европе, и Адемар поистине томился ожиданием тех недель,

которые отделяли его от их возвращения. Наконец, когда они приехали, он несколько дней вынужден был сдерживать свое нетерпение. Однажды вечером он пригласил молодого человека в клуб выпить виски. Поговорив о разных мелочах, связанных с путешествием, он осторожно разузнал интересующие его подробности. Все обстояло хорошо: племянник и его жена были счастливы, деньги водились в избытке, а профессию инженера молодой человек считал своим настоящим призванием. Довольный Адемар едва заметно посмеивался, как заговорщик.

Но через несколько дней он с тревогой отметил, что теперь его стала заботить судьба Олегарио Банфиельда, которому племянник подарил бюст. Здесь дело обстояло сложнее, потому что дружеских отношений между ним и Банфиельдом не существовало, и не было повода повидаться с ним. Тем не менее он принялся наносить визиты общим знакомым, рассчитывая разузнать подробности, он изобретал всевозможные уловки и предлоги, чтобы получить как можно более полные сведения о жизни Олегарио и его супруги. Разумеется, он достиг цели и испытал удовлетворение. Более сложными оказались последующие расследования, поскольку по мере продвижения

в них оказывались участвующими люди, почти совсем незнакомые. В конце концов он решил обратиться к частному детективу. Поначалу ему было трудно побороть профессиональное недоверие инспектора Молины. Тот, как искушенный человек, логично предположил сентиментальную подоплеку. Похоже, весьма богатый господин завел дорогостоящую интрижку, желает соблюдения верности и, естественно, стремится получить тому доказательства. Но поскольку круг расследования должен был охватить десять или даже пятнадцать только что вступивших в брак пар, инспектор вынужден был принять доводы, изложенные Адемаром. Вся работа, пояснил клиент, будет заключаться в проведении встреч с целью получения определенных сведений, якобы некая крупная кредитная фирма, название которой на всякий случай надо иметь про запас, проводит широкий опрос с целью выяснения морального и финансового состояния нации. Пару раз Адемар подметил оттенок иронии у инспектора, но, поскольку тот выполнял свои обязанности добросовестно, он оставил это без внимания. В свою очередь, инспектор ежемесячно получал солидное вознаграждение за свои услуги, а потому тоже отбросил мысли, мешающие работе, и

действовал весьма усердно.

По прошествии некоторого времени Адемар обнаружил, что невозможно было составить представление о жизни человека, начиная с момента получения им бюста, если не знать, как он жил раньше. Только сопоставление могло привести к верному выводу. Это открытие чрезвычайно осложнило расследования. Чтобы помочь инспектору, Адемар решил сам подключиться к работе. Круглые сутки он встречался с нужными людьми, запрашивал сведения, долго следовал по улицам за незнакомыми личностями. Несколько месяцев спустя, в одну из туманных ночей, когда он проходил по кварталу Реколета, его охватил внезапный испуг. Малозаметная фигура, почти тень, которую он увидел, обернувшись, вызвала в нем подозрение, что за ним тоже следят. Кровь прилила к голове, чувство страха почти парализовало его. Все же ему удалось прибавить шагу, несколько раз внезапно — по крайней мере, он так полагал — изменить направление пути, сворачивая на перекрестках, и в конце концов добраться до дома. Вскоре он успокоился: раз он вмешивался в жизнь других людей, какое он имеет право препятствовать, чтобы кто-либо вторгался в его жизнь? Но размышлял он над

этим недолго, поскольку очень устал, его физическое и душевное состояние за последние недели значительно ухудшилось.

Еще примерно месяц он продолжал свою работу, постоянно ощущая, что за ним внимательно наблюдают, пока наконец недомогание в желудке и легкое покалывание в левой стороне груди не вынудили его обратиться к врачу. Ничего серьезного, заверил тот. Диета, отказ от алкоголя, курс инъекций — и будет как новенький. Он вернулся к себе домой на улицу Ареналес и лег в постель. Назавтра был его день рождения, и он хотел быть в форме, чтобы принять гостей. Но проснувшись, он обнаружил, что ему не удастся вместе с друзьями отметить это событие. Сильная боль, ревматическая или какая-то другая, не давала ему пошевелиться. Он вызвал врача, и в полдень тот явился. Действительно, его легкое нездоровье осложнилось люмбаго.

Целый день он провел в постели. Слуга пропустил к нему нескольких друзей, зашедших его поздравить, приносили и подарки. В девять вечера слуга ушел, получив разрешение сходить в кино. Адемар велел ему неплотно закрыть дверь на случай, если зайдет еще кто-нибудь из знакомых. Спустя полчаса в дверь постучали, и, не дождавшись ответа, вошел посыльный. Склонясь под тяжестью ноши, он втащил сверток и поставил его на столике в прихожей. Затем он приблизился к постели, вручил письмо и удалился. Сверток в соседней комнате казался темной тенью. Согнутый от боли, не имея возможности привстать, Адемар вскрыл пакет и достал из него визитную карточку. Имя было ему совершенно незнакомо. Хотя нет, он видел его однажды, в день свадьбы племянника, на карточке, приложенной к бюсту! Адемар в тревоге протянул руку к телефону. Приложив трубку к уху, он убедился, что телефон не работал. Он снова с трудом попытался приподняться, но напрасно. Грудь его сдавило так, что в голове помутилось, и сжимало все сильнее, сильнее... Прихожую заполнила похожая на разлившийся кофе тьма, которая проникла и в комнату.

«Повторяющаяся ночь» (1953)

Карлос Перальта

Рани

Между доном Педро, мясником, и мною отношения пока были весьма поверхностными. Слишком уж по-разному мы жили. Для него жить означало неутомимо рубить туши в дурно пахнущей прохладе мясной лавки, для меня — извлекать в большом количестве листы из пачки дешевой бумаги и вставлять их в пишущую машинку. Почти все наши ежедневно совершаемые действия подчинялись несхожему ритуалу. Я наведывался к нему, чтобы заплатить по счетам, но не присутствовал, к примеру, на праздновании помолвки его дочери. Однако подвернись случай, я не счел бы это неуместным.

Такие вот мысли вяло бродили у меня в голове, когда я повстречал мясника, с трудом тащившего корзину, в которой лежала добрая четверть туши.

— Это вы для ресторана за углом? — поинтересовался я.

— Нет, тут напротив, в дом 46.

— Должно быть, «зарефрижируют», — брякнул я жутко нескладный глагол, пришедший мне на ум.

— Да они по стольку каждый день берут, — заметил дон Педро.

— Что вы говорите! Неужели все съедают?

— А если и не съедают, им же хуже, не так ли? — ответил мясник.

Тут же я узнал, что в доме 46 проживает супружеская чета. Мужчина невысок ростом и такой прилизанный. А жена, должно быть, большая лентяйка, поскольку вечно встречает мясника в растрепанном виде. Не беря в расчет подобной детали да четверти туши, что являлось, по-видимому, их единственным предосудительным недостатком, в остальном это были добропорядочные люди. Они всегда возвращались домой до наступления темноты, то есть до восьми вечера летом и до пяти — зимой. Однажды — об этом поведал дону Педро привратник — они, судя по всему, чересчур уж шумно отмечали что-то, поскольку соседи жаловались. Вроде бы кто-то весьма похоже подражал голосам животных.

— Тсс! — прошептал дон Педро, поднося к губам жутковато выглядящий палец, измазанный кровью. Подошел мужчина, по всей видимости, тот, который за неделю съедал двух коров или по крайней мере одну, если его достойная половина помогала ему в этом занятии. Он торопился и не

заметил меня. Достав бумажник, он принялся отсчитывать крупные купюры, совсем новенькие.

— Четыре тысячи, — приговаривал он. — Шестьсот... два. Вот, возьмите.

— Привет, Каррасидо, — обратился я к нему. — Вы меня помните? — Я некогда знал его. Он был адвокатом. — Оказывается, мы соседи.

— Кого я вижу! Перальта! Здравствуйте. Вы здесь живете? — воскликнул он с прежней профессиональной любезностью.

— В доме рядом. А у вас, как видно, все в порядке. И аппетит отменный, не так ли?

— Нет, — ответил он. — В еде я довольствуюсь малым. И кроме того, знаете ли, печень беспокоит.

— А как же тогда...

— Ах, вы о мясе? Это совсем другое дело. — Казалось, он помрачнел, а затем деланно рассмеялся, словно закашлялся. — Спешу, у меня дела. До свидания, дружище. Заходите как-нибудь днем в гости, пораньше, в субботу или воскресенье. Я живу в доме 46, квартира 860. — Он поколебался. — Знаете, мне хотелось бы поговорить с вами. — Готов поклясться, в голосе его прозвучали умоляющие нотки, что заинтриговало меня.

— Обязательно зайду, — сказал я. — До суб-

боты.

Дон Педро проводил его взглядом.

— Поди узнай, в чем тут дело, — пробормотал он. — Каждая семья — это особый мир.

Бывало, годами я не встречал старых друзей по школе, университету или прежней работе, а в этот день я повстречал сразу двоих. Сначала Каррасидо, а затем Гомеса Кампбелла. С этим мы зашли в «Бостон» выпить кофе, и я рассказал ему о том, что видел Каррасидо. Он помнил его, но, очевидно, воспоминания были не из приятных.

— Не нравится мне этот тип, — буркнул он. — Дрянной человечишка и подлый.

— А мне он кажется довольно безобидным, — заметил я.

Он помолчал, пока официант подавал кофе.

— Я познакомился с ним давно, — начал он. — До того, как поступить в министерство, я работал в Кредитном банке. Он уже был женат. Можете себе представить, мне пришлось разоблачить его как растратчика, поскольку он просадил кучу денег на скачках. Его уже хотели выгнать с работы, но он оказался другом управляющего, ему удалось возместить недостачу, это его и спасло. А потом его назначили асессором в министерство, и дела его пошли в гору. К тому же, по-моему, он

получил наследство.

Этот Гомес Кампбелл, о чем я еще не сказал, был продувная бестия.

— Слово даю, — продолжал Гомес, — я обрадовался за него и пошел поздравить. Знаете, что он мне сказал? «Помолчи, лицемер» — вот как он меня обозвал. Это меня-то, кто первым явился с поздравлениями от чистого сердца, со всем уважением. Так нельзя поступать. Человек должен уметь забывать раздоры и пустяковые обиды. А тех, кто не умеет этого, подобно Каррасидо, рано или поздно настигнет расплата. — Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность предостережения. — Я все же получил место, но чего мне это стоило. А еще мне кажется, у него нелады с женой. Она живет своей жизнью, а он — своей. Уж слишком она красива и выше его ростом, но в наследство от свекра ему досталось большое количество недвижимости, вот и приходится ему терпеть ее выходки.

Оркестр весело наигрывал вальсок.

— Да по мне пусть он провалится, — продолжал Гомес Кампбелл. — Видели бы вы, как он распускал хвост перед всеми подряд сотрудницами министерства. Жена, понятное дело, не обращала на это внимания.

Вскоре мы расстались. Случайный разговор, построенный на изливании презрения и проявлении любопытства, быстро исчерпал себя. Гомес Кампбелл холодно пожал мне руку и исчез в уличной толчее на Флориде. А для меня еще более притягательным стал Каррасидо, великий пожиратель мяса, дон Жуан, женатый на красавице, которая, возможно, неверна ему, заядлый игрок на скачках и воришка. Вот уж поистине, никогда не знаешь человека.

В субботу я собирался выйти из дома пораньше, но не смог. Мне нужно было дописать рассказ, который я должен был сдать в понедельник (быть может, именно этот), но работа не шла. Я принял душ, переоделся и, испытывая недовольство собой, отправился в дом 46, квартира 860. Была половина восьмого. Каррасидо встретил меня любезно, но выглядел несколько обеспокоенным, потихоньку приоткрывая дверь.

— Привет, — сказал он. — А я уже не ждал. Вы несколько припозднились.

— Если вы заняты, я могу зайти завтра или послезавтра.

— Нет, нет, — голос его потеплел, — проходите. Сейчас я позову жену.

Обстановка была довольно разностильной, но

подобранной со вкусом. Вызывало недоумение лишь меховое покрывало на диване, оно было располосовано вдоль как будто ножом и почти распадалось надвое. Я потрогал мех, но тут же отдернул руку, заслышав голос Каррасидо.

— А вот и Рани, — произнес он.

Я был ею очарован. Все, что я слышал о ней, не шло ни в какое сравнение. Не знаю, не думаю, что когда-либо мне доведется встретить более прекрасную женщину, так сияли ее зеленые глаза, а эта походка — такая плавная, изящная. Я встал и протянул ей руку, неотрывно глядя ей прямо в глаза Она опустила ресницы и присела рядом со мной на диван, молчаливая, улыбающаяся, по-кошачьи грациозная. Сделав над собой усилие, я отвел от нее взгляд и уставился в окно, не переставая думать о ее ногах, выступавших столь плавно, размеренно. За окном на мягкой синеве сгущающихся над Буэнос-Айресом вечерних сумерек проплывала туча, которая как раз в этот момент из медной становилась темно-лиловой. Какой-то звук отвлек меня: Каррасидо барабанил по столу пальцами, и это было похоже на шум проносящегося поезда.

— Рани, ванна, должно быть, уже готова, — сказал он.

— Да, дорогой, — отозвалась она ласково, поглаживая плотно сжатой в кулак рукой меховое покрывало.

— Рани, — настойчиво повторил Каррасидо.

«Похоже на приказ, — подумал я. — Да он — ревнивец, хочет, чтобы она ушла».

Женщина поднялась и вышла из комнаты. В дверях она обернулась и посмотрела на меня.

— Мы можем спуститься в бар, пропустить по маленькой, — предложил Каррасидо. Я разъярился и ответил:

— Не хочется. Здесь так хорошо. Если вы не возражаете, я бы предпочел остаться.

Он заколебался, но прежняя расположенность вернулась к нему, и вид у него стал умоляющий, который я подметил прежде, почти собачье выражение.

— Ну разумеется, — сказал он. — Возможно, так оно даже лучше. Хотя одному богу ведомо, что лучше. — Он вышел в заднюю комнату и вернулся с бутылкой и двумя бокалами. Усаживаясь, он взглянул на часы.

«Гомес Кампбелл был прав, — подумал я, — ему приходится мобилизовывать всю свою выдержку, чтобы терпеть причуды жены».

И тут послышалось мурлыканье. Поначалу

неторопливое, тихое, отдаленное, потом более громкое. Это было урчание, да какое! У меня было такое ощущение, что голова моя в улье. Не могло же меня так разобрать с одного бокала.

— Не обращайте внимания, — любезно посоветовал Каррасидо. — Это скоро кончится.

Урчание доносилось из дальних комнат. Затем раздался громкий рык, от которого я вскочил с дивана.

— Что это? — воскликнул я, бросаясь к двери.

— Ничего особенного, — спокойно заметил Каррасидо, преграждая мне дорогу.

Я оттолкнул его в сторону с такой силой, что он отлетел и плюхнулся в кресло.

— Не кричите! — сказал он смиренно и добавил: — И не бойтесь!

Я уже отворил дверь. Сначала я ничего не увидел, а потом заметил в полумраке приближающуюся ко мне гибкую и вытянутую фигуру.

Это был тигр. Огромный тигр, самый настоящий, полосатый, грозный, и уже совсем рядом. Я отпрянул и почувствовал, как Каррасидо берет меня за руку. Я снова толкнул его, на этот раз вперед, чтобы он заслонил меня, метнулся к входной двери, открыл ее и заскочил в лифт. Тигр остановился передо мной. На его лоснящейся шее

висело аметистовое ожерелье Рани. Я зажмурился, чтобы не видеть этих зеленых глаз, и нажал на кнопку.

Тигр огромными прыжками понесся вниз по лестнице. Я поехал наверх, он последовал за мной. Я снова спустился, на этот раз зверь устал от игры, торжествующе фыркнув, он выбежал на улицу. Я вернулся назад.

— Почему вы меня не послушались? — встретил меня Каррасидо. — А теперь эта дурачина сбежала! — Он налил полный бокал виски и выпил его залпом. Я последовал его примеру. Каррасидо обхватил голову руками и заплакал.

— Я человек смирный, — хныкал он. — Я женился на Рани, не подозревая, что по ночам она превращается в тигра.

Он оправдывался. Невероятно, но он оправдывался.

— Вы и представить не можете, каково было поначалу, когда мы еще не жили в городе, — продолжил он, желая поведать о сокровенном.

— Какое мне до всего этого дело! — рассердился я. — Надо звонить в полицию, в зоопарк, в цирк. Нельзя же, чтобы тигр разгуливал по улице!

— Не беспокойтесь. Моя жена никому не причинит вреда. Иногда она немного пугает людей.

А вы сами виноваты, — добавил он, уже слегка захмелев, — я ведь говорил вам, чтобы вы пришли пораньше. Хуже всего, что я не знаю, что предпринять, в прошлом месяце мне пришлось за бесценок продать землю, чтобы рассчитаться с мясником...

Он с жадностью выпил несколько бокалов виски.

— Я слышал, здесь, в Буэнос-Айресе, есть один индус... чародей... на днях я собираюсь к нему, может, он что-нибудь сделает.

Он умолк, продолжая тихонько всхлипывать.

Некоторое время я курил. Я представлял себе, сколь кошмарной должна была быть его жизнь. Вот Рани треплет диван, поскольку всякая другая возня ей не дозволена. Вот она среди ночи заглатывает куски сырого мяса и скользит своим вытянутым телом среди мебели. А Каррасидо сидит и наблюдает за ней... когда же он спит?

Каррасидо уже совершенно опьянел и бормотал что-то невнятное. Голова его бессильно свесилась на грудь. Всхлипывания постепенно сменило спокойное похрапывание. Наконец-то он вернулся в привычный мир работы, бумаг, просителей. Под креслом валялась кость.

Я пробыл там до рассвета. Я тоже вздремнул.

Где-то в семь в дверь позвонили. Я открыл, это была Рани. Волосы растрепаны, одежда в беспорядке, ногти грязные. Выглядела она смущенной и пристыженной. Я отвернулся, чтобы не конфузить ее, впустил в дом, а сам ушел. Прав был дон Педро: каждая семья — это особый мир.

Вскоре я переехал. Много месяцев спустя — любопытно все же, как переплетаются события, которые могут показаться случайными, — я снова встретил Гомеса Кампбелла, как-то вечером в баре на Ривадавии, рядом с площадью. Я рассказал ему эту историю, по-моему, он посчитал меня за сумасшедшего и быстро сменил тему разговора. Мы вышли из бара и молча брели по площади, когда увидели Каррасидо с громадным псом. Собака действительно была огромная, но спокойная и послушная, на шее у нее висело аметистовое ожерелье. Готов поклясться, что она посмотрела на меня своими зелеными глазами. Ее хозяин нас не заметил.

— Индус! — воскликнул я. — Бедняга Каррасидо, похоже, его проблема в некотором отношении уладилась. Пойдем, поприветствуем супругов.

— Ни за что, — заявил Гомес, испуганный и сердитый. — Не здоровайтесь с ним. Мне такие дела не нравятся. Я человек простой. А от подобных

типов лучше держаться подальше.

Напрасно я твердил ему, сколь пагубна эта разобщенность людей в Буэнос-Айресе, это настороженное отношение к странностям других, напрасно призывал его к сочувствию и терпимости. Думаю, он меня даже не слушал.

Барри Пероун

Провал памяти

Анникстер почувствовал братскую нежность к этому человечку и положил ему руку на плечо — отчасти из симпатии, отчасти чтобы не упасть.

С семи часов вечера он добросовестно поглощал спиртное. Было уже около полуночи, и все вокруг виделось ему как бы в тумане. В вестибюле оглушительно гремела задорная музыка, сойдешь две ступеньки вниз — там много столиков, много народу, много шума. Анникстер понятия не имел, как называется это заведение, когда и как он сюда попал. С семи вечера он уже побывал в стольких кабачках...

— Глядишь, ни с того ни с сего, — сказал Анникстер, тяжело опираясь на человечка, — нам дает пинка женщина или же дает пинка судьба. На самом-то деле это одно и то же: женщина и судьба. Ну и что? Ты думаешь, все кончилось, ты уходишь из дому, размышляешь. Садишься за столик, пьешь, размышляешь, и в конце концов оказывается, что у тебя родилась самая блестящая идея за всю твою жизнь. И все начинается вновь, — сказал Анникстер, — это и есть моя философия. Чем больше драматурга бьют, тем

лучше он работает!

Он так горячо жестикулировал, что чуть не упал, но человечек его подхватил. Да, на этого человечка можно было положиться, рука у него была сильная. Складка губ тоже говорит о силе — прямая, бесцветная линия. Очки с шестиугольными стеклами, жесткая фетровая шляпа, элегантный серый костюм. Рядом с побагровевшим Анникстером он казался бледным, прилизанным.

Девушка-гардеробщица равнодушно смотрела на них из-за барьера.

— Не думаете ли вы, — сказал человечек, — что пора бы отправиться домой? Я чрезвычайно польщен, что вы мне рассказали сюжет вашей пьесы, но...

— Мне надо было кому-то его рассказать, — сказал Анникстер, — иначе у меня голова бы лопнула! Ах, дружище, какая драма! Какое убийство! Правда ведь? А этот финал...

Его снова поразило безупречное, ослепительное совершенство финала. Он стал серьезен, задумчив и, покачиваясь, вдруг ощупью нашел руку человечка и горячо ее пожал.

— К сожалению, я не могу остаться, — сказал Анникстер. — Дела!

Он надел свою шляпу со вмятиной и, пройдя через вестибюль по слегка эллиптической линии, атаковал двустворчатую дверь, распахнул ее обеими руками и исчез во мраке.

Но в его воспаленном воображении мрак был полон огней, они мерцали, подмигивали ему из тьмы. «Запертая комната» Джеймса Анникстера. Нет, «Уединенная комната» Джеймса... Нет, нет, «Голубая комната» Джеймса Анникстера...

Бессознательно он сделал несколько шагов, сошел с тротуара, и тут такси, подъезжавшее к ресторанчику, из которого он вышел, резко, со скрежетом и визгом, затормозило по мокрой мостовой.

И огни исчезли.

«Драматург Джеймс Анникстер вчера вечером, выходя из „Каса Гавана“, был сбит такси. После оказанной ему в больнице помощи в связи с сотрясением мозга и легкими увечьями он вернулся домой».

В вестибюле «Каса Гавана» оглушительно гремела задорная музыка; сойдешь две ступеньки вниз — там много столиков, много народу, много шума. Девушка-гардеробщица с удивлением взглянула на Анникстера — на лбу пластырь, левая рука на перевязи.

— О, Господи! — сказала девушка. — Вот уж не ожидала увидеть вас здесь так скоро!

— Значит, вы меня помните? — с улыбкой сказал Анникстер.

— Поневоле запомнишь, — сказала девушка. — Из-за вас я всю ту ночь не спала! Я же слышала визг тормозов, как только вы вышли. А потом удар! — Она вздрогнула. — И это мне слышалось всю ночь, и до сих пор слышу, уже целую неделю. Какой ужас!

— Вы очень чувствительны, — сказал Анникстер.

— Да, воображение у меня слишком разыгрывается, — согласилась гардеробщица. — Я знала, что это случилось с вами, еще до того, как подбежала к выходу и увидела, что вы лежите на мостовой. В дверях стоял человек, который с вами разговаривал. Боже мой! — сказала я ему. — Это ваш друг?

— А что он ответил? — спросил Анникстер.

— Он не мой друг, сказал он. Я только что впервые его увидел. Странно, не правда ли?

Анникстер облизнул пересохшие губы.

— Что вы имеете в виду? Он тогда действительно впервые меня увидел.

— Да, но когда человек, с которым ты вместе выпивал, — сказала девушка, — лежит перед

тобой мертвый... А он не мог этого не видеть, он вышел следом за вами. Казалось бы, он, по крайней мере, должен был принять какое-то участие. Но когда таксист стал созывать свидетелей того, что он не виноват, смотрю, тот человек исчез!

Анникстер обменялся взглядом с Рэнсомом, своим литературным агентом, сопровождавшим его. Но он тут же улыбнулся гардеробщице.

— Лежит перед тобой мертвый, — повторил Анникстер. — Да нет же! Меня только немного встряхнуло, только и всего.

Ни к чему было ей объяснять, какое удивительное, какое необычное действие оказала эта «встряска» на его мозг.

— Если бы вы могли себя видеть, как вы лежали на земле, освещенный фарами такси!

— Ах, это опять ваше воображение! — сказал Анникстер. Он мгновение помедлил, потом задал вопрос, ради которого пришел сюда, имевший для него первостепенную важность.

— Кто был тот человек, с которым я разговаривал?

Посмотрев на него, гардеробщица отрицательно покачала головой.

— Я его раньше никогда не видела и после того тоже не видела. Анникстеру показалось, будто

его хлестнули по лицу.

Он-то ждал, отчаянно ждал другого ответа!

Рэнсом успокоительно положил руку ему на плечо.

— Раз уж мы здесь, пойдем выпьем чего-нибудь.

Они спустились по двум ступенькам и вошли в зал, где буйствовал джаз. Официант провел их к столику, и Рэнсом что-то заказал.

— К девушке приставать бесполезно, — сказал Рэнсом. — Она того человека не знает, это ясно. Мой совет тебе — не волнуйся. Думай о чем-нибудь другом. Надо выждать. В конце концов, прошла всего одна неделя с тех пор, как...

— Одна неделя! — сказал Анникстер. — А сколько я сделал за одну эту неделю! Два первых акта и третий до того места, где у меня провал в памяти. А ведь это кульминация сюжета, развязка, главная сцена драмы! Если бы я ее написал, Билл, вся драма, лучшая из всех, которые я сочинил за всю жизнь, была бы готова в два дня, не будь этого, — он постучал себя по лбу, — этого провала в памяти, этого проклятого подвоха памяти!

— Тебя-таки здорово тряхнуло.

— Ты думаешь? — презрительно сказал Анникстер. Он глянул вниз, на руку на перевязи.

— Я ведь даже не почувствовал, не испугался. Я еще в машине «скорой помощи» пришел в себя, и вся пьеса была у меня в уме, я все видел так же отчетливо, как в тот миг, когда меня сбило такси, даже еще более отчетливо, потому что голова у меня была совершенно ясная и я понимал цену своей пьесы. Это же верный успех, промаха быть не может!

— Если бы ты отдохнул, — сказал Рэнсом, — как советовал врач, а не писал, сидя в постели, и днем и ночью!

— Я должен был ее записать. Отдыхать? — с хриплым смехом сказал Анникстер. — Когда у тебя в голове такая вещь, тут не до отдыха. Ради этого ведь живешь, если ты драматург. Это и есть жизнь. За эти пять дней я прожил восемь жизней в восьми действующих лицах. И прожил в них такой полной жизнью, Билл, что лишь когда подошел к этой последней сцене, то понял, что я потерял. Я потерял всю драму! Да, всего только! Каким образом Синтию ударили ножом в комнате без окон, где она заперлась на ключ? Как ухитрился убийца войти? Не одна дюжина писателей почище меня занималась сюжетом запертой комнаты, и никто не решил его так убедительно. А у меня было решение! Боже мой, помоги мне!

Да, было решение! Простое, безупречное, ослепительно ясное — надо было только его однажды увидеть. И в этом суть всей драмы — занавес поднимается в наглухо закрытой комнате и в ней же опускается! Это было мое открытие! Два дня и две ночи, Билл, я пытался снова поймать эту идею. Но она не дается. Я опытный писатель, я знаю свое ремесло, я мог бы закончить пьесу, но тогда она была бы, как все остальные, несовершенной, фальшивой! Она не была бы моей пьесой! А где-то в этом городе бродит человечек в шестиугольных очках, который владеет моей идеей. Владеет, потому что я ему рассказал ее! Я буду искать этого человечка, я верну то, что принадлежит мне!

«Если господин, который вечером 27 января в „Каса Гавана“ столь терпеливо слушал писателя, рассказавшего ему сюжет пьесы, пожелает обратиться по нижеуказанному адресу, он услышит выгодное для себя предложение».

Человечек, который сказал: «Он не мой друг, я только что впервые его увидел».

Человечек, который видел несчастный случай, но не пожелал подождать, чтобы выступить свидетелем.

Девушка-гардеробщица права. В этом и впрямь есть что-то странное.

В последующие дни, когда по объявлению так никто и не откликнулся, Анникстеру стало казаться, что тут кроется нечто большее, чем «что-то странное».

Рука у него уже была не на перевязи, но работать он не мог. То и дело садился за почти законченную рукопись и, перечитывая ее со скрупулезной и мрачной придирчивостью, думал: «Она должна опять появиться!» и снова оказывался перед провалом памяти, перед этой глухой стеной! Тогда он бросал работу и отправлялся бродить — заходил в разные бары и кафе, проезжал многие мили в автобусах и в метро, особенно в часы пик. Тысячи лиц видел он, но только не лицо человечка в шестиугольных очках.

Мысль о нем стала для Анникстера наваждением. Какая несправедливость, как невыносимо, как мучительно думать, что по мелкой, пошлой случайности где-то здесь спокойно бродит некий господин, держа в голове последнее звено замечательной пьесы Джеймса Анникстера, лучшей из всех, какие он написал. Причем бродит, не понимая важности этой идеи и, вероятно, не обладая воображением, способным оценить то, чем он владеет. И, разумеется, не имея ни малейшего понятия о том, как много это значит для Анникс-

тера! Или, может быть, он понимает? Может быть, он не так прост, как ему, Анникстеру, показалось? Видел ли он объявление в газетах? Не замышляет ли чего-нибудь во вред Анникстеру?

Чем больше Анникстер размышлял, тем сильнее убеждался, что девушка-гардеробщица права. Было что-то весьма странное в поведении человечка после несчастного случая.

Воображение Анникстера все возвращалось к человечку, которого он искал, пытаясь проникнуть в его мысли, уловить причину его исчезновения после несчастного случая, его нежелания откликнуться на объявление.

А воображение Анникстера неустанно создавало драматические ситуации.

Человечек, который показался ему простаком, стал принимать в мыслях Анникстера зловещий облик.

Но стоило ему снова увидеть человечка, и он понял, как нелепы были эти мысли. Просто смешны. Вид у человечка был такой благопристойный, держался он так прямо, серый костюм был так элегантен, и черная шляпа аккуратно сидела на голове.

Двери вагона подземки уже закрывались, когда Анникстер увидел, что человечек стоит на плат-

форме с небольшим чемоданчиком в одной руке и вечерней газетой под мышкой другой руки. Свет из вагона падал на его бледное, надменное лицо, шестиугольные очки блестели. Человечек повернулся к выходу, меж тем как Анникстер, кинувшись к полузакрывшимся дверям вагона, протиснулся наружу на платформу.

Вытягивая шею, чтобы смотреть поверх голов, Анникстер локтями прокладывал себе дорогу, перескакивал через ступеньки и, поднявшись по лестнице, положил руку на плечо человечку.

— Минутку, — сказал Анникстер. — А я-то вас ищу!

Ощутив руку Анникстера, человечек мгновенно остановился. Затем обернулся и посмотрел на него. Глаза его за шестиугольными стеклами были блеклые, тускло-серого цвета. Линия затылка прямая, волосы тоже сероватые.

Анникстер почувствовал к человечку братскую нежность. Одно то, что он его встретил, принесло ему огромное облегчение — словно рассеялась черная туча, омрачавшая его душу. Он ласково потрепал человечка по плечу.

— Мне надо с вами поговорить, — сказал Анникстер. — Совсем недолго. Отойдемте куда-нибудь в сторону.

— Не представляю себе, о чем вам надо со мной поговорить, — сказал человечек.

Он слегка посторонился, пропуская женщину. Толпа становилась реже, но по лестнице все еще поднимались и спускались люди. Человечек с учтивым вниманием взглянул на Анникстера.

— Конечно, не представляете, — сказал Анникстер. — Это такая глупость. Я имею в виду сюжет.

— Сюжет?

Анникстера слегка передернуло.

— Видите ли, — сказал он, — я в ту ночь был пьян, сильно пьян! Но когда вспоминаю ее, мне кажется, что вы-то были совершенно трезвы. Разве не так?

— Я в жизни не был пьян.

— Слава Богу! — сказал Анникстер. — Тогда вам будет нетрудно вспомнить один небольшой эпизод, который я хотел бы от вас услышать.

— Не понимаю, — сказал человечек. — Я уверен, что вы приняли меня за кого-то другого. Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Я вас никогда не видел. Извините. Спокойной ночи.

Он повернулся и стал спускаться по лестнице. Анникстер, опешив, смотрел ему вслед. Он не верил своим ушам. В полной растерянности постоял секунду, потом волна гнева и изумления

вытеснила все прочие чувства. Он побежал вверх по лестнице и схватил человечка за руку.

— Постойте, — сказал Анникстер. — Возможно, что я был пьян, но...

— В этом я не сомневаюсь, — сказал человечек. — Уберите, пожалуйста, свою руку.

Анникстер овладел собой.

— Извините, — сказал он. — Я бы хотел выяснить одну вещь: вы говорите, что никогда меня не видели. Значит, вы не были в «Каса Гавана» двадцать седьмого, между десятью и двенадцатью вечера? Не выпили со мной несколько рюмок и не слышали сюжет драмы, который у меня тогда возник?

Человечек пристально посмотрел на Анникстера.

— Я же вам сказал — я никогда вас не видел.

— Не видели, как меня сбило такси? — с волнением продолжал Анникстер. — Не сказали девушке-гардеробщице: «Он не мой друг, я только что впервые его увидел»?

— Не понимаю, о чем вы говорите, — сухо ответил человечек.

Он хотел было уйти, но Анникстер снова схватил его руку.

— Я ничего не знаю, — сквозь зубы произнес

Анникстер, — о ваших личных обстоятельствах и не хочу знать. Возможно, у вас есть какая-то причина на то, чтобы не желать быть свидетелем по поводу дорожного происшествия. Этого я не знаю, до этого мне нет дела. Однако есть другой факт. Вы тот человек, которому я рассказал свою драму! Я хочу, чтобы вы мне пересказали ее так, как я вам ее изложил; на это у меня есть причины, причины личного порядка, меня одного касающиеся. Я хочу, чтобы вы мне возвратили мой рассказ, только и всего. Мне ни к чему знать, кто вы, каковы ваши дела, я только хочу, чтобы вы мне повторили мой рассказ.

— Вы просите невозможного, — сказал человечек, — да, невозможного, потому что я никогда не слышал ваших рассказов.

— Может, дело в деньгах? Скажите, сколько вы хотите, я вам заплачу. Помогите мне, я готов согласиться на ваше участие в авторстве драмы! А ведь это деньги. Я-то знаю, это моя профессия. А может быть, может быть, — сказал Анникстер, запнувшись от внезапно блеснувшей мысли, — это и ваша профессия?

— Вы рехнулись или пьяны, — сказал человечек. Резким движением он высвободил свою руку и поспешил вверх по лестнице. Слышно было,

как внизу загромыхал поезд. Опять стало много народу. Человечек нырнул в толпу и с поразительной быстротой исчез.

Он был невысокий, проворный, а Анникстер был мужчина грузный. Когда Анникстер вышел на улицу, человечка и след простыл.

Исчез.

Неужели он замыслил украсть сюжет? — думал Анникстер. Может быть, по странному совпадению, этот человечек лелеет честолюбивую мечту стать драматургом? Может быть, он уже набегался понапрасну со своими драгоценными рукописями по разным издательствам? Может быть, сюжет Анникстера блеснул перед ним как ослепительный луч света во мраке разочарований и неудач, как нечто такое, что он мог безнаказанно украсть, приняв за случайное озарение пьянчуги, который на другой день забудет о том, что придумал что-то более значительное, чем остроумная байка?

Он выпил еще рюмку. Их набралось уже с полтора десятка с тех пор, как человечек в шестиугольных очках сбежал от него, и он приближался к той степени опьянения, когда терял счет заведениям, в которые наведывался. К той степени, когда к нему приходила бодрость и мозг начинал

лучше работать.

Анникстер представлял себе, что чувствовал человечек, слушая его сюжет и постепенно осознавая, что это такое.

— Боже правый! — наверно, думал человечек. — Я должен это присвоить. Он пьян, он наклюкался как сапожник. Завтра он не вспомнит ни слова! Дальше, дальше! Продолжай, приятель!

Смешно было даже представить себе, что Анникстер на другое утро забудет свою пьесу. Анникстер многое забывал, забывал очень важные вещи, но никогда в жизни он не забыл ни одной самомалейшей детали своих драм.

Кроме одного раза, и то потому, что его сшибло такси. Анникстер выпил еще рюмку. Это было ему необходимо. Теперь он в норме. Никакого человечка в шестиугольных очках нет, прояснить это темное пятно некому. Он сам должен это сделать. Любым способом!

Он выпил еще рюмку. До нее уже было выпито немало. В баре было полно народу, шумно, но он не замечал шума, пока кто-то не хлопнул его по плечу. Это был Рэнсом.

Анникстер встал, упираясь в стол суставами согнутых пальцев.

— Послушай, Билл, — сказал Анникстер. — Как

ты считаешь? Вот человек забыл какую-то мысль. Он хочет ее снова вспомнить и вспоминает! Ведь мысль идет изнутри наружу, правда? Выходит наружу, потом возвращается внутрь. Как по-твоему?

Он покачнулся, не спуская глаз с Рэнсома.

— Ты бы выпил еще рюмашку, — сказал Рэнсом. — Я должен хорошенько это обдумать.

— Я сам, — сказал Анникстер, — я сам уже обдумал! — Он нахлобучил на голову смятую шляпу. — До свидания, Билл! У меня много дел!

Выписывая зигзаги, он вышел из зала и направился домой. Минут через двадцать его слуга Джо открыл ему дверь, когда он тщетно пытался попасть ключом в замочную скважину.

— Добрый вечер, сэр, — сказал Джо.

Анникстер уставился на него.

— Я ведь не просил тебя остаться на эту ночь.

— А мне незачем было уходить, сэр, — объяснил Джо.

Он помог Анникстеру снять пальто.

— Ты знаешь, мне иногда хочется побыть ночью одному, в тишине. Ты можешь уйти, — сказал Анникстер.

— Спасибо, сэр, — сказал Джо. — Я только сложу кое-что в чемодан.

Анникстер зашел в свою просторную библиотеку и налил себе стакан.

Рукопись драмы лежала на письменном столе. Слегка пошатываясь, Анникстер со стаканом в руке постоял, растерянно глядя на беспорядочную груду желтой бумаги, но к чтению не приступил. Он подождал, пока не услышал, что ключ в замке повернулся и что Джо, заперев наружную дверь, ушел; тогда он взял со стола рукопись, графин, стакан и портсигар. Нагрузившись всем этим, вышел в холл и направился к комнате Джо.

Комната изнутри запиралась на задвижку, во всей квартире она одна была без окон: обе эти ее особенности делали только ее пригодной для его целей.

Он включил свет.

Комнатка была обставлена скромно, но Анникстер с улыбкой отметил, что покрывало на кровати и подушечка на потрепанном плетеном кресле были голубые. «Голубая комната» Джеймса Анникстера.

Очевидно, Джо перед уходом лежал на кровати и читал вечернюю газету — газета лежала на смятом покрывале, и в подушке было углубление. У изголовья кровати, напротив двери, стоял столик со щетками и салфетками.

Анникстер смахнул все со столика на пол. Положил на столик рукопись и портсигар, поставил графин и стакан, потом подошел к двери и запер ее на задвижку. Пододвинув плетеное кресло к столику, сел и закурил сигарету.

Откинувшись в кресле, он курил, стараясь обрести умственный покой в этом заветном уголке, проникнуться духовной атмосферой, окружавшей Синтию, героиню его драмы, женщину настолько запуганную, что она заперлась в комнате без окон, в наглухо замкнутой комнате.

— Вот так она сидела, — говорил себе Анникстер, — точно так, как сижу я, в комнате без окон, заперев дверь на задвижку. И все же он ее настиг, ударил ножом в комнате без окон, с дверью, запертой на задвижку. Как он это сделал?

А ведь способ был. Он, Анникстер, придумал этот способ, изобрел его, разработал и — забыл. Раньше все обстоятельства были ему ясны. Теперь он нарочно воспроизводил эти обстоятельства, чтобы вновь обрести свою идею. Он поставил себя самого на место жертвы, чтобы в его уме снова возник забытый им способ. Вокруг царила тишина — в квартире, в комнате ни звука. Долгое время Анникстер сидел неподвижно. Сидел, пока не почувствовал, что его сосредоточенность

ослабевает. Он сжал себе голову обеими руками, потом схватил графин и налил себе полный стакан. Он ведь почти вспомнил то, чего так жаждал, он чувствовал, что это совсем близко, вот-вот вспомнится.

— Спокойно, — сказал он себе, — относись к этому спокойно. Отдохни, расслабься. Потом попробуй опять.

Он оглянулся вокруг, ища, чем бы отвлечься, и взял газету, которую читал Джо.

От первых попавшихся ему на глаза слов сердце у него замерло.

«Женщина, на чьем теле обнаружены три ножевые раны, все три смертельные, лежала в комнате без окон, единственная дверь которой была изнутри замкнута на ключ и на задвижку. По-видимому, эти чрезмерные предосторожности были для погибшей привычными — она, вне всяких сомнений, постоянно опасалась за свою жизнь, — полиции она была известна как замаскированная, безжалостная шантажистка.

К необычайной загадке убийства в наглухо замкнутой комнате прибавляется еще одна загадка — как могло это преступление так долго оставаться тайной; по состоянию трупа врач сделал заключение, что убийство совершено дней

двенадцать или четырнадцать тому назад».

Дней двенадцать или четырнадцать тому назад.

Анникстер прочитал заметку еще раз и уронил газету на пол. В висках отчаянно стучало. Он побледнел. Двенадцать или четырнадцать дней? Пожалуй, это точно. Прошло ровно тринадцать суток с тех пор, как он побывал в «Каса Гавана» и рассказал человечку в шестиугольных очках, как можно убить женщину в наглухо запертой комнате.

С минуту Анникстер сидел неподвижно. Затем налил себе вина. Выпил с жадностью, и его вдруг охватило странное чувство — изумления и страха. Он и человечек все эти тринадцать суток находились в сходном затруднительном положении. Обоих оскорбила женщина. Вследствие чего один сочинил драму с преступлением. Другой осуществил эту драму в жизни.

— И я в ту ночь еще предлагал ему соавторство! — подумал Анникстер. — Говорил ему о деньгах, о плате!

Он захохотал. Ни за какие деньги в мире человечек не признался бы, что когда-либо видел Анникстера, этого Анникстера, который рассказал ему сюжет драмы, где убивают женщину в

наглухо запертой комнате. Потому что Анникстер был единственным человеком на земле, который мог его разоблачить. Даже если бы не мог сказать, каким образом человечек совершил убийство, потому что это забыл, он мог навести полицию на его след, сообщить его приметы. А напав на след, полиция почти наверняка стала бы выяснять его причастность к преступлению.

Странно подумать, но он, Анникстер, вероятно, единственная угроза, единственная опасность для аккуратного, бледного человечка в шестиугольных очках. Единственная угроза, и человечек, надо полагать, очень хорошо это понимает. Опасность смертельная, после того как убийство в запертой комнате обнаружено. Сообщение об этом напечатано в сегодняшней вечерней газете, и человечек, возможно, принял свои меры, выследил Анникстера.

А он-то спровадил Джо из дому! Преступник, возможно, готовится напасть на Анникстера, который сейчас находится один в квартире, в комнате без окон, с дверью, запертой на ключ и на задвижку, к которой он сидит спиной.

Анникстер почувствовал внезапный, смертельный, леденящий ужас.

Он приподнялся, но уже было поздно.

Было поздно, так как в этот миг тонкое, острое, беспощадное лезвие ножа, войдя меж ребрами, пронзило его легкие.

Голова Анникстера медленно наклонилась вперед, пока щека его не легла на рукопись драмы. Послышался лишь слабый, странный, невнятный звук, похожий на сдавленный смех.

Анникстер внезапно вспомнил.

Петроний

Волк

Воспользовавшись случаем, я уговорил нашего жильца проводить меня до пятого столба. Это был солдат, сильный как Орк. Двинулись мы после первых петухов — луна вовсю сияет, светло как днем. Дошли до кладбища. Приятель мой остановился у памятников; а я похаживаю, напевая, и считаю могилы. Потом посмотрел на спутника, а он разделся и платье свое у дороги положил. У меня душа в пятки: стою — ни жив, ни мертв. А он помочился вокруг одежды и вдруг обернулся волком... Да, превратился он в волка, завыл и ударился в лес.

Я спервоначала забыл, где я. Затем подошел поднять его одежду — ан, она закаменела. Если кто перепугался до смерти, так это я. Однако вытащил я меч и всю дорогу рубил тени... Мелиса моя удивилась, почему я так поздно.

«Приди ты раньше, — сказала она, — ты бы нам пособил; огромный волк ворвался в усадьбу и весь скот передушил; словно мясник, кровь им выпустил. Но хотя он и удрал, однако и ему не поздоровилось: один из рабов копьем ему шею пробил».

При первом свете побежал я быстрее ограбленного трактирщика в дом нашего Гая. Когда поравнялся с местом, где лежала окаменевшая одежда, вижу: кровь и больше ничего... Пришел я домой. Лежит мой солдат в постели, как бык, а врач лечит ему шею.

«Сатирикон», глава LXII

Эдгар По

Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром

Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства. Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки, хотя бы на время, или пока мы не нашли возможностей продолжить исследование — именно вследствие наших стараний сохранить его в тайне — в публике распространились неверные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало недоверие.

Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил *факты* — насколько я сам сумел их понять. Вкратце они сводятся к следующему.

В течение последних трех лет мое внимание не раз бывало привлечено к вопросам месмеризма, а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах имелось одно весьма важное и

необъяснимое упущение — никто еще не подвергался месмерическому воздействию *in articulo mortis*[96]. Следовало выяснить, во-первых, подвержен ли человек в таком состоянии действию гипноза; во-вторых, ослаблено ли оно при этом или же усилено; а в-третьих, в какой степени и как долго можно задержать гипнозом наступление смерти. Возникали и другие вопросы, но именно эти заинтересовали меня более всего — в особенности последний, чреватый следствиями огромной важности.

Раздумывая, где бы найти подходящий объект для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе «Bibliotheka Forensica»[97] и авторе (под nom de plume[98] Иссахара Маркса) польских переводов «Валленштейна» и «Гаргантюа». Мистер Вальдемар, с 1839 года проживавший главным образом в Гарлеме (штат Нью-Йорк), обращает (или обращал) на себя внимание прежде всего своей необычайной худобой — нижние конеч-

---

[96] Примечания: 96
В состоянии агонии *(лат.)*.

[97] Примечания: 97
«Судебной библиотеки» *(лат.)*.

[98] Примечания: 98
Псевдонимом *(франц.)*.

ности у него очень походили на ноги Джона Рандолфа, — а также светлыми бакенбардами, составлявшими резкий контраст с темными волосами, которые многие из-за этого принимали за парик. Он был чрезвычайно нервен и, следовательно, был подходящим объектом для гипнотических опытов. Раза два или три мне без труда удавалось его усыпить, но в других отношениях он не оправдал ожиданий, которые, естественно, вызывала его конституция. Я ни разу не смог вполне подчинить себе его волю, а что касается *clairvoyance*[99], то опыты с ним вообще не дали надежных результатов. Свои неудачи в этом отношении я всегда объяснял состоянием его здоровья. За несколько месяцев до моего с ним знакомства доктора нашли у него чахотку. О своей близкой кончине он имел обыкновение говорить спокойно, как о чем-то неизбежном и не вызывающем сожалений.

Когда у меня возникли приведенные выше вопросы, я, естественно, вспомнил о мистере Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философскую твердость, чтобы опасаться возражений с *его* стороны; и у него не было в Америке родных,

---

[99] Примечания: 99
Ясновидения *(франц.).*

которые могли бы вмешаться. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и, к моему удивлению, он ею живо заинтересовался. Я говорю «к моему удивлению», ибо хотя он всегда соглашался подвергаться моим опытам, я ни разу не слышал, чтобы он их одобрял. Болезнь его была такова, что позволяла точно определить срок ее смертельного исхода; и мы условились, что он пошлет за мной примерно за сутки до того момента, когда доктора предскажут его кончину.

Сейчас прошло уже более семи месяцев с тех пор, как я получил от мистера Вальдемара следующую собственноручную записку:

> Любезный П.!
>
> Пожалуй, вам следует приехать *сейчас.* Д. и Ф. в один голос утверждают, что я не протяну дольше завтрашней полуночи, и мне кажется, что они вычислили довольно точно.
>
> ***Вальдемар***

Я получил эту записку через полчаса после того, как она была написана, а спустя еще пятнадцать минут уже был в комнате умирающего. Я не видел его десять дней и был поражен страшной переменой, происшедшей в нем за это короткое

время. Лицо его приняло свинцовый оттенок, глаза потухли, а исхудал он настолько, что кости скул едва не прорывали кожу. Мокрота выделялась крайне обильно. Пульс прощупывался с трудом. Несмотря на это, он сохранил удивительную ясность ума и даже кое-какие физические силы. Он ясно говорил, без посторонней помощи принимал некоторые лекарства, облегчавшие его состояние, а когда я вошел, писал что-то карандашом в записной книжке. Он полулежал, обложенный подушками. При нем были доктора Д. и Ф.

Пожав руку Вальдемара, я отвел этих джентльменов в сторону и получил от них подробные сведения о состоянии больного. Левое легкое уже полтора года как наполовину обызвествилось и было, разумеется, неспособно к жизненным функциям. Верхушка правого также частично подверглась обызвествлению, а нижняя доля представляла собой сплошную массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных каверн, а в одном месте имелись сращения с ребром. Эти изменения в правом легком были сравнительно недавними. Обызвествление шло необычайно быстро; еще за месяц до того оно отсутствовало, а сращения были обнаружены

лишь в последние три дня. Помимо чахотки, у больного подозревали аневризм аорты, однако обызвествление не позволяло диагностировать его точно. По мнению обоих докторов, мистер Вальдемар должен был умереть на следующий день (воскресенье) к полуночи. Сейчас был седьмой час субботнего вечера.

Когда доктора Д. и Ф. отошли от постели больного, чтобы побеседовать со мной, они уже простились с ним. Они не собирались возвращаться; однако по моей просьбе обещали заглянуть к больному на следующий день около десяти часов вечера.

После их ухода я откровенно заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине, а также более подробно о предполагаемом опыте. Он подтвердил свою готовность и даже интерес к нему и попросил меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я не чувствовал себя вправе начинать подобное дело, не имея более надежных свидетелей, чем эти люди, на случай какой-либо неожиданности. Поэтому я отложил опыт до восьми часов вечера следующего дня, когда приход студента-медика (мистера Теодора Л-ла), с которым я был немного знаком, вывел меня из затруднения. Сперва я

намеревался дождаться врачей; но пришлось начать раньше, во-первых, по настоянию мистера Вальдемара, а во-вторых, потому, что я и сам видел, как мало оставалось времени и как быстро он угасал.

Мистер Л-л любезно согласился вести записи всего происходящего; все, что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей verbatim[100] или с некоторыми сокращениями.

Было без пяти минут восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его подтвердить возможно явственнее, что он (мистер Вальдемар) по доброй воле подвергается в своем нынешнем состоянии месмеризации.

Он отвечал слабым голосом, но вполне внятно: «Да, я хочу подвергнуться месмеризации», и тут же добавил: «Боюсь, что вы слишком долго медлили».

Пока он говорил, я приступил к тем пассам, которые прежде оказывали на него наибольшее действие. Первое прикосновение моей руки к его лбу сразу подействовало, но затем, несмотря на все мои усилия, я не добился дальнейших результатов до начала одиннадцатого, когда

---

[100] Примечания: 100
Дословно (лат.).

пришли, как было условлено, доктора Д. и Ф. Я в нескольких словах объяснил им, чего я добиваюсь, и, так как они не возражали, установив, что больной уже находится в агонии, я, не колеблясь, продолжал, перейдя, однако, от боковых пассов к продольным и устремив взгляд на правый глаз умирающего.

К этому времени пульс у него уже не ощущался, а хриплое дыхание вырывалось с промежутками в полминуты.

В таком состоянии он пробыл четверть часа. Потом умирающий глубоко вздохнул, и хрипы прекратились, то есть не стали слышны; дыхание оставалось все таким же редким. Конечности больного были холодны, как лед.

Без пяти минут одиннадцать я заметил первые признаки месмерического состояния. В остекленевших глазах появился тот тоскливо устремленный *внутрь* взгляд, который наблюдается только при гипнотическом сне и насчет которого невозможно ошибиться. Несколькими быстрыми боковыми пассами я заставил веки затрепетать, как при засыпании, а еще несколькими — закрыл их. Этим я, однако, не удовольствовался и продолжал энергичные манипуляции, напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепене-

ния тела спящего, предварительно уложив его поудобнее. Ноги были вытянуты, руки положены вдоль тела, на некотором расстоянии от бедер. Голова была слегка приподнята.

Между тем наступила полночь, и я попросил присутствующих освидетельствовать мистера Вальдемара. Проделав несколько опытов, они констатировали у него необычайно глубокий гипнотический транс. Любопытство обоих медиков было сильно возбуждено. Доктор Д. тут же решил остаться при больном на всю ночь, а доктор Ф. ушел, обещав вернуться на рассвете. Мистер Л-л, сиделка и служитель также остались.

Мы не тревожили мистера Вальдемара почти до трех часов пополуночи; подойдя к нему, я нашел его в том же состоянии, в каком он находился перед уходом доктора Ф., то есть он лежал в том же положении; пульс не ощущался; дыхание было очень слабым (и заметным лишь при помощи зеркала, поднесенного к губам); глаза были закрыты, как у спящих, а тело твердо и холодно, как мрамор. Тем не менее это отнюдь не была картина смерти.

Приблизившись к мистеру Вальдемару, я попробовал повести его руку за своей, тихонько водя ею перед ним. Такой опыт никогда не уда-

вался мне с ним прежде, и я не рассчитывал на успех и теперь, но, к моему удивлению, рука его послушно, хотя и слабо, последовала за всеми движениями моей. Я решил попытаться с ним заговорить.

— Мистер Вальдемар, — спросил я, — вы спите?

Он не отвечал, но я заметил, что губы его дрогнули, и повторил вопрос снова и снова. После третьего раза по всему его телу пробежала легкая дрожь; веки приоткрылись, обнаружив полоски белков; губы нехотя задвигались, и из них послышался едва различимый шепот:

— Да, сейчас сплю. Не будите меня! Дайте мне умереть так!

Я ощупал его тело, оказавшееся по-прежнему окоченелым. Правая рука его продолжала повиноваться движениям моей. Я снова спросил спящего:

— А как боль в груди, мистер Вальдемар?

На этот раз он ответил немедленно, но еще тише, чем прежде:

— Ничего не болит — умираю.

Я решил пока не тревожить его больше, и мы ничего не говорили и не делали до прихода доктора Ф., который явился незадолго перед вос-

ходом солнца и был несказанно удивлен, застав пациента еще живым. Пощупав у спящего пульс и поднеся к его губам зеркало, он попросил меня снова заговорить с ним. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, вы все еще спите?

Как и раньше, ответ заставил себя ждать несколько минут; за это время умирающий словно собирался с силами, чтобы заговорить. Когда я повторил свой вопрос в четвертый раз, он произнес очень тихо, почти неслышно:

— Да, все еще сплю — умираю.

По мнению, вернее, по желанию врачей, мистера Вальдемара надо было теперь оставить в его, по видимости, спокойном состоянии вплоть до наступления смерти, которая, как все были уверены, должна была последовать через несколько минут. Я, однако, решил еще раз заговорить с ним и просто повторил свой предыдущий вопрос.

В это время в лице спящего произошла заметная перемена. Глаза его медленно раскрылись, зрачки закатились, кожа приобрела трупный оттенок, не пергаментный, но скорее белый, как бумага, а пятна лихорадочного румянца, до тех пор ясно обозначавшиеся на его щеках, мгновенно *погасли.* Я употребляю это слово потому, что их внезапное исчезновение напомнило мне

именно свечу, которую задули. Одновременно его верхняя губа поднялась и обнажила зубы, которые она прежде целиком закрывала; нижняя челюсть отвалилась с отчетливым стуком, и в широко раскрывшемся рту показался распухший и почерневший язык. Я полагаю, что среди нас не было никого, кто бы впервые встретился тогда с ужасным зрелищем смерти; но так страшен был в тот миг вид мистера Вальдемара, что все отпрянули от постели.

Здесь я чувствую, что достиг того места в моем повествовании, когда любой читатель может решительно отказаться мне верить. Однако мое дело — просто продолжать рассказ.

Теперь мистер Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни; сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечениям сиделки и служителя, как вдруг язык его сильно задрожал. Это длилось несколько минут. Затем из неподвижных разинутых челюстей послышался голос — такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в целом невозможно по той

простой причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако две особенности я счел тогда — и считаю сейчас — характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас — по крайней мере, до меня — словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых (тут я боюсь оказаться совершенно непонятным), он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого.

Я говорю о «звуках» и «голосе». Этим я хочу сказать, что звуки были вполне — и даже пугающе — членораздельными. Мистер Вальдемар *заговорил* — явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал:

— Да — нет — я *спал* — а теперь — теперь — я *умер.*

Никто из присутствующих не пытался скрыть и не отрицал потом невыразимого, леденящего ужаса, вызванного этими немногими словами. Мистер Л-л (студент-медик) лишился чувств. Служитель и сиделка бросились вон из комнаты и ни за что не захотели вернуться. Собственные

мои ощущения я не берусь описывать. В течение почти часа мы в полном молчании приводили в чувство мистера Л-ла. Когда он очнулся, мы снова занялись мистером Вальдемаром.

Состояние его оставалось во всем таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаруживало теперь никаких признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки не удалась. Следует также сказать, что эта рука уже не повиновалась моей воле. Я тщетно пробовал заставить ее следовать за движениями моей. Единственным признаком месмерического влияния было теперь дрожание языка всякий раз, когда я обращался к мистеру Вальдемару с вопросом. Казалось, он пытался ответить, но усилия оказывались недостаточными. К вопросам, задаваемым другими, он оставался совершенно нечувствительным, хотя я и старался создать между ним и каждым из присутствующих гипнотическую *связь.* Кажется, я сообщил теперь все, что может дать понятие о тогдашнем состоянии усыпленного. Мы нашли новых сиделок, и в десять часов я ушел вместе с обоими докторами и мистером Л-лом.

После полудня мы снова пришли взглянуть на пациента. Состояние его оставалось прежним. Мы не сразу решили, следует ли и возможно ли

его разбудить, однако скоро все согласились, что ничего хорошего мы этим не достигнем. Было очевидно, что смерть (или то, что под нею обычно разумеют) была приостановлена действием гипноза. Всем нам было ясно, что, разбудив мистера Вальдемара, мы вызовем немедленную или, во всяком случае, скорую смерть.

С тех пор и до конца прошлой недели — *в течение почти семи месяцев* — мы ежедневно посещали дом мистера Вальдемара, иногда в сопровождении знакомых врачей или просто друзей. Все это время спящий оставался *в точности* таким, как я его описал в последний раз. Сиделки находились при нем безотлучно.

В прошлую пятницу мы наконец решили разбудить или попытаться разбудить его; и (быть может) именно злополучный результат этого последнего опыта породил столько толков в различных кругах и столько безосновательного, на мой взгляд, возмущения.

Чтобы вывести мистера Вальдемара из гипнотического транса, я прибегнул к обычным пассам. Некоторое время они оставались безрезультатными. Первым признаком пробуждения было частичное опущение радужной оболочки глаз. Мы отметили, что это движение зрачков

сопровождалось обильным выделением (из-под век) желтоватой жидкости с крайне неприятным запахом.

Мне предложили воздействовать, как прежде, на руку пациента. Я попытался это сделать, но безуспешно. Тогда доктор Ф. пожелал, чтобы я задал ему вопрос. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите?

На щеки мгновенно вернулись пятна чахоточного румянца; язык задрожал, вернее задергался, во рту (хотя челюсти и губы оставались окоченелыми), и тот же отвратительный голос, уже описанный мною, произнес:

— Ради бога! — скорее! — скорее! — усыпите меня, или скорее! — разбудите! Скорее! — *Говорят вам, что я умер!*

Я был потрясен и несколько мгновений не знал, на что решиться. Сперва я попытался снова усыпить пациента, но, не сумев этого сделать из-за полного ослабления воли, я пошел в обратном направлении и столь же энергично принялся его будить. Скоро я увидел, что мне это удается — по крайней мере, я рассчитывал на полный успех, — и был уверен, что все присутствующие тоже ждали пробуждения пациента.

Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто.

Пока я торопливо проделывал гипнотические пассы, а с языка, но не с губ, страдальца *рвались* крики: «умер!», «умер!», все его тело — в течение минуты или даже быстрее — осело, расползлось, *разложилось* под моими руками. На постели перед нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса.

Франсуа Рабле

О том, как мы высадились на Острове железных изделий

Мы подняли бизань-мачту — и меньше чем через два дня причалили к Острову железных изделий, пустынному и необитаемому. И там мы увидели деревья, увешанные бесчисленным множеством заступов, мотыг, садовых кирок, кос, серпов, скребков, шпателей, топоров, косарей, пил, рубанков, садовых ножниц, ножниц обыкновенных, клещей, лопат, буравов, коловоротов.

На других росли кинжальчики, кинжалы, шпажонки, ножички, шильца, шпаги, пики, мечи, ятаганы, рапиры, арбалетные стрелы, ножи.

Кто хотел обзавестись чем-нибудь подобным, тому довольно было тряхнуть дерево, и нужные предметы падали, как сливы; этого мало: под деревьями росла трава, получившая название *ножны,* и падавшие предметы сами в них вкладывались. Надобно было только поостеречься, как бы они не свалились вам на голову, на ноги или же на другие части тела, ибо падали они отвесно, чтобы прямо попасть в ножны, и могли зашибить.

Под какими-то другими деревьями я обнаружил особые виды растений, формой своей напоминавшие древки пик, копий, копьецов, алебард, рогатин, дротиков, вил, дораставшие до самых ветвей и там находившие для себя наконечники и клинки, кому какой подходил...

«Пантагрюэль», книга пятая и последняя

Саки

Средни Ваштар

Конрадину было десять лет, и, по мнению врача, жить ему оставалось не более пяти лет. Врач был человек мягкий, нерешительный, и с ним не очень-то считались, однако его мнение поддерживала госпожа де Ропп, с которой приходилось считаться. Госпожа де Ропп, кузина Конрадина, была его опекуншей и воплощала для него три пятых существования, которые неизбежны, неприятны и реальны; оставшиеся две пятых, постоянно враждебные тем трем, сосредоточились в воображении мальчика. Конрадин допускал, что не сегодня-завтра умрет, не выдержав давления неизбежных обстоятельств: болезни, запретов, которыми окружают больного, и безграничной скуки. Однако его воображение, подогреваемое одиночеством, не давало ему угаснуть.

Госпожа де Ропп, даже в минуты предельной честности перед собой, не признавалась себе, что не любит Конрадина, хотя вполне могла бы осознать, что, досаждая мальчику «для его блага», она выполняет долг, не слишком для нее трудный. Конрадин же ненавидел ее отчаянно, от всей души, но умело скрывал свои чувства. Скуд-

ные развлечения, которые он себе придумывал, приобретали особый смак, если могли позлить опекуншу. Из царства его фантазии госпожа де Ропп была полностью исключена как нечто нечистое, чему туда не могло быть доступа.

В жалком саду, просматриваемом из многих окон, которые то и дело открывались, чтобы напомнить Конрадину, что пора принять лекарство или чтобы запретить что-то, мало что могло его порадовать. Плоды нескольких фруктовых деревьев были строго-настрого запрещены, хотя вряд ли нашелся бы покупатель, который дал бы хоть десять шиллингов за весь годичный урожай. Однако в одном углу сада, почти полностью скрытый кустом, стоял сарайчик со старыми инструментами; под его кровом Конрадин нашел себе убежище — нечто вроде игровой комнаты и церкви. В сарайчике этом он поселил милых его сердцу призраков — одни были почерпнуты из истории, другие из собственного его воображения, но обитали в сарайчике также два существа из плоти и крови. В одном углу жила курица из Худана с жесткими перьями, которую мальчик любил нежной любовью, не находившей иного выхода. В другом, самом темном углу стоял ящик. Он имел два отделения — в одном спереди была

решетка из железных прутьев. Там жил большой болотный хорек — его вместе с клеткой принес Конрадину контрабандой мальчик мясника за несколько серебряных монет. Конрадин сильно побаивался верткого зверька с острыми когтями, и в то же время хорек был самым заветным его сокровищем. Его присутствие в сарайчике доставляло Конрадину тайную и жуткую радость: хорька ведь надо было скрывать от Женщины (так мальчик называл свою кузину). Однажды он, сам не зная как, придумал для зверька волшебное имя, и с этой минуты болотный хорек стал для него богом и религией.

Что до религии, Женщина удостаивала ее своим вниманием один раз в неделю в местной церкви, и Конрадин там бывал с нею. Но каждый четверг в тиши замшелого, темного сарайчика мальчик совершал мистический, тщательно разработанный ритуал перед деревянным ящиком, святилищем Средни Ваштара, Великого Хорька. Он украшал его алтарь яркими цветами и румяными плодами — ведь это был бог, покровитель хищного, неистового начала в жизни (по мнению Конрадина, религия Женщины была устремлена к противоположным свойствам). По большим праздникам он разбрасывал перед

ящиком растертый в порошок мускатный орех. Орех надо было красть, это придавало цену приношению. Праздники бывали разные, обычно отмечалось какое-либо небольшое происшествие в доме. Когда госпожа де Ропп три дня страдала от мучительной зубной боли, Конрадин продлил праздник на все эти три дня и почти убедил себя, что виновником постигшей ее муки был Средни Ваштар.

Курица из Худана никогда не участвовала в культе Средни Ваштара. Конрадин решил, что он анабаптист. Что такое анабаптист, он знать не знал и узнать не пытался, но в душе у него теплилась надежда, что это что-то очень дерзкое и не слишком благоприличное. В глазах Конрадина госпожа де Ропп была воплощением ненавистного благоприличия.

Но пришло время, когда его длительные посещения сарайчика стали привлекать внимание опекунши. «Разумеется, ему не может быть полезно сидеть там целыми днями в холодную погоду», быстро решила она и как-то утром за завтраком объявила, что накануне вечером курицу из Худана продали. Она уставилась на Конрадина близорукими своими глазами, ожидая вспышки ярости и скорби, которую она готова была пода-

вить известными ей безотказными средствами. Но Конрадин не сказал ни слова, ему нечего было сказать. Что-то в выражении его бледного невозмутимого лица успокоило опекуншу. Вечером к чаю приготовили тосты — обычно это не делалось под предлогом, что тосты «вредны Конрадину», а также потому, чтобы избежать лишних хлопот.

— Я-то думала, что ты любишь тосты! — с досадой воскликнула госпожа де Ропп, заметив, что Конрадин их не ест.

— Как когда, — сказал Конрадин.

В этот вечер, в сарайчике с железным хламом, в ритуале поклонения богу ящика произошло изменение. До сих пор Конрадин только пел молитвы, теперь он попросил помощи.

— Помоги мне, Средни Ваштар!

Какая помощь требовалась, не уточнялось. Средни Ваштар, который был богом, не мог того не знать. Поглядев на другой, опустевший угол и глотая слезы, мальчик возвратился в ненавистный ему мир.

Каждую ночь в долгожданной темноте его спаленки, каждый вечер в полутьме сарайчика звучала горестная мольба Конрадина:

— Помоги мне, Средни Ваштар!

Госпожа де Ропп заметила, что посещения са-

райчика не прекращаются; как-то под вечер она произвела более тщательный его осмотр.

— А что у тебя в этом ящике, запертом на ключ? — спросила она. — Небось, индийские кролики. Я велю их унести.

Конрадин сжал губы, но женщина обыскала и его спальню, пока не нашла спрятанный ключ, и тут же отправилась в сарайчик завершить столь успешно начатую операцию. Вечер был дождливый, Конрадину пойти в сад не разрешили. Из крайнего окна столовой был виден сарайчик, Конрадин устроился у этого окна. Он видел, как Женщина вошла внутрь, и представил себе, как она отпирает дверцу священного ящика и близорукими своими глазами разглядывает толстый слой соломы, в которой прячется его бог. Возможно, что она нетерпеливо и грубо ворошит солому концом зонтика. Конрадин лихорадочно произнес свою новую молитву. Но молился он без веры в душе. Он знал, что с минуты на минуту Женщина появится с хмурой, ненавистной ему усмешкой, а через час или через два садовник унесет его волшебного Бога, теперь уже не бога, а просто бурого хорька в ящике.

И еще он знал, что Женщина всегда будет побеждать, как побеждала до сих пор, и что ее

придирки и тиранство постепенно обессилят его, пока ему не станет все безразлично, пока не сбудется предсказание врача. И, словно вызов, с яростью терпящего поражение, он принялся выкрикивать нараспев гимн своему попавшему в опасность идолу:

— Средни Ваштар ринулся в атаку:

Мысли Его — красные мысли, зубы Его — белые.

Враги Его запросили мира, но Он принес им смерть.

Средни Ваштар, прекрасный Бог!

Внезапно он перестал петь и припал к окну. Дверь сарайчика все еще была открыта. Проходили минуты за минутой. Минуты были долгие, но они проходили. Конрадин смотрел на воробьев, летавших и прыгавших по виноградному кусту. Он их сосчитал, и снова пересчитал, не отрывая глаз от двери. В комнату вошла служанка с кислым лицом и накрыла стол для чая. Конрадин все ждал, не спуская глаз. Мало-помалу в его сердце проникала надежда, победным блеском засияли глаза, до сих пор знавшие лишь меланхолическое смирение побежденного. С внезапным ликованием он снова запел свой гимн победы

и уничтожения. И вскоре его глаза дождались радостного зрелища. Из сарайчика вышел зверек на коротких лапах с длинным изжелта-бурым туловищем, как бы ослепленный непривычным светом заката, — на его шерсти у челюстей и на шее были темные мокрые пятна. Конрадин упал на колени. Великий Болотный Хорек направился к одной из канавок сада, попил воды, пробежал по дощатому мостику и скрылся в кустах. То была кончина Средни Ваштара.

— Чай готов, — сказала служанка с кислым лицом. — А куда пошла хозяйка?

— В сарайчик, — сказал Конрадин.

И когда служанка отправилась звать хозяйку, Конрадин вынул из коробки тостер и принялся подсушивать хлеб.

И, подсушивая тосты и обильно намазывая на них масло и не спеша смакуя их, он прислушивался к шумам и внезапным моментам тишины, которые, чередуясь с судорожной быстротой, слышались за дверью столовой. Глупые вопли служанки, хор голосов в кухне, беготня, отправка гонцов за помощью и, после долгой паузы, благочестивые всхлипы и скользящие шаги людей, несущих что-то тяжелое.

— Кто скажет об этом бедному мальчику? Я не

решаюсь, — произнес чей-то визгливый голос.

И, пока служанки это обсуждали, Конрадин приготовил себе еще один тост.

«Забавы мирного времени» (1919)

Эмануэль Сведенборг

Смерть богослова

Ангелы уведомили меня, что когда Меланхтон скончался, ему в мире ином предоставили дом совсем такой, как на земле. (Так бывает почти со всеми, пожаловавшими в вечность, и поэтому они не считают себя мертвыми.) Обстановка тоже была такая же: стол обеденный, письменный стол с выдвижными ящиками, книги. Когда Меланхтон очнулся в этом месте, он взялся за свои литературные труды так, словно он и не покойник, и за несколько дней написал об оправдании верой. По обыкновению, он ни словом не обмолвился о милосердии. Ангелы заметили упущение и послали к нему спросить об этом. Меланхтон сказал посланцам: «Я неопровержимо доказал, что можно обойтись без милосердия и, чтобы попасть на небо, достаточно верить». Говорил он это надменно, а сам не знал, что уже мертв и место его вовсе не на небе. Когда ангелы услышали эти слова, они его оставили.

Спустя несколько недель вся обстановка, за исключением кресла, стола, стопки бумаги и чернильницы, начала истаивать и в конце концов сделалась невидимой. Кроме того, на стенах жи-

лища проступили пятна сырости, пол украсился желтыми разводами. Одежда стала проще и грубее. А так как он продолжал писать и настаивать на ненужности милосердия, то его поместили в подземелье, где содержались такие же, как он, богословы. Там он просидел несколько дней и начал сомневаться в своем тезисе, и тогда ему разрешили возвратиться. Теперь его одежды были из задубелых кож, но он принудил себя думать, что ему все показалось, и продолжал прославлять веру и поносить милосердие. Однажды вечером ему стало холодно. Он обошел дом и увидел, что его жилье уже совсем не такое, как на земле. Одно помещение было завалено какими-то непонятными орудиями, другое сделалось таким маленьким, что в него нельзя было войти, еще одно не поменялось, но теперь его окна и двери выходили на большую песчаную косу. Комната в глубине дома была полна людей, которые превозносили его и твердили, что такого ученого богослова еще никогда не бывало. Похвала его обрадовала, но часть этих людей была безлика, а другие походили на мертвецов, и он из-за этого проникся к ним недоверием и неприязнью. И тогда он решил написать похвалу милосердию, но страницы, написанные им сегодня, назавтра

оказывались чистыми. Происходило так потому, что писал он их неискренне.

К нему приходили многие из тех, кто недавно умер, но ему было стыдно за такое убогое жилище. И для того чтобы все уверились, что он на небесах, он уговорился с одним колдуном, обитавшим в помещении в глубине дома, и тот слепил приходивших обманным блеском. Едва все уходили — а иногда еще и до их ухода, — снова проступали пятна сырости и нищета.

В последних сообщениях о Меланхтоне говорится, что колдун и один из безликих уволокли его на косу, и там он прислуживает бесам.

«Arcana Coelestia» (1749)

Мэй Синклер

Огонь неугасимый

В саду не было ни души. Осторожно, чтобы не лязгнуть задвижкой, Харриетт Ли выскользнула из калитки. Подошла к живой изгороди, где под цветущей бузиной ее ждал мичман Джордж Уэринг.

Годы спустя, когда Харриетт вспоминала о Джордже Уэринге, ей чудился сладкий, пряный запах вина из бузины, а аромат ее цветов всегда воскрешал в памяти прекрасное лицо Джорджа Уэринга, лицо поэта или музыканта — черные глаза, темно-каштановые волосы.

Недавно Уэринг сделал ей предложение. Она приняла его, но отец оказался против, и Харриетт спешила сообщить об этом Джорджу, а заодно и проститься с ним: завтра его корабль уходил в море.

— Он говорит, мы слишком молоды.

— Когда мы сможем пожениться?

— Через три года.

— Три года?! Да за это время можно умереть!

Харриетт обняла его утешая. Он крепко прижал ее к груди и побежал на станцию, она же побрела домой, глотая слезы.

Надо ждать, через три месяца он вернется.

Но он не вернулся. Его корабль утонул в Средиземном море.

Тогда Харриетт перестала бояться смерти. Она не могла жить без Джорджа.

Харриетт Ли сидела в гостиной небольшого дома на Мейда-Вейл, куда перебралась после смерти отца. Она то и дело поглядывала на часы, на душе у нее было неспокойно: на четыре она назначила свидание Оскару Уэйду. Днем раньше Харриетт отказалась стать его любовницей и не была уверена, что он придет.

Зачем ей понадобилось звать его сегодня, после вчерашнего решительного объяснения, недоумевала она. Они не должны больше видеться, никогда. Вчера она все ему сказала. Она убеждала его, решительно выпрямившись в кресле, а он, понурив голову, смущенно молчал. Она повторяла, что это невозможно, что она не передумает, что он должен ее понять, что он женат и обязан об этом помнить.

— Я не обязан помнить о Мюриель. Мы живем под одной крышей только ради приличий.

— И ради тех же приличий нам не следует встречаться. Ради бога, Оскар, уходите.

— Вы это серьезно?

— Да, мы должны расстаться.

Оскар поднялся и направился к двери. Его широкие плечи напряглись, чтобы выдержать удар. Ей стало жаль его. Она обошлась с ним жестоко. Хотя они не могут стать любовниками, ничто не мешает им остаться друзьями. Нынче же она попросит у него прощения. Часы показали четыре. Половину пятого. Пять. Оскар появился около шести, когда она перестала надеяться. Он выглядел как обычно: неторопливая походка, уверенные манеры. Высокий и крепкий сорокалетний мужчина с узкими бедрами, короткой шеей, квадратным подбородком и правильными чертами лица. Над верхней губой топорщились очень короткие, темные с рыжиной усы. Он пожирал ее маленькими темными глазами, в которых было нечто звериное. Ей нравилось думать о нем на расстоянии, но, увидав его, она каждый раз невольно вздрагивала. Он так был далек от ее идеала, так не похож на Джорджа Уэринга...

Оскар уселся рядом с ней. Настала неловкая пауза.

— Харриетт, вы сами меня позвали. — Казалось, он хотел переложить всю ответственность на нее. — Надеюсь, вы больше на меня не сердитесь.

— Нет, Оскар, не сержусь.

Он предложил в знак полного примирения пойти куда-нибудь поужинать.

Неожиданно для себя она согласилась.

Он отвез ее в ресторан «Шублер». Оскар ел со знанием дела, как истинный гурман. Ей нравилась его граничащая с расточительством щедрость: он был лишен унылых добродетелей.

Ужин подошел к концу. Побагровевшее лицо Оскара выдавало его тайные мысли. Но, проводив ее до дома, он расстался с ней у порога.

Харриетт не знала, плакать ей или радоваться. Она пережила миг истинного подъема, однако последующие недели не принесли облегчения. Она отказала Оскару Уэйду из-за того, что он не слишком ей нравился, теперь же она исступленно, яростно желала его как раз потому, что прежде отвергла.

Несколько раз они ужинали вместе. Она изучила обстановку ресторана, как свои пять пальцев. Белые стены, резные золоченые панели, белые с золотом колонны, красные турецкие ковры с голубым узором, красные бархатные подушки, блеск серебра и хрусталя на круглых столиках. Лица клиентов в свете красных абажуров. И раскрасневшееся от сытной пищи лицо Оскара. Каждый раз, когда он откидывался на спинку

стула, она знала, о чем он думает. Он плотоядно поглядывал на нее из-под отяжелевших век.

Она понимала, чем это кончится, и думала о Джордже Уэринге и своей разбитой жизни. Она не выбирала Оскара, по сути дела, не любила его, но уже не могла отпустить.

Она не сомневалась в том, что это должно случиться. Только не знала, когда и где. В конце концов это случилось вечером, когда они ужинали в кабинете. Оскар сказал, что в общем зале слишком жарко и шумно. Они поднялись на второй этаж по крутой, устланной красным ковром лестнице.

Время от времени они тайно встречались в кабинете ресторана или у нее дома, когда уходила прислуга. Нужно было соблюдать приличия.

Оскар уверял, что счастлив, Харриетт одолевали сомнения.

Так вот какова та любовь, о которой она всегда мечтала. Она была разочарована. Она ждала большего, бури чувств, которой так и не изведала. Что-то в Оскаре ее отталкивало, но так как он был ее любовником, она не признавалась себе, что это — недостаток тонкости. Она старалась думать о его привлекательных чертах — щедрости, силе. Просила рассказывать о своих фабриках,

конторах, машинах, приносить книги, которые он читал. Но всякий раз, пытаясь завязать с ним разговор, чувствовала, что они оказались здесь вдвоем совсем не для этого, что ему хватает разговоров с друзьями.

— Все дело в том, что мы видимся второпях. Давай поживем немного вместе. Это единственный разумный выход, — сказал Оскар.

Он изложил свой план. В октябре к Мюриель приедет мать. А он отправится в Париж, чтобы встретиться там с Харриетт.

Он нанял комнаты в отеле «Сен-Пьер» на Рю-де-Риволи. Они провели вдвоем две недели. Три дня они безумно были влюблены друг в друга.

Проснувшись среди ночи, она зажигала лампу и глядела на спящего Оскара. Лицо его казалось спокойным и безмятежным, глаза были закрыты, жесткая линия рта смягчалась.

Затем наступила развязка. В конце десятого дня, вернувшись с Монмартра, Харриетт разразилась потоком слез. На вопрос о причине она ответила первое, что пришло в голову: отель «Сен-Пьер» просто отвратителен.

Оскар снисходительно объяснил ее состояние переутомлением. Она пыталась объяснить свою подавленность тем, что ее любовь чище и ду-

ховней, чем у Оскара, но в глубине души знала, что плакала от скуки. Они любили друг друга, но вдвоем невыносимо скучали.

На исходе второй недели она начала сомневаться: любила ли она Оскара когда-нибудь?

В Лондоне их отношения на некоторое время оживились. После парижской неудачи им захотелось убедиться в том, что прежний обычай тайных встреч больше соответствует их романтическому темпераменту.

Они опасались, что связь их обнаружится. Когда Мюриель ненадолго заболела, Харриетт с беспокойством подумала, что если та умрет, им с Оскаром придется пожениться. Он постоянно клялся, что женился бы на ней, будь он свободен.

После болезни жизнь Мюриэль приобрела для них особую ценность, прочный союз был бы для них невыносим. Затем последовал разрыв.

Через три года Оскар умер. Харриетт с облегчением вздохнула: теперь никто не узнает ее тайны. Ей почему-то подумалось, что отныне мертвый Оскар будет рядом с ней, хотя сама она никогда не стремилась быть рядом с ним при жизни. Прошло еще семнадцать лет, и знакомство с таким человеком, как Оскар Уэйд, стало казаться ей невозможным. Ресторан «Шублер» и

отель «Сен-Пьер» почти стерлись из ее памяти. Они не вязались с приобретенной ею репутацией благочестивой прихожанки. Теперь, в пятьдесят два года, она сделалась верной помощницей преподобного Клемента Фармера, викария церкви Девы Марии на Мейда-Вейл.

Харриетт была попечительницей местного Приюта для заблудших овечек. Когда Клемент Фармер, суровый, сухопарый мужчина, похожий на Джорджа Уэринга, простирал над паствой руки для благословления, она испытывала неизъяснимый восторг. Особого упоминания заслуживает ее безупречное поведение в последние часы жизни. Она лежала в забытьи на белой кровати, над головой висело черное распятие с фигуркой Христа из слоновой кости.

Священник неторопливо двигался по комнате, готовясь приступить к таинству Причастия: поставил свечи, раскрыл требник. Придвинул стул к кровати, дождался, пока она очнется. Настал миг просветления, Харриетт поняла, что умирает и что смерть сделала ее значительной в глазах Клемента Фармера.

— Готовы ли вы? — прозвучал вопрос.

— Не совсем. Мне страшно. Помогите мне успокоиться.

Клемент Фармер зажег две свечи, снял со стены распятие и вновь приблизился к кровати.

— Теперь вам нечего бояться.

— Я не боюсь загробной жизни, мне кажется, ко всему можно привыкнуть, меня пугает неизвестность.

— Первый этап загробной жизни в значительной мере зависит от того, о чем вы думаете в смертный час.

— Я готова открыть все мои помыслы.

— В силах ли вы приступить к исповеди? Потом, по отпущении грехов, предайтесь размышлениям о Боге.

Она перебирала в памяти события давних лет, вспомнила знакомство с Оскаром Уэйдом. Собравшись было покаяться, она вдруг поняла, что это невозможно. Не имеет смысла. Прошло почти двадцать лет. У нее достаточно других грехов. Она придирчиво перечисляла:

— Я слишком прельщалась красотой мира. Порой мне не хватало милосердия к моим несчастным подопечным. Вместо того чтобы думать о Боге, я думала о ближних.

Получив отпущение грехов, она попросила священника дать ей руку. Он еще долго сидел подле нее, пока наконец не раздался шепот:

— Вот и конец. Я напрасно боялась смерти, это избавление, избавление...

Несколько часов Харриетт провела в той же комнате. Однако в знакомой обстановке стало проступать что-то жуткое, отталкивающее. Аналой, распятие и горящие свечи напоминали о какой-то отвратительной истории, подробности которой терялись во мраке.

Одно не вызывало сомнений, история эта имела отношение к лежавшему на кровати бездыханному телу, с которым ее больше ничего не связывало. Когда вошедшая сиделка развернула саван, Харриетт увидела труп пожилой женщины. Ее собственное живое тело принадлежало женщине тридцати двух лет.

У ее смерти не было ни прошлого, ни будущего, никаких, пусть даже отрывочных, воспоминаний, никакого представления о том, что готовит ей судьба.

Затем комната стала медленно удаляться, дробиться на части и отдельные предметы, которые, покачиваясь и наплывая друг на друга, делались все прозрачнее, пока наконец не растаяли в воздухе.

Кровать с лежащим на ней телом куда-то исчезла. Харриетт стояла перед дверью — един-

ственным, что осталось в комнате.

Распахнув ее, она очутилась на улице у желтовато-серого здания с высокой, крытой шифером башней. Она узнала церковь Девы Марии на Мейда-Вейл. Оттуда доносились звуки органа. Она взялась за ручку двери и вошла внутрь.

Она опять существовала во времени и пространстве. Ей удалось восстановить в памяти крохотный фрагмент прошлой жизни. Теперь, когда она ясно представляла себе образ церкви, отдельные детали обрели некоторую устойчивость и реальность.

Она знала, зачем пришла. Служба закончилась. Она направилась к своему привычному месту перед амвоном. Опустилась на колени, закрыв лицо руками. Сквозь пальцы ей была видна дверь в ризницу. Она спокойно глядела на нее, пока на пороге не появился Клемент Фармер в черной сутане. Пройдя мимо скамьи, где она стояла на коленях, он задержался, видимо, желая с ней поговорить.

Харриетт поднялась и поспешила к Фармеру. Однако он не пропустил ее вперед, и она оказалась так близко, что не могла как следует разглядеть его лица. Тогда она немного отступила — и увидала перед собой Оскара Уэйда. Он

был спокоен, пугающе спокоен и преграждал ей путь.

Огни в боковых приделах гасли один за другим. Она пустилась бежать, чтобы не остаться с ним в темноте. В конце концов ей удалось на ощупь пробраться к алтарю. Когда она оглянулась, церковь была пуста.

Тогда она вспомнила, что Оскар Уэйд давно мертв. Значит, то был не он, а его призрак. Оскар мертв, он умер семнадцать лет назад. Она навсегда от него освободилась...

Выйдя из церкви, Харриетт увидела перед собой совсем другую улицу. Шумную улицу со множеством витрин: парижскую Рю-де-Риволи. Она стояла у входа в отель «Сен-Пьер». Вошла в вертящуюся дверь, пересекла душный серый вестибюль, который сразу же узнала, направилась прямо к широкой, устланной серым ковром лестнице и поднялась по бесчисленным ступеням до знакомой площадки. Дальше тянулся серый темный коридор с тусклым окном в конце. Ее охватил страх.

Она забыла о церкви Девы Марии, не понимала, что время потекло вспять. Все пространство и время сошлись в этой точке.

Она помнила, что обычно поворачивала здесь

налево.

В самом конце коридора, у тусклого окна, кажется, был поворот направо. Быть может, ей удастся выбраться отсюда. Но коридор кончался глухой стеной. Пришлось повернуть налево, в темный проход, наводящий на мысль о пороке. Она подошла к покосившейся двери, сквозь щели в которой пробивался свет. Вверху можно было разобрать номер: 107. В прошлом здесь что-то происходило. Если она войдет, случится вновь. За дверью ждал Оскар Уэйд. Послышались его тяжелые шаги. Они приближались.

Обезумев от страха, Харриетт кинулась прочь. Шаги не отставали. Вращающаяся дверь подхватила ее и выкинула на улицу. Время исчезло. Она смутно помнила, что когда-то существовала такая вещь, как время, но что это такое, не имела ни малейшего представления. Она думала о прошлых или будущих событиях, располагая их в пространстве и пространством измеряя их длительность. Тогда у нее мелькнула мысль, что нужно постараться попасть туда, где этого не было.

Она брела по белой дороге, меж тонущих в тумане полей и холмов. Перейдя через мост, увидела за стеной деревьев старый серый дом. Вошла

через чугунную калитку в сад и вскоре очутилась в просторной комнате с низким потолком и спущенными шторами. Чуть поодаль стояла кровать, кровать ее отца. Покрытое саваном тело принадлежало ее отцу. Она приподняла саван — и увидала лицо Оскара Уэйда. Безгрешность сна и смерти смягчила его черты. Она вглядывалась в них с волнением и злорадством.

Оскар мертв. Ей вспомнилось, что в отеле «Сен-Пьер» он вот так же спал подле нее. Теперь он мертв, и то, что было между ними, никогда не повторится. Она спасена.

Лицо покойника ее пугало. Ей захотелось прикрыть его, но тут мертвец едва заметно зашевелился. Она принялась торопливо натягивать саван обратно, но руки Оскара пришли в движение, пальцы вцепились в ткань, сдирая ее прочь. Рот открылся, глаза широко распахнулись. На Харриетт глядело искаженное ужасом лицо.

Впившись в нее глазами, труп уселся в кровати. На мгновение оба в страхе застыли. Опомнившись, Харриетт бросилась бежать. В дверях она замешкалась. Налево с моста дорога вела к Рю-де-Риволи, в мерзкие коридоры отеля «Сен-Пьер», направо — к деревне.

Только бы ей удалось проникнуть еще глубже в

прошлое, тогда Оскару до нее не добраться. Здесь, у его смертного ложа, она была молодой, ей нужно попасть туда, где она была еще моложе. Теперь она знала, куда бежать: мимо трактира «Голова и королева», мимо почты, церкви и кладбища, к южной калитке сада, памятного с детства.

Но вдруг окружающий пейзаж стал призрачным. Поблескивая, словно сквозь стекло, он уплывал от нее все дальше, и вместо дороги, ограды и сада перед ней оказались грязно-белые фасады лондонской улицы, а вместо калитки — вращающаяся дверь ресторана «Шублер».

Харриетт вошла внутрь. Внутри все выглядело совершенно натурально. За столиком в углу сидел одинокий мужчина. Он вытирал рот салфеткой, и Харриетт не сразу его узнала. Когда он поднял голову, она поняла, что это Оскар Уэйд. Он встал, уронив салфетку, и подошел к ней вплотную. От него пахло вином.

— Я знал, что ты придешь.

Она молча пила и ела, оттягивая мучительный финал. Наконец они встали из-за стола и оказались совсем рядом. Огромное туловище Оскара выросло перед ней, над ней, она почти физически ощущала его чудовищную силу. Он подвел ее к устланной красным ковром лестнице и потащил

наверх. Они вошли в комнату со знакомой мебелью: муслиновыми занавесками, зеркалом в золоченой раме, двумя фарфоровыми ангелочками на камине, пятном на ковре перед столиком и отвратительным, потертым канапе за ширмой.

Они метались по комнате, точно запертые в клетке звери, неловкие, злые, избегающие друг друга.

— Пойми, убегать бесполезно. С этим нельзя покончить.

— А я покончу раз и навсегда.

— Тогда придется начинать все сначала. И так без конца.

— Только не это. Разве ты забыл, как мы изнывали от скуки?

— Забыл? Да я бы никогда к тебе не прикоснулся по доброй воле. Но именно для этого мы здесь. Нам все равно придется это сделать.

— Нет. Я ухожу сию же минуту.

— Не выйдет. Дверь заперта на ключ.

— Оскар, для чего ты это сделал?

— Мы ведь всегда ее запирали, помнишь?

Она подошла к двери, принялась трясти ее, бить в нее кулаками.

— Бесполезно, Харриетт. Даже если ты сейчас уйдешь, все равно придется вернуться. Можно

протянуть час или два, но это сущий пустяк на фоне бессмертия.

— Мы еще не умерли, чтобы говорить о бессмертии...

Их неудержимо притягивало друг к другу, точно кто-то толкал их в спину. Медленно, словно в чудовищном танце, они кружили по комнате, откинув голову назад, пытаясь избежать пугающей близости. Они упирались, но с каждым шагом расстояние между ними сокращалось.

Вдруг колени у Харриетт ослабли, она закрыла глаза и погрузилась во мрак и ужас.

Затем она очутилась еще дальше во времени, у входа в парк, где Оскар никогда не бывал, где он не мог ее настичь. Память ее была чиста и свежа. Она спешила по тропинке через поле туда, где ждал ее Джордж Уэринг. Но вместо Джорджа под кустами бузины стоял Оскар Уэйд.

— Я же сказал тебе, убегать бесполезно. Все дороги приведут тебя ко мне, я буду ждать тебя за каждым поворотом, в каждом твоем воспоминании.

— Мои воспоминания безгрешны. Как ты сумел оказаться на месте моего отца и Джорджа Уэринга?

— Я с самого начала занимал их место.

— Моя любовь к ним была чиста.

— Твоя любовь ко мне была частью этой любви. Все знают, что прошлое влияет на будущее, а тебе не приходило в голову, что будущее влияет на прошлое?

— Я уйду далеко отсюда.

— На этот раз я пойду с тобой.

Ограда, дерево и поле растворились в воздухе. Харриетт шла по дороге к деревне, но понимала, что Оскар Уэйд следует за ней — шаг за шагом, дерево за деревом.

Вскоре у них под ногами оказался серый тротуар: они шагали по Рю-де-Риволи к отелю «Сен-Пьер». И вот уже сидели на краю расстеленной кровати. Они старались не смотреть друг на друга, руки их бессильно повисли. Любовь навалилась на них неизбывной скукой бессмертия.

— Когда же это кончится? — спросила она. — Ведь жизнь не может длиться вечно? Давай умрем.

— Умрем? Да ведь мы уже умерли. Разве ты не догадалась, где мы? Это смерть. Мы мертвы. И находимся в аду.

— Ты прав. Хуже этого ничего нет.

— Это еще не самое худшее. Пока у нас еще хватает сил убегать, прятаться в наших воспо-

минаниях, мы не совсем мертвы. Но очень скоро мы доберемся до самого далекого воспоминания, и дальше не будет ничего. Из этого последнего ада нам уже не вырваться. Не будет ни новых дорог, ни новых пейзажей, ни новых распахнутых дверей. Наши поиски закончатся. В последней смерти мы окажемся в этой комнате, за этой запертой дверью. И будем лежать здесь вечно.

— Но почему, почему? — закричала она.

— Потому что это — единственное, что нам осталось.

Комната погрузилась во мрак. Теперь Харриетт шла по саду, среди высоких, выше головы, растений. Время от времени она пыталась сорвать одно из них, но у нее не хватало сил сломать стебель. Она была крошечной девочкой. «Наконец-то спасена», — пронеслось у нее в голове. Она проникла в самое далекое прошлое, снова став ребенком. На краю лужайки блестел меленький круглый пруд, по берегам которого росли цветы. В воде плескались разноцветные рыбки. В саду за лужайкой ее дожидалась мать. Харриетт добралась до самого далекого воспоминания, дальше не было ничего.

Только сад с чугунной калиткой, ведущей в поле. Но что-то заставило ее, похолодев от страха,

замедлить шаг. Серая дверь — вместо чугунной калитки. Толкнув ее, Харриетт оказалась в темном коридоре отеля «Сен-Пьер».

«Сказки тысячи и одной ночи»

История Абдуллы, нищего слепца

...И тогда нищий слепец, поклявшийся, что за всю жизнь не получил подаяния без побоев, поведал Халифу свою историю.

— О Повелитель праведных, я родился в Багдаде. На деньги, унаследованные от родителей и нажитые собственными трудами, я купил восемьдесят верблюдов и стал отдавать их внаем торговцам, отправлявшимся по городам и пределам твоих обширных владений.

Однажды вечером, на обратном пути из Басры, я с пустым караваном остановился отдохнуть и отпустил верблюдов пастись, а сам приглядывал за ними, сидя под деревом у источника, когда ко мне приблизился дервиш, идущий в сторону Басры. Мы обменялись приветствиями, достали наши дорожные припасы и по-братски разделили их. Глядя на моих многочисленных верблюдов, дервиш рассказал, что неподалеку отсюда есть гора, скрывающая неисчерпаемые сокровища, и, даже если нагрузить всех моих восемьдесят верблюдов золотом и перлами той горы, ее богатств не убудет. Обезумев от радости, я бросился дервишу на шею и стал умолять, что-

бы он немедля показал мне то место, а я подарю ему за это верблюда, навьюченного найденными сокровищами. Заметив, что я потерял голову от жадности, он сказал:

— Брат, неужели ты не видишь, что твоя награда неравноценна моему подарку? Я ведь мог вообще не рассказывать о сокровищах и сохранить их в тайне. Но я желаю тебе добра, и потому мы сделаем иначе. Мы отправимся к той горе и навьючим ее сокровищами восемьдесят твоих верблюдов; сорок ты отдашь мне, сорок оставишь себе, а потом мы простимся и каждый пойдет своей дорогой.

Сначала его разумное предложение не умещалось у меня в голове; я не мог примириться с потерей сорока верблюдов и с мыслью, что дервиш, бродяга в лохмотьях, станет вдруг так же богат, как я. Но вскоре согласился, чтобы до конца дней не упрекать себя за то, что упустил свой счастливый случай.

Мы собрали верблюдов и двинулись через долину, окруженную высокими горами. Вход в нее был такой узкий, что верблюдам пришлось пробираться по одному.

Дервиш связал валежник, собранный в долине, поджег его с помощью какого-то ароматического

порошка, произнес несколько неразборчивых слов, и сквозь туман мы увидели, как гора раскрылась, а в глубине ее оказался дворец. Мы вошли, и первое, что увидели мои ослепленные глаза, были груды золота, на которые я с жадностью бросился, как орел на добычу, и стал набивать сокровищами заготовленные мешки.

Так же поступил и дервиш. Но я заметил, что золоту он предпочитал драгоценные камни, и последовал его примеру. Когда все восемьдесят верблюдов были навьючены, дервиш, прежде чем закрыть гору, вынул из серебряного кувшина сандаловый ларчик, наполненный какой-то мазью, и спрятал его на груди.

Мы вышли, гора закрылась. Отделив дервишу сорок верблюдов, я самыми пылкими словами поблагодарил его за сделанный подарок. Довольные друг другом, мы обнялись, и каждый отправился своей дорогой.

Но не прошел я и ста шагов, как мной овладел дух жадности. Я стал упрекать себя за то, что отдал дервишу сорок моих верблюдов с их драгоценной ношей, и решил — добром или худом — их вернуть. Зачем ему эти сокровища, думал я, он ведь знает место, где они хранятся; к тому же дервишу подобает жить в нищете.

Я повернул верблюдов и бросился назад, крича дервишу, чтобы он остановился. Мы поравнялись.

— Брат, — сказал я, — вот что пришло мне в голову. Ты ведь привык жить мирной жизнью, твое дело — благочестие и молитва, где тебе управиться с сорока верблюдами? Поверь, тебе хватит и тридцати, ты не знаешь, сколько с ними забот.

— Ты прав, — ответил дервиш, — об этом я не подумал. Отдели десятерых, которые тебе по нраву, забирай их, и да хранит тебя Аллах.

Я отобрал десятерых верблюдов и присоединил их к своим. Но быстрота, с какой дервиш уступил, опять разожгла мою жадность. Я снова вернулся и повторил те же доводы, убеждая его, сколько с верблюдами хлопот. Он отдал еще десять. Как больной водянкой мучается жаждой тем острее, чем больше пьет, так и моя жадность росла вместе с уступчивостью дервиша. Лаской и лестью мне удалось вернуть всех моих верблюдов с их драгоценной кладью. Возвращая последнего, дервиш сказал:

— Распорядись своими богатствами по справедливости и не забывай: Аллах дал их тебе и может забрать назад, если ты не будешь помогать неимущим, тем, кого божественное милосер-

дие оставило без помощи, чтобы люди богатые проявили к ним жалость и были по достоинству вознаграждены за это в Раю.

Но жадность совсем ослепила мой разум, и, произнося слова благодарности за возвращенных верблюдов, я мог думать лишь об одном: о сандаловом ларчике, который дервиш так бережно хранил на груди.

Догадываясь, что мазь должна обладать какой-то чудесной силой, я стал упрашивать дервиша отдать ее мне, убеждая его, что человек вроде него, отказавшийся от тщетных прелестей мира, не нуждается в мазях.

Про себя я решил отобрать ее даже силой, но дервиш и не думал отказывать, а вынул ларчик и подал его мне.

Как только я почувствовал ларчик в руках, я его открыл и, рассматривая мазь, сказал дервишу:

— Поскольку твоя доброта не знает границ, прошу, объясни мне, что за силы таятся в этой мази.

— Необыкновенные, — ответил он. — Натерев ею левый глаз и закрыв правый, человек видит все сокровища, скрытые в недрах земли. А натерев ею правый, слепнет на оба глаза.

Пораженный, я попросил его помазать мне левый глаз.

Дервиш согласился. И как только он потер мне глаз, передо мной раскрылись такие бесчисленные и разнообразные сокровища, что жадность во мне вспыхнула снова. Я не уставал любоваться на все эти неисчерпаемые богатства, но поскольку правый глаз нужно было держать закрытым да еще и зажимать рукой, то это утомляло меня, и я стал упрашивать дервиша потереть мне мазью и правый глаз, чтобы видеть еще больше драгоценных камней и золота.

— Я же предупреждал, — ответил он, — что, потерев правый глаз, ты ослепнешь на оба.

— Брат, — усмехнулся я на эти слова, — не может одна и та же мазь иметь такие непохожие свойства и обладать такой разной силой.

Мы долго спорили. В конце концов, призвав Аллаха в свидетели, что говорил мне чистую правду, дервиш уступил. Я закрыл левый глаз, дервиш помазал мне правый. Открыв глаза, я оказался слепым.

Тут, хоть поздно, жалкая тяга к богатству покинула меня, и я проклял свою безмерную жадность. Я бросился дервишу в ноги.

— Брат, — говорил я, — ты так мудр и никогда мне ни в чем не отказывал, умоляю тебя, верни мне свет дня.

— Несчастный, — ответил он, — разве я тебя не предупреждал, разве не делал все возможное, чтобы уберечь от беды? Да, как ты мог убедиться за время, что мы провели вместе, я и вправду знаю немало тайн, но тайны, способной вернуть тебе зрение, я не знаю. Аллах осыпал тебя сокровищами, но ты оказался их недостоин, и Он отобрал у тебя богатства, чтобы наказать за жадность.

Он собрал восемьдесят моих верблюдов и пустился с ними в путь, оставив меня одиноким, беспомощным и не снизойдя к моим жалобам и мольбам. В отчаянии я скитался по этому нагорью много дней, пока меня не подобрали паломники.

У. У. Скит

Самоткущийся платок

В малайской мифологии говорится о платке, «сансистах каллах», который сам ткется, и каждый год в нем добавляется еще один ряд мелкого жемчуга, и, когда платок будет завершен, наступит конец света.

«Малайская магия» (1900)

Хосе Соррилья

Дон Хуан Тенорио
(фрагмент)

ДОН ХУАН. — Так звонят по мне?

СМЕРТЬ. — Конечно.

ДОН ХУАН. — Ну, а голоса из тьмы?

СМЕРТЬ. — Покаянные псалмы

Над твоей душою грешной.

ДОН ХУАН. — Кто в гробу, такой знакомый?

СМЕРТЬ. — Ты.

ДОН ХУАН. — Так я убит всерьез?

СМЕРТЬ. — Враг удар тебе нанес

Прямо на пороге дома...

Олаф Степлдон

Многие всемирные истории

В некоем непостижимо сложном космосе всякий раз, когда какое-либо существо встречается с различными альтернативами, оно выбирает не одну, а все, создавая таким образом множество всемирных историй космоса. И поскольку в этом мире множество существ и каждое из них постоянно сталкивается со многими альтернативами, то комбинации этих процессов неисчислимы, и в каждое мгновение этот мир разветвляется на другие миры, а те, в свою очередь, еще на другие.

«Создатель звезд» (1937)

У Чэнэнь

Притча

Однажды ночью, в час мыши, императору приснилось, что он выходит из дворца и в сумраке прогуливается по саду, под цветущими деревьями. Вдруг кто-то пал перед ним на колени, умоляя о защите. Император обещал; проситель рассказал, что он — дракон, и что звезды пророчат ему на следующий день, еще до наступления ночи, погибнуть от руки Вэй Чжэна, министра императора. В сновидении император поклялся защитить его.

Проснувшись, император послал за Вэй Чжэном. Слуги отвечали, что его нет во дворце; император велел разыскать министра и целый день занимал его делами, чтобы тот не убил дракона, а вечером предложил сыграть в шахматы. Партия оказалась долгой, министр устал и задремал.

Вдруг земля содрогнулась от страшного удара. В следующую минуту вбежали два стражника, таща огромную голову дракона, залитую кровью. Они положили ее к ногам императора, восклицая: «Она упала с неба!»

Вэй Чжэн проснулся, оторопело посмотрел на

нее и произнес: «Вот удивительно, мне как раз снилось, что я убил дракона».

Джералд Уиллоби-Мид

Удивительные олени

Цзу Бу-ю рассказывает, что в глубинах рудников живут удивительные олени. Эти невероятные животные стремятся выбраться на поверхность и просят рудничных рабочих помочь им. За это они обещают показать, где находятся жилы золота и серебра; когда хитрость не удается, олени начинают преследовать людей, а те, отбиваясь от разъяренных животных, загоняют их в рудничные галереи и там замуровывают. Иной раз оленей оказывается много, и тогда они терзают людей и затаптывают насмерть.

Олени, которым удается выбраться на свет, превращаются в смрадную жидкость, распространяющую кругом зловоние.

Под защитой книги

Писатель У из рода Цянь оскорбил мага Чжан Ци-шэня. Не сомневаясь в том, что маг постарается отомстить, У коротал наступившую ночь при зажженном светильнике за чтением Книги Перемен. Вскоре он ощутил порыв ветра, от которого дом содрогнулся, и в дверях появился воин, потрясавший копьем. У сбил его с ног книгой. Наклонившись, он увидел, что этот воин — просто вырезанная из бумаги фигурка. Он положил ее меж страниц книги. Немного погодя появились два злых духа с черными лицами, размахивавшие топорами. И эти, когда У сразил их с помощью книги, оказались бумажными фигурками. У поступил с ними, как и с первой. В полночь какая-то женщина с плачем и стенаниями постучалась в его дверь.

— Я жена Чжана, — объяснила она. — Мой муж и сыновья пытались напасть на вас, а вы захлопнули их в книгу. Умоляю, отпустите их на волю.

— В моей книге нет ни вашего мужа, ни детей, — отвечал У. — Только вот эти бумажные фигурки.

— Эти фигурки — их души, — сказала женщина.

— Если до рассвета они не вернутся в свои тела, которые остались дома, они не смогут ожить.

— Проклятые маги! — воскликнул У. — Какого милосердия вы ждете? Я и не подумаю отпустить их на волю. Из жалости я верну вам одного из сыновей, но больше не просите ничего.

И он дал ей одну фигурку с черным лицом.

На другой день У узнал, что маг Чжан Ци-шэнь и его старший сын ночью умерли.

Герберт Уэллс

История покойного мистера Элвешема

Я пишу эту историю, не рассчитывая, что мне поверят. Мое единственное желание — спасти следующую жертву, если это возможно. Мое несчастье, быть может, послужит кому-нибудь на пользу. Я знаю, что мое положение безнадежно, и теперь в какой-то мере готов встретить свою судьбу.

Зовут меня Эдвард Джордж Иден. Я родился в Трентеме в Стаффордшире, где отец занимался садоводством. Мать умерла, когда мне было три года, а отец — когда мне было пять. Мой дядя Джордж Иден усыновил меня и воспитал, как родного сына. Он был человек одинокий, самоучка, и его знали в Бирмингеме как предприимчивого журналиста. Он дал мне превосходное образование и всегда разжигал во мне желание добиться успеха в обществе. Четыре года назад он умер, оставив мне все свое состояние, что после оплаты счетов составило пятьсот фунтов стерлингов. Мне было тогда восемнадцать лет. В своем завещании дядя советовал мне потратить деньги на завершение образования. Я уже избрал специальность врача и благодаря посмертному

великодушию дяди и моим собственным успехам в конкурсе на стипендию стал студентом медицинского факультета Лондонского университета. В то время, когда начинается моя история, я жил в доме № 11-а по Университетской улице, в убогой комнатке верхнего этажа с окнами на задний двор. В ней вечно был сквозняк. Это была моя единственная комната, потому что я старался экономить каждый шиллинг.

Я нес в мастерскую на Тоттенхем-Корт-роуд башмаки в починку и тут впервые встретил старичка с желтым лицом. С этим-то человеком и сплелась так тесно моя жизнь. Когда я выходил из дому, он стоял у тротуара и в нерешительности разглядывал номер над дверью. Его глаза — тускло-серые, с красноватыми веками — остановились на мне, и тотчас же на его сморщенном лице появилось любезное выражение.

— Вы вышли вовремя, — сказал он. — Я забыл номер вашего дома. Здравствуйте, мистер Иден!

Меня несколько удивило такое обращение, потому что я никогда прежде и в глаза не видел этого человека, к тому же я чувствовал себя неловко, потому что под мышкой у меня были старые ботинки. Он заметил, что я не очень-то обрадован.

— Думаете, что это за черт такой, а? Я ваш друг, уверяю вас. Я видел вас прежде, хотя вы никогда не видели меня. Где бы нам поговорить?

Я колебался. Мне не хотелось, чтобы незнакомый человек заметил все убожество моей комнаты.

— Может быть, пройдемся по улице? — сказал я. — К сожалению, я сейчас не могу... — И я пояснил жестом.

— Что ж, хорошо, — согласился он, оглядываясь по сторонам. — По улице? Куда же мы пойдем?

Я сунул ботинки за дверь.

— Послушайте, — отрывисто проговорил старичок, — это дело, в сущности, моя фантазия; давайте позавтракаем где-нибудь вместе, мистер Иден. Я человек старый, очень старый и не умею кратко излагать свои мысли, к тому же голос у меня слабый, и шум уличного движения...

Уговаривая меня, он положил мне на плечо худую, слегка дрожавшую руку.

Я был молод, и пожилой человек имел право угостить меня завтраком, но в то же время это неожиданное приглашение нисколько меня не обрадовало.

— Я предпочел бы... — начал я.

— Но мы сделаем то, что предпочел бы я, — пе-

ребил старик и взял меня под руку. — Мои седины ведь заслуживают некоторого уважения.

Мне пришлось согласиться и пойти с ним.

Он повел меня в ресторан Блавитского. Я шел медленно, приноравливаясь к его шагам. Во время завтрака, самого вкусного в моей жизни, мой спутник не отвечал на вопросы, но я мог лучше разглядеть его. У него было чисто выбритое, худое, морщинистое лицо, сморщенные губы, за которыми виднелись два ряда вставных зубов, седые волосы были редкие и довольно длинные. Мне казалось, что он маленького роста — впрочем, мне почти все люди казались маленькими. Он сильно сутулился. Наблюдая за ним, я не мог не заметить, что он тоже изучает меня. Глаза его, в которых мелькало какое-то странное, жадное внимание, перебегали с моих широких плеч на загорелые руки и затем на мое веснушчатое лицо.

— А сейчас, — сказал он, когда мы закурили, — я изложу вам свое дело. Должен вам сказать, что я человек старый, очень старый. — Он помолчал. — Случилось так, что у меня есть деньги, и теперь мне придется кому-то завещать их, но у меня нет детей, и мне некому оставить наследство.

У меня мелькнула мысль, что старик, изоб-

ражая откровенность, хочет сыграть со мной какую-то шутку, и я решил быть настороже, чтобы мои пятьсот фунтов не уплыли от меня.

Старик продолжал распространяться о своем одиночестве и жаловался, что ему трудно найти достойного наследника.

— Я взвешивал разные варианты, — сказал он. — Думал завещать деньги приютам, благотворительным учреждениям, назначить стипендии и наконец принял решение. — Глаза его остановились на моем лице. — Я решил найти молодого человека, честолюбивого, честного, бедного, здорового телом и духом и, короче говоря, сделать его своим наследником, дать ему все, что имею. — Он повторил: — Дать ему все, что имею. Так, чтобы он внезапно избавился от всех своих забот и мог бороться за успех в той области, какую он сам себе изберет, располагая свободой и независимостью.

Я старался сделать вид, что совершенно не заинтересован, и, явно лицемеря, проговорил:

— Вы хотите моего совета, может быть, моих профессиональных услуг, чтобы найти такого человека?

Мой собеседник улыбнулся и взглянул на меня сквозь дым папиросы, а я рассмеялся, видя, что

он, не говоря ни слова, разоблачил мою притворную скромность.

— Какую блестящую карьеру мог бы сделать этот человек! — воскликнул старик. — Я с завистью думаю, что вот я накопил такое богатство, а тратить его будет другой... Но я, конечно, поставлю условия; моему наследнику придется принести кое-какие жертвы. Например, он должен принять мое имя. Нельзя же получить все и ничего не дать взамен. Прежде чем оставить ему свое состояние, я должен узнать все подробности его жизни. Он обязательно должен быть здоровым человеком. Я должен знать его наследственность, как умерли его родители, а также его бабушки и деды, я должен иметь точное представление о его нравственности...

Я уже мысленно поздравлял себя, но эти слова несколько умерили мою радость...

— Правильно ли я понял, — начал я, — что именно я...

— Да, — раздраженно перебил он, — вы, вы!

Я не ответил ни слова. Мое воображение разыгралось, и даже врожденный скептицизм не в силах был его унять. В душе у меня не было ни тени благодарности, я не знал, что сказать и как сказать.

— Но почему вы выбрали именно меня? — наконец выговорил я.

Он объяснил, что слышал обо мне от профессора Хазлера, который отзывался обо мне как о человеке исключительно здоровом и здравомыслящем, а старик хотел оставить свое состояние тому, в ком, насколько это возможно, сочетаются идеальное здоровье и душевная чистота.

Такова была моя первая встреча со старичком. Он держал в тайне все, что касалось его самого. Он заявил, что пока не желает называть своего имени, и, после того как я ответил па кое-какие его вопросы, расстался со мной в вестибюле ресторана Блавитского. Я заметил, что, расплачиваясь за завтрак, он вытащил целую горсть золотых монет. Мне показалось странным, что он так настойчиво требует, чтобы его наследник был физически здоров.

Мы договорились, что я в тот же день подам в местную страховую компанию заявление с просьбой застраховать мою жизнь на очень крупную сумму. Врачи этой компании мучили меня целую неделю и подвергли всестороннему медицинскому обследованию. Однако и это не удовлетворило старика, и он потребовал, чтобы меня осмотрел еще знаменитый доктор Хендерсон. Только в

пятницу перед Троицей старик наконец принял решение. Он пришел ко мне довольно поздно вечером — было около девяти часов — и оторвал меня от зубрежки химических формул. Я готовился к экзамену. Он стоял в передней под тусклой газовой лампой, бросавшей на его лицо причудливые тени. Мне показалось, что он еще больше сгорбился и щеки его впали.

От волнения у него дрожал голос.

— Я удовлетворен, мистер Иден, — начал он, — вполне, вполне удовлетворен. В нынешний знаменательный вечер вы должны пообедать со мной и отпраздновать вашу удачу. — Приступ кашля прервал его. — Недолго придется вам дожидаться наследства, — проговорил он, вытирая губы платком и сжав мою руку своей длинной, худой рукой. — Вам, безусловно, не очень долго придется дожидаться.

Мы вышли на улицу и окликнули кеб. Я живо помню этот вечер: кеб, кативший быстро, ровно, контраст газовых ламп и электрического освещения, толпы на улицах, ресторан на Риджент-стрит, в который мы вошли, и роскошный обед. Сначала меня смущали взгляды, которые безукоризненно одетый официант бросал на мой простой костюм, затем я не знал, что делать с

косточками маслин, но когда шампанское согрело кровь, я почувствовал себя непринужденно. Вначале старик говорил о себе. Еще в кебе он назвал себя. Это был Эгберт Элвешем, знаменитый философ, имя которого было мне известно еще на школьной скамье. Мне казалось невероятным, что человек, ум которого волновал меня, когда я был еще школьником, этот великий мыслитель вдруг оказался знакомым дряхлым старичком. Вероятно, всякий молодой человек, внезапно очутившись в обществе знаменитости, чувствует некоторое разочарование.

Теперь старик говорил о будущем, которое откроется передо мной, когда порвутся слабые нити, связывающие его с жизнью, говорил о своих домах, денежных вкладах, авторских гонорарах. Я и не предполагал, что философы могут быть так богаты. А он не без зависти смотрел, как я ем и пью.

— Сколько в вас жизненной силы! — сказал он и добавил со вздохом (мне показалось, что это был вздох облегчения): — Теперь недолго ждать!

— Да, — ответил я, чувствуя, что голова у меня кружится от шампанского, — может быть, у меня есть будущее, и благодаря вам ему можно позавидовать. Я буду теперь иметь честь носить

ваше имя, зато у вас есть прошлое, которое стоит моего будущего!

Он покачал головой и улыбнулся, приняв мое лестное восхищение как бы с некоторой грустью.

— Будущее! — повторил он. — А променяли бы вы его на мое прошлое?

К нам подошел официант с ликерами.

— Пожалуй, вы охотно примете мое имя, мое положение, — продолжал старик, — но согласились ли бы вы добровольно взять на себя мои годы?

— Вместе с вашими достоинствами, — любезно ответил я.

Он опять улыбнулся.

— Кюммель, две порции, — сказал мистер Элвешем официанту и занялся бумажным пакетиком, который достал из кармана.

— Это время дня, — произнес старик, — этот послеобеденный час — час, когда можно развлекаться пустяками. Вот маленький образчик моей мудрости. Это нигде не опубликовано.

Дрожащими желтыми пальцами он развернул пакетик: в нем был порошок розоватого цвета.

— Вот... — сказал старик. — Впрочем, сами догадайтесь, что это такое. Насыпьте порошку в рюмку, и кюммель превратится для вас в райский

напиток.

Его глаза ловили мой взгляд, в их выражении было что-то загадочное.

Меня неприятно поразило, что этот великий ученый может заниматься приправами к напиткам, но я сделал вид, что очень заинтересован этой его слабостью, — я был достаточно пьян, чтобы подличать.

Мистер Элвешем всыпал половину порошка в свою рюмку, а половину — в мою. Затем вдруг поднялся и с подчеркнутым достоинством протянул мне руку. Я тоже протянул руку, и мы чокнулись.

— За скорое получение наследства, — сказал старик, поднося рюмку к губам.

— Нет, нет, — поспешно ответил я, — только не за это.

Он остановился с рюмкой у рта и пристально заглянул мне в глаза.

— За долгую жизнь, — сказал я.

Он помедлил.

— За долгую жизнь! — с внезапным взрывом смеха отозвался он, и, глядя друг на друга, мы выпили ликер.

Пока я пил старик продолжал смотреть мне прямо в глаза, а я испытывал какое-то удивитель-

но странное чувство. С первого же глотка в голове началась страшная путаница. Мне казалось, что я физически ощущаю, как что-то шевелится у меня в черепе, а уши наполнились невообразимым гулом. Я не чувствовал вкуса ликера, не замечал, как его ароматная сладость скользила мне в горло. Я видел только напряженный, жгучий взгляд серых глаз, устремленных на меня. Мне казалось, что страшное головокружение и грохот в ушах продолжались бесконечно долго. Где-то в глубине сознания мелькали и тотчас исчезали какие-то неясные воспоминания о полузабытых событиях.

Наконец старик прервал молчание. С внезапным вздохом облегчения он поставил рюмку на стол.

— Ну как? — спросил он.

— Чудесно, — ответил я, хотя и не почувствовал вкуса ликера.

Голова у меня кружилась. Я сел. В мыслях был хаос. Потом сознание прояснилось, но я видел все каким-то искаженным, точно в вогнутом зеркале. Манеры моего компаньона изменились, они стали нервными и торопливыми. Он вытащил часы и с гримасой взглянул на них.

— Семь минут двенадцатого! — воскликнул он.

— А сегодня я должен... одиннадцать двадцать пять... на вокзале Ватерлоо... Мне нужно идти.

Мистер Элвешем уплатил по счету и стал с трудом надевать пальто. На помощь нам пришли официанты. Еще минута, и он сидел в кебе, а я прощался с ним, все еще испытывая нелепое чувство: все вокруг стало маленьким и четким, точно я... как бы это объяснить? — точно я смотрел через перевернутый бинокль.

Мистер Элвешем приложил руку ко лбу.

— Этот напиток... — сказал он. — Не надо было его вам давать! Завтра у вас голова будет раскалываться. Подождите, вот! — Он дал мне плоский конвертик, в каких обычно выдают порошки в аптеках. — Перед сном примите этот порошок. Тот, первый, был наркотик. Только запомните: примите его перед самым сном. Он проясняет голову. Вот и все. Дайте еще раз вашу руку, наследник.

Я сжал дрожавшую руку старика.

— До свидания, — сказал он, и по выражению его глаз я понял, что и на него подействовал этот напиток, свихнувший мне мозги.

Вдруг, вспомнив что-то, он принялся шарить в кармане пиджака и вытащил еще один пакет, на этот раз цилиндрической формы, по размерам и

очертаниям напоминавший мыльную палочку для бритья.

— Вот, — сказал он, — чуть не забыл, возьмите, но не открывайте, пока я не приду к вам завтра.

Пакет был такой тяжелый, что я его едва не уронил.

— Ладно, — пробормотал я, а он улыбнулся мне, показав вставные зубы.

Кучер взмахнул кнутом над дремавшей лошадью.

Пакет, который дал мне Элвешем, был белый с красными печатями с обеих сторон и посередине.

«Если это не деньги, — подумал я, — то это — платина или свинец».

Я с величайшими предосторожностями засунул пакет в карман и, чувствуя по-прежнему сильное головокружение, пошел домой сквозь толпу гуляющих по Риджент-стрит, потом свернул в темные, задние улицы на Портленд-роуд. Я живо помню всю странность своих ощущений. Я настолько сохранил ясность мысли, что замечал свое необычайное психическое состояние и спрашивал себя, не подсыпал ли он мне опиума, с действием которого я практически был совершенно незнаком.

Мне очень трудно сейчас описать все особенности моего состояния; пожалуй, его можно было бы назвать раздвоением личности. Идя по Риджент-стрит, я не мог отделаться от странной мысли, что нахожусь на вокзале Ватерлоо, и мне даже хотелось взобраться на крыльцо Политехнического института, будто на подножку вагона. Я протер глаза и убедился, что нахожусь на Риджент-стрит. Как бы мне это объяснить? Вот вы видите искусного актера, он спокойно смотрит на вас; гримаса — и это совсем другой человек! Не найдете ли вы слишком невероятным, если я скажу, что мне казалось, будто Риджент-стрит вела себя в ту минуту так, как этот актер? Потом, когда я убедился, что это все же Риджент-стрит, меня стали сбивать с толку какие-то фантастические воспоминания. «Тридцать лет назад, — думал я, — я поссорился здесь с моим братом». Я тотчас расхохотался, к удивлению и удовольствию компании ночных бродяг. Тридцать лет назад меня еще не было на свете, и никогда у меня не было брата. Порошок, несомненно, лишал людей рассудка, потому что я продолжал глубоко сожалеть о своем погибшем брате. На Портленд-роуд мое безумие приняло несколько иной характер. Я стал вспоминать магазины, которые когда-то тут

находились, и сравнивать улицу в ее нынешнем виде с той, какой она была раньше. Вполне понятно, что после ликера мои мысли стали путаными и тревожными, но я недоумевал, откуда явились эти удивительно живые фантасмагорические воспоминания; и не только те воспоминания, которые заползли мне в голову, но и те, которые от меня ускользали. Я остановился у магазина живой природы Стивенса и стал напрягать память, чтобы вспомнить, какое отношение имел ко мне владелец этой лавки. Мимо прошел автобус — для меня он грохотал, как поезд. Мне показалось, что я далеко-далеко и погружаюсь в темную яму в поисках воспоминаний.

— Ах да, конечно, — сказал я себе. — Стивенс обещал дать мне завтра трех лягушек. Странно, что я об этом забыл.

Показывают ли сейчас детям туманные картины? Я помню картины, на которых появлялся ландшафт, сначала как туманный призрак, потом он становился отчетливее, пока его не вытеснял другой. Вот так же, мне казалось, призрачные новые ощущения борются во мне со старыми, привычными.

Я шел по Юстон-роуд и Тоттенхем-Корт-роуд, встревоженный, немного испуганный и почти

не замечая, что иду необычным путем, потому что обыкновенно пробирался через целую сеть боковых улиц и переулков. Я свернул на Университетскую улицу, и тут выяснилось, что я забыл номер своего дома. Только ценой страшного напряжения памяти я вспомнил номер 11-а, но и то у меня было такое чувство, будто мне этот номер кто-то подсказал, но кто — я забыл. Я старался привести в порядок свои мысли, вспоминая подробности обеда, но никакими силами не мог представить себе лицо своего компаньона — я видел только неясные очертания, как видишь отражение собственного лица в стекле, сквозь которое смотришь. Однако вместо мистера Элвешема я, как ни странно, узнавал себя самого, сидящего за столом, румяного от вина, с блестящими глазами, болтливого.

«Надо будет принять второй порошок, — подумал я, — это становится невыносимым».

Я принялся искать свечу и спички в той части передней, где они никогда не лежали, а потом долго соображал, на какой площадке моя комната.

«Я пьян, — подумал я, — тут нет никакого сомнения».

И, как бы в подтверждение этого, я без всякой

причины начал спотыкаться на каждой ступеньке лестницы.

На первый взгляд моя комната показалась мне незнакомой.

— Что за чепуха! — пробормотал я, оглядываясь вокруг. Усилием воли мне как будто удалось вернуть себе сознание действительности, и странная фантасмагория сменилась знакомыми предметами. Вот старое зеркало, за раму засунуты мои записки о свойствах белков. На полу валяется мой будничный костюм. Но все-таки все это было как-то нереально. У меня все время было дурацкое ощущение, будто я сижу в вагоне, поезд только что остановился на незнакомой станции и я выглядываю в окно. Я изо всех сил сжал спинку кровати, чтобы прийти в себя. «Может, это ясновидение, — подумал я, — надо будет написать в Общество психиатров».

Я положил на туалетный столик пакет, который мне дал мистер Элвешем, сел на кровать и стал снимать ботинки. Чувство у меня было такое, будто картина моих ощущений наложена на другую картину, и эта вторая картина все время старается проступить сквозь первую.

— К черту! — воскликнул я. — Что я, спятил или действительно нахожусь сразу в двух местах?

Наполовину раздевшись, я высыпал порошок мистера Элвешема в стакан. Вода зашипела и приняла флюоресцирующую янтарную окраску. Я выпил эту воду. Не успел я лечь, как мысли мои успокоились. Голова коснулась подушки, и я, по-видимому, сразу заснул.

Я проснулся внезапно ото сна, в котором мне грезились какие-то странные животные. Я лежал на спине. Вероятно, всем знакомы эти гнетущие сновидения; проснувшись, человек избавляется от них, но они все же оставляют какое-то тягостное впечатление. Во рту у меня был странный вкус, во всех членах усталость, ощущение физического неудобства. Я лежал неподвижно, не поднимая головы от подушки, ожидая, что чувство отчужденности и ужаса развеется, и тогда мне, может быть, удастся снова заснуть, но вместо этого оно только росло. Вначале я не замечал вокруг себя ничего необычного. Комната была освещена очень слабо, настолько слабо, что в ней было почти совсем темно, и мебель проступала в виде совершенно темных пятен. Я пристально смотрел перед собой, насколько позволяло одеяло, натянутое до самых глаз. Мне пришло в голову, что кто-то забрался в комнату и украл мой пакет с деньгами. Но затем я полежал,

ровно дыша, чтобы вновь вызвать сон, и понял, что это — только мое воображение. Тем не менее я беспокоился, я был уверен: что-то случилось. Я оторвал голову от подушки и всмотрелся в темноту. Сначала я не мог понять, в чем дело. Я вглядывался в окружающие меня темные предметы, по большей или меньшей густоте мрака угадывал, где должны быть окна с задернутыми шторами, стол, камин, книжные полки и так далее. Потом что-то в окружавших меня темных вещах стало казаться мне необычным. Может быть, кровать повернута не так, как раньше. Там, где должны быть книжные полки, туманно белело что-то на них непохожее. Не могло это быть также и моей рубашкой, брошенной на стул: она была много меньше.

Преодолевая ребяческий страх, я сбросил одеяло и спустил ноги. Они не достали до полу, как бывало всегда, когда я садился на своей низкой кровати, а повисли, едва достигая края матраца. Я подвинулся и сел на самый край кровати. Рядом с ней на сломанном стуле должны были быть свеча и спички. Протянув руку и ничего не нащупав, я принялся шарить вокруг себя. Рука попала на какую-то тяжелую ткань, мягкую и плотную, которая зашуршала под пальцами. Я ухватился

за нее и потянул. Оказалось, что это полог над изголовьем.

Теперь я окончательно проснулся и понял, что нахожусь в незнакомой комнате. Я был озадачен и постарался припомнить все, что случилось вечером. Как ни странно, оказалось, что я помню все совершенно ясно: обед, порошок, сначала один, потом другой, мои сомнения насчет того, пьян я или нет, медлительность, с которой я раздевался, прохладную подушку, которой я касался лицом. Вдруг я стал сомневаться: было ли это вчера или позавчера? Как бы то ни было, комната была чужой, и я не мог понять, как я в ней очутился.

Туманный, бледный предмет, который я видел раньше, становился все светлее, и теперь я понял, что это окно, а перед ним овальное зеркало, на которое падали слабые лучи света, проникавшие сквозь шторы.

Я встал, и меня поразило, что я чувствую такую слабость и неуверенность. Я медленно пошел к окну, протянув руки, но все-таки наткнулся по дороге на стул и ушиб колено. Обошел зеркало. Оно оказалось очень большим, с красивыми бронзовыми канделябрами по бокам. Я стал ощупью искать шнурок от шторы, не нашел его, но случайно схватил кисточку, и штора, щелкнув

пружиной, поднялась.

Передо мной был абсолютно незнакомый вид. Небо было затянуто, и сквозь густую серую толщу облаков едва пробивались слабые лучи рассвета. На самом горизонте облака были окаймлены кроваво-красной полосой. Ниже все было темным и неясным. Вдали — холмы в дымке, туманная масса домов со шпилями, чернильные пятна деревьев, а под окном — кружево темных кустарников и бледно-серые дорожки. Все это было так чуждо, что на минуту я подумал: не сплю ли я еще? Я ощупал туалетный столик. Он был из полированного дерева, на нем стояли хрустальные флаконы и лежала головная щетка. На блюдечке лежал какой-то странный предмет, подковообразный на ощупь, с гладкими твердыми выступами. Я не мог найти ни свечи, ни спичек.

Снова я обвел глазами комнату. Теперь, при поднятых шторах, призрачные силуэты вещей выступали из темноты: огромная кровать с пологом и камин за нею, с большой белой полкой, поблескивавшей мрамором.

Прислонившись к туалетному столику, я закрыл глаза, потом снова открыл, стараясь сосредоточиться. Все вокруг было вполне реальным; это не было сновидением. Я готов был

вообразить, что от выпитого вчера странного напитка в памяти у меня образовался какой-то пробел. Может быть, думал я, меня уже ввели во владение наследством, а я потом вдруг забыл обо всем и не помню, что случилось после того, как я узнал о своей удаче? Может быть, если я подожду немножко, мои мысли прояснятся? Между тем воспоминания об обеде со стариком Элвешемом были необыкновенно живыми и свежими: шампанское, услужливые официанты, порошок, напиток... Я был готов дать голову на отсечение, что все это было лишь несколько часов назад!

Затем произошло нечто совершенно обыкновенное и вместе с тем столь ужасное, что я до сих пор содрогаюсь при одном воспоминании об этой минуте. Я заговорил вслух.

— Как же, черт возьми, я сюда попал? — сказал я.

Но голос был не мой!

Это был не мой голос, это был тонкий голос, артикуляция была неясной, и резонанс совсем не такой, как у меня. Чтобы успокоиться, я схватился одной рукой за другую — рука была костлявая, кожа старчески дряблая.

— Но ведь это же сон, — проговорил я ужасным голосом, который непонятно как поселился в

моем горле, — ведь это сон!

Быстро, почти инстинктивно, я сунул в рот пальцы. Зубы мои исчезли. Пальцы нащупали мягкую поверхность сморщенных десен. У меня закружилась голова от ужаса и отвращения.

Я почувствовал безудержное желание увидеть свое лицо, сразу же убедиться в той страшной, кошмарной перемене, которая произошла со мной. Неверной походкой я пошел к камину за спичками и стал шарить на полке. В это время из моего горла вырвался лающий кашель, и я запахнул толстую фланелевую рубашку, которая, как оказалось, была на мне надета. На камине спичек не было. Я вдруг почувствовал, что руки и ноги у меня окоченели от холода. Кашляя и шмыгая носом (возможно, что при этом я немножко и стонал), я заковылял к кровати.

— Ведь это же сон, — бормотал я, забираясь в постель, — сон!

Я сам чувствовал, что говорю это по старческой привычке повторять одно и то же.

Я натянул одеяло на плечи, на голову, засунул под подушку свои морщинистые руки и решил успокоиться и заснуть. Несомненно, все это только сон. Утром он развеется, и я проснусь сильным, энергичным, ко мне вернется молодость и жажда

знаний. Я закрыл глаза, стал дышать равномерно и, убедившись, что сон не идет ко мне, принялся медленно вычислять степени числа три.

А то, чего я так жаждал, не приходило. Я не мог заснуть и все больше убеждался, что во мне действительно произошла страшная перемена. Потом я заметил, что лежу с широко открытыми глазами, забыв про свои вычисления, и ощупываю худыми пальцами беззубые десны. Я действительно внезапно и неожиданно превратился в старика. Каким-то необъяснимым путем я проскочил через всю свою жизнь до самой старости, каким-то образом у меня украли лучшую часть моей жизни, мою любовь, борьбу, силы и надежды. Я зарылся в подушку и старался убедить себя, что, может быть, это галлюцинация.

Медленно, но неуклонно приближалось утро. Наконец, отчаявшись заснуть, я сел на кровати и огляделся вокруг. Холодный рассвет проник через окно, и видна была вся комната. Она была просторна и хорошо обставлена — лучше, чем все другие комнаты, в которых мне раньше приходилось спать. На маленьком столике в нише виднелись свеча и спички. Я сбросил одеяло и, дрожа от сырости раннего летнего утра, встал и зажег свечу. Затем, дрожа так сильно, что га-

сильник для свечи подпрыгивал на своем шпиле, я, шатаясь, подошел к зеркалу и увидел... лицо Элвешема! Хотя в душе я уже этого ожидал, тем не менее впечатление было ужасным. Мистер Элвешем всегда казался мне физически слабым и жалким, но сейчас, когда он был одет только в грубую фланелевую ночную рубашку, которая распахнулась на груди и открыла тощую шею, сейчас, когда я сам стал Элвешемом, я не берусь описать, каким жалким и дряхлым он мне показался. Впалые щеки, растрепавшаяся прядь грязных седых волос, тусклые, слезящиеся глаза, дрожащие морщинистые губы. Вы, кому душой и телом столько лет, сколько вам и должно быть, не можете представить себе, что означало для меня это дьявольское заточение в чужом теле. Быть молодым, полным желаний и сил и оказаться замурованным и раздавленным в этой трясущейся развалине!..

Но я отвлекся от своего рассказа. На некоторое время я, должно быть, совершенно потерял голову, когда убедился, что со мной произошло такое превращение. Было уже совсем светло, когда я настолько пришел в себя, что мог думать. Каким-то необъяснимым образом я изменился, хотя, как это могло случиться, если не волшеб-

ством, я не могу сказать. Теперь, когда я думал об этом, я понял, как дьявольски умен был Элвешем. Было ясно, что так же, как я оказался в его теле, он завладел моим телом, а следовательно, моей силой и моим будущим. Но как доказать это? Сейчас, когда я думал обо всем, это превращение казалось мне самому настолько невероятным, что голова моя пошла кругом, я должен был ущипнуть себя, ощупать свои беззубые десны, посмотреться в зеркало и потрогать окружавшие меня предметы, чтобы быть в состоянии здраво смотреть на совершившееся. Или вся наша жизнь лишь галлюцинация? Стал ли я на самом деле Элвешемом, а он мною? Может быть, я только во сне видел Идена? Был ли вообще на свете Иден? Но если бы я был Элвешемом, я должен был бы помнить, что я делал прошлым утром, как назывался город, в котором я жил, что происходило до того, как началось мое сновидение. Я боролся с этими вопросами. Мне вспомнилось странное раздвоение моих воспоминаний накануне вечером. Но теперь ум мой был ясен. Я не мог вызвать и тени каких-нибудь воспоминаний, не имевших отношения к Идену.

— Вот так сходят с ума! — воскликнул я визгливым голосом.

Я с трудом поднялся на ноги и потащил свое ослабевшее и отяжелевшее тело к умывальнику. Там я окунул седую голову в таз с холодной водой. Вытираясь полотенцем, я снова пытался думать о себе как об Элвешеме, но это было бесполезно. Не было никакого сомнения в том, что я Иден, а не Элвешем, но Иден в теле Элвешема.

Если бы я был человеком другого века, я, может быть, покорился бы судьбе, считая себя зачарованным. Но в наше время скептицизма не очень-то верят в чудеса. Со мной проделали какой-то психологический трюк. То, что могли сделать порошок и пристальный взгляд, могут переделать другой порошок и другой пристальный взгляд или какое-нибудь средство в этом роде. И раньше случалось, что люди теряли память, но чтобы они могли меняться телами, как зонтиками!.. Я рассмеялся. У вы! Это был не прежний здоровый смех, а хриплое, старческое хихиканье. Я представил себе, как старик Элвешем смеется над моим положением, и меня обуял приступ необычной для меня ярости. Я начал быстро одеваться в ту одежду, которая валялась на полу, и только когда был уже совершенно одет, понял, что это была фрачная пара. Я открыл шкаф и нашел там одежду для каждого дня — клетчатые

брюки и старомодный халат. Я надел на свою почтенную голову почтенную домашнюю шапочку и, слегка покашливая от всех этих усилий, вышел, ковыляя, на площадку лестницы.

Было приблизительно без четверти шесть, шторы были опущены, и дом погружен в тишину. Площадка была просторная, широкая, покрытая богатыми коврами, лестница вела вниз, в темный холл. Дверь напротив той, из которой я вышел, была приоткрыта, и я увидел письменный стол, вращающуюся книжную этажерку, спинку кресла у стола и полки с рядами томов в роскошных переплетах.

— Мой кабинет, — пробормотал я и пошел туда через площадку. При звуках моего голоса у меня мелькнула новая мысль, и, вернувшись в спальню, я надел вставные челюсти, которые легко сели на привычное место.

— Так-то лучше, — сказал я, пожевал челюстями и снова пошел в кабинет.

Ящики бюро были заперты. Откидной верх был тоже заперт. Ни в кабинете, ни в карманах брюк я не нашел никакого признака ключей. Тогда я снова поплелся в спальню и обследовал сначала карманы того костюма, который валялся на полу, азатем карманы всей одежды, какую я только

мог найти. Я был в большом нетерпении, и если бы кто-нибудь вошел в комнату после того, как я кончил ее обследовать, он подумал бы, что в ней побывали грабители. Я не нашел ни ключей, ни единой монеты, ни клочка бумаги, кроме счета за вчерашний обед.

Меня внезапно охватила страшная усталость. Я сел и уставился на разбросанные вокруг костюмы с вывороченными карманами. Бешенство мое улеглось. С каждой минутой я все яснее начинал понимать поразительную предусмотрительность моего противника, и все яснее становилась для меня безнадежность моего положения.

Я с усилием поднялся и снова поторопился вернуться в кабинет. На лестнице я увидел служанку, подымавшую шторы. По-видимому, выражение моего лица поразило ее, и она с удивлением посмотрела на меня. Я закрыл за собой дверь кабинета и, схватив кочергу, набросился на стол, пытаясь взломать ящики. Так меня и застали слуги. Стекло на столе было разбито, замок сломан, письма из ящиков бюро разбросаны по полу. В своем старческом бешенстве я раскидал перья и опрокинул чернильницу. Кроме того, большая ваза, стоявшая на камине, упала и разбилась, я сам не знаю как. Я не нашел ни денег, ни чековой

книжки и никаких указаний, которые могли бы помочь мне вернуть мое тело в прежний вид. Я отчаянно колотил по ящикам стола, когда в кабинет вторглись дворецкий и две служанки.

Такова без всяких прикрас история моего превращения. Никто не верит моим фантастическим уверениям. Со мной обращаются как с сумасшедшим и даже сейчас за мной присматривают. Между тем я человек нормальный, абсолютно нормальный, и чтобы доказать это, я сел за письменный стол и записал очень подробно все, что со мной случилось. Я взываю к читателю. Пусть он скажет, есть ли в стиле или ходе изложения истории, которую он только что прочел, какие-нибудь признаки безумия. Я молодой человек, заключенный в тело старика, но никто не верит этому бесспорному факту. Естественно, я кажусь сумасшедшим тем, кто не верит мне; естественно, я не знаю, как зовут моих секретарей, не знаю навещающих меня врачей, своих слуг и соседей, не знаю названия города, в котором очутился, и где он находится. Естественно, я не знаю расположения комнат в своем собственном доме и терплю множество неудобств всякого рода. Естественно, я задаю очень странные вопросы. Естественно, что иногда я плачу, кричу и у меня

бывают приступы отчаяния. У меня нет ни денег, ни чековой книжки. Банк не признал бы моей подписи, потому что, я полагаю, у меня все еще почерк Идена, несколько изменившийся вследствие ослабления мускулов. Окружающие меня люди не позволят мне самому пойти в банк; да, кажется, в этом городе и нет банка, а мой текущий счет находится в каком-то районе Лондона. Кажется, Элвешем скрывал от своих домашних имя своего поверенного, но я ничего не знаю толком. Несомненно, Элвешем глубоко изучал психологию и психиатрию, и мои рассказы о себе только подтверждают предположение окружающих, что я сошел с ума от чрезмерного увлечения проблемами душевных расстройств. А еще говорят о тождестве личности!

Два дня назад я был здоровым юношей, перед которым была открыта вся жизнь, а теперь я озлобленный старик, неопрятный несчастный, полный отчаяния. Я брожу по огромному роскошному чужому дому, а все вокруг следят за мной, боятся и избегают меня, как безумца. Между тем в Лондоне Элвешем начинает жизнь заново в здоровом молодом теле и с мудростью и знаниями, накопленными за семь десятков лет!

Он украл у меня жизнь!

Я не знаю точно, как это произошло.

В кабинете я нашел множество рукописных записей, относящихся главным образом к психологии памяти, кое-что зашифровано значками, совершенно непонятными для меня. Некоторые записи указывают на то, что Элвешем интересовался также философией математики.

Как мог произойти такой обмен, остается за пределами моего разумения. Всю свою сознательную жизнь я был материалистом, но здесь — явный случай отделения духа от тела.

Я хочу испытать одно отчаянное средство. Сейчас я допишу свою историю, а потом прибегну к нему. Утром с помощью ножа, который я припрятал за завтраком, мне удалось взломать секретный ящик в бюро — заметить этот ящик было не очень трудно. Я не нашел там ничего, кроме маленького стеклянного флакончика зеленого цвета с белым порошком. На горлышке этикетка. На ней написано только одно слово: «Освобождение». Может быть, и вероятнее всего, это яд. Мне понятно, что Элвешем подсунул мне яд, я был бы даже уверен, что он хотел избавиться таким образом от единственного свидетеля, если бы флакончик не был так тщательно припрятан. Этот человек фактически разрешил проблему

бессмертия. Если не произойдет какой-нибудь случайности, он будет жить в моем теле, пока оно не состарится, а затем сбросит его и отнимет молодость и силу у новой жертвы. Если вспомнить его бессердечие, страшно подумать, как он будет накапливать все больше опыта, который... Как давно он уже переходит из одного тела в другое?..

Но я устал писать. Порошок, оказывается, легко растворяется в воде. Вкус у него не неприятен.

Такова история, найденная на столе мистера Элвешема. Его мертвое тело лежало между письменным столом и креслом, последнее было резко отодвинуто в сторону, по-видимому, в предсмертных конвульсиях. История написана карандашом, размашистым почерком, совсем непохожим на обычный мелкий почерк Элвешема.

Остается добавить еще два любопытных факта: несомненно между Иденом и Элвешемом была какая-то связь, поскольку все состояние Элвешема было завещано этому молодому человеку. Но он не получил наследства. В то время, когда Элвешем покончил с собой, Иден, как это ни странно, был уже мертв. Сутками раньше на людном перекрестке Хауэр-стрит и Юстон-роуд его сбил кеб, и он тотчас же скончался. Так что единственный человек, который мог бы пролить свет на фантастическую историю, ничего нам не скажет.

«История Платтнера» (1897)

Маседонио Фернандес

Танталиада

Мир создан в наказание Танталам.

Сцена первая. ЗАБОТА О ТРАВИНКЕ

Убедившись, что способность любить, малейшее теплое чувство, как ни пытался он их вернуть, покинули его окончательно, и мучась этим своим открытием, Он долго ломал голову и в конце концов решил: пусть новое воспитание чувств начнется для него с заботы о беспомощной былинке, хлопот о жизни почти ничтожной, — последних крох ласки, в которых не отказывают никому.

Буквально через несколько дней после этих его туманных раздумий и планов Она, не подозревая о подобных метаниях, но втайне боясь, что он охладел, прислала ему в подарок кустик клевера.

Он увидел в этом хороший знак и приступил к задуманному. День за днем холил Он бедный росток и все сильней поражался, сколько нужно забот и хлопот, чтобы не наделать ошибок и окружить всем необходимым эту слабенькую жизнь,

которой со всех сторон угрожали кошки, холода, тумаки, жажда, жара, ветер. Сама возможность однажды застать своего питомца мертвым из-за пустяковой оплошности бросала в дрожь. Но не только в страхе потерять предмет заботы было тут дело: в разговорах с подругой, полных подозрений, как все между любовниками, особенно если страсть одного из них слабеет, они дошли до неотступной мысли, будто между жизнью ростка и жизнью их самих или их любви существует связь. «Пока жив клевер, жива и наша любовь», — сказала Она однажды.

Их не отпускала тревога, что цветок погибнет, а вместе с ним — кто-то из них, либо — и это самое страшное! — их любовь. Они то и дело поглядывали друг на друга, на полуслове вдруг погружаясь в себя, еще жарче раздувая собственные страхи. В конце концов они решили избавиться от цветка, чтобы обмануть дурные предчувствия и чтобы никто в мире, от которого зависела теперь их жизнь и любовь, не смог обнаружить этот злосчастный кустик клевера, больше того — чтобы они и сами не знали, длится или уже оборвалось существование стебелька, сросшегося в одно с переменчивой людской страстью.

Итак, они задумали бросить травинку. Ночью,

в незнакомом месте, на огромном лугу клевера.

Сцена вторая. ЕДИНСТВЕННЫЙ РОСТОК

Но то ли напряжение в нем день ото дня росло, то ли обоим было грустно отказываться от начатого перевоспитания чувств, от привычной и любовной заботы о забрезжившем в его сердце ростке — только Он вдруг решился на странный поступок, и все их старания потерять росток в потемках пошли прахом. Ничего особенного не случилось, но когда Он на ходу наклонился и сорвал другую травинку, ее кольнула тревога.

— Что ты делаешь?

— Да ничего.

Наутро они простились, но испуг остался. Осталось и облегчение обоих, что больше они не зависят от жизни и смерти какого-то ростка, да еще — наш обычный страх перед непоправимостью сделанного шага, перед собственноручно созданной невозможностью. Как сейчас, когда уже больше не узнать, жив ли еще и где он теперь, тот росток, бывший подарком любви.

Сцена третья. ИСТЯЗАТЕЛЬ КЛЕВЕРА

«Из-за тысячи бед и причин я не знаю радостей мысли, творчества, страсти, которыми живет все вокруг. Я оглох, а ведь музыка была счастьем моей жизни. Ослабел до того, что долгие прогулки для меня теперь невозможны. И так чего ни коснись...

Я выбрал этот кустик клевера для Истязаний, выбрал из многих. Бедный ты мой избранник! Посмотрим, смогу ли я создать для тебя мир беспросветной Муки. Дойдут ли твои Безгрешность и Боль до таких пределов, что это взорвет Мир, взорвет Вселенную и кто-то возопит о Небытии, станет умолять о Небытии, о полном Прекращении для себя и всех прочих, ведь мир устроен так, что отдельной смерти в нем нет — либо гибель Всего, либо неисчерпаемая вечность для всех... Единственное постижимое уму прекращение — это прекращение Всего. Мысль, что кто-то чувствующий вдруг перестанет чувствовать, оставив после себя, прекратившего существовать, ту же неизменную реальность, — нет, это невозможно, это не умещается в голове.

Избранный из миллионов, ты будешь, будешь

существовать на свете только ради Муки! Пока еще не пора. Но завтра я стану благодаря тебе настоящим художником Мучений!

Последние три дня, шестьдесят—семьдесят часов подряд, дул ровный летний ветер с отклонением разве что на градус-другой, не больше. Дул и дул в одном и том же направлении, с одними и теми же микроскопическими колебаниями, одними и теми же микроскопическими различиями в направлении и в колебаниях. Дверь дома между перилами крыльца и придвинутым, чтобы сократить размах, стулом колотилась не переставая. Не переставая, колотилась под ветром и рама окна. И все эти шестьдесят—семьдесят часов дверь и рама минута за минутой уступали ровному нажиму ветра, а вместе с ними — застыв или покачиваясь в кресле, я сам.

Наверное, тогда я и сказал себе: вот она, истинная Вечность. Наверное, ради этого я на них и смотрел, ради этой находки, этой смеси пресыщенности, бесчувственности и бесцельности, этого переплетения боли, удовольствия, жестокости, доброты — всего на свете, во мне и зародилась тогда мысль стать мучителем клевера.

Попробуем, повторял я себе, попробуем, отказавшись от мысли о новой любви, предаться

пыткам самого слабого и беззащитного существа в мире, самой хрупкой и ранимой из форм жизни: сделаться мучителем этого кустика. Бедный, он избран среди тысяч ему подобных, чтобы оттачивать на нем изобретательность и упорство инквизитора. Когда-то я хотел сделать росток клевера счастливым. Но меня вынудили отказаться от этой мечты, оторвать избранника от себя, спрятать его среди других. С той минуты маятник моей извращенной и смертоносной воли качнулся в другую сторону, разом обратившись к противоположному — к жажде зла. Тут у меня и блеснула мысль: надо так истязать безгрешность и незащищенность, чтобы толкнуть на самоубийство Вселенную, отомстить ей за то, что она дает приют злодеям и предателям, подобным мне. В конце концов, разве не она меня породила?

Смерть я отрицаю. Смерть означает исчезновение одного существа из жизни другого. Но если они были друг для друга самой любовью, смерть невозможна. Единственное исключение, которое я признаю, — это чистая смерть, смерть ради смерти. Пускай для того, кто испытал хоть какое-то чувство, смерти не существует. Но почему не существовать окончанию бытия как такового, уничтожению Всего? Ты возможно, Вечное

Прекращение. В тебе обретут покой все, кто не верит в Смерть, но с бытием, с жизнью тоже не в силах примириться. Я верю, что наша воля может влиять на Мир напрямую, помимо тела. Верю, что Вера может двигать горы. Верю, даже если в это не верит больше никто.

Не решаюсь бередить память о пыточном существовании, которое я возвел в систему, каждый день выдумывая для ростка новые жестокости и заставляя мучиться, но жить.

Корчась как на угольях, признаюсь: день за днем я держал росток у самого солнца, но не давал прикоснуться к нему ни единому лучу и с особой изощренностью отодвигал бедняжку при первом приближении солнечного блика. Я поливал его только-только чтобы не дать засохнуть, зато окружил всяческими резервуарами и устройствами, с точностью воспроизводившими звук ливня и мороси; они работали совсем рядом, но, увы, не освежали. Искушать и отказывать... Вселенная — это пир, полный искушений и преград: препон здесь не меньше, чем соблазнов.

Мир — наказание для Танталов, сад бесконечных приманок, именуемый Мирозданием, а лучше было бы — Искушением. Все, чего может пожелать клевер, все, чего может пожелать чело-

век, ему открыто, но недоступно. Так и я: мыслью тянусь, а наяву не достигаю. Мой внутренний двигатель, мое танталово самомучительство — в том, чтобы искать наилучших, совершеннейших возможностей страдать, затворясь от жизни, но даруя вместо этого всю полноту бытия, все самые глубокие и острые ощущения своей жертве. В конце концов танталова пытка лишениями заставила ее дрогнуть. После этого я не мог уже ни видеть, ни касаться ростка. Победа переполнила меня отвращением (срывая кустик той, так и оставшейся в моей памяти беспросветной, ночью, я тоже не смотрел в его сторону и с брезгливостью брался за стебель). Шум не освежавшего дождя заставил цветок изогнуться.

Выбранный для мученической судьбы! Бедный избранник! Зачем ты попал в этот мир? Ведь я срывал тебя, заранее предназначая для истязаний»...

Сцена четвертая. ЖИЗНЬ УЛЫБАЕТСЯ СНОВА

В конце концов, подоплекой его убогого предприятия было заносчивое желание расквитаться за Ничтожество Вселенной, за то, что было, есть

и будет, за всю эту Явь, физическую и духовную. Рано или поздно Мироздание, Реальность, думал он, этого не потерпят, устыдятся, что под их кровом нашли себе место подобные издевательства над самым слабым, самым беззащитным звеном в цепи живущих. И со стороны кого? — существа куда более сильного и одаренного среди живых. Человек тиранит клевер — разве его миссия в этом?

Отказ после всех посулов — подобные извращения кружат голову любому из мыслящих. Отсюда — его тяга к трусливому истязанию других, отвратительное упоение большой властью при полной ничтожности собственного существования.

Умом Он постиг тождество Бытия и Небытия и не видел ничего странного и невозможного в том, что последнее полностью заместит первое. При этом именно Ему, венцу Мысли, Человеку, и притом — исключительных задатков, суждено в предельном напряжении ума найти талисман, средство, которое приведет Ничто к подмене Всего — подмене, замещению, а то и «вытеснению» Бытия Небытием. Кто, в самом деле, наберется смелости утверждать, будто мышление способно решить задачу, до какой степени Бытие и Ничто различаются в смысле возможной взаимозамены

и начисто ли исключено, что Небытие займет место Бытия? Скорее, наоборот: мир может существовать или нет, но если он все-таки существует, то подчиняется закону причинности, а стало быть, его прекращение, не-бытие тоже предопределено своей причиной. И пусть одно искомое средство к прекращению Бытия не приведет — приведет другое... Если Мир и Ничто абсолютно равновероятны, при подобном равенстве, а лучше сказать — равновесии, любая мелочь, любая капля росы, любой вздох, желание, мысль могут переломить баланс, дать Небытию перевес над Бытием.

Наступит день, и явится Спаситель Бытия.

(Я всего лишь комментатор, рассуждающий о том, что Он делает, я — не Он.)

Но наступил день, и появилась Она:

— Скажи, что ты сделал тогда ночью? Я слышала смутный шорох вырванного цветка — как будто голос земли заговаривал боль травинки. Или я ослышалась?

Но он уже пришел в себя от долгих скитаний после того ночного разговора и заплакал в ее объятиях, и опять любил ее бесконечно, как раньше. Эти слезы не могли пролиться много лет, это они разрывали ему сердце, они внушили мысль

уничтожить мир. Он вспомнил слабый стон, нестерпимый вскрик раненого цветка, тоненького вырванного стебля — вот что, оказывается, было нужно, чтобы хлынувшие слезы смыли все и вернули его к дням прежней любви... И так же, как этот сдавленный стон отрываемого от земли ростка мог тогда подтолкнуть Реальность к Небытию, так теперь он перевернул ему всю душу.

Верю, что так и было. Многие на свете верят и не такому. Верующего не урезонить, и не говорите мне, что это безумие и абсурд. Любая женщина верит: если возлюбленный по рассеянности поставил ее гвоздику в вазу, которую она ему когда-то подарила, и цветок завял, — значит, его жизнь в опасности. Любая мать верит, что ее «благословение» хранит сына от беды. Любая женщина — что пылкая молитва отводит напасти.

Я, со своей стороны, верю в возможность невероятного. Поэтому Я верю, что все так и было.

Надутыми красотами невозмутимых метафизических систем меня не проведешь. Мне нужен факт, факт, который вгоняет в бессилие и ужас любую Тайну, любую Загадку Бытия: к примеру, надругательство высшего Сознания над Безгрешным Ростком, читай, сверхприродных сил — над

Человеком. Такой факт — доказывать его нужды нет, достаточно просто осознать — способен, я верю, опрокинуть все окружающее в Небытие.

У Мира есть начало — стало быть, причинно обусловлен и его Конец; не будем терять надежды. Но чудесное возвращение любви, причиной которого — автор, способно, пожалуй, бросить вызов той, первой, причинности, а после победы Небытия, может быть, ее и одолеть. На самом деле, жизнь сознания — не единый поток, а, уж скорее, чередование смертей и воскресений.

Я видел, как к ним вернулась любовь. Но с той поры не могу ни видеть, ни слышать своего героя без непреодолимого отвращения. И его чудовищная исповедь тут ничего не изменит.

Джордж Лоринг Фрост

Верующий

С наступлением сумерек два незнакомых друг с другом человека встречаются в темных коридорах картинной галереи. С легкой дрожью один из них говорит:

— Место какое-то страшноватое. Вы верите в привидения?

— Я нет, — отвечает другой. — А вы?

— А я верю, — говорит первый и исчезает.

«Memorabilia» (1923)

Джеймс Джордж Фрэзер

Жить вечно

В другом предании, записанном вблизи Ольденбурга в герцогстве Гол штейн, говорится о некоей даме, которая очень любила есть и пить и имела все, чего душа пожелает. И захотела она жить вечно. Первые сто лет все шло хорошо, но потом она стала съеживаться и сморщиваться; дошло до того, что она уже не могла ни стоять, ни ходить, ни есть, ни пить. Но и умереть она не могла. Вначале ее кормили как маленькую девочку, но потом она стала такой крохотной, что ее засунули в бутылку и повесили в церкви. Там она висит и посейчас, в Церкви Святой Марии в Любеке. Величиной она с крысу, и один раз в году шевелится.

«Бальдр Прекрасный» («Золотая ветвь», часть седьмая, 1913)

Холлоуэй Хорн

Завтрашние победители

Мартина Томпсона «Красавчика» вряд ли можно было назвать джентльменом. Он был антрепренером сомнительных боксерских поединков и партий в покер (дружеских), где уж никаких сомнений не могло возникнуть. Излишком воображения не страдал, но обладал живостью ума и изворотливостью. Его цилиндр, гетры и золотая подкова на галстуке могли бы быть более аляповатыми, однако он старался казаться джентльменом.

Судьба не всегда благоволила к нему, но он не сдавался. Объяснение тут было немудреное: «На каждого умершего дурака рождается десяток других».

Однако перед тем вечером, когда ему встретился старик, бедняга Красавчик провел полдня, совещаясь в отеле на предмет финансовых дел. Мнения, бесцеремонно высказанные двумя его сообщниками, нисколько его не смутили, но огорчительно было то, что ему отказали в доверии.

Он свернул на Уиткомб и направился к Чаринг-Кросс. Гнев лишь усугубил природное уродство его лица, и немногие встречные, поглядывавшие

на него, слегка поеживались.

В восемь вечера улица Уиткомб не слишком многолюдна, и когда старик с ним заговорил, поблизости не было никого. Старик сидел на корточках в каком-то подъезде вблизи Пэлл-Мэлл, и Красавчик не сразу его разглядел.

— Эй, Красавчик! — окликнул его старик.

Красавчик обернулся.

Он увидел в темноте смутные очертания человеческой фигуры, чьей единственной примечательной чертой была непомерно длинная белая борода.

— Привет! — неуверенно ответил он. (Он напряг память, но мог поклясться, что борода эта ему незнакома.)

— Холодно... — сказал старик.

— Чего вам надо? — сухо спросил Томпсон. — Кто вы?

— Просто старик, Красавчик.

— Если это все, что вы мне хотели сказать...

— Почти все. Не желаете ли купить газету? Уверяю вас, она не такая, как все.

— Не понимаю. Что значит — не такая, как все?

— Это завтрашний вечерний номер «Эхо», — спокойно сказал старик.

— Вы, наверно, сбрендили, приятель, в этом все дело. Послушайте, времена теперь нелегкие, но вот вам монетка, и пусть она принесет вам удачу! — Был Томпсон плутом или не был, ему была присуща щедрость людей, неуверенных в завтрашнем дне.

— Удачу! — ласково хохотнул старик, отчего Красавчика передернуло.

— Послушайте, — сказал он, чувствуя что-то неправдоподобное и странное в этой смутно темневшей фигуре. — Что это за игра?

— Самая древняя в мире игра, Красавчик.

— Оставьте в покое мое прозвище, прошу вас.

— Вы стыдитесь своего прозвища?

— Вовсе нет, — с твердостью ответил Красавчик. — Говорите прямо, чего вам надо. Я уже и так потерял с вами много времени.

— Тогда ступайте себе дальше, Красавчик.

— Но чего вам надо? — с невольным беспокойством повторил Красавчик.

— Ничего. Вы не хотите взять эту газету? Во всем мире нет второй такой. И не будет, целые сутки не будет.

— Конечно. Раз она выйдет только завтра, — досадливо сказал Красавчик.

— В ней список завтрашних победителей, —

кротко сказал старик.

— Вы лжете.

— Посмотрите сами. Вот он.

Из темноты выплыла газета, и пальцы Красавчика с опаской взяли ее. В подъезде раздался громкий хохот, и Красавчик очутился один.

Он почувствовал сильное сердцебиение, однако подошел к витрине, в свете которой мог рассмотреть газету.

«Четверг, 29 июля, 1926 г.», — прочитал он.

Красавчик минутку подумал. Сегодня среда, в этом он был уверен. Он вынул из кармана записную книжку, заглянул в нее. Да, сегодня среда, 28 июля, последний день бегов в Кемптоне. Это бесспорно.

Он опять взглянул на дату в газете: 29 июля, 1926 г. Инстинктивно он потянулся к последней странице, посвященной бегам.

Там он увидел имена победителей на ипподроме в Гэтуике. Он провел ладонью по лбу, лоб был мокрый от пота.

— Тут какая-то ловушка, — произнес он вслух и снова стал изучать дату выпуска газеты. Она повторялась на каждой странице, вполне отчетливо и точно. Затем он стал приглядываться к цифрам года, но шестерка также была совершен-

но нормальная.

В замешательстве он посмотрел на первую страницу. Там была передовая статья на восемь колонок о забастовке. К прошлому году это никак не могло относиться. Затем снова глянул на таблицу бегов. Первый приз выиграл Инкерман, а Красавчик-то собирался поставить на Ветра. Он заметил, что прохожие поглядывают на него с любопытством. Тогда он сунул газету в карман и пошел дальше. Никогда еще у него не было такой потребности в капельке спиртного. Он зашел в бар по соседству со станцией, к счастью, там было пусто. Выпив рюмку, он достал газету. Да, Инкерман выиграл первый приз, и выплата была шесть к одному. (Красавчик сделал беглый, но порадовавший его расчет.) Лосось победил во втором — Красавчик всегда это предсказывал. Шальная Пуля — кто, черт возьми, мог этого ожидать! — победил в третьем, вполне законно. А в семи забегах! Красавчик облизнул пересохшие губы. Никакой мистификации тут не было. Он прекрасно знал лошадей, которые будут представлены в Гэтуике, и вот перед ним победители.

Сегодня, пожалуй, уже поздно. Лучше поехать в Гэтуик завтра и сразу сделать ставки.

Он выпил еще одну рюмку... Мало помалу в

уютной обстановке бара его тревога рассеялась. Теперь вся эта история казалась ему вполне заурядной. В уме его, взбудораженном алкоголем, возникло воспоминание о фильме, который когда-то ужасно ему нравился. Там, в этом фильме, был индийский колдун с белой бородой, непомерно длинной белой бородой, такой же, как у старика. Колдун этот делал самые невероятные вещи... на экране. Красавчик был уверен, что никакой мистификации тут нет. Денег старик у него не потребовал, даже не взял монету, которую Красавчик ему предложил.

Красавчик попросил еще виски и угостил бармена.

— У вас есть какие-нибудь сведения о завтрашних бегах? — спросил тот. (Он был знаком с Красавчиком и знал о его увлечении.)

Красавчик ответил не сразу.

— Да, — сказал он наконец. — Лосось во втором забеге.

Выходя, Красавчик слегка пошатывался. Врач запретил ему пить, но в такой вечер...

На другой день он поехал на поезде в Гэтуик. Этот ипподром всегда приносил ему удачу, но сегодня речь шла не об удаче. Первые ставки он делал довольно умеренно, но победа Инкермана

его убедила. Не лошадь, огонь! Все сомнения исчезли. Любимчик публики Лосось победил во втором забеге.

В главном забеге на Шальную Пулю никто не ставил. Лошадь была не в форме, зачем рисковать. Красавчик распределил ставки — двадцать сюда, двадцать туда. За десять минут до старта он отправил телеграмму в одну из контор в Вест-Энде. Он твердо решил отхватить большой куш. И отхватил.

Этот забег не принес Красавчику волнений. Ведь результат он знал заранее. Карманы его лопались от ассигнаций, и это еще было ничто сравнительно с тем, что ему предстояло получить в Вест-Энде. Он заказал бутылку шампанского и выпил ее за здоровье старика с белой бородой. Поезд пришлось ждать полчаса. В нем ехали любители бегов, которых последний забег тоже не интересовал. В удачные дни Красавчик бывал весьма словоохотлив, но в этот день молчал. Странный старик не шел у него из ума. Причем не столько его наружность и борода, сколько прощальный его смех.

Газета все еще была у Красавчика в кармане: повинуясь невольному чувству, он ее вытащил. Его интересовали только бега, других сообще-

ний он обычно не читал. Все же он ее полистал — газета как газета. Он решил купить на станции другой экземпляр, чтобы убедиться, что старик не солгал.

Внезапно взгляд его остановился — его внимание привлекла заметка, озаглавленная «Смерть в поезде». Сердце Красавчика затрепетало, однако он начал ее читать. «Известный любитель спорта мистер Мартин Томпсон скончался сегодня вечером, возвращаясь в поезде из Гэтуика».

Дальше он не читал, газета выпала у него из рук.

— Посмотрите на Красавчика, — сказал кто-то. — Он, видно, заболел. Красавчик тяжело и шумно дышал.

— Остановите... остановите поезд, — пробормотал он и поднялся, ища стоп-кран.

— Спокойно, приятель, — сказал ему один из пассажиров, хватая его за руку. — Садитесь, незачем попусту дергать ручку.

Он сел, вернее, упал на сиденье. Голова его склонилась на грудь. Ему пытались влить в рот виски, но это было бесполезно.

— Он мертв, — испуганно сказал поддерживавший его сосед.

Никто не обратил внимания на валявшуюся

на полу газету. В суматохе ее затолкали под скамейку, и куда она подевалась, никто не знает. Возможно, ее вместе с мусором выбросили уборщики на станции.

Возможно.

Никто этого не знает.

«Старик и другие рассказы» (1927)

Хуан Мануэль

Отсрочка

Жил в Сантьяго некий настоятель, которому очень хотелось обучиться искусству колдовства. Прослышал он, что дон Илиан из Толедо, как никто, сведущ в нем, и отправился в Толедо.

Приехав, он прямиком пошел к дону Илиану, коего застал в уединенном покое за чтением. Тот радушно принял пришельца, попросив не торопиться с делом, которое его привело, и для начала поесть с дороги. Потом он предоставил ему прохладный покой и сказал, что очень рад гостю. Насытившись, настоятель поведал о причине своего приезда и попросил обучить его науке колдовства. Дон Илиан сказал, что догадался, что перед ним настоятель, человек с положением и видами на будущее, но опасается, как бы его услуга не была потом позабыта. Настоятель клятвенно пообещал, что никогда не забудет оказанной ему милости и не останется в долгу. Когда они договорились, дон Илиан сказал, что искусство колдовства постигается только в уединенном месте, и, взяв гостя за руку, отвел в смежную комнату с большим железным кольцом в полу. А служанке он велел приготовить на ужин

жаркое из куропаток, но не начинать, пока не прикажут. Вдвоем они потянули за кольцо и по гладкой каменной лестнице сошли так глубоко вниз, что настоятелю показалось, что Тахо течет у них над головами. Лестница вела в подземелье, в котором были келья, библиотека и что-то похожее на кабинет с орудиями колдовства. Они стали разглядывать книги, но в это время вошли два человека с письмом для настоятеля от епископа, в котором тот извещал, что очень болен и велел поторапливаться, если настоятель хочет застать его в живых. Такие события очень озадачили настоятеля: то ли ехать к дяде, то ли продолжать обучение. Он решил написать письмо с извинениями и отослал его епископу. Спустя три дня прибыли несколько человек в траурных одеяниях с письмом к настоятелю, в котором было написано, что епископ скончался и ему выбирают преемника и что, будь на то Божья воля, изберут его. Еще там говорилось, чтобы он не заботился о приезде, потому что гораздо лучше, если выбирать будут без него.

Спустя десять дней прибыли два нарядных оруженосца, которые бросились ему в ноги, облобызали руки и приветствовали нового епископа. Когда дон Илиан это увидел, он с великой радо-

стью отправился к новому прелату и сказал ему, что благодарен Богу за такие хорошие вести и за то, что случилось это у него в доме. А потом попросил освободившееся место настоятеля для одного из своих сыновей. На это сказал ему епископ, что приготовил это место для своего брата, но раз обещал он ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Сантьяго.

Поехали они все втроем в Сантьяго, где их встретили с почестями. Спустя шесть месяцев принял епископ посланцев Папы, который предлагал ему место архиепископа в Тулузе, оставляя выбор преемника на его усмотрение. Когда дон Илиан об этом узнал, он напомнил про стародавнее обещание и попросил этот титул для своего сына. Архиепископ уведомил его, что приготовил место епископа для дяди, брата отца, но раз обещал он ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Тулузу. У дона Илиана не было другого выхода, как согласиться.

Поехали они все втроем в Тулузу, где их встретили с почестями и отслужили мессу. Спустя два года принял архиепископ посланцев Папы, который предлагал ему кардинальскую шапочку, оставляя выбор преемника на его усмотрение. Когда дон Илиан об этом узнал, он напомнил

про стародавнее обещание и попросил сан архиепископа для своего сына. Кардинал уведомил его, что приготовил это место для дяди, брата матери, но раз обещал он ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Рим. У дона Илиана не было другого выхода, как согласиться. Поехали они все трое в Рим, где их встретили с почестями, отслужили мессу и устроили крестный ход. Спустя четыре года умер Папа, и наш кардинал был избран на папство. Когда дон Илиан об этом узнал, он облобызал туфлю Его Святейшества, напомнил стародавнее обещание и попросил кардинальство для сына. Папа пригрозил ему тюрьмой, заявив, что всегда знал, что тот всего лишь колдун и обучал в Толедо искусству колдовства. Несчастный дон Илиан сказал, что возвращается в Испанию, и попросил еды на дорогу. Но Папа не дал. Тогда дон Илиан — чье лицо странно помолодело — сказал твердо:

— Что ж, придется поесть куропаток, которых я велел приготовить сегодня на ужин.

Вошла служанка, и дон Илиан велел приготовить жаркое. При этих словах Папа очутился в подземелье в Толедо, снова став настоятелем из Сантьяго, и ему было так стыдно за свою неблагодарность, что он не знал, как вымолить прощение. Дон Илиан сказал, что хватит с него испытаний, не стал предлагать жаркого, проводил до дверей, учтиво попрощался и пожелал счастливого пути.

«Книга примеров» (1575)

Цао Сюэцинь

Зеркало ветра и луны

...Прошел год. Цзя Жую становилось все хуже. Образ недоступной госпожи Феникс поглощал его дни, кошмары и бессонница — ночи.

Но однажды вечером на улице появился нищий даос. Он просил подаяние и похвалялся, что лечит душевные болезни. Цзя Жуй приказал слугам его позвать. Нищий сказал: «Твою болезнь не вылечит ни одно лекарство. Но есть у меня одно сокровище. Оно поможет, если ты исполнишь все, что я скажу». Он вытащил из сумы небольшое зеркало, отполированное с двух сторон. На оборотной стороне было нацарапано: «Драгоценное зеркало Ветра и Луны». Монах объяснил: «Это зеркало из дворца Феи Ужасного Пробуждения. Оно излечивает хвори, вызванные нечистыми помыслами. Но остерегайся смотреть в его лицевую сторону — смотрись только в оборотную. Завтра я вернусь за зеркалом и найду тебя здоровым». С этими словами нищий ушел, не взяв денег, которые ему предлагали.

Цзя Жуй взял зеркало, посмотрелся, как учил даос, и в ужасе выронил его. Там отражался череп. Он обругал нищего и, разозлившись, решил посмотреть в лицевую сторону. Взял, посмотрелся и увидел госпожу Феникс: нарядно одетая, она манила его к себе. Цзя Жуй почувствовал, как его втягивает в глубь зеркала, проник сквозь металл и предался любви с Феникс. Потом она проводила его до выхода. Когда Цзя Жуй очнулся, зеркало было повернуто к нему оборотной стороной, в нем снова виделся череп. Ослабев от наслаждений обманчивого зеркала, Цзя Жуй все-таки не мог удержаться и еще раз посмотрелся в лицевую сторону. Феникс опять поманила его, он опять проник в зеркало и утолил свою страсть. Так повторялось несколько раз, пока двое мужчин не схватили его на выходе и не заковали в цепи. «Ведите меня, куда хотите, — прошептал он, — только дайте я возьму с собой зеркало». Больше он не сказал ни слова. Его нашли мертвым на липкой простыне.

Из романа «Сон в Красном Тереме»

Беспробудный сон Баоюя

Баоюю приснилось, что он точно в таком же саду, как у него дома. «Возможно ли, — спросил он, — что существует сад, похожий на мой собственный?» Появились служанки. Пораженный Баоюй воскликнул: «Значит, есть еще девушки, похожие на Сижэнь, Пинъэр и всех остальных служанок у нас дома?» Одна из служанок сказала: «Да это Баоюй. Как он мог здесь оказаться?» Баоюй подумал, что его узнали. Он шагнул к девушкам и объяснил: «Я прогуливался и случайно зашел сюда. Пройдемся еще немного». Служанки засмеялись: «Как глупо! Мы приняли тебя за Баоюя, но наш господин такой статный». Видно, это были служанки другого Баоюя. «Милые сестры, — сказал он, — мня зовут Баоюй. А кто ваш хозяин?» «Баоюй, — отозвались они. — Родители дали ему это имя, состоящее из двух частей, Бао (драгоценный) и Юй (яшма), чтобы его жизнь была долгой и счастливой. Кто ты такой, чтобы называться его именем?» Подняв его на смех, девушки ушли.

Баоюй огорчился. «Никогда со мной так не обходились. За что на меня взъелись эти служанки? Неужели на свете есть другой Баоюй? Нужно разобраться». С этими мыслями он вошел во дворик, показавшийся ему необыкновенно знакомым. Он поднялся по лестнице и вошел к себе в комнату. На постели лежал юноша. Вокруг пересмеивались служанки, занятые домашними делами. Юноша глубоко вздохнул. Одна из служанок спросила: «Что с тобой, Баоюй? Что-то приснилось?» «Я видел странный сон. Мне снилось, что я в саду, а вы меня не узнаете и бросаете там одного. Я иду вслед за вами в дом и вижу, что в моей постели спит другой Баоюй». Услышав эти слова, Баоюй не смог удержаться и воскликнул: «Я искал Баоюя, значит, это ты». Юноша вскочил и обнял его со словами: «Так это был не сон, и Баоюй это ты!» В эту минуту из сада позвали: «Баоюй!» Оба Баоюя вздрогнули. Снившийся исчез; другой воскликнул: «Вернись, Баоюй!» Тут Баоюй проснулся. Служанка Сижэнь спросила его: «Что с тобой, Баоюй? Что-то приснилось?» «Я видел странный сон. Мне снилось, что я в саду, а вы меня не узнаете».

Из романа «Сон в Красном Тереме»

Гилберт Кит Честертон

Возгордившееся дерево

На пути к Варварскому Побережью, где последний клин леса сходит на нет, зажатый с одной стороны пустыней, а с другой — огромным безмолвным морем, местные жители по сю пору рассказывают историю об отшельнике, обитавшем здесь в эпоху Темных Веков. Здесь, на сумрачной границе Темного Континента, вас настигнет ощущение Темных Веков. Лишь раз побывал я в тех местах, хоть и не очень отдалены они от того итальянского городка, где я прожил многие годы, но от этого вывернутый наизнанку метемпсихоз этого мифа едва ли покажется менее безумным, чем он есть на самом деле, с его лесами, оглашаемыми рыком львов, и темно-красным одиночеством пустыни вокруг. Гласит эта легенда о том, что отшельник св. Секурис, нашедший приют среди деревьев, полюбил их как друзей; поскольку многорукие эти гиганты, подобные Бриарею, оказались тишайшими и невиннейшими изо всех земных существ: они не бросались на малых птах, как львы, а скорее раскрывали навстречу им свои объятья. И он молил Бога, чтобы Он дал им возможность время от

времени двигаться и гулять, как другие создания. И молитвами Секуриса, деревья сдвинулись с места, словно по воле волшебных песен Орфея. И жители пустыни с замиранием сердца наблюдали издали за отшельником, шествующим в окружении деревьев, словно школьный учитель среди своих учеников. Ибо дарована была деревьям свобода при условии неукоснительного послушания. Им надлежало возвращаться, как только отшельник позвонит в колокольчик, и, более того, подражать зверям только в движениях, не разрушая ничего вокруг и не пожирая себе подобных. Так вот, говорят, что одному из деревьев был голос, и голос тот не принадлежал отшельнику: однажды летним вечером в душном зеленом сумраке это дерево обнаружило, что некто в образе огромного змея сидит на его ветвях и говорит с ним. Все громче звучал тот голос в шепоте листвы, и дерево преисполнилось великим желанием расправить ветви, схватить птиц, что беззаботно порхали над своими гнездами, и разодрать их в клочки. В конце концов искуситель усадил на верхушку дерева своих собственных птиц — роскошных сверкающих павлинов. И дух хищника переборол дух дерева — оно рванулось вперед и поглотило сине-голубых птиц, так, что

ни перышка не осталось, и вернулось в мирный сонм деревьев. Но говорят также, что с приходом весны, когда на других деревьях зазеленели листья, это дерево покрылось перьями странного оттенка и формы. И по этому чудовищному превращению отшельник догадался о грехе, содеянном деревом, и приковал его корнями к земле навеки, сказав при этом, что зло должно пасть на того, кто позволит этому дереву сойти с места.

Вавилонская башня

...эта история о разверстой в земле пропасти, уходящей неизвестно куда, всегда меня волновала. По форме это история напоминает магометанскую, но я не удивлюсь, если узнаю, что она гораздо старше, чем Магомет. Жил-был некто, прозванный Султан Аладин, — не тот, наш давний знакомец с лампой, разумеется, но, как и тот, имевший дело с джиннами, великанами и подобными существами. Сказывают, что он приказал великанам выстроить для него что-то вроде пагоды, возвышающейся выше звезд. Высочайшая из Высочайших, как называли ее строители Вавилонской башни. Но строители Вавилонской башни, в сравнении со стариной Аладином, вели себя скромно и непритязательно, как мышки. Они просто хотели построить башню, упирающуюся в небеса, — так, пустяк. А он мечтал о башне, *пронзающей* небеса, устремляющейся выше небес, все выше и выше. И Аллах наслал на него удар грома, вдавивший его в землю и пробивший в земле бездну, становившуюся все глубже и глубже, пока она не превратилась в бездонный колодец, подобно тому, как башня

не имела вершины. И вниз по этой перевернутой башне душа спесивого султана падает и падает, и никогда не достигнет дна.

«Человек, который знал слишком много» (1922)

Чжуанцзы

Сон мотылька

Чжуанцзы приснилось, что он стал мотыльком. И проснувшись, он уже не знал, кто он: Цзы, видевший во сне, будто стал мотыльком, или мотылек, которому снится, что он — Чжуанцзы.

Ахмед эш-Шируани

Виновные глаза

Рассказывают, что некий человек купил невольницу за четыре тысячи динаров. Однажды, посмотрев на нее, он заплакал. Девушка спросила, почему он плачет; он ответил: «У тебя такие красивые глаза, что я забываю возносить хвалу Богу». Оставшись одна, девушка вырвала себе глаза. Увидав ее в таком виде, хозяин огорчился и спросил: «Зачем ты изуродовала себя? Теперь твоя цена уменьшилась». Она отвечала: «Я не хочу, чтобы что-то во мне мешало тебе возносить хвалу Богу». Ночью человек услыхал во сне голос, говоривший: «Цена девушки уменьшилась для тебя, но увеличилась для нас, и мы забираем ее». Проснувшись, он нашел под подушкой четыре тысячи динаров. Девушка была мертва.

Сальвадор Элисондо

История глазами Бао Чжэна

Однажды летом, около трех с половиной тысячелетий тому назад, философ Бао Чжэн сидел на берегу ручья и разгадывал свою судьбу по панцирю черепахи. Но жара и лепет воды вскоре отвлекли его, и, забыв о пятнах и царапинах на твердой поверхности панциря, Бао Чжэн принялся размышлять о грядущей истории мира, начиная с этого момента. «Подобно струям этого ручейка, течет время. Это маленькое русло расширяется вместе с потоком и вскоре оказывается могучею рекой, потом ее воды впадут в море, затем вольются в океан, в виде пара поднимутся к облакам, прольются на горы дождем и наконец спустятся с них, вновь превратившись все в тот же ручей...» Таков приблизительно был ход его мыслей, и так, интуитивно постигнув шарообразность земли, ее движение вокруг солнца, перемещение других светил и собственное вращение галактики и вселенной, он воскликнул: «А! Эти думы уводят меня от земли Хань и ее народа, составляющего неподвижный центр и ось, вокруг которой вращается весь человеческий род...» И вновь обратившись мыслью к челове-

ку, Бао Чжэн начал размышлять об истории. Он проник в суть великих событий будущего, как если бы они были начертаны на панцире черепахи, он увидел войны, великое переселение народов, страшные бедствия и болезни, истреблявшие людей, славные деяния и подвиги героев на протяжении многих тысячелетий. Ему открылись упадок великих народов и зарождение новых, немногочисленных, которые затем становились великими и мощными вплоть до того момента, когда, в свою очередь, терпели крах. Возникали новые племена, и их города, на мгновение достигнув расцвета, превращались в развалины, смешиваясь с прахом бесчисленных ушедших поколений. Один из этих городов, существующий в будущем, увиденном Бао Чжэном, привлек его внимание. Его тянуло всмотреться попристальнее, как будто город скрывал тайну, имеющую отношение к самому философу. Он напряг внутренний взор и попытался проникнуть в лабиринты этой нерукотворной топографии. Сила воображения Бао Чжэна была такова, что он ощутил, как идет по улицам города, оглядываясь кругом, обескураженный великолепием памятников и монументальностью зданий. Долго шел Бао Чжэн по городу среди людей в удивительных

нарядах, неспешно обменивавшихся фразами на незнакомом языке, и вдруг остановился перед домом, где на фасаде были начертаны непонятные знаки, обладавшие странной притягательностью. В одном из окон он сумел различить человека, который что-то писал. В ту же минуту Бао Чжэн ощутил, что именно там разгадка тайны, которая так глубоко касается его. Он закрыл глаза и, кончиками длинных пальцев водя по лбу, на котором выступили капельки пота, попытался мысленно проникнуть внутрь комнаты, где сидел писавший. Ноги его оторвались от земли, и он мысленно перенесся через подоконник открытого окна, в которое вливался свежий воздух, шевеля лежавшие на столе листки, покрытые неподдающимися прочтению значками. Бао Чжэн осторожно приблизился к человеку и заглянул через его плечо, задержав дыхание, чтобы не выдать своего присутствия. Человек не замечал его, полностью поглощенный своим занятием: он покрывал листы бумаги закорючками, смысл которых пока что ускользал от понимания Бао Чжэна. Время от времени человек прерывал свое занятие, задумчиво глядел в окно, подносил к губам маленькую белую палочку, зажженную с одного конца, и вдыхал, а затем, выпустив изо рта

и ноздрей голубоватый дым, принимался писать снова. Бао Чжэн смотрел на исчерканные листки, в беспорядке разбросанные по столу, и по мере того, как до него доходил смысл написанного, лицо его мрачнело. Вдруг он вздрогнул, как от змеиного укуса. «Этот человек пишет рассказ», — сказал себе Бао Чжэн. Он продолжал читать слова на листках. «Рассказ называется „История глазами Бао Чжэна“, и в нем говорится о философе древних времен, который однажды сидел на берегу ручья и вдруг принялся размышлять об... Значит, я — воспоминание этого человека, и если он забудет обо мне — я умру!..»

Человек, едва дописав слова: «...если он забудет обо мне — я умру», остановился, затянулся еще раз сигаретой и, выдыхая дым, нахмурился, как грозовое небо. Он понял, что навечно обрек сам себя писать историю о Бао Чжэне, поскольку, если его персонаж будет забыт и умрет, сам он — всего лишь плод воображения Бао Чжэна — тоже исчезнет.

СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ

Айрленд И. А (1871—?) — английский литератор-эрудит, автор книг «Краткая история кошмаров» (1899), «Необычные посетители» (1919) и др., теоретик жанра «страшного» рассказа.

Акутагава Рюноскэ (1892—1927) — японский прозаик, журналист, переводчик европейской литературы. Автор сборника новелл «Расёмон» (1917), повестей «В стране водяных», «Зубчатые колеса», «Жизнь идиота» (все — 1927), заметок «Слова пигмея» (1923—25), эссе об отечественной и мировой словесности. Борхес сопроводил аргентинское издание его повестей в 1959 г. своим предисловием.

Бертон Ричард Френсис (1821—1890) — английский путешественник, литератор-полиграф, историк, географ и антрополог, переводчик «Сказок тысячи и одной ночи» (1885—88), перевел поэму Л. де Камоэнса «Лузиады» и написал его биографию. Борхес подробно писал о нем в эссе «Переводчики „Тысячи и одной ночи“» (сб. «История вечности», 1936).

Бирбом Макс (1872—1956) — английский писа-

тель, известный художник-карикатурист. Автор многочисленных и популярнейших в свое время литературных пародий («Уголок поэтов», 1904, «Рождественская гирлянда», 1912, пародийно-сатирический роман «Зулейка Добсон», 1911), книги новелл «Семь человек» (1919), сборников эссе и заметок «И даже сегодня» (1920), «Несметное множество» (1928).

Блуа Леон (1846—1917) — французский писатель, католический мистик и еретик (с его творчеством Борхеса познакомил друг его юности, аргентинский поэт-католик Франсиско Луис Бернардес). Автор романов «Разочарованный» (1886), «Бедная женщина» (1897), книги историософской публицистики «Душа Наполеона» (1912), оставил «Дневник» (1892—1917). Борхес писал о Блуа в эссе «Зеркало загадок» (сб. «Новые расследования», 1952; из этого же взяты два первых фрагмента) и включил его сборник в свою «Личную библиотеку» (1985).

Борхес Хорхе Луис (1899—1986) — аргентинский поэт, прозаик, переводчик, автор стихотворных книг «Страсть к Буэнос-Айресу» (1923), «Иной и прежний» (1964), «Сокровенная роза» (1975), «Тайнопись» (1981), сборников новелл «Вымышленные истории» (1944), «Алеф» (1949), «Книга

песка» (1975) и эссе («История вечности», 1936; «Новые расследования», 1952).

Бубер Мартин (1878—1965) — еврейский (австрийский, затем — немецкий, а позднее — израильский) религиозный мыслитель и писатель, переводчик Библии, старой китайской словесности (Чжуанцзы, Пу Сунлин), хасидских притч, автор книг «Рассказы раби Нахмана» (1906), «Сказание о Бал-Шеме» (1908), «Гог и Магог» (1941), трактата «Я и Ты» (1922) и др. Переводы его эссе на испанский не раз публиковались в буэнос-айресском журнале «Юг» (начал издаваться в 1931 г.), в редакционный совет которого входил Борхес. В свое время Бубер одним из первых заметил рецензии юноши-Борхеса в европейской печати.

Бьой Касарес Адольфо (1914—1999) — аргентинский прозаик, друг и соавтор Х. Л. Борхеса (они познакомились в 1930 г., написали вместе книгу пародийных детективных новелл «Шесть задач для дона Исидро Пароди», 1942, сборник пародийных рецензий-эссе «Хроники Бустоса Домека», 1957, и др., составили антологии «Лучшие детективные рассказы», 1943 и 1951; «Краткие и необычайные истории», 1955; «Книга рая и ада», 1960). Автор первого фантастического романа Латинской Америки «Изобретение Мореля» (1940,

вышел с предисловием Борхеса), романов «Сон героев» (1954), «План бегства» (1945), «Дневник войны со свиньями» (1969), сборника рассказов «Необыкновенные истории» (1972) и др.

Бьянко Хосе (1908—1986) — аргентинский прозаик, редактор журнала «Юг» (1938—1961), многолетний друг Борхеса. Автор романа «Крысы» (1943, Борхес рецензировал его в журнале «Юг» в 1944 г.), книг рассказов «Сон-костюмер» (1944), «Утраченное царство» (1972). В 1985 г. Борхес включил публикуемую здесь новеллу Бьянко, которая заметно повлияла на латиноамериканскую фантастическую прозу (ее выделял Карлос Фуэнтес и др.), в антологию «Аргентинские рассказчики и живописцы», сопроводив своим предисловием.

Вайль Густав (1808—1889) — немецкий арабист, один из переводчиков «Сказок тысячи и одной ночи» (1837—41). Борхес писал о нем в эссе «Переводчики „Тысячи и одной ночи“».

Вильгельм Рихард (1873—1930) — немецкий китаист, исследователь и переводчик древней философии и словесности («Ицзин», Конфуций, Чжуанцзы, волшебные сказки).

Вилье де Лиль Адан Антуан (1838— 1889) — французский прозаик и драматург, «черный»

романтик. Автор книг новелл «Жестокие рассказы» (1883), «Будущая Ева» (1886), «Необычайные истории» (1888), цикла повестей и рассказов о Трибула Бономе.

Вилькок Хуан Родольфо (1919—1978) — аргентинский, а с конца 50-х гг. — итальянский поэт и прозаик, близкий к редакции журнала «Юг», переводчик Борхеса на итальянский язык. Автор книг стихов «Счастливые дни» (1946), «Одна шестая» (1950), пьесы «Предатели» (1956, в соавторстве с Сильвиной Окампо), сборников фантастических новелл «Хаос» (1961), «Синагога иконоборцев» (1972), «Стереоскоп для одиночек» (1972), «Парсифаль» (1974), «Книга чудовищ» (1978).

Гарро Элена (1920—1998) — мексиканская писательница, с 1937 г. до конца 60-х гг. — жена Октавио Паса. Ее роман «Воспоминания о будущем» (1963), книгу новелл «Пестрая неделя» (1964), драматургию отличает раскованное воображение, сюрреалистическое внимание к фантастике повседневности.

Гомес де ла Серна Рамон (1888—1963) — испанский прозаик, мастер гротеска («Мертвяки, мертвячки и прочие фантасмагории», 1935; «Самоубиение», 1948) и афоризма (изобретатель жанра т. н. «грегерий»), автор многочисленных

романов («Киноландия», 1923), биографий писателей и художников («Гойя», 1928). Друг юности Борхеса (они познакомились в 1920 г. в Мадриде), Р. Гомес де ла Серна был среди первых рецензентов дебютных книг Борхеса в испанской прессе (в том числе в журнале Ортеги-и-Гассета «Западное обозрение»). Одна из книг Гомеса де ла Серны вошла в борхесовскую «Личную библиотеку» (вступительные статьи к ее томам опубликованы уже после смерти автора, в 1988 г.).

Дабове Сантьяго (1889—1960) — аргентинский поэт и прозаик, друг юности Борхеса, входивший в кружок писателей, группировавшийся вокруг М. Фернандеса. Борхес собрал и сопроводил предисловием книгу его новелл «Смерть и ее наряд» (1961).

Давид-Нэль Александра (1868—1969) — французский ориенталист, автор книги «Среди магов и мистиков Тибета» (1931).

Дансейни Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, лорд (1878—1957) — английский (ирландский) прозаик и драматург («Семь современных комедий», 1928). Автор сборников «Рассказы сновидца» (1910), «Далекое, разрушенное» (1919), «Дорожные истории мистера Джозефа Джоркенса» (1931), «Солнечные блики» (1938), «замечательной»,

по оценке Борхеса, автобиографической книги «Пока сирены спят» (1944). Борхес писал о нем в журнале «Очаг» в 1937-38 гг., включил том его прозы в свою «Вавилонскую библиотеку» (изд. 1986).

Джайлс Герберт Аллен (1845—1935) — американский синолог, переводчик и исследователь притч Чжуанцзы и др.

Джекобс Уильям Уимарк (1863—1943) — английский драматург и прозаик, автор автобиографических книг «Глубокие воды» (1919), «Шум моря» (1926), «страшных» рассказов.

Джойс Джеймс (1882—1941) — английский (ирландский) поэт и прозаик-новатор, автор книги рассказов «Дублинцы» (1914), романов «Портрет художника в юности» (1916), «Улисс» (1922, Борхес в 1925 г. перевел его заключительные страницы на испанский), «Поминки по Финнегану» (1939). Прочитав первые вещи Джойса во время своего юношеского пребывания в Европе, Борхес позднее посвятил ему несколько эссе (рецензии на «Улисса» в журнале «Форштевень», 1925, и на «Поминки по Финнегану» в журнале «Очаг», 1939; статьи в журнале «Юг» — «Джойс и неологизмы», 1939; «Отрывок о Джойсе», 1941), ряд стихотворений (сб. «Хвала тьме», 1969).

Инхеньерос де Ротшильд Делия — аргентинская писательница, дочь видного ученого и общественного деятеля, друга борхесовской семьи Хосе Инхеньероса, соавтор Борхеса по книге «Древние германские литературы», (1951).

Кансела Артуро (1892—1956) — аргентинский поэт, прозаик и драматург, несколько его стихотворений Борхес включил в свою «Антологию аргентинской поэзии» (1941). Автор сборника «Три повести о Буэнос-Айресе» (1922), романа «Лотова жена» (1939), многочисленных юморесок и пародий.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, историк («Французская революция», 1837), публицист («Герои, культ героев и героическое в истории», 1841; «Теперь и прежде», 1843), автор философского романа-пародии «Сартор Резартус» («Перекроенный портной», 1833—34). Аргентинские издания романа «Сартор Резартус» в 1945 г. и книги «Герои...» в 1949 г. вышли с предисловиями Борхеса, к социальным воззрениям Карлейля относившегося весьма критически.

Кафка Франц (1883—1924) — австрийский прозаик «пражской школы», автор книг новелл и притч «Наблюдение» (1913), «Голодарь» (1924), романов «Процесс» (1925), «Замок» (1926). Борхес

прочел его новеллы юношей в Швейцарии, рецензировал роман «Процесс» в журнале «Очаг» в 1937 г., выпустил сборник Кафки «Превращение и другие рассказы» со своим предисловием в 1938 г. (переводы в книге, вопреки устойчивой легенде, не принадлежат Борхесу), написал эссе «Кафка и его предшественники» (вошло в книгу «Новые расследования»). Том «Америка. Рассказы» включен в борхесовскую «Личную библиотеку».

Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936) — английский поэт и прозаик, автор романов «Свет погас» (1890), «Ким» (1901), книг рассказов «Простые рассказы с холмов» (1888), «Город страшной ночи» (1890) и др. Борхес писал о нем в журналах «Очаг» (1937) и «Юг» (1939), не раз стилизовал его прозаическую манеру (новелла «Человек на пороге» в сб. «Алеф», 1949, и др.), включил книгу «Рассказов» Киплинга в свою стотомную «Личную библиотеку».

Кокто Жан (1889—1963) — французский писатель, художник, деятель театра и кино, автор романов «Самозванец Тома» (1923), «Трудные дети» (1929), пьес «Антигона», «Орфей» (обе — 1928), «Священные чудовища» (1940). В 1985 г. Борхес включил томик Кокто «Профессиональная тайна и другие тексты» в свою «Личную библиотеку»,

написал к нему вступительную заметку.

Кортасар Хулио (1914—1984) — аргентинский поэт и прозаик, автор новаторских романов «Игра в классики» (1963), «62. Модель для сборки» (1968), «Книга Мануэля» (1973), сборников рассказов «Зверинец» (1951), «Все огни — огонь» (1966), «Восьмигранник» (1974), «Мы так любим Гленду» (1981). В 1946-47 гг. Борхес опубликовал его рассказы «Захваченный дом» и «Бестиарий» в своем журнале «Летописи Буэнос-Айреса», в 1983 г. написал вступительную заметку к его сборнику «Письма к маме» (изд. 1992), а незадолго до смерти сопроводил книгу его избранных новелл своим предисловием (1986).

Кэрролл Льюис (наст. имя и фамилия — Чарлз Латуидж Доджсон, 1832— 1898) — английский писатель, математик и логик, автор фантастических повестей «Алиса в стране чудес» (1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1871), языкотворческой поэмы-игры «Охота на Снарка» (1876). Вступление к его «Сочинениям» Борхес включил в свою книгу «Предисловия» (1975).

«Лецзы» — один из основополагающих текстов даосской мудрости, приписывается легендарному китайскому мыслителю Ле Юйкоу (VII—VI вв. до н. э.).

Лугонес Леопольдо (1874—1938) — аргентинский поэт, прозаик, эссеист, автор стихотворных сборников «Сумерки сада» (1905), «Календарь души» (1909), книг фантастической новеллистики «Чуждые силы» (1906), «Роковые рассказы» (1924), биографии Д. Ф. Сармьенто (1911), публицистического труда «Великая Аргентина» (1930). Борхес, в юности подражавший его стихам, позднее относился к творчеству и националистическим взглядам Лугонеса, оказавшегося в 30-е годы в опасной близости к фашизму, весьма сдержанно. Тем не менее он откликнулся на самоубийство Лугонеса прочувствованным некрологом в журнале «Юг», написал книгу о нем (1955) и посвятил его памяти свой сборник «Создатель» (1960) не раз переиздавал сборники его стихов (1961, 1982), включил его книгу «Соляное изваяние» в свою «Вавилонскую библиотеку» (1985), а новеллу «Изур» — в антологию «Аргентинские рассказчики и живописцы», сопроводив предисловием.

Лусаррета Пилар де (?—1969) — аргентинская писательница, автор книги новелл «Бессердечная Селимена» (1935), романа «Белый жеребенок» (1961) и многих пьес, написанных в соавторстве с А. Канселой.

Мопассан Ги де (1850—1893) — французский

прозаик, ученик Флобера, автор романов «Жизнь» (1883), «Милый друг» (1885), «Сильна как смерть» (1889), книг новеллистики «Заведение Телье» (1881), «Сказки дня и ночи» (1885), «Орля» (1887), «Бесполезная красота» (1890). Почитателем Мопассана был друг борхесовской юности Сантьяго Дабове.

Морган Эдвин — английский эрудит, автор «Воскресного путеводителя по древностям Уэльса и Корнуолла» (1929).

Мурена Эктор Альварес (1923—1975) — аргентинский поэт, прозаик и эссеист, переводчик Т. Адорно и М. Хоркхаймера, леворадикальный оппонент Борхеса. Входил в редакционный совет журнала «Юг», по его инициативе в приложении к журналу вышел на испанском языке роман Набокова «Лолита» (1959). Автор стихотворных книг «Круг рая» (1958), «Вспышка длительности» (1962), нашумевшей публицистической книги «Первородный грех Америки» (1945), романных трилогий «История одного дня» (1955—65), «Сон разума» (1969—72), сборников новелл «Средоточие ада» (1956), «Полковник кавалерии и другие рассказы» (1971).

Ню Цзяо — китайский поэт и прозаик IX в.

Обри Джон (1626—1697) — английский эрудит

и антикварий, автор книги о снах и призраках «Разные заметки» (1696), сборника «Жизни замечательных людей» (опубл. 1813).

Окампо Сильвина (1910—1993) — аргентинская писательница, друг Борхеса, жена А. Бьоя Касареса (кроме настоящего сборника, они составили втроем «Антологию аргентинской поэзии», 1941). Автор книг «Перечень родины и другие стихи» (1942), «Автобиография Ирен» (1948), «Званые гостьи» (1961), «Сообщение о рае и аде» (1970), «Корнелия перед зеркалом» (1988), нескольких драм и книг для детей.

Олдрич Томас Бейли (1836—1907) — американский поэт и прозаик, близкий к Лонгфелло, Хоуэллсу и другим проевропейски настроенным писателям-бостонцам, редактор влиятельнейшего журнала, законодателя литературных традиций в Америке «Атлантический ежемесячник». Автор популярной повести «Рассказ о плохом мальчике» (1870, от нее отталкивался в своих детских книгах Марк Твен), сборника новелл «Марджори Доу и другие» (1873).

О'Нил Юджин (1888—1953) — американский драматург, лауреат Нобелевской премии (1936, Борхес тогда же откликнулся на это событие в журнале «Юг»). Автор пьес «Любовь под вязами»

(1925), «Траур — участь Электры» (трилогия, 1931), «Разносчик льда грядет» (1939), «Луна для пасынков судьбы» (1942), «Душа поэта» (1943). Том его драматургии Борхес включил в свою «Личную библиотеку».

Папини Джованни (1881—1956) — итальянский писатель и переводчик, одно время близкий к футуризму, публицист-ницшеанец, впоследствии — ревностный католик. Автор книги рассказов «Трагическая повседневность» (1906), романа «Последний человек на земле» (1912), жизнеописания Блаженного Августина и др. Борхес выпустил сборник новелл Папини в созданной им серии фантастики «Вавилонская библиотека» и включил том его избранного в свою «Личную библиотеку».

Пейру Мануэль (1902—1974) — аргентинский писатель из круга М. Фернандеса, друг юности Борхеса. Автор детективной («Спящий клинок», 1944) и фантастической прозы («Жаркая волна», 1967), новелл и романов о Буэнос-Айресе рубежа столетий и эпохи перонистской диктатуры 40—50-х гг.

Перальта Карлос — аргентинский писатель и журналист. Автор воспоминаний «Встреча с Борхесом» (1968).

Пероун Барри — псевдоним английского писателя Эрнеста Уильяма Хорнунга (1866—1921), автора популярных и не раз экранизированных уголовных романов о взломщике Раффлсе и его приятеле Кролике («Взломщик-любитель», 1899, и др.).

Петроний Арбитр Гай или Тит (?—66) — римский придворный, высокопоставленный чиновник. Автор дошедшего в отрывках нравоописательнофилософского романа-мениппеи «Сатирикон».

По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский поэт и прозаик-новатор, теоретик искусства. Автор первых в мировой литературе детективных новелл «Двойное убийство на улице Морг» (1841), «Тайна Мари Роже» (1842), «Золотой жук» (1843), образцовых «страшных» рассказов («Маска Красной Смерти», 1842; «Черный кот», «Колодец и маятник», оба — 1843; «Преждевременные похороны», 1844), духовидческих притч («Морелла», 1835; «Лигейя», 1838), остросюжетных повестей («Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфалля», 1835). В кругу друзей юности Борхеса царил культ Эдгара По, Борхес не раз высказывался о его творчестве (эссе в газете «Насьон», 1949, лекции «Детектив», вошедшей в сб. «Думая

вслух», 1979, и др.).

Рабле Франсуа (1494—1553) — французский писатель, автор сатирикофантастического романа-утопии «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533—1552, последняя книга опубликована в 1564 г., посмертно).

Саки (наст. имя — Гектор Хью Манро, 1870—1915) — английский прозаик, выходец из Бирмы. Автор книг «Обыкновенные рассказы» (1902), «Реджиналд в России» (1910), «Вот придет Уильям» (1913), «Звери простые и невиданные» (1914), «Забавы мирного времени» (1919), «Квадратное яйцо» (1924). Лучшие его фантастические новеллы собраны в книге «Рассказы Саки» (1930). Борхес включил том его прозы в свою «Вавилонскую библиотеку» (изд. 1986).

Сведенборг Эмануэль (1688—1772) — шведский ученый и изобретатель, член ряда академий, включая Санкт-Петербургскую, впоследствии — мистик и духовидец. Автор богословских трактатов «Таинства небесные» (1749—56), «О рае, мире духов и аде» (1758), «О любви супружеской» (1768), «Истинная христианская религия» (1771) и др. Введение к его «Сочинениям» Борхес, разделяющий интерес к Сведенборгу с рядом крупнейших писателей и мыслителей XX в. (П.

Валери, К. Ясперс, Ч. Милош), включил в свою книгу «Предисловия», посвятил ему стихотворение (сб. «Иной и прежний», 1964) и лекцию (сб. «Думая вслух»).

Синклер Мэй (наст. имя: *Мэри Амелия Сент-Клер*, 1863—1942) — английская писательница. Автор книг «Огнь Божий» (1904), «Суд Евы» (1914), «Жуткие истории» (1923). Борхес писал о ней в литературной хронике журнала «Очаг» в 1938 г., а в конце жизни, говоря о мастерах «страшного» рассказа, назвал рядом с Бекфордом и Де Куинси «некоторые страницы Мэй Синклер».

Скит Уолтер Уильям (1866—1953) — английский этнограф, исследователь малайских верований («Малайская магия», 1900, и др.).

Соррилья-и-Мораль Хосе (1817—1893) — испанский поэт и драматург, автор исторических сказаний («Легенда о Сиде», 1882), многочисленных и долгое время популярных у зрителя пьес — «Сапожник и король» (1840—41), «Клинок чужеземца» (1842), «Дон Хуан Тенорио» (1849) и др.

Степлдон Олаф (1887—1950) — английский фантаст и утопист, автор книг «Последние обитатели Лондона» (1932), «Создатель звезд» (1937) и др. Борхес рецензировал его книги в журнале «Очаг» (1937 и 1940), сопроводил издание «Созда-

теля звезд» (1965) своим вступлением (вошло в его книгу «Предисловия»).

Уиллоби-Мид Джералд — английский синолог, автор книги «Китайские вампиры и домовые» (1926).

У Ченэнь (1500—1582) — китайский поэт и прозаик, автор многотомного фантастического романа «Путешествие на Запад» (опубл. 1592).

Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — английский прозаик, социальный мыслитель-эссеист, автор фантастических новелл и романов («Машина времени», 1895; «Человек-невидимка», 1897; «Пища богов», 1904; «Облик грядущего», 1933). Борхес, впервые прочитавший Уэллса в раннем детстве, рецензировал его книги в журнале «Очаг» (1936—38), включил «Человека-невидимку» и «Машину времени» в свою «Личную библиотеку».

Фернандес Маседонио (1874—1952) — аргентинский писатель, по характеристике Борхеса, бывшего в юности его литературным воспитанником и младшим другом («лучшим произведением Фернандеса», как шутили в их общем кругу), — «метафизический юморист», выдумщик и говорун. Воплощенный лидер и неисправимый маргинал, инициатор ряда авангардных движе-

ний и изданий в захолустной Аргентине первой четверти века, он повлиял позднее на творчество Х. Кортасара, Р. Пильи (сделавшего Фернандеса героем своего романа «Город, которого нет на карте», 1992) и других крупных латиноамериканских прозаиков. Автор сборника стихов «Красавица Смерть» (1942), книг экспериментальной прозы «Бумаги новоприбывшего» (1929), «Начало романа» (1940), «Музей Вечной Литературы» (опубл. 1967) и др. Борхес не раз писал о нем (журнал «Юг», 1952), сопроводил вступительным словом его «Сочинения» (вошло в книгу «Предисловия»).

Фрост Джордж Лоринг (1887—?) — английский прозаик, автор книг «Предисловие» (1909), «Не запомнившийся спутник» (1919), «Бесконечная роза» (1931). Никаких других сведений о нем, кроме этих, приводимых составителями «Антологии», найти не удалось.

Фрэзер Джеймс Джордж (1854—1941) — английский (шотландский) этнограф и религиевед, автор фундаментальных трудов «Золотая ветвь: Исследование религии и магии» (1890), «Вера в бессмертие и культ умерших» (1911—12), «Фольклор в Ветхом Завете» (1918—19), «Культ природы» (1926) и др. Борхес рецензировал его книгу «Страх перед мертвыми в первобытной религии» в жур-

нале «Очаг» (1937).

Хорн Холлоуэй (1886—?) — английский математик и писатель. Автор романа «Арлекинада» (1921), книг детективно-фантастических рассказов «Ложь» (1922), «Убийство в Линпаре» (1931), «Старик» (1932), ряд которых вошел в лучшие антологии жанра.

Хуан Мануэль (1282—1347?) — испанский политический деятель, писатель-моралист, автор сборника притч «Граф Луканор» (изд. 1575).

Цао Сюэцинь (1715 или 1724—ок. 1763) — китайский прозаик, автор романа «Сон в Красном Тереме» (изд. 1791).

Честертон Гилберт Кит (1874—1936) — английский писатель, социальный и литературный критик, католический моралист, автор биографий Р. Браунинга (1903) и Ч. Диккенса (1906), жизнеописаний Франциска Ассизского (1923) и Фомы Аквинского (1933), романов «Человек, который был Четвергом» (1908), «Жив-Человек» (1912), книг детективных рассказов-притч «Истории об отце Брауне» (1927) и др. Борхес писал о нем в журнале «Юг» (1936), рецензировал его книги в журнале «Очаг» (1937), эссе «О Честертоне» вошло в борхесовскую книгу «Новые расследования».

Чжуанцзы (наст. имя — Чжуан Чжоу, ок. 369—

286 до н. э.) — китайский мыслитель, один из основателей даосизма. Борхес был знаком с его идеями в основном по книге Г. А. Джайлса, откуда взят и данный фрагмент.

Элисондо Сальвадор (р. 1932) — мексиканский писатель, в 60-е годы — один из реформаторов латиноамериканской прозы. Автор романов («Фарабеф, или Хроника одного мгновения», 1965), новелл («Портрет Зои», 1965; «Письмописец», 1972), книг эссе («Теория ада», 1992).

Б. Дубин